

Антология Сатиры и Юмора России XX века



Виктор Шендерович



Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология
Сатиры и Юмора
России XX века

Виктор Шендерович



2. объяснение

[illegible]



Антология Сатиры и Юмора России XX века



Handwritten signature

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Виктор Шендерович

«ЭКСМО» 2005

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Ш 47

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Шендерович Виктор Анатольевич

Серия основана в 2000 году

Редколлегия:

Аркадий Арканов, Никита Богословский, Игорь Иртеньев,
проф., доктор филолог. наук Владимир Новиков,
Лев Новоженев, академик Вилен Федоров,
Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта

Юрий Кушак

Главный художник, автор серийного оформления

Евгений Поликашин

Подготовка макета — творческое объединение

«Черная курица» при Фонде Ролана Быкова.

Шендерович В. А.

Ш 47 Антология сатиры и юмора России XX века. Том 2. —
М.: Изд-во ЭКСМО, 2005. — 608 с.

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-04-004659-6 (Т.2)
ISBN 5-04-003950-6

© В. А. Шендерович, 2000
© А. Б. Боссарт, вступ. статья, 2000
© Е. А. Поликашин, оформление, 2000
© Ю. Н. Кушак, составление,
примечания, 2000

Содержание

Алла Боссарт. Театр — вот его тайна	13
Объяснительная записка (Вместо автобиографии)	18

Проза

Я и Сименон	21
Арс лонга, вита бревис	23
Человек с плаката	25
Цветы для профессора Плейшнера	40
Ничего, кроме правды	44
Педагогическая поэма	47
Лондон, Даунинг-стрит, 10 (Из почты 80-х)	51
Выбранные места из переписки с соседом	52
Музыка в эфире	54
Ветер над плацем	58
Святочный рассказ	61
Жизнь масона Циперовича	65
Статус	67
Стена	72
История любви	76
Самоопределяшки	79
Весна!..	83
Ты кто?	88

И нформация к размышлению (<i>Хроника небывшего</i>)	93
З лоба дня	101
П одлинные записки Фомы Обойного	110
Т яжкое бремя (<i>Сказка</i>)	132
П роект Конституции страны	136
П ластилиновое время	138
К ультурные люди	140
П редрассудок	144
С ила воображения	147
Е вроремонт	149
С емечки	153
С тереоскоп	155
В ечное движение (<i>Этюд</i>)	161
П етля	169
Л ужа (<i>Жизнеописание города Почесалова от царя Алексея Михайловича до наших дней</i>)	171
И коротко о погоде	180

Стишки

С атирик	183
О некоторых странностях судьбы	184
« В стране, где древние ацтеки...»	185
Х уту и тутси	186
« Я живу в измученной стране...»	187
Г омерическое	188
М осковский пейзаж	189
« К акое счастье: сперли кошелек!...»	190
« Т ы мне нравишься, девчонка...»	191
Б аллада об авокадо	192
Я пона жизнь (<i>Хокку</i>)	193
« Л юбой пройдоха корчит тут пророка...»	195
P.S.	196
« В зошло светило над домами...»	198
Я мбы	199

«Когда Москва, сдыхая от жары...»	200
Хромой стих	202

Театр «Черные ходики»

У двери	205
Предуведомление для публики	206
Прибытие	207
Не надо шуметь!	207
У врат	208
Сеанс	208
Разговор по душам	208
Орел и Прометей	209
Судья и Робин-Бобин Барабек	209
Воля к победе	210
В стойле	210
Апарт	
Голоса за ужином	210
Утренний доклад (Диалог-фантазия)	211
Человек и прохожий	211
Протокол	212
Гоголь и редактор	212
Лав стори	213
Диспансеризация	213
Горе от ума	213
Комсомольское ретро	214
Реплики в антракте	
Священная обязанность	215
Инспекция	217
В мире животных (Радиоперехват)	217
Высокие широты	217
Санчасть	218
Апарт	
Акт приемки	218
Сельская жизнь	219

П олучка	220
Ч еловек и закон	220
М итинг	220
Л ицом к народу	220
П рямой эфир	221
С пятой цифры	221
У шлагбаума	221
К иллер	221
Р ашен Канары	222
<i>Вопросы в буфете</i>	
D ura lex...	223
<i>Реплики в антракте</i>	
К ультуру – в массы!	224
И споведь	225
Н а чай	225
В ресторане	226
П о списку	226
С анкции	227
П о мотивам Светония	227
В ам письмо!	227
Т аможенник	228
Т игр	229
М ама	231
<i>Апарт</i>	
И з дальних странствий	233
<i>Реплики в антракте</i>	
К ороли и шуты	234
Н очное	235
О шибочка	235
К онтакт	236
П од микроскопом	236
<i>Апарт</i>	
З вуки жизни (<i>Радиопьеса</i>)	236
Ч ушкин и Амальгамский	237

П атриот и прохожий	237
В песочнице	237
Н едоразумение	238
В ремя – вперед!	238
С реди бела дня	239
С вобода перемещения	239
<i>Апарт</i>	
В стреча с народом (<i>Из далекого прошлого</i>)	239
Х ристос и собрание	240
С изиф и болельщики	240
П ерестройка	241
В ольтерьянцы	241
М ылодрама (<i>В четырех действиях</i> <i>с криками в антракте</i>)	241
<i>Реплики в антракте</i>	
З десь вам не равнина	243
К ак ждет любовник молодой	244
У казатели	244
Н е надо песен!	244
В ечернее	245
С пециальное предложение	245
Х од реформ	247
Ж изнь замечательных людей	249
В ыбор России	249
В стреча с народом – 1993	249
С енаторы (<i>Диалог в римских банях</i>)	250
З акат империи	250
<i>Апарт</i>	
<i>Еще апарт</i>	
П о вызову	250
Э кзамен	251
С мерть атеиста	251
Р ыба	251
<i>Апарт</i>	

Эксперимент (Старый сюжет в трех разговорах)	252
<i>Реплики в антракте</i>	
Хана	265
Революционная ситуация	266
На ветвях власти	266
Высшая инстанция	267
Спрашивайте — отвечаем	268
Общественное мнение	268
Выездной концерт	268
Ток-шоу	269
У синего моря	269
Как хорошо быть патриотом	269
Египетские ночи	270
Диоген и начальство	270
Искусство принадлежит народу	270
Ошибка резидента	271
Премьера заявления	271
<i>Реплики на выходе</i>	
Вечерний выезд общества слепых	273
Чимфа	293
Случай из практики	293
Бессонница	293
<i>Поклон</i>	

Публицистика

Не люблю народ	297
Приметы нового, или Добро пожаловать, Атила!	300
Борьба с Пышками	303
Восстановление статус-кво	305
Как бы не прощелкать	308
Порнография	311
Закон суров	313
Купи козла	314

Прощание славянки	317
Подстава, шиза и непонятки	320
Как нас теперь называть?	323
Откровение	326
Часы с петушком и кукушечкой	329
Ты помнишь наши встречи?	332
<i>(Мемуары сержанта запаса)</i>	

Куколы

Двойной портрет	357
Дон Кихот	363
Царь-султан	371
Вредные советы	378
Борис Годунов	385
Время, назад!	392
Имиджмейкер	397
Единый кандидат от демократов	404
В Чечню, в Чечню!	412
История болезней	419
Двойник	425
Скупой рыцарь	431
Малыш и Карлсон	438
Предпоследнее «прости»...	445
Первый Белорусский	452
Зима в Москве	459
Неофициальный визит	466
Король Лир	473
Анна Каренина	483
Субъекты Федерации	490
Елкин и Сальери	497
Ясная подляна	506
Инцидент	513
Их борьба	520
Гуманитарная катастрофа	528

Ночной дозор 535

Гулливер 542

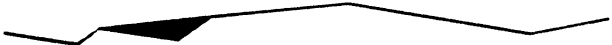
Лас-Вегас 550

Куклиада 558

Мой кот (Вместо послесловия) 597

Примечания 599

Театр — вот его тайна



Виктор Шендерович — мой друг,

и дружба с такой знаменитостью мне льстит. Иной раз меня даже просят достать билет на его концерт, что само по себе изрядная редкость, так как институт авторского вечера, даже в любимой народом области смеха, вышел из моды. Все труднее в одиночку удержать зал, сосредоточить его внимание на одном голосе и одной фигуре. При том градусе, которого достигла жизнь в стране, камерность практически не выживает.

Секрет колоссального сегодняшнего успеха Виктора Шендеровича — в его, я бы сказала, поразительном чувстве повседневности. Тверже всех из цеха, носящего условное название «сатира и юмор», он держит «руку на пульсе».

Шендерович с одинаковым блеском может сработать «адресный» фельетон по конкретному поводу и фельетонное эссе — иронический комментарий к явлению или событию. Как профессионал, я без натяжек могу откомендовать Витю в качестве классного журналиста, чье перо органично вписывается в актуальный ритм и жесткий регламент газеты. Эти тексты мы еженедельно читаем в «Московских новостях».

Впрочем, и ирония как метод, и иронический комментарий как жанр в современной литературе и журналистике плодоносят довольно щедро. Личная заслуга Шендеровича в том, что он едва ли не единственный, кто хранит традиции русского фельетона: жанра, умершего вместе с последним и блистательным его представителем в советской литературе — Леонидом Лиходеевым. Он понимает ценность детали и умеет с ней работать, умеет на-

ходить и строить образ, ориентируется в общественно-культурном и историческом контексте. В результате злободневное газетное чтение оказывается гуманитарно заряженным и вызывает радостный отклик отточенностью формы. Фельетон и эссе — те жанры, которые больше всего тяготеют к литературе, но политическая ангажированность, как правило, удерживает их в пограничной зоне. Шендерович — единственный после Лиходеева мастер, чья фельетонная культура позволяет проводить эти тексты по разряду прозы.

Потому что по преимуществу Виктор Шендерович, конечно, все-таки писатель. Тем удивительнее его журналистская, я бы сказала, ловкость: тридцатилетний газетный опыт приучил меня к феноменальной писательской беспомощности в газетных жанрах. Журналисту нередко доступны прорывы в прозу. Писатель совладать с журналистикой может в исключительных случаях. Случай Шендеровича — тот самый.

Вообще этот «случай» вполне заслуживает квалификации «феномен» и достоин изучения. Но Шендеровича числят по ведомству «сатира и юмор» — как бы второсортному, шутовскому, «серьезной» критики как бы не очень достойному. Между тем, если уж говорить о русской литературе и ее традициях, Шендерович копает весьма богатую и почтенную жилу. Ее разрабатывал Дорошевич, не миновали сатириконицы, там отметились Булгаков, Олеша, не говоря уж о Зощенко.

А феномен в том, что среди, как принято говорить, «литературных учителей» у Виктора Шендеровича, наряду с Дорошевичем и, допустим, Аверченко, нетрудно обнаружить идеолога совершенно иной традиции: Хармса. Парадоксальные «пьесы» Шендеровича широко известны, он уже лет семь читает их с эстрады. Гораздо меньше он известен как серьезный прозаик. И тут мы находим следы уже совсем иной школы (кажется, третьей?). Это школа сдержанного бытописательства, без особых сюжетных и стилистических затей. Руслан Киреев, Георгий Семенов...

На стыке этих разных школ — его лучший, как принято говорить, «юмористический» рассказ «Масон Циперович» и лучшая «серьезная» новелла «Крыса» — жесткий эпизод из чудовищного армейского быта.

То, что один и тот же автор пишет — «В деревне Гадюкино — дожди» и, допустим, цикл абсурдистских миниатюр «Черные ходики», — достойно, по меньшей мере, внимания литературной критики.

Как любой пишущий мальчик, начинал Витя Шендерович, конечно, со стихов. Но своеобразие его творческой психологии проявилось в том, что рано забродившая фельетонная закваска не вытеснила в нем лирического мотива. Здоровый цинизм, который требуется фельетонисту, как шило — сапожнику, трогательным образом сочетается в Вите с самым отъявленным романтизмом, словно ему не сорок с небольшим, а все шестьдесят восемь и молодость прошла под гитару на кухне и в палатке у культового костра.

Я думаю, что в правильном сочетании двух этих качеств и рождается третье, то, что принято называть гражданственностью.

Понятие гражданственности заношено до лохмотьев, и смысл его как бы стерт. В постмодернистском мире говорить о гражданственности как-то даже глуповато или, по меньшей мере, пошло. Но беспасфосность литературы (не формальная, на уровне текста, а внутренняя, на уровне задачи) в конечном итоге приводит к отрицательному пафосу, к параличу чувства, к космическому холоду самооценности и самоцельности стиля, к гуманитарной смерти. То есть к тому распаду собственно литературы, одареннейшим идеологом которого стал Владимир Сорокин.

Так сложилась профессиональная судьба, что Виктор Шендерович занял в российском литературном процессе маргинальное место. Его острое «чувство повседневности» нуждалось в реализации. И реализовать его можно было только при помощи масс-медиа. Повседневную жизнь с ее проблемами, парадоксами и характерами способно в полной мере охватить и выразить сегодня только телевидение. И как всякий, сделавший телевидение своей профессией, Шендерович стал его заложником. Та же судьба постигла Льва Новоженова, отчасти — Виктора Славкина, в некоторой степени — Игоря Иртеньева. Читающая публика знает Шендеровича-телезвезду. Оно, может, и неплохо. Но специфика телевидения — это также и специфическая шкала ценностей. Из всего творческого спектра

писателя Шендеровича телевидением востребуется и оценено только его остроумие.

Остроумие, способность считывать и выражать комизм ситуации — эффективный инструмент в писательском ремесле и, бесспорно, одно из обаятельнейших свойств писательской личности. Именно — инструмент и свойство. Но никак не тайна мастерства, которая, собственно, и определяет место писателя, в том числе и фельетониста, в литературном контексте.

Телевидение определило Виктору Шендеровичу место политического пересмешника, «частушечника» от литературы. Публицистический характер обеих программ — «Кукол» и «Итого» (они и во всяких там рейтингах и конкурсах проходят по этой номинации, в отличие от «литературно-художественных» передач), — публицистика выходит на первый план и мешает разглядеть артистизм исполнения. Тот же казус едва не случился с превосходным артистом Сергеем Безруковым, которого долгое время знали и воспринимали только как голос «Кукол». Но чаша театра в случае с Безруковым все же перетянула, и актерский сюжет вошел в нормальное русло. Сюжет Шендеровича оказался драматичнее. Маска пересмешника фактически приросла к его творческому лицу. Телезритель перестал быть читателем. Ему нет дела до культурных аллюзий, на которых строятся «Куклы», у него нет времени вчитываться (вслушиваться) в словесную игру, которую ведет автор «Итого». Никому не требуется театр, который выстраивает фельетонист Шендерович в своих публицистических декорациях.

Между тем ТЕАТР — вот то главное качество, та «тайна», что определяет и одушевляет мастерство этого мастера.

Сказались, видимо, годы в «Табакерке» по ту сторону кулис и многолетний театральный энтузиазм — по эту. Виктор Шендерович — человек театральной породы и природы. Он любит сценическую форму, прекрасно чувствует диалог. Прямая речь, которой он насыщает свою прозу, была бы, что называется, по кайфу любому артисту. Удовольствие от его передач — это удовольствие от театра, от драматургической завершенности, в которую он умудряется облечь 15-минутную программу. Внутренней,

природной театральностью питается и его жанровая гибкость. В прошлом преподаватель сценического движения (в ГИТИСе) и один из самых неустанных и затейливых танцоров, каких можно встретить в быту, Витя как бы переносит эту физическую грацию в зону сочинительства. Я не знаю никого, кто бы так легко и свободно перемещался из политической сатиры в ироническую притчу, с эстрадной площадки — на почву традиционной прозы и даже в поэзию.

Отчасти актерская же легковесность и непоседливость натуры не дают, к сожалению, Виктору Шендеровичу сосредоточиться на крупной форме — написать пьесу или роман-фельетон. А до чего было бы любопытно...

Артистизм и открытость реакций, свойства этой породы, окрашивают и его литературу, и его поведение. Как актер всегда играет, так Шендерович всегда пишет. Причем надо еще видеть, как он это делает. Мы бывали вместе в нескольких поездках, где с истинным наслаждением я могла наблюдать, как Витя строчит в своем блокнотике, пристроив его на коленке: в купе, в тамбуре, в аэропорту, пока отложен рейс, в кресле самолета... Он пишет, то улыбаясь, то посмеиваясь, а то вдруг принимаясь громко хохотать. Господи, всякий раз думаю я, какой счастливый человек наш Шендер!

Алла БОССАРТ

Объяснительная записка

(Вместо автобиографии)

Родился в 1958 году.

В детском саду узнал цену коллективизму.

В 1975 году окончил без сожаления среднюю школу.

По первому диплому — культпросветработник высшей квалификации, отчего до сих пор вздрагивает.

В 1980—1982 гг. служил в Советской Армии, где научился говорить матом. Выжил и демобилизовался, но до сих пор вздрагивает от словосочетания «священный долг».

Перед тем как начать писать, некоторое время читал.

С 1995 года вздрагивает при слове «Куклы».

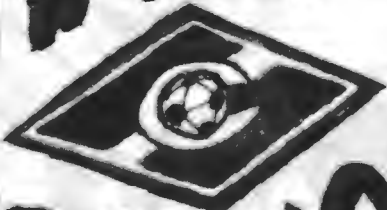
Надеется на лучшее.

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

Проза



СПАРТАК



ЧЕМПИОН!





СПАРТАК



ЧЕМПИОН





Я хотел писать как Сименон.

Сидеть, знаете ли, в скромном особнячке на берегу Женевского озера — и писать: «После работы комиссар любил пройтись по набережной Сен Лямур де Тужур до бульвара Крюшон де Вермишель, чтобы распить в бистро флакон аперитива с двумя консьержами».

Благодарю вас, мадемуазель. (Это горничная принесла чашечку ароматного кофе, бесшумно поставила ее возле пишущей машинки и — цок-цок-цок — удалилась на стройных ногах.)

О чем это я? Ах да. «За аперитивом в шумном парижском предместье комиссару думалось легче, чем в массивном здании министерства...»

Эх, как бы я писал на чистом французском языке!

А после обеда — прогулка по смеркающимся окрестностям Женевского озера, в одиночестве, с трубкой в крепких, не знающих «Беломор-канала» зубах... Да, я хотел бы писать как Сименон. Но меня будит в шесть утра Гимн Советского Союза за стенкой, у соседей. Как я люблю его, особенно вот этот первый аккорд: «А-а-а-а-а-а-а!»

Я скатываюсь с кровати, обхватив руками башку, и высовываю ее в форточку. Запах, о существовании которого не подозревали ни Сименон, ни его коллеги по ПЕН-клубу, шибает мне в нос. Наш фосфатный завод больше, чем их Женевское озеро. Если в Женевском озере утопить всех, кто работает на фосфатном заводе, Швейцарию затопит к едрене фене.

Я горжусь этим.

Я всовываю башку обратно и бегу в ванную. С унитаза на меня глядит таракан. Если бы Сименон увидел этого таракана, он больше не написал бы ни строчки.

Не говоря уж о том, что Сименон никогда не видел моего совмещенного санузла.

Я включаю воду — кран начинает биться в падучей и плевать ржавчиной. Из душа я выхожу бурый, как таракан, и жизнерадостный, как помоечный голубь.

Что вам сказать о моем завтраке? Если бы в юности Сименон хоть однажды позавтракал вместе со мной, про Мегрэ писал бы кто-нибудь более удачливый.

О мои прогулки в одиночестве, темными вечерами, по предместьям родного города! О этот голос из проходного двора: «Эй, козел скребучий, фули ты тут забыл?» Я влетаю домой, запыхавшись от счастья.

О мой кофе, который я подаю себе сам, виляя своими же бедрами! После этого кофе невозможно писать хорошо, потому что руки дрожат, а на обоих глазах выскакивает по ячменю.

О мои аперитивы после работы — стакан технического спирта под капусту морскую, ГОСТ 12345 дробь один А!

А вы спрашиваете, почему я так странно пишу. Я хотел бы писать как Сименон. Я бы даже выучил ради этого несколько слов по-французски. Я бы сдал в исполком свои пятнадцать и три десятых метра, а сам переехал бы на берег Женевского озера и приобрел бы набор трубок и литературного агента и писал бы про ихнего комиссара вдали от наших. Но мне уже поздно.

Потому что, оказавшись там, я каждый день в шесть утра по московскому времени буду вскакивать от Гимна Советского Союза в ушах, и, плача, искать на берегах Женевского озера трубы фосфатного завода, и, давясь аперитивом посреди Булонского леса, слышать далекий голос Родины: «Эй, козел скребучий, фули ты тут забыл?»

Арс longa, вита бревис*

Дм. Быкову

Много еще неизвестных страниц

нашей истории ждет своего часа. Например.

Вскоре после ареста Временного правительства комиссар Антонов-Овсеенко послал двух бойцов, матроса и солдата, сделать опись народного имущества, награбленного царизмом и утащенного им от простых людей в Зимний дворец.

Матрос и солдат перекурили — что успел запечатлеть на своей картине случайно находившийся там же художник И. Бродский — и пошли делать опись.

По вине царизма жизнь их сложилась так, что ни писать, ни читать, ни сколько-нибудь прилично себя вести ни матрос, ни солдат не умели. Поэтому, постреляв по зеркалам и поплевав с парадной лестницы на дальность, они принялись делать опись по памяти.

— Значит, так, — сказал матрос, бывший за старшего. — Запоминай.

Он внимательно рассмотрел стоявшую неподалеку от последнего плевка Афины Палладу и с чувством сказал:

— Су-ука...

— Запомнил, — сообщил солдат.

— Я т-те запомню, — пообещал матрос. Он постоял, почесал свою небольшую, но смышленную голову и уверенно определил Афины: — Голая тетка с копьём и в каске.

Затем повернулся и ткнул пальцем в бюст Юлия Цезаря:

— Верхняя часть плешивого мужика!

И они пошли дальше. Матрос тыкал пальцами, а солдат, бормоча, запоминал все новые утаенные от народа произведения искусства.

* Искусство вечно, жизнь коротка (лат.).

— Голая тетка с копьём и в каске, — шептал он, — верхняя часть плешивого мужика, толстый мужик с листком на письке, баба с титьками, пацан с крыльями, голый с рогами шупает девку...

Этот, с рогами, так поразил солдата, что он забыл все, что было раньше, и они побрели обратно к Афине, и солдат зашептал по новой.

Как известно, если у каждого экспоната в Эрмитаже останавливаться по одной минуте, то на волю выйдешь только через восемь лет. А если от каждой голой тетки возвращаться к предыдущим, лучше не жить вообще.

...В последний раз их видели накануне шестидесятилетия Великого Октября. Совершенно седой матрос и абсолютно лысый солдат, укрывшись остатками бушлата, спали под всемирно известной скульптурой «Мужик в железяке на лошади».

Все эти годы, не выходя из Зимнего, они продолжали выполнять приказ комиссара, давно и бесследно сгинувшего на одном из причудливых поворотов генеральной линии партии. Они ничего не знали об этих поворотах. Ни фамилия «Сталин», ни словосочетание «пятилетний план» ничего не говорили им. У них было свое дело, за которое они жизнью отвечали перед мировым пролетариатом.

Служительницы кормили их коржиками, посетители принимали за артистов «Ленфильма», иностранцы, скаля зубы, фотографировались с ними в обнимку.

Лежа под лошадиным брюхом, солдат, как молитву, привычно проборматывал во сне содержание предыдущих десятилетий; матрос улыбался беззубым ртом: ему с сорок седьмого года каждую ночь снилась жертва царизма — голая девка без обеих рук.

Они были счастливы.

Человек с плаката



Дод утро пошел дождь.

Он пошел с серых, заброшенных рваными облаками небес, ветер подхватывал его и швырял на кубики многоэтажек, на пустой киоск «Союзпечати», на огромное полотнище плаката, возвышавшегося над проспектом. На плакате этом было написано что-то метровыми буквами, и стоял над буквами человек, уверенным взглядом смотревший вдаль — туда, откуда по серой полосе проспекта, редкие в этот час, скатывались в просыпающийся город грузовики.

Дождь хлестал плакатного человека по лицу, порывы ветра пронизывали насквозь его неподвижную фигуру, и, промокнув до нитки, он понял, что больше так не выдержит ни минуты.

Осторожно поглядев по сторонам — проспект был сер и пуст, — человек присел на корточки и спрыгнул с плаката. Поежился, поднял воротник немодного синего пиджака и, наворачивая на ботинки пласты грязи, побежал к ближайшему подъезду.

В подъезде напротив курил в обнимку с метлой дворник Кузькин. Увидев бегущего, он открыл не полностью укомплектованный зубами рот, отчего папироска его, повисев на оттопыренной губе, кувырнулась вниз. Кузькин охнул, прижал к стеклу небритую физиономию и, скосив глаза, попытался навести их на резкость. Навел, но бегущий в размерах не уменьшился.

...Человек с плаката вбежал в подъезд и огляделся. Было темно. Он потянул носом — несло какой-то скверностью. Сурово нахмутив брови, человек пошел на запах, но остановился. В неясном, слабо сочившемся сверху свете на исцарапанной стене четко виднелось слово. Человек

прочел его, шевеля губами. Слово было незнакомое, не с плаката. Человек поднялся до площадки, пристально поглядел на раскрошенный патрон, на помойное ведро, вокруг которого жутковатым натюрмортом лежали объедки, и произнес:

— Грязь и антисанитария...

Голос у человека был необычайно сильным.

— ...источники эпидемии!

Сказав это, он решительно отправился вниз.

...Человек с плаката шагал по кварталу. Дождь лупил по его лицу и лился за шиворот, но воспитание не позволяло ему отсиживаться в тепле, мирясь с отдельными, еще встречающимися у нас кое-где недостатками.

— Образцовому городу — образцовые улицы и дома! — сквозь зубы повторял он, и крупные, с кулак, желваки двигались на его правильном лице. Человек шел, оскальзываясь на рытвинах и перешагивая кипящие лужи, и в праведной ярости уже не замечал разверзшихся над ним хлябей небесных.

Тщетно пытаюсь сообразить, который час, Павел Игнатьевич Бушуйский протяжно зевнул, щелкнул выключателем и, почесывая грудь под байковой пижамой, открыл дверь. В полутьме лестничной клетки взору его предстали ботинки примерно пятьдесят второго размера, заляпанные грязью брюки и уходящий куда-то вверх пиджак невероятной величины.

— Здравствуйте! — раздался сильный голос из-за верхнего косяка.

— З-з... здрась... — выдавил Бушуйский, прирастая вместе со шлепанцами к половику.

— Вы начальник ДЭЗ-13?

От этого простого вопроса во рту у человека в пижаме сразу стало кисло.

— Ну, я, — сказал он.

Мокрый, грязный, невозможного роста и совершенно незнакомый ему гражданин нагнулся и вошел в квартиру.

— В чем дело, товарищ? — немедленно осипнув, спросил начальник ДЭЗ-13.

— Нуждам населения — внимание и заботу! — надвигаясь на микрорайонного владыку, объявил вошедший.

Услышав такое с утра пораньше, владыка больно ущипнул себя за костлявую ляжку, но проснуться второй раз не получилось.

— Товарищ Бушуйский! — Голосом мокрого гражданина можно было забивать сваи. — Работать надо лучше!

От подобного хамства Павел Игнатьевич пришел наконец в себя и уже открыл было рот, чтобы посулить вошедшему пятнадцать суток, но поглядел ему в глаза — и раздумал.

Что-то в выражении этих глаз остановило его.

— Сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня! — пояснил свою мысль гражданин и, положив пудовые руки на плечи Бушуйскому, крикнул ему в ухо, как глухому: — Превратим наш район в образцовый!

Про начальника ДЭЗ-13 надо сказать, что его отличала сообразительность. Не подвела она и на этот раз. «Приехали, — подумал он. — Типичный сумасшедший. Мамочки родные!»

— Превратим, превратим... — мягко, чтобы не раздражать гражданина-горемыку, согласился Бушуйский, мечтая, однако, не о превращении района в образцовый, а совсем напротив — о валидоле или, в крайнем случае, рюмке коньячку.

Совершенно удовлетворенный ответом, гражданин-горемыка широко улыбнулся: губы его растянулись, как эспандер, и встали на свои места. Он крепко пожал Павлу Игнатьевичу руку, после чего она сразу отнялась, шагнул, маяча широкой спиной, к двери, но вдруг, к ужасу хозяина квартиры, обернулся:

— Дали слово — выполним?

— Выполним, выполним, — немедленно заверил Бушуйский, осторожно заглядывая в лучезарные глаза сумасшедшего.

— Экономьте электроэнергию, — напомнил на прощание гражданин, погасил свет в прихожей и ушел.

Заперев дверь, Бушуйский бросился к телефону. «Предупредить милицию, — думал он, пытаясь попасть пальцем в отверстие диска, — а то этот может дел натворить...»

Но сообразительность и тут не оставила его.

«Стоп-стоп... А что я скажу?» И от мысли, что хотел нажаловаться на человека, посоветовавшего работать лучше, чем вчера, Бушуйский поежился. Торопливо нажав на рычаг, начальник ДЭЗ-13 потрусил к постели.

«Надо же, — угревшись под одеялом, философски вздохнул он минуту спустя, — вот так жил человек, жил — и вдруг тронулся... Эх, жисть-жестянка!» И, исполненный сладкого чувства собственной полноценности, владыка погрузился в теплую тину дремы.

Город просыпался.

Дома, как огромные корабли, всплывали в серый день. Уже выходили из подъездов люди, открывали зонты, поднимали воротники плащей и, выдохнув, ныряли в сырую непогоду. Десятками забивались они на островок суши под козырьком остановки и оттуда тянули шеи, с надеждой вглядываясь в даль...

Один из стоявших на остановке сильно выделялся среди прочих граждан. Во-первых, ростом. Там, где у граждан были шляпы, у этого была грудь. Чудовищных размеров детина сутулился и пригибал голову, чтобы уместиться под козырьком. Ни плаща, ни зонта у детины не имелось, а выглядел он так, словно только что оделся в секции уцененных товаров.

Вел себя гражданин странно. а именно: всем, радостно улыбаясь, говорил «доброе утро, товарищи», за что и получил от товарищей несколько неприязненных взглядов в упор. Товарищи имели об этом утре отдельное мнение.

Автобус не шел. Во время, свободное от разглядывания пустого горизонта, люди начали коситься на соседей, оценивая их конкурентоспособность. На высоченного гражданина смотрели с персональной ненавистью, от чего на лице у того медленно проступало недоумение.

Из-за поворота выполз автобус, грязный, как Земля за пять дней до первого выходного. Когда служивый люд метался по лужам, гражданин последний раз всех удивил, предложив пропустить вперед женщин, — но уж не тут-то было! Демонстрируя силу масс, его молча пихнули в спину, стиснули с боков, оттерли в сторону, повозили лицом по стеклу и с криком «э-эх!» внесли в автобусное чрево; двери со скрежетом закрылись у него за спиной.

Человек с плаката, согнувшись в три погибели, трясся в полутемном автобусе.

Он ехал просто так, куда-нибудь, ехал, искренне сокрушаясь, что не может своевременно и правильно оплатить свой проезд. Ему было стыдно, но это чувство уже заглушалось другим. Жизнь влекла его; с волнением заглядывал он в людские лица, с тревогой всматривался в пейзаж, проползающий за окном. Мир, в который он попал, был огромен и странен.

Вот, например, сидит симпатичный молодой человек с усиками — почему он сидит? Ведь написано же: «Места для пассажиров с детьми и инвалидов». Неужели инвалид? Странно... Вот косо льется с рамы на сиденье вода — кто так сделал эту раму? Человек морщил крупный лоб. И почему так шатает автобус, и такая грязь везде, и люди перебираются через нее по бетонным плитам? Почему бы не отремонтировать, водосток не сделать? Ведь все во имя человека, все для блага человека! А плиты в грязи? Ведь экономика какой должна быть? Неужели кто-то не знает? В чем же дело? Напрягаясь в поисках ответов, человек сводил густые брови к переносице. И почему так посмотрел мужчина в брезентовом берете? Откуда эта ненависть? Нет, это совершенно непонятно...

На конечной двери раскрылись, и автобус начал выдавливать из себя пассажиров. Последним был выдавлен какой-то высоченный в синем костюме. Он постоял минуту, поднял воротник и побрел за всеми, а на месте, где он стоял, начала расплываться по асфальту синяя лужица, словно пролили немного краски.

К полудню дождь перестал падать на землю. Солнце засверкало над крышами, над опорами электропередачи, над очередью за апельсинами у метро. Когда последние капли разбились об асфальт, из вестибюля, пошатываясь, вышел человек.

Те, кто видел его несколько часов назад, могли бы подтвердить: человек стал бледнее. Румянец будто осыпался с его щек, и как ни огромен был он сейчас, а раньше все-таки был выше. Пиджак на гражданине уже не казался новым, одна пуговица болталась на нитке, другой вообще не было, да и брюки сильно претерпели от действительности.

Перемены, словом, были очевидные. Но лишь тот, кто удосужился бы повнимательнее посмотреть человеку в глаза, смог бы заметить главное: у человека появился неспокойный взгляд, вертикальная складка прорубилась между бровей, а уголки рта опустились вниз.

Виною этому, надо признать, были жители города. Они очень встревожили человека. С ними, решил он, что-то случилось.

Они не смотрели вдаль уверенным взглядом — они вообще не смотрели вдаль: совершенно разные, непохожие, одетые черт-те во что, они не были взаимно вежливы и не уступали мест престарелым. Они тесно стояли на длинных ползущих лестницах, хмуро глядя в пространство; из черной дыры с ревом вылетали поезда и, набив утробу людьми, с воем уносились прочь. Людская река швыряла человека как щепку, людские лица мелькали вокруг — и от всего этого слабость потекла по его суставам, и, вырвавшись наконец наверх, из водоворота, в который попал он, занесенный этой рекой, человек судорожно вдохнул теплеющий воздух и опустился на мокрую скамейку у ободранного газетного стенда, с ужасом понимая, что все вокруг совсем не так, как должно быть.

Синяя струйка у его ног светлела, расплываясь в дождевой воде.

— Сердце прихватило? — У скамейки стояла женщина. — Чего молчишь-то?

Женщина открыла сумку, вынула металлическую трубочку и вытряхнула из нее две белые таблетки.

— Такой молодой, а уже сердце... — Она покачала головой. — Вот, возьми.

Человек недоуменно смотрел на нее. Потом подобие улыбки тронуло широкие полосы его губ.

— Чего смотришь-то? — Женщина смутилась. — Да бери ты их, вот бедолага, ей-богу...

— Бога нет, — произнес человек на скамейке, крепкими зубами разжевал таблетки, потом вспомнил что-то и сообщил: — Религия — опиум народа!

Женщина ойкнула, посмотрела на человека большими глазами и вдруг рассмеялась. И он, сам не зная почему, с облегчением засмеялся в ответ.

Раньше человек знал одну женщину. Почти с него рос-

том, она стояла на той стороне проспекта со снопом пшеницы на плече. Рядом, подпирая ее, высились мужчины-близнецы: один в каске — строитель, а другой, точь-в-точь такой же, но без каски и в очках, — значит, интеллигент. Женщина не вызывала у человека никаких посторонних чувств, кроме уважения.

А от этой, маленькой, с ямочкой на щеке и таким детским симпатичным смехом, у него потеплело внутри и вдруг захотелось странного: прикоснуться к ней, погладить по голове, приласкать. Он испугался, встал, чтобы уйти, но земля поплыла под ногами.

Женщина перестала смеяться.

— Погоди-ка, — сказала она, — ты что — голодный?

Мужчина молчал.

— Ты сегодня ел?

Мужчина отрицательно покачал головой.

— Господи, бывают же стервы! — с чувством произнесла женщина и, подумав не больше секунды, прибавила: — Идем, покормлю тебя! Ой, да не бойся ты... Я тут близко.

Человек с удивлением обнаружил, что послушаться ее не может.

Жила женщина действительно недалеко.

— Входи, входи.

Через минуту он сидел на низеньком табурете и опасно косился на узкоглазую, почти совсем раздетую девушку у синего моря, смотревшую с календаря. Потом перевел удивленный взгляд на облупленный подоконник, на баночку с луковицей, на стены в потеках, на связку газет в углу и — с замиранием сердца — на маленькую женщину, возившуюся у плиты.

— Чего молчишь? — на секунду обернувшись, спросила она.

— Думаю, — честно ответил он.

— Ну-ну, — улыбнулась женщина, и симпатичная ямочка снова прыгнула на ее щеку. — Сейчас будет готово.

Ему очень понравилась эта улыбка, и вообще: уходить из кухоньки почему-то никуда не хотелось, хотя роста благосостояния народа здесь не наблюдалось совсем. Женщина осторожно поставила на стол тарелку и села напротив.

— Ешь.

У нее был добрый голос и глаза добрые — и, поглядев в них сейчас, человек вдруг понял, что с этой женщиной он хочет пойти в районный отдел загса и там вступить с нею в брак.

А поняв это, ужасно заволновался.

— Ты что?

— Нет, ничего, — сказал он и покраснел, потому что ложь унижает человека.

— Ты ешь, ешь...

Он послушно взял ложку.

— Дай-ка пиджак! — Женщина ловко вдела нитку в игольное ушко. — Как тебя звать-то? — участливо спросила она через минуту.

Человек медленно опустил ложку в щи и задумался.

— Слава... — проговорил он наконец.

— Слава, — повторила женщина, примеряя к нему это имя. — А меня — Таня.

Она тремя взмахами пришила пуговицу и, нагнувшись, откусила нитку. Человек украдкой смотрел на нее, и ему было хорошо.

— Ты не переживай особо, — вдруг сказала женщина. — Сама же потом пожалеет, вот увидишь. Перемелется — мука будет...

— Да, — ничего не поняв, согласился мужчина и на всякий случай добавил: — Хлеб — наше богатство.

— А? — Таня поглядела на него долгим, тревожным и удивленным взглядом, и от этого взгляда у человека перехватило дыхание. — Ты чего?

— Я? — переспросил он. В груди его остро заныло какое-то новое чувство. — Я... — Он отложил ложку. Он решил. — Таня. — Голос человека зазвучал ровно и торжественно. — Я хотел предложить вам... — Он сглотнул. — Давайте с вами создадим семью — ячейку общества.

— Ты... ты что? Ты с ума сошел? — Слезы уже стояли в ее глазах. — Ты что, издеваешься. да? За что?

Она резко встала и отошла к окну. Человек растерялся.

— Я не сошел с ума, — проговорил он наконец. — Я не издеваюсь. Я серьезно.

Женщина вздрогнула, как от удара, взяла с подоконника сигареты и зачиркала спичкой. Человек насторожился. Ему стало ясно, что он сделал что-то не так. В повисшей тишине потикивали ходики.

— Странный ты какой-то, — наконец, затянувшись, негромко сказала она в стекло и тревожно оглянулась на него. — Слушай, чего это ты все время?

— Чего я все время? — Человек изо всех сил пытался понять, в чем дело.

— Ну, говоришь чего-то. Слова разные...

— Слова?

— Ну да. — Таня невесело усмехнулась. — Не обижайся, только... ты будто ненастоящий какой-то, правда...

— Почему... ненастоящий? — раздельно, не сводя с женщины пристальных глаз, спросил человек.

Она не ответила — и тогда жернова мыслей заворочались в его лобастой голове.

— Простите, Таня, — медленно сказал он, вставая. — Простите, я, наверное, пойду.

— Подожди! — Ее глаза заглядывали снизу, искали ответа. — Ты обиделся — обиделся, да? Но я не хотела, честное слово... Господи, вечно я ляпну чего-нибудь! — Она жалобно развела руками. — Не уходи, Слава, сейчас картошка будет. Ты же голодный...

Последние слова она сказала уже шепотом.

— Нет, — ответил человек, чувствуя, как снова начинает плыть земля под ногами. Он тонул в зеленых глазах женщины. Ему хотелось сказать на прощание, что Минздрав СССР предупреждает, но он удержался, а потом, уже на пороге, сказал совсем другое:

— Таня, не сердитесь. Вы мне очень нравитесь. Это правда. Но я должен идти. Мне надо.

Говорить было трудно. Приходилось самому подбирать слова, и человек очень устал. Он хотел во всем разобраться.

— Заходи, Слава, — тихо ответила женщина. — Я тебя накормлю. — И протянула пиджак.

Что-то встало у человека в горле, мешая говорить. Он, как маленькую, погладил ее по голове огромной ладонью.

— Спасибо.

Синяя струйка потянулась за ним к лифту.

Человек шел через город.

Он не знал адреса, он никогда не был там, куда шел, но что-то властно вело его, какое-то странное чувство толка-

ло в переулки, заставляло переходить кишащие машинами улицы и снова идти. Его пошатывало, синяя струйка стекала по грязным ботинкам, окрашивая лужи на тротуарах, но человек не замечал этого. Он шел, боясь заглядывать в лица прохожих.

Он был чужим в этом городе, чужим — со своим пиджаком, со своим ростом, со своими хорошими мыслями, заколоченными в восклицательные знаки.

У перехода человек остановился, пропуская машину, и она окатила его бурым месивом из лужи. Быстро обернувшись, он увидел за рулем холеную женщину в алом плаще, со странной тоской вспомнил Таню, ее кухню, луковичу в баночке на облупленном подоконнике — и насупил брови, уязвленный сравнением, и снова, как тогда, на скамейке, услышал свое сердце.

— От каждого по способностям — каждому по труду! — глухо произнес человек, провозжая стремительный «Мерседес», и помрачнел, размышляя о таинственных способностях женщины за рулем.

Две проходившие мимо представительницы советской молодежи переглянулись и прыснули.

Человек шел через город, и, как почва в землетрясение, трещинами расходились извилины за высоким куполом его лба. Он впитывал в себя этот мир, он начинал понимать его, но что-то нехорошее уже происходило в нем.

Возле площади с огромным каменным гражданином посередке человек перешел улицу в неподобающем месте и зашагал дальше под милицейскую трель. «Красный свет зажегся — стой!» — ожесточенно прошептал человек, и кривая усмешка обезобразила его лицо.

Смеркалось, когда, повернув в затерянный между шумными магистралями переулок, человек остановился у подъезда старого, с облупленной лепниной на стенах дома: здесь!

Кукин, чертыхаясь, начал пробираться через полутемный, заваленный листами картона коридор. В дверь снова трижды позвонили — громко и требовательно.

— Кто? — крикнул он, вытирая руки тряпкой, смоченной в растворителе.

— Слава, — ответили из-за двери. «Баулкин приперся», — недовольно подумал Кукин, открывая. Но это был не Баулкин.

— А-а! А-а-а-а!!! — завопил Кукин и, пятась, обрушил с табурета коробку с красками на новое полотно «Пользуйтесь услугами касс!».

Вошедший закрыл дверь и повернулся. Кукин сидел на полу и слабо махал рукой, отгоняя это привидение.

— А-а, — простонал он, поняв наконец, что привидение никуда не уйдет. — Ты как... — Слова зайцами прыгали у него на губах. — Ты откуда?

— От верблюда, — ответил гость.

Гость был грязен, волосы его сваялись и торчали в разные стороны, глаза горели нечеловеческим огнем, но отдадим должное Кукину: он-то узнал вошедшего сразу.

Из лежавшей на боку банки тихонько выползла синяя масляная змейка. Гость осторожно присел на корточки, поднял банку, вдохнул родной запах.

— Ну, здравствуй, — сказал он художнику. Художник сидел, выставив вперед острый локоть и отчетливо представляя руки вошедшего на своей шее. Был он невзрачен и немолод, но умирать ему еще не хотелось.

— Ты меня не узнаешь? — кротко спросил человек.

Нервный смешок заклокотал в худой кукинской груди. Он мелко закивал и, стараясь не делать резких движений, начал подниматься. Поднимаясь, Кукин круглыми, как пятаки, глазами глядел на детище своей умеренной фантазии.

Гость ждал, сдвинув брови. Совсем не таким представлял он себе Создателя, и досада, смешанная с брезгливостью, закопошилась в его груди.

— Поговорить надо.

— П-пожалуйста. — Хозяин деревянным жестом указал в глубь квартиры. — Заходи...те.

Темнело. Дом напротив квадратиками окон выкладывал свою вечернюю мозаику; антенны на крыше сначала еще виднелись немного, а потом совсем растаяли в черном небе. Стало накрапывать.

Потом окна гасли, квадратики съедала тьма, и только несколько их упрямо светились в ночи. Где-то долго звали

какого-то Петю; проехала машина. Дождь все сильнее барабанил по карнизу, и струи змейками стекали по стеклу...

Художник и его гость сидели на кухне.

Между ними стояли стаканы, в блюдечке плавали остатки четвертованного огурца, колбасные шкурки валялись на обрывках «Советского спорта»; раскореженная банка скумбрии венчала натюрморт.

Художник жаловался человеку на жизнь. Он тряс начинающей сесть головой, махал в воздухе ладонью, обнимал человека за плечи и заглядывал снизу в глаза. Человек сидел не совсем вертикально, подперев щеку, отчего один глаз у него закрылся, другой же был уставлен в стол, где двоился и медленно плавал туда-сюда последний обломок хлеба.

Человеку было плохо. Сквозь душные волны тумана в сознание его врывались то жалобы художника на жизнь, то проглянувшее солнце и маленькая женщина у скамейки, то загаженный темный подъезд. Иногда большие полыхающие буквы складывались в слова «Пьянству — бой!». Он не понимал, как произошло, что он сидит за грязным столом с патлатым человечком в свитере и человек обнимает его за плечи.

Внутри что-то медленно горело, краска лилась на линолеум, человек упрямо пытался вспомнить, зачем он здесь, но не мог.

Он посмотрел на художника, вытряхивавшего из горлышка последние капли, — и горькая обида опять закаталась в нем.

— Ты зачем меня нарисовал?

Человечек протестующе замотал руками и сунул человеку стакан.

— Нет, ты ответь! — выкрикнул тот. Человечек усмехнулся.

— Вот пристал, — обратился он к холодильнику «Саратов», призывая того в свидетели. — Сказали — и нарисовал. Кушать мне надо, понял? Жратеньки! И вообще... отвали от меня. Чудило полотняное... На вот лучше.

Человек упрямо уставился в стол.

— Нет. Не буду с тобой пить. Не хочу.

Замолчали. Бескрайнее и холодное, как ночь за окном, одиночество охватило человека.

— Зачем ты меня такого большого нарисовал? — снова горько спросил он, подняв голову. — Зачем? — И неожиданно пожаловался: — Надо мной смеются. Я всем мешаю. Автобусы какие-то маленькие...

Художник притянул его к себе, облизнул щеку и зашептал в самое ухо:

— Извини, друг, ну чес-слово, так получилось... Понимаешь, мне ж платят-то с метра...

Философски разведя руками, человечек зажевал лучок, а до человека начал медленно доходить высокий смысл сказанного.

— Сколько ты за меня получил? — спросил он наконец. Рыцарь плаката жевать перестал и насторожился.

— А что? — Потом усмешечка заиграла у него на губах. — Ла-адно, все мои. Аккордная работа. Двое суток тебя шаршил.

Беспросветная ночь шумела за окном.

— Я пойду, — сказал человек, выпрямился, схватился за косяк и увидел, что человечек в свитере стал с него ростом.

Помедлив, он судорожно потер лоб, соображая, что случилось. «Ишь ты, — тускло подумалось сквозь туман, — гляди, как вырос...»

Вместе с человечком выросла дверь, выросли плита, стол и холодильник «Саратов», узор линолеума плыл перед самыми глазами.

— Ну, куда ты пойдешь, дурачок? Давай у меня оставайся. Раскладушку дам. Жена все равно ушла...

— Нет. — Он отцепил от себя навсегда пропахшие краской пальцы. — Я туда... — Он махнул рукой, и лицо его вдруг осветилось нежностью. — Там мой плакатик.

— Да кто его читает ночью, твой плакатик? — Человечек даже завохтал от смеха.

— Все равно, — уже у дверей попробовал было объяснить человек, но только безнадежно мотнул головой. — А-а, ты не понимаешь...

«Он не понимает, — думал человек, качаясь под тяжелым, сдиравшим с него хмель дождем. — Он сам ненастоящий. Они сами... Но все равно. Просто надо людям напоминать. Они хорошие, только все позабыли...»

Человека осенило.

— Эй! — сказал он, проверяя голос. — Эге-гей!

В ночном переулке, вплетаясь в шум воды, отзывалось эхо.

— Ну-ка, — прошептал человек и, облизнув губы, крикнул в черные окна: — Больше хороших товаров!

Никто не подхватил призыв. Переулок спал, человек был одинок, и сердце его билось одиноко, ровно и сильно. Человек хотел сказать что-то главное, самое-самое главное, но оно ускользнуло, спряталось в черной ночи, и от этого обидо сдавила ему горло.

— Ускорим перевозку грузов! — неуверенно крикнул он.

— Прекратите безобразие! — завизжали сверху и гневно стукнули форточкой. В ответ человек предложил форточке летать самолетами Аэрофлота, осекся, жалобно прошептал: «Не то!..» — и, пошатываясь, пошел дальше.

Он шел по черным улицам, сквозь черные бульвары, он пересекал пустынные площади, качался у бессмысленно мигающих светофоров — и кричал, кричал все, что выдиралось из вязкой тьмы сознания. Он очень хотел привести жизнь в порядок.

— Заказам села — зеленую улицу! — кричал он, и слезы катились по его лицу и таяли в дождевых струях. — Пионер — всем ребятам пример!

Слова теснились в его горемычной голове, налезали друг на друга, как льдины в ледоход. У змеящихся по мосту трамвайных путей человек наконец вспомнил самое главное и остановился.

— Человек человеку — брат! — срывая горло, крикнул он слепым домам, взлетевшим над набережной. И еще раз — в черное небо, сложив ладони рупором: — Человек человеку — брат!

Он возвращался на свой пост, покинутый жизнь назад, серым утром этого дня. Огромные деревья шумели над ним, со стен огромных домов подозрительно смотрели вслед огромные правильнолицые близнецы.

Под утро дождь прекратился.

Солнце осветило сырую землю, разбросанные кубики многоэтажек, пустой киоск «Союзпечати», огромное полотно плаката, стоявшее у проспекта. Сверху по полот-

нищу было написано что-то метровыми буквами, а в нижнем углу, привалившись к боковине и обняв ее, приютился маленький человек — в грязном, помятом костюме, небритый, с мешками под прикрытыми глазами. Человек блаженно улыбался во сне. Ему снилось что-то хорошее.

Суточное отсутствие человека никем, по странному стечению обстоятельств, замечено не было, но его возвращение на плакат в таком виде повлекло меры естественные и быстрые. В милиции, а потом в райсовете затрещали телефоны, и начались поиски виновных. Милиция проявила оперативность, и поиски эти вскоре привели в квартиру члена профсоюза живописцев Ю. А. Кукина, обнаруженного там в скрюченном виде среди пыльных холстов, на которых намалявано было одно и то же целеустремленное лицо. Сам же член профсоюза находился в состоянии, всякие объяснения исключающем. Получить их, однако, попытались, но услышали только меланхолическую сентенцию насчет оплаты с метра, после чего рыцаря плаката стошнило.

А к маленькому человеку, спящему над проспектом, подъехал грузовик; двое хмурых мужиков, торопясь, отвязали хлопающее на ветру полотнище и повезли его на городскую свалку.

В огромной металлической раме у проспекта теперь высились дома, чернел лес, по холодному небу плыли облака и пролетали птицы. Скрипя и набирая мощь, раскручивался над городом огромный маховик дня.

Машину подбрасывало на плохой дороге, и человек морщился во сне.

1986



Цветы для профессора Плейшнера



— Куда? — сквозь щель спросил таксист.

— В Париж, — ответил Уваров.

— Оплатишь два конца, — предупредил таксист, подумав. Уваров кивнул и был допущен.

У светофора таксист закурил и включил транзистор. В эфире зашуршало.

— А чего это тебе в Париж? — спросил он.

— Эйфелеву башню хочу посмотреть, — объяснил Уваров.

— А-а.

Минуту ехали молча.

— А зачем тебе эта башня? — спросил таксист.

— Просто так, — ответил Уваров. — Говорят, красивая штукавина.

— А-а, — сказал таксист. Пересекли Кольцевую.

— И что, выше Останкинской?

— Почему выше, — ответил Уваров. — Ниже.

— Вот, — удовлетворенно сказал таксист и завертел ручку настройки. Передавали погоду. По Европе гуляли циклоны.

— Застрянем — откапывать будешь сам, — предупредил таксист.

Ужинали под Смоленском.

— Шурик, — говорил таксист, обнимая Уварова и ковыряя в зубе большим сизым ногтем, — сегодня плачу я!

У большого шлагбаума возле Бреста к машине подошел молодой человек в фуражке, козырнул и попросил предъявить.

Уваров предъявил членскую книжечку Общества охраны природы, а таксист — водительские права. Любозна-

тельный молодой человек этим не удовлетворился и попросил написать ему на память, куда они едут.

Уваров написал: «Еду в Париж», а в графе «цель поездки» — «посмотреть на Эйфелеву башню».

Таксист написал: «Везу Шурика».

Молодой человек в фуражке прочел оба листочка и спросил:

— А меня возьмете?

— Ну, садись, — разрешил Уваров.

— Я мигом, — сказал молодой человек, сбегал на пост, поднял шлагбаум и оставил под стеклом записку: «Уехал в Париж с Шуриком Уваровым. Не волнуйтесь».

— Может, опустить шлагбаум-то? — спросил таксист, когда отъехали на пол-Польши.

— Да черт с ним, пускай торчит, — ответил молодой человек и выбросил в окно фуражку.

Без фуражки его звали Федя. Федя был юн, веснушчат и дико озирался по сторонам. Таксист велел ему называть себя просто Никодим Петрович Мальцев. Он крутил ручку настройки, пытаясь поймать родную речь. Уваров изучал путеводитель по Парижу.

По просьбе Феди сделали небольшой крюк и заехали за пивом в Австрию, где, уже в Венском лесу, Федя метким выстрелом через окно уложил оленя. Чтобы не оставлять следов, пришлось развести костер, зажарить оленя и съесть его.

Отпилив на память рога, они выбрались на автобан — и покатили, ориентируясь по солнцу.

На заправке Уваров вышел размять ноги и вдыхал-выдыхал воздух свободы, пока блондинка с несусветной грудью заливала Никодиму Петровичу полный бак. Федя прижимался всеми веснушками к стеклу и строил ей глазки.

Уваров дал блондинке десять рублей, и, пока выезжали с заправки, блондинка все смотрела на червонец круглыми, как австрийские шиллинги, глазами.

В Берне Федя предложил возложить красные гвоздики к дому, где покончил с собой профессор Плейшнер. Пугая аборигенов автомобилем «ГАЗ», они дотемна колесили по городу, но дома с цветком не нашли.

До самого Парижа Федя ехал расстроенный.

В Париж приехали весной.

Оставив Уварова у Эйфелевой башни, Никодим Петрович поехал искать профсоюз таксистов, чтобы очень поделиться с ними своим опытом. Федя, заблаговременно запертый на заднем сиденье, канючил и просил дать ему погулять в одиночестве по местам расстрела парижских коммунаров.

Пока Никодим Петрович делился опытом, Федя все-таки из машины исчез — вместе с рогами и гвоздиками. Искать его было трудно, потому что все улицы назывались не по-русски, но ближе к вечеру таксист Федю нашел — у какого-то подозрительного дома с красным фонарем над дверью.

Федя был с рогами, но без гвоздик.

На суровые вопросы: где был, что делал и куда возложил гвоздики — Федя шкодливо улыбался и краснел.

Уваров катался на карусели у подножия Эйфелевой башни, попивая красненькое. Никодим Петрович Мальцев наябедничал ему на Федю, и тут же двумя голосами «за» при одном воздержавшемся было решено больше Федю в Париж не брать.

— Хорошенького понемножку, — сказал таксист. — Домой!

— Может, до Мадрида подбросишь, шеф? — спросил Уваров. — Там в воскресенье коррида...

— Не, я закончил, — печально покачал головой Никодим Петрович и опустил табличку «В парк».

Прощальный ужин Уваров давал в «Максима».

— Хороший ресторан... — несмело вздохнул наказанный Федя, вертя бесфуражной головой.

— Это пулемет такой был, — вспомнил Никодим Петрович.

Уваров заказал устриц и антрекот с кровью. Никодим Петрович жестами попросил голубцов. Федя потребовал шоколадку и двести коньяка, но коньяк у него таксист отобрал.

В машине Федя сидел трезвый, обиженно шуршал серебряной оберткой, делал из нее рюмочку. Никодим Петрович вертел ручку настройки, Уваров прислушивался к тому, как внутри него негромко перевариваются устрицы. За бампером исчезал город Париж.

Проезжая мимо заправочной станции, они увидели блондинку, рассматривающую червонец.

В Венском лесу пощелкивали соловьи. Уваров начал насвистывать из Штрауса, а Федя — из Паулса.

У большого слагбаума возле Бреста стояла толпа военных и читала записку. Никодим Петрович выпустил Федю и, простив за все, троекратно расцеловал. Тот лупил рыжими ресницами, шмыгал носом и обнимал рога.

— Федя, — сказал на прощание Никодим Петрович, — веди себя хорошо.

Федя покивал головой, потом сбегал на пост, вернулся в фуражке и попросил предъявить.

— Вали в туман, Федя, — миролюбиво ответил Уваров. — А то исключим из комсомола.

— Контрабанды не везете? — спросил Федя и заплакал.

Машина тронулась, и военные, вздрогнув, выдали троекратное «ура».

Неподалеку от Калуги Никодим Петрович Мальцев вздохнул:

— Жалко Федю. Пропадет без присмотра.

У Кольцевой он сказал:

— А эта... башня твоя... ничего!

— Башня что надо, — отозвался Уваров, жалея о пропущенной корриде.

Прошло еще несколько минут.

— Но Останкинская повыше будет, — отметил таксист.

— Повыше, — согласился Уваров.



Ничего, кроме правды



В первый раз Паша Пенкин заподозрил

неладное осенью, когда биологичка изрисовала ему весь дневник «парами», а в четверти вывела «четыре», хотя Пенкин ничего такого не просил.

Человеком он был неученым, но любознательным — и нашел случай заглянуть в классный журнал, где напротив своей фамилии обнаружил совсем не то, что значилось в дневнике.

«Как же это так?» — спросил он себя и, не найдя ответа, принес на урок жабу и подложил биологичке на стол. Жаба, в отличие от успеваемости, была настоящая, и училка пол-урока орала как резаная, но месть не утолила Пашину душу.

Вопрос, мучивший Пенкина, оставался без ответа. Он был совсем юн и не знал, что за низкий процент успеваемости учителей лишают сладкого прямо на педсовете.

Но когда, не переставая плевать комочками промокашки, коллектив шестого «А» принял повышенные обязательства по учебе, Пашу вдруг осенило. Он начал связывать явления.

Вдруг вспомнился Пенкину щенок ирландского сеттера Джим, за которого он отдал транзисторный приемник «Турист». «Турист» перекачывал к угреватому сельскому переростку, а щенок вырос и стал удивительно похож на отечественную дворняжку. Пенкин, вздохнув, переименовал Джима в Шарика, но от родительских прав не отказался...

Он начал всматриваться в жизнь; он украл из школьного буфета килограммовую гирику и взвесил ее. Гирика недотягивала тридцать граммов, и Паша гирику не вернул.

В его жизни наступила пора прозрения: он понял, что слова вообще не имеют с жизнью ничего общего — как

гипсовые уродцы под вечным салютом в пионерлагере, где есть футбол, речка и сладкий компот...

Была зима. Уроков Пенкин не учил, получал что давали и жил в свое удовольствие, пока однажды на физике не получил записку следующего содержания: «Пенкин! Пойдем в кино на «Ступени супружеской жизни»?»

Под посланием стояли инициалы А. К. — оба с барашками-вензельками.

Он пошарил взглядом по классу, наткнулся на внимательные темно-серые глаза Анечки Куниной — и кивнул.

После школы Паша помчал в кино, отстоял очередь и на единственный рубль купил два билета на вечер. Дома он понял, что полюбил навек; бродил как лунатик по квартире, обеда не ел, уроков не учил, полчаса расчесывал у зеркала вихры, а потом час простоял у входа в кинотеатр и промерз, как собака, без всякой пользы: без пользы, потому что А.К. не пришла, а промерз, потому что обещали минус два-четыре, а стукнуло минус десять.

Пенкин скакал домой и думал, что больше никогда никому не поверит — ни женщинам, ни радио.

Мама сказала: «О господи» — и, напоив чаем с малиной, уложила его в постель. Малина была сладкая, а чай — горячий, и, засыпая, Пенкин подумал, что, пожалуй, для мамы он сделает исключение.

Наутро выяснилось, что А.К. передумала смотреть «Ступени супружеской жизни» и пошла с Петькой Крыловым на Гойко Митича.

Пенкин ничего ей не сказал — из гордости и потому что осип, несмотря на малину. «Никому нельзя верить, — мрачно думал он, рисуя самолеты на промокашке. — Никому».

Пенкин уже не понимал, как мог полюбить такую дурку, но было обидно из принципа.

Вечером мама все-таки затащила его в поликлинику, где Пашу посадили к какому-то аппарату, засунули в нос трубку, а перед носом поставили песочные часы.

— Следи, — предупредила тетка в белом халате. — По минуте на ноздрю!

— Тут ровно минута? — уточнил Пенкин, глядя, как сыплется песочек из прозрачного конуса.

— Ровно, ровно, — сказала тетка и ушла за занавеску.

Паша тихонько вынул трубку из ноздри, по-кроличьи подергал носом, подождал, пока конус опустеет, перевернул часы и засек время.

— Посмотрим, посмотрим... — шептал он, глядя то на струйку песка, то на циферблат.

Последняя песчинка упала на пятьдесят второй секунде.

До дому было недалеко.

— Знаешь, я в эту поликлинику больше не пойду, — помолчав, сообщил Пенкин.

— Вот еще новости, — сказала мама. — Пойдешь как миленький.

— Нет, — мрачно ответил Пенкин. — Вот увидишь.

Они миновали мертвую стройку дома, в котором, по всем бумагам, давно жили люди; они вошли в загаженный подъезд образцового содержания.

В квартире, повизгивая от нетерпения, их ждал ирландский сеттер Шарик.



Педагогическая поэма

В пятницу вечером

пионер Федя Пупыкин вбежал в буфет Дома пионеров Краснозаборского района, бухнулся за стол и дал щелбана в лоб пионеру Косте Ухову, евшему в это время пирожное «бантик». Пионер Костя Ухов перестал есть «бантик» и с криком «уя, дурило!» вдарил пионера Пупыкина по башке учебником «Физика» для шестого класса.

Крик пионера Ухова и глухой звук, случившийся вслед за этим, привлекли внимание присутствовавших, как-то: коменданта Соснова, пионервожатой Игнатькиной, педагогов Штапельного и Зайцевой, а также уборщицы Бучкиной и самой буфетчицы — больших добродетелей женщины Марьи Кубатуровой.

Она и призвала к порядку.

— А ну-кась, убирайся отсюда в верхней одежде! — зычно крикнула Марья Кубатурова ударенному по башке пионеру-хулигану. — Ну-ка, быстро!

Пионер-хулиган Пупыкин вздрогнул, заморгал рыжими ресницами и стянул с себя курточку, обнаружив на ней нерусское слово.

— Кому сказано: убирайся! — заорала тогда Марья Кубатурова, чьи добродетели не могли потерпеть наглого пупыкинского вида. — Расселся, чучело огородное!

— Чего вы ругаетесь-то? — озадаченно спросил второй хулиган, собираясь вкусить от пирожного «бантик».

— А ты, оболтус, не лезь! — подавила вылазку Кубатурова. — Ишь, лезет!

— Очень умные стали, — сложив губки червячком и прищурившись, объяснила хулиганскую солидарность уборщица Бучкина, женщина маленькая, но в конфликтах незаменимая. — Гра-амотные...

Как раз на слове «грамотные» кончилось терпение комманданта Соснова, человека редкой прямоты.

— Ну-ка, выметайтесь, бандиты! — гаркнул он, поднимаясь из-за своего столика, где с тех пор, как завязал, всегда пил кефир. — Выметайтесь, кому говорю! Русский язык понимаете?

— Они не понимают, — вставилась язвительная Бучкина и ткнула ручкой в заваленные окаменелостями столы. — Они только свинячить умеют, а за ними убирай.

— Да чего мы сделали-то? — пришел наконец в себя пионер-хулиган Пупыкин.

— Я те покажу «чего сделали»... — пообещала из-за прилавка женщина больших добродетелей.

— Стыдно, ребята! — звонко крикнула пионервожатая Игнатькина. — Государство предоставляет вам право на бесплатное образование, а вы позорите красный галстук, частичку нашего знамени! Вы знаете, сколько стоит учебник?

Голос ее дрогнул и сорвался.

— Вы из какой школы? — поправляя очки, внес свежую педагогическую струю Штапельный, известный мастер пионерских приветствий. — Кто у вас директор?

— Да чего директор-то? — струсил пионер-хулиган Ухов, а пионер-хулиган Пупыкин насутился и спросил подозрительно:

— Зачем вам директор?

— Вы не хамите тут, — встала на защиту коллеги педагог Зайцева, боровшаяся с детьми уже четвертое десятилетие.

— Совести у них нет, у бесстыжих! — снова вскипело у Марьи Кубатуровой. — Нацепят на себя черт-те чего и ходят...

— А пороть их надо, вот что, — угрюмо предложил вдруг человек редкой прямоты.

— За что-о? — лупя ресницами, завыл непоротый пионер-хулиган Пупыкин.

— Пороть, пороть, — неумолимо подтвердил человек редкой прямоты.

— Они, вишь, гордые, — заметила уборщица Бучкина, тоже подходя ближе и отирая руки. — Труда не любят, а не тронь их.

— Конечн-е-счно, — навалившись всем, чем можно, на прилавок, протянула Марья Кубатурова. — Они таки-ие...

— Да чего мы сделали-то? — в ужасе закричал гуняедец Пупыкин.

— Я те покажу «чего сделали», — с удовольствием завила женщина больших добродетелей.

— Стыдно, ребята! — звонко крикнула, вставая на стул, пионервожатая Игнаткина. — Вы наша смена, на вас октябрята равняются, а вы...

Она зарыдала.

— Вы чего? — ошалело спросил Ухов, держа в руке пирожное «бантик» и вертя головой на спичечной шее. Космополит Пупыкин уже нащупывал осторожной рукой свою хулиганскую куртку.

— Вон отсюда! — железным голосом произнесла педагог Зайцева. — Хулиганье пакостное, управы на вас нет! — Она покраснела, потом побелела и, видимо, вспомнив об управе, пошла пятнами. — Вон, кому сказано!

Пакостное хулиганье, озираясь, пятилось от стола.

— А убирать кто будет? — взвизгнула уборщица Бучкина.

— Назад, мерзавцы! — гаркнул человек редкой доброты.

Рецидивисты затравленно переглянулись. Мерзавец Ухов, держа под мышкой «Физику», а в зубах — пирожное «бантик», прошмыгнул со своей тарелкой на мойку.

— До свидания, — саркастически напомнил иродам педагог Штапельный.

— Ага, — выдавил, исчезая первым, разложенец Пупыкин. За ним, прижав к груди пирожное «бантик» и кланяясь, из буфета выполз стервец, пакостник и растлитель октябрят Ухов.

Воспитание подрастающего поколения сильно сплотило коллектив. Штапельный поправил очки, утер лоб платком и оглядел публику. Лицо Зайцевы приняло исходный цвет. Бучкина, приложив к глазам грязную ладошку, стала в дверях, наблюдая отступление неприятеля.

Редкой прямоты человек, продолжая шептать заветное слово «пороть», взял у женщины больших добродетелей второй стакан кефира, и Кубатурова дала ему тот, что был без недолива.

Жизнь, прерванная налетом пионеров, входила в нормальное русло.

В углу, подрагивая над грязным столом, всхлипывала пионервожатая Игнаткина.



Лондон, Даунинг-стрит, 10

Из почты 80-х

Уважаемая госпожа Тэтчер!

С тревогой узнали мы, свиарки совхоза «Собакино», об очередном наступлении на права простых великобританцев: повышении на 10 пенсов цен на ситечки.

Позвольте по праву женской солидарности, госпожа премьер-министр, сказать, не выбирая выражений:

Рита!

Завязывай с этим делом, а то хуже будет. Не думай, что тебе удастся безнаказанно ущемить права простых человек на ситечки. Это больно ударило по нашему классовому чувству, а ты нас знаешь.

Поэтому мы, собакинские свиарки, тебя, Рита, предупреждаем: либо ситечки станут, как были до понешней среды, — либо наши свиньи объявляют голодовку! И вся ответственность за ее последствия ляжет на твой кабинет, Рита, потому что кормить их все равно нечем, а наш председатель еще в позапрошлую пятницу сел писать протест твоему другу Шимону Пересу насчет оккупации арабских земель, не пришел к единому мнению и, разбившись на рабочие секции, исчез в поисках консенсуса. Его нет десятки сутки, Рита, так что давай одно из двух: или чтоб председатель вернулся с консенсусом — или вертай обратно цены на ситечки, потому что терпеть эти джунгли сил наших больше нет.

С классовым приветом, свиарки совхоза «Собакино».

В**ы**бранные места из переписки с соседом



Многоуважаемый!

(К сожалению, не знаю Вашего имени-отчества.)

Пишет Вам Ваш сосед из квартиры 33, Нильский Константин Леонидович. Вы должны помнить меня. Я тот, в чью дверь Вы позвонили, а потом колотили ногами вчера, в половине третьего пасхальной ночи, когда у Вас кончилась, как Вы изволили выразиться, заправка.

Вспомнили? Вам еще не понравилось выражение моего лица, когда, открыв, я предложил не тревожить людей по ночам. Вы еще положили на мое лицо свою большую шершавую ладонь и несколько раз сжали, приговаривая «Христос воскрес!» — а потом отпустили и сказали, что так гораздо лучше.

Я рад, что Вам понравилось, потому что многие, напротив, находят, что лучше было до. Впрочем, о вкусах не спорят.

Судя по времени Вашего визита ко мне, человек Вы чрезвычайно занятой, поэтому сразу перехожу к делу. Предметом данного письма служит мое желание извиниться за вчерашнее. Обращенное к Вам, человеку, столь остро нуждавшемуся в заправке, мое предложение не тревожить людей по ночам нельзя не признать бестактным.

Сожалею также, что не сразу ответил по-христиански на Ваше приветствие; в оправдание могу заметить только, что, будучи взят за лицо, тут же осознал.

Трижды сожалею, что, будучи прищемлен за голову дверью, пытался ввести Вас в заблуждение относительно своей этнической принадлежности. Находясь тридцать лет на младшей инженерной должности, я непростительно

оторвался от простого народа, его идеологии и повседневных практических нужд. Этим, собственно, и были вызваны мои интеллигентско-либеральные крики в течение следующих двух часов, когда Вы пинали меня ногами, бросали в сервант предметами из моего болгарского гарнитура и высаживали стекла отечественным фикусом.

Надеюсь, Вы не обиделись на меня за то, что я пытался чинить стулья и сыпать землю обратно в горшок: вирус мещанского благополучия поразил меня еще в юности, когда, вместо того чтобы улучшать результаты по надеванию противогаза, я начал добиваться от властей отдельной квартиры с отоплением и без слесаря Тунгусова, мочившегося на мой учебник по сопромату.

Рецидивы буржуазного индивидуализма до сих пор мешают мне адекватно реагировать на свободные проявления трудящихся. Поэтому, когда Вы начали бить семейный фарфор и зубами выдирать из обложек полное собрание сочинений графа Толстого, я заплакал. Зная Вас по прошедшей ночи как человека чрезвычайно чуткого, я прошу не принимать эти слезы близко к сердцу. Слабая нервная система всегда подводила меня, мешая получать удовольствие от жизни среди всех вас.

В заключение хочу пожелать Вам крепкого-крепкого здоровья, большого, как Вы сам, счастья и успехов в Вашем хотя и неизвестном мне, но, конечно, нелегком труде и сообщить, что в унитазе, куда Вы засунули меня головой под утро, вскоре после того как я, по Вашему меткому выражению, Вас «заколебал», мне в эту самую голову пришло множество просветляющих душу мыслей относительно того, как люди могли бы (и, в сущности, должны были бы!) строить свои отношения друг с другом, если бы не такие, как я.

Еще раз извините за все.

Всегда Ваш

Нильский Константин Леонидович,
недобиток.

Музыка в эфире



Сэму Хейфицу

Леня Фишман играл на трубе.

Он играл в мужском туалете родной школы, посреди девятой пятилетки, сидя на утыканном «бычками» подоконнике, прислонившись к раме тусклого окна.

На наглые джазовые синкопы к дверям туалета сбегались учительницы. Истерическими голосами они звали учителя труда Степанова. Степанов отнимал у Фишмана трубу и отводил к директрисе — и полчаса потом Фишман кивал головой, осторожно вытряхивая директрисины слова из ушей, в которых продолжала звенеть, извиваться ту-гими солнечными изгибами мелодия.

«Дай слово, что я никогда больше не услышу этого твоего, как его?» — говорила директриса. «Сент-Луи блюз», — говорил Фишман. «Вот именно». — «Честное слово».

Назавтра из мужского туалета неслись звуки марша «Когда святые идут в рай». Леня умел держать слово.

На третий день учитель труда Степанов, придя в туалет за трубой, увидел рядом с дудящим Фишманом Васю Кузякина из десятого «Б». Вася сидел на подоконнике и, одной рукой выстукивая по коленке, другой вызванивал вилкой по перевернутому стакану.

- Пу-дабту-да! — закрыв глаза, выдувал Фишман.
- Туду, туду, бзденьк! — отвечал Кузякин.
- Пу-дабту-да! — пела труба Фишмана.
- Туду, туду, бзденьк! — звенел стакан Кузякина.
- Пу-дабту-да!
- Бзденьк!
- Да!
- Бзденьк!
- Да!
- Бзденьк!

- Да!
- Бзденьк!
- Да-а!
- Туду, туду, бзденьк!

Не найдя, что на это ответить, Степанов захлебнулся слюной.

Из школы их выгоняли вдвоем. Фишман уносил трубу, а Кузякин — стакан и вилку.

У дверей для прощального напутствия музыкантов поджидал учитель труда.

— Додуделись? — ядовито поинтересовался он. В ответ Леня дунул учителю в ухо.

— Ты кончишь тюрьмой, Фишман! — крикнул ему вслед Степанов. Слово «Фишман» прозвучало почему-то еще оскорбительнее, чем слово «тюрьма».

Учитель труда не угадал. С тюрьмы Фишман начал.

В тот же вечер тема «Когда святые идут в рай» неслась из подвала дома номер десять по 6-й Сантехнической улице. Ни один из жильцов дома не позвонил в филармонию. В милицию позвонили семеро.

За музыкантами приехали — и дали им минуту на сборы, предупредив, что в противном случае обломают руки-ноги.

— Сила есть — ума не надо, — вздохнув, согласился Фишман.

В подтверждение этой нехитрой мысли, с фингалом под глазом, он сидел на привинченной лавочке в отделении милиции и отвечал на простые вопросы лейтенанта Зобова.

В домах сообщение о приводе было воспринято поразному. Папа-Фишман позвонил в милицию и, представившись, осведомился, по какой причине был задержан вместе с товарищем его сын Леонид. Выслушав ответ, папа-Фишман уведомил начальника отделения, что задержание было противозаконным.

А мама-Кузякина молча отерла о передник руки и вlepила сыну по шее тяжелой, влажной от готовки ладонью.

Удар этот благословил Васю на начало трудового пути — учеником парикмахера. Впрочем, трудиться на этом поприще Кузякину пришлось недолго, поэтому он так и не успел избавиться от дурной привычки барабанить пальцами по голове клиента.

А по вечерам они устраивали себе Новый Орлеан в клубе санэпидемстанции, где Фишман подрядился мыть полы и поливать кадку с фикусом.

— Пу-дабту-да! — выдувал Фишман, закрыв глаза.

— Туду, туду, бзденьк! — отвечал Кузякин. На следующий день после разрыва он торжественно вернул в буфет родной школы стакан и вилку, а взамен утянул из-под знамени совета дружины два пионерских барабана, а со двора — цинковый лист и ржавый чайник. Из всего этого Вася изготовил в клубе санэпидемстанции ударную установку.

А рядом с ним, по-хозяйски облапив инструмент и вдохновенно истекая потом, бумкал на контрабасе огромный толстяк по имени Додик. Додика Фишман откопал в музыкальном училище, где Додика пытались учить на виолончелиста, а он сопротивлялся.

Додику мешал смычок.

В антракте между пресловутым маршем и «Блюзом западной окраины» Фишман поливал фикус. Фикус рос хорошо — наверное, понимал толк в музыке. Потом Додик доставал термос, а Кузякин — яблоки и пирожки от мамы. Все это съедал Фишман — от суток дудения в животе у него по всем законам физики образовывалась пустота.

В конце трапезы Леня запускал огрызком в окно — в вечернюю тьму, где вместе с другими строителями социализма гремел костями о разошедшиеся доски одного отдельно взятого стола учитель труда Степанов.

Он делал это сколько помнил себя, но последние две недели — под звуки фишмановской трубы. В начале третьей недели тема марша «Когда святые идут в рай» пробила-таки то место в учительском черепе, под которым находился отдел мозга, заведующий идеологией. Степанов выскочил из-за доминошного стола и, руша кости, понесся в клуб.

Дверь в клуб была предусмотрительно закрыта на ножку стула — благодаря чему Фишман и К" получили возможность дважды исполнить учителю на бис марш «Когда святые идут в рай».

Свирепая правота обуяла Степанова. Тигром-людо-едом залег он в засаду у дверей клуба, но застарелая привычка отбирать у Фишмана трубу сыграла с ним злую шутку. Едва, выскочив из темноты, он вцепился в инстру-

мент, как хорошо окрепший при контрабасе Додик молча стукнул его кулаком по голове.

Видимо, Степанову опять досталось по идеологическому участку мозга, потому что на следующее утро он наклепывал на всех троих чуть ли не в ЦК партии.

В то историческое время партия в стране была всего одна, но такая большая, что даже беспартийные не знали, куда от нее деться. Через неделю Фишман, Додик и Кузякин вылетели из клуба санэпидемстанции, как пули из нарезного ствола...

С тех пор прошло три пятилетки и десять лет полной отвязки.

Теперь в бывшем клубе санэпидемстанции — казино со стриптизом: без фикуса, но под охраной. В школе, откуда выгнали Фишмана с Кузякиным, сняли портрет Брежнева, повесили портрет Горбачева, а потом сняли и его. Лейтенант Зобов, оформлявший привод, стал майором Зобовым, а больше в его жизни ничего существенного не произошло.

Вася Кузякин чинит телевизоры.

Он чистит пайки, разбирает блоки и заменяет кинескопы, а после работы смотрит футбол. Но когда вечером в далеком городе Париже в концертном фраке выходит на сцену Леня Фишман и поднимает к софитам сияющий раструб своей трубы — пудабту-да! — Вася вскакивает среди ночи:

— Туду, туду, бзденьк!

— Кузякин, ты опять? — шепотом кричит ему жена. — Таньку разбудишь! Выпей травки. Васенька.

— Да-да... — рассеянно отвечает Кузякин — а в это время в Канаде среди бела дня оцепеневают у своей бензоколонки Додик, и клиенты давят на клаксоны, призывая его перестать бумкать губами, открыть глаза и начать работать.

— Сволочь, — бормочет, проснувшись в Марьиной Роще, пенсионер Степанов, — опять приснился.

Ветер над плацем



*Ордена Ленина
Забайкальскому военному округу
посвящается*

Теперь уже трудно сказать,

кто первый заметил, что с осин под ноги марширующим посыпались желтые листья. Ходить листья не мешали, но данная пастораль не имела отношения к занятиям строевой подготовкой. Командир полка приказал, чтобы к утру было чисто, и вторая рота, вооружившись метлами, вышла на борьбу с осенью.

Ночью, идя на проверку караулов, дежурный по части потянул носом горьковатый запах тлеющей листвы: черный плац отражал небо, непорядок был устранен.

Но утром навстречу батальонам, шедшим на полковой развод, уже шуршали по асфальту вестники новых разнов. Откуда-то налетел ветер, и к концу развода облепленные листвой офицеры, еще пытаясь разобрать обрывки командирской речи, держали фуражки двумя руками. В гуле и шелесте командир беззвучно сек ладонью воздух, и если не содержание, то общий смысл сказанного до личного состава доходил.

Шло время, полк стыл на плацу; прапорщик Трач, топчась позади взвода, говорил прапорщику Зеленко: «Во погода... Придется отогреваться, Колян?» — и попихивал того локтем в бок. «Нечем», — сумрачно отвечал Колян и отворачивался от ветра. Они говорили, а ветер все дул, и листья скачками неслись мимо ротных колонн.

После развода на плацу осталась седьмая рота — был ее черед ходить строем. Плац опустел, и звуки со стороны стрельбища доносились глуше обычного.

Прошло два часа. Ветер выл, обдирая деревья, а седьмая все ходила, увязая в листве, как в снегу. На исходе третьего часа, выполняя команду «правое плечо вперед»,

из строя выпал сержант второго года службы Веденяпин. Ни слова не говоря, он сел на плац, разулся и, встав, с тоскливым криком поочередно запустил в небо оба сапога. Сапоги улетели и не вернулись, а Веденяпин шагнул с плаца — и навсегда пропал в листопаде.

Когда листва начала шуровать в намертво закупоренном помещении штаба полка, дежурный по части решил наконец послать дневального за отцом-командиром.

Позже дневальный этот неоднократно пытался объяснить, как ему удалось заблудиться на целых полдня среди трех домов офицерского состава, да только никого не убедил. Особенно он не убедил полковых особистов. Отправленный на гауптвахту, дневальный потерял конвоиров и, занесенный листвой по голенища, долго еще стоял посреди гарнизона как памятник осени.

Не дождавшись командира, дежурный по полку, заранее вспотев, доложил о катаклизме в дивизию, и оттуда велели:

- строевые прекратить,
- роту вернуть в казармы,
- листопад ликвидировать.

Седьмую роту откопали практически без потерь; утрамбованную листву вывезли на грузовике к сопкам и зарыли в яме шесть на два на полтора, чтобы больше не видеть ее никогда.

Отличившимся при зарытии было выдано по пятьдесят граммов сухофруктов.

Приехавший перед разводом комдив лично проверил чистоту плаца, дал необходимые распоряжения, касавшиеся дальнейшего хода службы, — и убыл в штаб.

А ветер дул себе, потому что никаких приказаний в его отношении не поступало.

Бедя грянула через два часа: в полк приехал генерал с такой большой звездой на плечах, что дневальный сразу упал без сознания. Из штаба ли округа был он, из самой ли Москвы — разобрать никто не успел, а спросить не решились. Шурша листвой, генерал протопал на плац, поворотил туда-сюда головой на красной шее, спросил, почему бардак на плацу, рассвирепел, обозвал офицерский состав недлинным, но очень обидным словом, повернулся и уехал.

Проводив нехорошим взглядом толстую генеральскую машину, командир полка внимательно посмотрел под ноги, потом сощурился на небо и увидел в уже неярком его свете: на плац, с наглым изяществом пританцовывая в воздушных потоках, опускались листья.

Он тяжело поднялся к себе в кабинет, сел за стол, снял фуражку и вызвал комбатов. И уже бежали, тараня плечами ветер, посыльные к ротным, и сержанты строили свои отделения

Через час личный состав полка, развернувшись побатальонно, схватился с осенью врукопашную. Не желавшее падать обрывалось вручную, остальное ломалось и пилилось. Ритуальные костры задымили в небо. К отбою по периметру плаца белели аккуратные пеньки.

С анархией было покончено.

Все разошлись. Только новый дежурный по части долго курил, стоя перед пустынным асфальтовым полем, словно еще ожидал какого-то подвоха. В казармах гасли огни, над черной плоскостью полкового плаца, ничего не понимая, взлетал и кружил последний неистребленный лист.

В шесть утра молоденький трубач из музвзвода продудел подъем и, засунув ладони под мышки, побежал греться в клуб.

На плац опускался снег.



Святочный рассказ

Однажды в рождественский вечер,

когда старший референт чего-то там такого Сергей Петрович Кузовков ел свою вермишель с сосиской, в дверь позвонили.

Обычно об эту пору возвращалась от соседки жена Кузовкова: они там каляли на кухне о своем, о девичьем. Но на этот раз вместо жены обнаружился за дверью диковатого вида старичок с бородой до пояса, в зипуне и рукавицах. За поясом зипуна торчал маленький топорик.

Первым делом Кузовков подумал, что это и есть тот самый маньяк, которого уже десять лет ловили в их микрорайоне правоохранительные органы. Старичок улыбнулся и достал из-за спины огромный холщовый мешок.

«Вот, — порадовался Кузовков своей догадливости. — Так и есть».

Но неожиданный гость не стал кромсать его топориком и прятать останки в мешок, а вместо этого заухал, захопал рукавицами, записедал и, не попадая в ноты, неверным дискантом, запел:

— А вот я гостинчик Сереженьке, а вот я подарочек деточке...

Кузовков временно потерял дар речи. Старичок довел соло до конца, улыбнулся щербатым, тронутым цингой ртом и по-свойски подмигнул старшему референту. Это нагловатое подмигивание вернуло Сергея Петровича к жизни.

— Вы кто? — спросил он.

— Не узна-ал, — укоризненно протянул пришелец и, покачав головой, зацокал.

— Чего надо? — спросил Кузовков.

— Да я это, Сереженька! — уже с обидой воскликнул старичок. — Я, дедушка...

Тут самое время заметить, что оба дедушки Кузовкова давно умерли, но и при жизни были ничуть не похожи на шербогача в зипуне.

— ...солдатики тебе принес, — продолжал тем временем старичок. — Ты же просил у меня солдатиков, Сереженька!

С этими словами он шагнул вперед и опорожнил свой треклятый мешок. Туча пыли скрыла обоих. Зеленая оловянная рать, маленькие, в полпальца, танки и гаубицы посыпались на пол кузовковской прихожей, а старичок снова завел свои варварские припевки.

— Вы что? — завопил Кузовков. — Не надо тут петь! Прекратите эту шизофрению! Какие солдатики!

— Наши, наши, — ласково успокоил его певун. — Советские!

Тут Кузовков молча обхватил рождественского гостя поперек зипуна, вынес на лестничную клетку и посадил на ящик для макулатуры.

— Так, — сказал он. — Ты, кашенко. Чего надо?

— Сереженька! — простер руки старичок.

— Я те дам «Сереженька», — посулил Кузовков, которого уже лет двадцать не называли иначе как по имени-отчеству. — Чего надо, спрашиваю!

В ответ старичок пал на кузовковское плечо и горько заплакал.

— Да дедушка же я! — всхлипнул он наконец. — Дедушка Мороз! Подарочков принес... — Старичок безнадежно махнул рукавицей и начал утирать ею слезы. — Солдатики, как просил... А ты... С Новым годом тебя, Сереженька! С Новым, тысяча девятьсот пятьдесят первым!

Настала глубокая тишина.

— С каким? — осторожно переспросил наконец Кузовков.

— Пятьдесят первым...

Старичок виновато заморгал белыми от инея ресницами и потупился.

Кузовков постоял еще, глядя на гостя, потом обернулся, внимательно посмотрел вниз. Потом присел у кучки оловянного утиля.

— Действительно, солдатики, — сказал он наконец. — А это что?

— Карта, — буркнул старичок, шмыгнув носом.

— Какая карта? — обернулся Кузовков.

— Кореи, — пояснил гость. — Ты в Корею хотел, на войну... Забыл?

— О господи, — только и сказал на это Сергей Петрович. И, помолчав, добавил: — Где ж тебя носило сорок лет?

— Там... — Гость печально махнул рукой.

— В Лапландии? — смутно, улыбнувшись, вспомнил вдруг Кузовков.

— Какой там Лапландии... — неопределенно ответил старичок. — Сыктывкар, — понизив голос, доверительно сообщил он. — Я к тебе шел, а тут милиция. Паспортный режим, и вообще... Классово чуждый я оказался. — Старичок вдруг оживился от воспоминаний и молодецкато крикнул: — Десятка в зубы и пять по рогам!

— Чего? — не понял Кузовков. Старичок повторил. Переспрашивать снова Сергей Петрович не стал.

— Ну вот. А потом ты переехал... Я уж искал, искал... ну и вот... — Гость смущенно высморкался. — С Новым годом, в общем.

Помолчали. Старичок так и сидел, где посадили, — на ящике для макулатуры.

— Холодно было? — спросил Кузовков про Сыктывкар.

— Мне в самый раз, — просто ответил старичок.

— Ты заходи, — спохватился Кузовков. — Что ж это я! Чаю попьем...

— Нельзя мне горячего, Сереженька. — Гость укоризненно покачал головой. — Все ты забыл.

— Ну извини, извини!

Еще помолчали.

— А вообще, как жизнь? — спросил гость.

— Жизнь ничего, — ответил Кузовков. — Идет...

— Ну и хорошо, — сказал гость. — И я пойду. Сними меня отсюда.

Кузовков, взяв под мышки, поставил невесомое тело на грешную землю.

— У меня тут еще должок есть, — поделился старичок и почесал зипун, вспоминая. — Толя Зильбер. Из пятого подъезда, помнишь?

Кузовков закивал:

— Тоже переехал?

— Еще как переехал! — Старичок, крикнув, взвалил на плечо мешок, снова полный под завязку. — Штат Нью-Джерси! Но делать нечего — найдем! А то как же это: в Новый год — да без подарочка?

— А что ему? — живо поинтересовался Кузовков.

— Марки, — ответил Дед Мороз. — Серия «Третий Интернационал». Бела Кун, Антонио Грамши... Негашенные! Очень хотел. Ну, прощай, что ли, пойду!

Старичок поцеловал референта в щечку — и потопал к лестнице. Через минуту голос его неся снизу: «Иду, иду к Толечке, несу, несу пряничек... Поздравлю маленького...»

Жалость к прошедшей жизни выкипела, оставив в горле сухой остаток сарказма.

— С че-ем? — перегнувшись в полутемный пролет, крикнул Кузовков. — С Новым, пятьдесят первым?

— Лучше поздно, чем никогда! — донеслось отсюда.



Жизнь масона Циперовича

Ефим Абрамович Циперович

работал инженером, но среди родных и близких был больше известен как масон.

По дороге с работы домой Ефим Абрамович всегда заходил в гастроном. Человеку, желавшему что-нибудь купить, делать в гастрономе было нечего, это знали все, включая Ефима Абрамовича, но каждый вечер он подходил к мясному отделу и спрашивал скучающего детинушку в халате:

— А вырезки что, опять нет?

Он был большой масон, этот Циперович.

Дома он переодевался из чистого в теплое и садился кушать то, что ставила на стол жена, Фрида Моисеевна, масонка. Фридой Моисеевной она была для внутреннего пользования, а снаружи для конспирации всю жизнь называлась Феодорой Михайловной.

Ужинал Ефим Абрамович без водки. Делал он это специально. Водкой масон Циперович спаивал соседей славянского происхождения. Он специально не покупал водки, чтобы соседям больше досталось. Соседи ничего этого не подозревали и напивались каждый вечер как свиньи. Он был очень коварный масон, этот Циперович.

— Как жизнь, Фима? — спрашивала Фрида Моисеевна, когда глотательные движения мужа переходили от «престо» к «модерато».

— Что ты называешь жизнью? — интересовался в ответ Ефим Абрамович. Масоны со стажем, они могли разговаривать вопросами до светлого конца.

После ужина Циперович звонил детям. Дети Циперовича тоже были масонами. Они масонили как могли, в свободное от работы время, но на жизнь все равно не хватало,

потому что один был студент, а в ногах у другого уже ползал маленький масончик по имени Гриша, радость дедушки Циперовича и надежда мирового сионизма.

Иногда из соседнего подъезда приходил к Циперовичам закоренелый масон Гланцман, взявший материнскую фамилию Финкельштейнов и давно ушедший с ней в подполье. Гланцман пил с Циперовичами чай и жаловался на insult и пятый пункт своей жены. Жена была украинка и хотела в Израиль. Гланцман в Израиль не хотел, хотел, чтобы ему дали спокойно помереть здесь, где промасонил всю жизнь.

Они пили чай и играли в шахматы. Они любили эту нерусскую игру больше лапты и хороводов — и с трудом скрывали этот постыдный факт даже на людях.

После пары хитроумных гамбитов Гланцман-Финкельштейнов уполз в свое сионистское гнездо во второй подъезд, а Ефим Абрамович ложился спать и, чтобы лучше спалось, брал «Вечерку» с кроссвордом. Если попадалось: «автор оперы «Демон», десять букв», — Циперович не раздумывал.

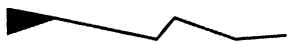
Отгадав несколько слов, он откладывал газету и гасил свет над собой и Фридой Моисеевной, умасонившейся за день так, что ноги не держали.

Он лежал, как маленькое слово по горизонтали, но засыпал не сразу, а о чем-то сначала вздыхал. О чем вздыхал он, никто не знал. Может, о том, что никак не удается ему скрыть свою этническую сущность; а может, просто так вздыхал он — от прожитой жизни.

Кто знает?

Ефим Абрамович Циперович был уже пожилой масон и умел вздыхать про себя.





— Ч то ж ты не едешь? —

выкрикнул Коган.

— А ты? — выкрикнул в ответ Янкелевич.

Начиная с девяти вечера, когда Янкелевич приперся к Когану с бутылкой джина, эти вопросы высказывали из их разговора с регулярностью механической кукушки. А теперь было два часа ночи, и Коган, ударяя себя ладонью в лысый лоб, взвыл:

— Достал! Достал ты меня! Я хочу жить тут!

— Ну и дурак, — сказал Янкелевич.

— Так поезжай! Скатертью дорога!

— Куда? — хищно поинтересовался Янкелевич. — В Израиль?

— В Израиль!

На это Янкелевич ничего отвечать не стал, а согнул руку в локте, другую положил поперек и получившееся показал собеседнику.

— Но ведь ты же еврей! — вскричал Коган.

— Сам ты еврей, — надменно ответил Янкелевич, — я гражданин мира.

Выпили.

— И потом, — сказал Янкелевич, — визы, шмизы, и весь этот геморрой, чтобы вместо Проханова иметь Арафата?

— На хуй обоих, — согласился Коган. — А в Америку бы ты поехал, — уточнил он, когда закусили.

— В Америку — да, — подтвердил Янкелевич.

— И что ты будешь там делать?

— Рожу сына, станет президентом.

— Правильно, — одобрил Коган. — А до тех пор можно и на пособии посидеть.

— Плевать! — сказал Янкелевич. — Свободный человек в свободной стране! В Америке никому не будет до меня дела.

— Сеня, — сказал Коган. — Оставайся у меня и перестань ходить на работу. Через неделю о тебе никто не вспомнит.

Еще выпили.

— Ты хочешь в Америку, — уточнил ситуацию Коган, — и у тебя нет там какого-нибудь завалящего дяди?

— Никого, Яша, — пожаловался Янкелевич. — Двести миллионов американцев — и хоть бы одна собака оказалась родственником!

— Ну так возьми статус беженца, — пожал плечами Коган.

— Я? — удивился Янкелевич. В нем было метр восемьдесят два, и до сих пор в пиковых ситуациях разбегались от него самого. — Я — беженец?

— А что, — ехидно поинтересовался Коган, — тебя никогда не называли жидовской мордой?

— Почему? Называл один, — вспомнил Янкелевич. — Потом, правда, извинялся.

— Чего это он вдруг извинялся? — саркастически спросил Коган, которого называли всю жизнь, а не извинились ни разу.

— Я сделал ему больно, — объяснил Янкелевич.

— Чертов разрядник, — сказал Коган. — Устроить тебе статус?

Через несколько дней Янкелевич как бы случайно забрел в парк имени Горького, где аккурат в этот час собралась на митинг вся «Трудовая Россия». Операция, задуманная Коганом, началась блестяще: уже на второй минуте папу будущего президента США начали мочить.

Янкелевича били кастрюлями, дровками знамен и просто кулаками. Больше всего в эту минуту Янкелевич боялся, что не выдержит и убьет какого-нибудь трудящегося над ним россиянина. Он закрывал голову, которую с детства ценил больше других частей тела, и старался думать о приятном — например, о корреспонденте Би-би-си, который по наводке хитроумного Когана должен был снять эту экзекуцию.

Имея на руках такую пленку, можно было пинком открывать двери американского посольства — поэтому, получая по шее рабоче-крестьянской кастрюлей, Янкелевич улыбался загадочной улыбкой Джоконды.

Он не знал, что к этому времени «Трудовая Россия» давно вытащила жидовского корреспондента из жидовской «Тойоты», набила ему его жидовскую морду, разломала камеру и мелко нарезала жидовский кабель...

— Не получилось, — признал Коган. — Извини.

— Ничего, — сказал Янкелевич. По распухшему лицу мысли читались с трудом.

— Я пообещал — я сделаю, — угрюмо посулил Коган.

— Спасибо, — сказал Янкелевич.

Через пару дней приятель Когана, Петров по матери, организовал ему телефон общества «Память», в котором сам на всякий случай состоял.

Испытывая вину перед другом, Коган месяц напролет натравливал общество «Память» персонально на Янкелевича. Общество реагировало вяло, ссылаясь на то, что евреев много, а патриотов раз-два и обчелся. Наконец возмущенный Коган, позвонив, спросил окающим голосом, что за волокита и собираются ли они вообще спасти Россию.

— Вообще — да... — неопределенно ответили на том конце провода с подозрительным акцентом.

Тут Коган понял, что, как Северная Корея, обречен опираться только на собственные силы, и в ту же ночь самолично изгадил новенькую дверь Янкелевича шестиконечной звездой.

Наутро позвонил Янкелевич.

— Яша, — сказал он. — Кончай свои примочки.

— Я обещал, — гордо ответил Коган. — Ты станешь беженцем, это решено.

Когда Коган что-либо решал, окружающие были обречены.

Не доверяя гражданину мира, он сам обзвонил всю демократическую прессу, но фотокоров никто не прислал. О звезде на двери петитом сообщила своим читателям только самая демократическая в мире молодежка. В заметке сообщалось также, что бабушка Янкелевича, вы-

шедшая на запах краски, была изнасилована и изрублена на мелкие куски. При этом Янкелевич был назван Ангеловичем, а адрес перепутан, что делало заметку уже абсолютно непригодной для визита в посольство.

— Идиоты, — сказал Коган. — Откуда они взяли бабушку?

— Яша, — сказал Янкелевич, — клал я на бабушку. Мне дверь оттирать.

— Не ототрешь, — сообщил Коган. — Краска с закрепителем.

Янкелевич помолчал на том конце провода.

— Слушай, — сказал он наконец. — Я подумал: бог с ним, с этим статусом. Лучше накоплю денег и найду себе в Америке дедушку.

— Ты знаешь, сколько стоит дедушка в Америке? — осведомился Коган.

— Сколько?

— Не знаю, — сказал Коган. — Но завтра скажу.

Вечером Петров по матери вывел его на одного человека, и человек назвал точную цифру: сорок тысяч баксов. «Сорок тысяч?» — ужаснулся Коган. «Можно дешевле, — сказал человек, — но тогда дедушка будет негр».

Вариант с дедушкой засыхал на корню, но остановиться Коган уже не мог. Его заиклило.

Это у Когана было наследственное. Так в свое время заиклило на мировой революции его собственного деда — хотя боевые товарищи, протрезвав, дали тому достаточно времени, чтобы расциклиться обратно: пятнадцать лет лагерей. Время, перевернувшись, поменяло полюса и масштабы, но ничего не смогло сделать с наследственностью — и Когана-младшего заиклило на переправке Янкелевича в Америку.

Он слал ему подметные письма, предварительно вызвав милицию, — оперуполномоченный с удовольствием читал письма вслух, но выдать справку для посольства отказался.

Коган звонил по ночам из автоматов, а утром одичавшего от бессонницы Янкелевича будил дежурный лейтенант с вопросом, через какую букву писать в протоколе слово «жидяра».

— Яша, — сказал месяц спустя порядком исхудавший

Янкелевич, — если ты не уймешься, я тебе что-нибудь оторву.

— Ты что, не хочешь в Америку? — нервно спросил Коган. Он тоже был изможден и держался на одном энтузиазме.

— Я хочу, чтобы ты выпил яду, — ответил Янкелевич.

С чувством юмора у Когана было нормально, и он не обиделся.

— Сеня, — сказал Коган, — поверь мне: все будет тип-топ.

И ночью проколол Янкелевичу все четыре шины.

Выспаться Когану не удалось: разбудил телефон.

— Надо встретиться, — конспиративно произнес в трубку голос Янкелевича.

— Что, есть результаты? — обрадовался Коган.

— Есть.

— Приезжай.

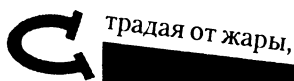
— Я уже внизу, — сказал Янкелевич.

...Немногочисленные, но вполне надежные свидетели видели в это утро, как на балкон второго этажа, волоча за собою упирающего щуплого субъекта, вышел атлетического сложения мужчина — и с криком «жидяра пархатая!» выбросил щуплого вниз.

Вылечившись, Коган получил статус беженца и живет теперь на Брайтон-Бич. Торгует пылесосами, имеет свой процент. Говорит, что не понимает, как вообще можно жить в «совке».

Между тем можно, и неплохо. Например, Петров по матери образовал несколько партий и баллотируется в мэры Москвы под противоположными лозунгами. А Янкелевич, по-прежнему проживая в Тропареве за дверью с шестиконечной звездой, перешел в инофирму, получает зарплату в долларах и копит деньги на дедушку.

Интеллигентный человек, но, между нами говоря, жутко не любит евреев.

Сстрадающая от жары,

Маргулис предъявил офицеру безопасности полиэтиленовый пакет с надписью «Мальборо», прикрыл лысеющее темя картонным кружком — и прошел к Стене.

У Стены, опустив головы в книжки, стояли евреи в черных шляпах.

Собственно, Маргулис и сам был евреем. Но здесь, в Иерусалиме, выяснилось, что евреи, как золото, бывают разной пробы. Те, что стояли в шляпах лицом к Стене, были эталонными евреями. То, что у Маргулиса было национальностью, у них было профессией; они безукоризненно блестяли под божьим солнцем. А в стране, откуда приехал Маргулис, словом «еврей» дразнили друг друга дети.

Дегустируя торжественность встречи, он остановился и прислушался к себе. Ему хотелось получше запомнить свои мысли при первой встрече со Стеной, и это оказалось совсем не сложно. Первой пришла мысль о стакане компота, потом — о прохладном душе на квартире у тетки, где он остановился постоем. Потом он ясно увидел стоящим где-то далеко внизу, у какой-то стены, дурака с пакетом «Мальборо» в руке и картонным кружком на пропеченной башке и понял, что это он сам. Потом наступил провал, потому что Маргулис таки перегрелся.

Из ступора его вывел паренек в кипе и с лицом интернатского завхоза.

— Ручка есть? — потеревив Маргулиса за локоть, спросил паренек. — А то моя сдохла. — И он помахал в душном мареве пустым стержнем. В другой руке у паренька было зажато адресованное лично господу заявление страниц на пять.

— Нет, — ответил Маргулис.

— Нет ручки? — не поверил паренек. Маргулис виновато пожал плечами. — А че пришел?

Маргулис не сразу нашелся, что ответить.

— Так, постоять... — выдавил он наконец.

— Хули стоять, — удивился паренек. — Писать надо!

Он ловко уцепил за трицепс проходившего мимо дядьку и с криком «хэв ю э пен?» исчез с глаз.

Маргулис огляделся. Вокруг действительно писали. Писали с таким сосредоточенным азартом, какой на родине Маргулис видел только у киосков «Спортлото» за день до тиража.

Писали все, кроме тех, что стояли в шляпах у Стены: их заявления господь принимал в устной форме.

Маргулис нашел клочок бумаги и огляделся. У лотка в нише стоял старенький иудей с располагающим лицом московского интеллигента. Маргулис, чей спекшийся мозг уже не был способен на многое, попросил ручку жестами. Старичок доброжелательно прикрыл глаза и спросил:

— Вы еврей?

Маргулис кивнул: этот вопрос он понимал даже на иврите.

— Мама — еврейка? — уточнил старичок. Видимо, гостям письменные принадлежности не выдавались. Маргулис опять кивнул и снова помахал в воздухе собранными в горсть пальцами. Старичок что-то крикнул, и перед Маргулисом вырос седобородый старец гренадерского роста.

Маргулис посмотрел ему в руки, но ничего пишущего там не обнаружил.

— Еврей? — спросил седобородый. Маргулис подумал, что бредит.

— Йес, — сказал он, уже не надеясь на жесты.

— Мама — еврейка? — уточнил седобородый.

— Йес! — крикнул Маргулис.

Ничего более не говоря, седобородый схватил Маргулиса за левую руку и сноровисто обмотал ее черным ремешком. Рука сразу отнялась. Маргулис понял, что попался. Устраивать свару на глазах у господина было не в его силах. Покончив с рукой, седобородый, бормоча, примотал к голове Маргулиса спадающую картонку. При этом на лбу у несчастного оказалась кожаная шишка — эдакий

пробивающийся рог мудрости. Линза часовщика, в которую позабыли вставить стекло.

Через минуту взнузданный Маргулис стоял лицом к Стене и с закрытыми глазами повторял за седобородым слова, смысла которых не понимал. В последний раз подобное случилось с ним в шестьдесят шестом году, когда Маргулиса, не спрося даже про мать, принимали в пионеры.

— Все? — тупо спросил он, когда с текстом было закончено.

— Ол райт, — ответил седобородый. — Файв долларз.

Пять долларов у Маргулиса было, но он запротестовал.

— О кей, ту, — согласился седобородый.

С облегчением отдав два доллара, Маргулис быстро размотал упряжь, брезгливо сбросил ее в лоток к маленькому иудею и опрометью отбежал прочь. Он знал, что людей с располагающими лицами надо обходить за версту, но на исторической родине расслабился.

Постояв, он вынул из пакета флягу и прополоскал рот тепловатой водой. Сплевывать было неловко, и Маргулис с отвращением воду проглотил. «Что-то я хотел... — подумал он, морща натертый лоб. — Ах да».

Ручку ему дал паломник из Бухары, лицом напоминавший виноград, уже становящийся изюмом.

— Я быстро, — пообещал Маргулис.

— Бери совсем! — засмеялся бухарец и двумя руками начал утрамбовывать свое послание в Стену. Ручка не нужна была ему больше. В самое ближайшее время он ожидал решения всех своих вопросов.

Маргулис присел на корточки, пристроил листок на пакете с ковбоем и написал: «Господи!» Задумался, открыл скобки и приписал: «Если Ты есть».

Рука ныла, лоб зудел. Картонный кружок спадал с непрерывно лысеющего темени. Маргулис вытер пот со лба предплечьем и заскреб бумагу.

У всевышнего, о существовании которого он думал в последнее время со все возрастающей тревогой, Маргулис хотел попросить всего нескольких простых вещей, в основном касавшихся невмешательства в его жизнь.

Прожив больше полусотни лет в стране, где нельзя было ручаться даже за физические законы, Маргулис

очень не любил изменений. Перестановка мебели в единственной комнате делала его неврастеником. Перспектива ремонта навевала мысли о суициде. Добровольные изменения вида из окон, привычек и гражданства были исключены абсолютно.

Закончив письмо, Маргулис перечел написанное, сделал из точки запятую и прибавил слово «пожалуйста». Потом перечел еще раз, мысленно перекрестился и, подойдя к Стене, затолкал обрывок бумаги под кусок давно застывшего раствора.



История любви

Семен Исаакович Гольдинер

родился в ночь с двадцать пятого на двадцать шестое октября того самого года.

Дата рождения смущала Семена Исааковича. Он предпочел бы быть ровесником какого-нибудь более интимного праздника, вроде открытия Сандвичем Сандвичевых островов или полета братьев Монгольфьер на монгольфьере, но в ту ночь его никто не спросил, а потом было поздно.

Факт одновременного рождения с советской властью бросил на земной путь Семена Исааковича судьбоносный отблеск. Он не видел Сандвичевых островов, не летал на воздушном шаре. Его жизнь принадлежала только ей. Всю молодость провел Семен Исаакович в комсомоле; зрелые годы посвятил выполнению пятилетних планов.

Он многократно спасал для отрасли переходящие красные знамена, и к пенсионным годам он до ряби в глазах изобразил пространство между Курском и Хабаровском.

Он не видел голубей на площади Сан-Марко, не слышал, как дышит весенними вечерами Латинский квартал, — зато из писем трудящихся в газету «Правда» мог безошибочно извлечь решения грядущего пленума.

Когда он вспоминал свою жизнь, она представлялась ему в виде заброшенной железнодорожной станции с бюстом Ленина в углу, причем Ленин был с трубкой, бровями и родимым пятном одновременно.

А еще Семен Исаакович был болен гастритом и пил от нервов элениум — если элениум удавалось достать.

Таково было влияние советской власти на Семена Исааковича.

Что же до обратного влияния, то это вопрос темный, потому что она Семена Исааковича не видела в упор.

Но так было не всегда.

Когда-то, в молодости, она любила его. Она приняла его в пионеры и повязала кусочек своего бескрайнего знамени на его тощую шею. Она позвала его за собой — туда, где будут и Сандвичевы острова, и монгольфьеры, и всего этого хватит всем поровну. И когда Семен Исаакович первый раз перевыполнил что-то, она вкусно покормила его, и когда он пролил за нее кровь — дала за это медаль.

Но потом с нею случилось то, что часто случается с женщинами в летах, — ее потянуло на молодых и светловолосых. Она бесстыдно кадрила их, звала вдаль, обещала монгольфьеры и Сандвичевы острова, — а Семена Исааковича просто держала при себе, не разрешая отлучаться. С годами у нее обнаружился склочный характер и тяжелая рука; она не держала слова, не краснея, лгала в глаза — и при этом постоянно требовала от Семена Исааковича доказательств его любви. И он с ужасом обнаружил однажды, что любить ее у него уже нет сил.

Шли годы; он старел, дурнел и терял зубы; одновременно старела, дурнела и теряла зубы она — но, не замечая схожести судеб, все больше охладевала к старику.

Он еще по инерции считал ее своею, но уже вел себя соответственно возрасту, чего не скажешь о бывшей возлюбленной: она по-прежнему строила из себя целку и крикливо звала вдаль. Семена Исааковича как мужчину строгого и положительного это раздражало.

Но гораздо больше раздражало его с некоторых пор одно подозрение. А именно: подозревал Семен Исаакович, что кончится раньше нее — и даже скорее всего, потому что живучей мадам оказалась до чрезвычайности, а надеяться на добровольный уход в данном случае не приходилось.

И, проснувшись в одно среднестатистическое утро, он вдруг остро пожалел себя за бесцельно прожитые годы и понял с холодной утренней ясностью, что старая блядь попросту надула его, ограбила, обсчитала на целую жизнь.

И тогда Семен Исаакович встал, умылся и пошел в ОВИР подавать документы на развод. Сначала, окаменев от обиды, мадам замолчала на целый год, а когда Семен

Исаакович робко напомнил ей о своем желании расстаться, начала скандалить.

Два года она не давала согласия, а потом, расплевавшись, ободрала Семена Исааковича как липку и, изнасиловав на память, отпустила на свободу — без сбережений, квартиры и в последних брюках. Но к этому времени ему было уже все равно — лишь бы никогда больше не видеть этой отвратительной бабы с ее перестройкой, что по-латыни, как сказал по секрету знакомый врач, означает «климакс».

Про государство, куда съезжал Семен Исаакович, он слышал от Центрального телевидения много плохого, но ее там не было — это он узнал от надежных людей совершенно точно.

Немного пугала концентрация евреев, но всю войну Семен Исаакович провоевал в разведке и был неробкого десятка. От новой пассии он не ждал любви, ограничивая свои притязания покоем и уважением к старости.

Он дремал в ожидании вылета в Вену, и ему снился духовой оркестр Министерства обороны, исполняющий марш «Прощание славянки».



Дядя Гриша появился

на пороге родной коммуналки с чемоданчиком в руке, другой прижимая к тощей груди самоучитель по ивриту. Месяц, проведенный им в командировке в Воронеже, не пропал даром: он уже знал несколько слов на родном языке плюс почерпнутое от сиониста-наставника Безевича выражение «киш мир ин тухес». Что это самое «киш мир ин тухес» означало, дядя Гриша еще не знал, но, судя по частоте употребления сионистом Безевичем, без этих слов делать на исторической родине было нечего.

Евреем дядя Гриша ощутил себя недавно, а до этого ощущал себя тем же, что и все, и хотя писал в пятом пункте все как на духу, но лишь только потому, что в детстве его приучили говорить правду.

Выпив чаю, дядя Гриша опустил в продавленное кресло и блаженно вытянул ноги в тапках. Он был немолод и любил подремать, окончательно уяснив в последние годы, что ничего лучше собственных снов уже не увидит. Но подремать не удалось. Через некоторое время в мягкий туман размягченного сознания вплыл тоскливый, повторяющийся через равные промежутки звук. Звук шел из-за стенки, за которой жила семья Ивановых:

— Уэн-нь! Уэн-нь! Уэн-нь!..

Как оказалось, это было увертюрой: после очередного «уэн-нь» из-за стенки донесся дискант главы семьи, подержанный разнокалиберными голосами остальных Ивановых.

Пели все они не по-русски.

По голове дяди Гриши поползли мурашки. Он встал и на цыпочках вышел в коридор. Но это были не галлюцинации. Из-за ивановских дверей явственно доносилось пе-

ние и систематическое «уэн-нь», вызывавшее в организме дяди Гриши чувства совершенно панические.

В конце коридора что-то шипело и лилось; это несколько успокоило дядю Гришу, и он трусцой поспешил на звуки нормальной жизни. На кухне разогревал сосиску студент-заочник юрфака Константин Кравец.

— Здравствуй, Костя, — сказал дядя Гриша. — Слушай, ты не знаешь, что происхо...

На этом месте язык перестал его слушаться, потому что студент стоял у плиты в красных шароварах, вышитой рубаше и при этом был обрит «под горшок».

— Здоровеньки булы, — хмуро отозвался наконец будущий юрист, — тильки ты ховайся, комуняка погана, бо я дюже на вас усих лют.

Членом правящей партии дядя Гриша не был, но на всякий случай без лишних вопросов попятился в темную кишку коридора. На первом его повороте, возле комнаты Толика Зарипова, на голову ему что-то упало. При ближайшем рассмотрении упавшее оказалось седлом. Дядя Гриша выругался, и на родные звуки выползла из своей клетушки с кастрюлькой в руке бабушка Евдокия Никитична.

— С возвращеньцем, милок, — сказала она. — Как здоровье?

— Шалом, Никитична, — ответил дядя Гриша, очумело пристраивая седло обратно на гвоздь. — Что в квартире происходит?

Но бабушка не ответила на этот вопрос, а только уронила на пол кастрюльку и спросила сама:

— Ты чего сказал?

— Что? А-а... Шалом. Шалом алейхем! Ну, вроде как «будь здорова»!

— Это ты по-какому сказал? — опасливо поинтересовалась бабушка.

— По-родному, — с достоинством ответил дядя Гриша. — Еврей я теперь. — Он подумал минуту и, чтобы на этот счет не осталось никаких сомнений, добавил: — Киш мир ин тухес, Евдокия Никитична.

Старушка заплакала.

— Ты чего? — испугался дядя Гриша.

— Совсем нас, русских, в квартире не осталось. Вот и ты... — Старушка всхлипнула.

— Как не осталось? — удивился дядя Гриша — и осекся, услышав тоскливое «уэн-нь» из ивановской комнаты.

— Ой, Гришенька, — почему-то шепотом запричитала Евдокия Никитична. — Тут, пока тебя не было, такое творилось! Костыка Кравец уже неделю во всем энтот ходит — как же его? — жовто-блакитном! Я, говорит, тебя, бабуля, люблю, а этих, говорит, москалей, усих бы повбывал... Я ему говорю: Костенька, да сам-то ты кто? Ты ж, говорю, из Марьиной Рощи еще не выходил! А он: я, говорит, еще в среду осознал себя сыном Украины: Петлюра мне отец, а Бендера — мать!

И Евдокия Никитична снова всхлипнула.

— Ну и хрен с ним, с Костыкой! — возмутился дядя Гриша. — Но как же это: нет русских? А Толик? А Ивановых пять человек?..

«Уэн-нь!» — отозвалась на свою фамилию ивановская комната. Евдокия Никитична завывала еще сильнее.

— Да-а! Ивановы-то коряки оказались!

— Кто-о?

— Коряки, Гришенька! Петр Иванович с завода ушел, днем поет всей семьей, ночью в гараже сидит, гарпуны делает. Буду, говорит, моржа бить. Север, говорит, зовет. А Анатолия Михайловича уже нет.

— Как нету?

— Нету Толи, — всхлипнула Евдокия Никитична. Дядя Гриша осенил себя православным крестом.

— Тахир Мунибович он теперь, — продолжала Евдокия Никитична. — Разговаривать перестал. Отделился от нас, мелом коридор расчертил, всех от своей комнаты арканом гоняет. Пока, говорит, не будет Татарстана в границах Золотой Орды, слова не скажу на вашем собачьем языке! Детей из школы забрал; биографию Батыя дома учат. Грозится лошадь купить. Что делать, Гришенька? Раз уж ты еврей, придумай что-нибудь!

Дядя Гриша тяжело вздохнул.

— Раз такое дело, надо, бабуля, и тебе как-то того, самоопределяться.

— Самоопредели меня, Гришенька, — выдохнула Евдокия Никитична и горько заплакала.

— Ну, не знаю... — Дядя Гриша почесал в затылке. — Кошник, что ли, надень. Хороводы води в ЖЭКе, песни пой под гармошку русские... Ты ж русская у нас, Никитична?

Старуха перестала всхлипывать и тревожно посмотрела на дядю Гришу.

Вечером дом № 14 по Большой Коммунистической потряс дикий крик. Кричала жена коряка Иванова. Коряк Иванов, вырезавший в гараже амулет от кашалота, бросился наверх. Ворвавшись в квартиру, он увидел ее обитателей, в полном составе остолбеневших на пороге кухни. Тахир Мунибович Зарипов, шепча вместо «Аллах велик» «Господи помилуй», прижимал к себе перепуганных корякских детей; вольный сын Украины — полуголый, в шароварах и со свеженькой татуировкой «Хай живе!» — отпаивал валокордином дядю Гришу, которого, судя по всему, крик корячки Ивановой вынул уже из постели: дядя Гриша был в трусах, кипе и с самоучителем по ивриту.

А кричала Иванова от зрелища, невиданного не только среди коряков. По кухне, под транспарантом с выведенным красным по белому нерусским словом «СОЛИДАРНОСТЬ», приплясывала, звеня монистами и сметая юбками кухонную утварь, Евдокия Никитична.

— Чавела! — закричала она, увидев коряка Иванова. — Позолоти ручку, красивый!

Услышав такое, коряк Иванов выронил кашалотский амулет и причудливо выругался на великом и могучем языке.

— Гришенька, милай! — кричала, пританцовывая, старушка. — Спасибо тебе, золотой! Ясная жизнь начинается! Прадедушка-то у меня — цыган был! А бабуку Ядвигой звали. Эх, ромалы! — кричала Евдокия Никитична. — Ще польска не сгинела!

Закусив стопку валокордина кусочком сахара, первым обрел дар связной речи дядя Гриша.

— Конечно, не сгинела. — мягко ответил он и обернулся к жильцам. — Все в порядке, ромалы. Самоопределилась бабуля. Жизнь продолжается. Киш мир ин тухес — и по пещерам.

1991

Помню, я шел в магазин за кефиром

и любовался весной. Весна у нас в микрорайоне всегда накатывает внезапно, и местные власти никак не привыкнут к тому, что она — сразу после зимы. Так вот, я шел и думал, что нынешняя весна — это не просто весна, это символ обновления и черт знает чего еще, что прогресс неотвратим, как вот эти почки на деревьях и очсреди за кефиром...

Я шел и думал обо всем этом, поэтому когда услышал за спиной приближающийся крик, то не отнес его на свой счет. Я решил — это кого-нибудь бешеная собака укусила, и он бежит себе на прививку...

Но тут голос над самым ухом сказал: «А-а-а, получай, сволочь!» — и в меня что-то воткнулось. Я пощупал — нож торчит... в этой... Оборачиваюсь — стоит какой-то маленький, весь в щетине, и смотрит на меня как баран на новые ворота.

— Черт, — говорит, — опять обознался. А со спины, — говорит, — вылитый ты Петька Засухин.

Я говорю:

— Меня Иван Ссменыч зовут.

Он говорит:

— Зубайлов Евстигней. Очень приятно.

Тут опять увидел кого-то, глазки снова кровью налились: это, говорит, точно он! Я говорю:

— Вам виднее.

Он говорит:

— Повернись-ка, Ваня, я ножик выну.

И начинает нож у меня из этой... выковыривать. А тот ни в какую.

— А, — говорит, — ладно. Занесешь вечером в сто пятую. А то, — говорит, — уйдет эта падла. Будь здоров!

Схватил с тротуара какой-то булыжник и убежал. А я пошел за кефиром. Потому что если был завоз — надо брать, а то следующего может не быть вообще.

Только занял очередь, а мне кричат из кассы:

— Гражданин, у вас же эта... вся в крови!

Я говорю:

— Я знаю. Это меня по ошибке ножом пырнули.

А мне:

— Объявления надо читать, гражданин! Немедленно покиньте помещение! Мы в пачкающей одежде не обслуживаем!

Обидно, конечно, стало. Но что поделывать: строительство правового государства все время начинается с меня! Делать нечего, вышел я из магазина — а весна кругом, птички поют, дети в лужах играют. Но чувствую: что-то мне мешает всему этому радоваться. Потом вспомнил: нож. Зашел я тогда в будку телефонную, набрал «03» — так, мол, и так, говорю, стою без кефира с ножом в этой...

Мне говорят:

— В какой?

Я говорю:

— В какой, в какой... В правой!

— Фамилия, — говорят.

Я сказал.

— Имя-отчество.

Сказал.

Мне говорят:

— Давайте по буквам.

Сказал по буквам. Потом сказал — сколько лет, потом — национальность жены, потом — группу крови тещи и не был ли кто из ее родственников в плену в войну двенадцатого года.

Тогда спрашивают:

— Что беспокоит?

Я говорю:

— Нож беспокоит.

Говорят:

— Опишите форму рукоятки.

Я говорю:

— Я ее еще не видел.

Мне говорят:

— Узнаете форму рукоятки, немедленно звоните.

— Спасибо, — говорю.

— Ну что вы, — говорят, — это наша работа.

Вышел из будки: господи, а весна-то! Так бы прямо и запел. Но не могу, ножик мешает. Встал я тогда на обочине, руку поднял. Часа не прошло — такси остановилось.

Я таксисту ножик показал и говорю:

— Шеф, до Склифосовского не подбросишь?

Он говорит:

— Десять долларов!

Я говорю:

— У меня только наши.

Он говорит:

— За наши я тебя сам пырну.

Я говорю:

— Не надо.

Он говорит:

— Как хочешь. Мое дело предложить.

И уехал. А я пошел на автобус. Потому что действительно, если каждый раз, как пырнут, на такси разъезжать — накладно получается. Лучше не привыкать.

Влез в автобус, еду себе, пейзажем в окошко любуюсь. А там ручьи текут, почки распускаются, кран поперек стройки лежит, милиционеры парами гуляют — словом, весна! Так всем этим залюбовался, что даже не заметил, как скандал возник. Женщина какая-то закричала, и что интересно, опять на меня:

— Как вы смеее в таком виде, что это из вас торчит? Постыдились бы, тут дети...

Я говорю:

— Гражданочка, я не виноват! Это Евстигней.

А гражданочка шипит:

— Спрячьте немедленно вашего евстигнея и не будоражьте население!

И какой-то ворошиловский стрелок тут же:

— Вот до чего перестройка страну довела; в старое время не торчало бы из тебя, троцкиста поганого, среди бела дня!

В общем, вытолкали меня из автобуса взашей прямо на неврастеника какого-то. Он как нож у меня увидел, в этой... аж в бок вцепился.

— Вы-то мне, — говорит, — и нужны! Идемте, — говорит, — русский человек! Ведь вы же русский?

Я говорю:

— У меня дед поляк был.

Он говорит:

— Поляк — это ничего! Это можно, идемте.

Я говорю:

— А прабабка — турчанка с армянской примесью.

Он как заорет:

— Ну и хрен с ней, с вашей прабабкой! Что вы привязались ко мне со своими предками!

И потащил куда-то.

Я говорю:

— Мне бы ножик вынуть...

Он говорит:

— Вы что, с ума сошли? Без ножика совсем не то. И потом — вам идет.

Приволок меня на какую-то площадь, затащил на трибуну и сразу стал рубаху на себе рвать.

— Смотрите, — закричал, — люди православные, вот он, знак, вот что с матушкой Россией сделали! Вот она, бессловесная, с иудейским ножом в этой... Доколе же будем молчать, россияне?

Тут народ на площади взвыл:

— Не будем молчать! Пусть говорит! Скажи, русский человек!

Меня вперед вытолкнули, мегафон всучили.

Я говорю:

— Граждане! Нет ли среди вас случайно хирурга? Мне бы ножик вынуть...

— Не-ет! — кричат. — Хирургов нет! Здесь только патриоты!

— Извините за беспокойство, — говорю, — тогда я пошел.

— Иди, — говорят, — русский человек, иди, а уж мы тут за Россию постоим...

И пошел я тихонечко домой. Неловко как-то стало, право: тут такое в стране обновление, все течет отовсюду, опять же, подъем национального рефлекса обалденный — а я ношусь со своим ножом в этой... как дурак с писаной торбой. Ну, торчит и торчит, никому не мешает. А спать на животе можно.

А весна вокруг — стебелечки из земли прут почем зря, народ с работы по домам плывет... Настроение, словом, прекрасное. Чуть не испортил мне его какой-то милиционер — хотел арестовать за ношение холодного оружия в неположенном месте, но я дал ему Христа ради пять рублей, и он отвязался.

Во дворе под детским грибком сидел Евстигней Зубайлов с каким-то еще неизвестным мне хмырем. Они пили водку и по очереди кусали от палки колбасы. Увидев меня, Евстигней радостно замахал конечностями.

— Ванюха! — закричал он. — Познакомься, дружище, — это Петька Засухин! Ну, с которым я тебя давеча перепутал. Во такой мужик оказался! Оказывается, Ваня, он за ЦСКА не болеет, он их, козлов, сам на дух не переносит... Петька, дрон кабучий, да вон же он, мой ножик; ну-ка подмогни! А то всё откусываем и откусываем, как нелюди какие...

Они уперлись в меня ногами, выковыряли нож и стали нарезать колбасу. Я хотел уйти, но меня не отпустили, пока я не выпил за дружбу. Потом Евстигней дал мне заесть кусочком колбасы с ножа, и я пошел домой: переодеться в чистое и сбегать за кефиром.

Я шел, стараясь не ударить лицом в грязь, и не думать о людях плохо. Ведь в том и диалектика момента, что президент у нас уже есть, а жизни еще нет.

1990



Александр Сергеевич Пушкину

гадалка нагадала смерть от белой головы — и он погиб тридцати семи лет от руки блондина.

Игнату Петровичу Можжевелову гадалка нагадала казенный дом, дальнюю дорогу и кучу других неприятностей, но ничего этого с ним не произошло — вот только на восьмом десятке у Игната Петровича отшибло память.

Обнаружилось это так: однажды не смог Игнат Петрович вспомнить, где лежит его серпастый-молоткастый, и, стоя посреди комнаты, долго шлепал себя ладонями по ляжкам. Когда же супруга его, Елена Павловна, спросила, чего он, собственно, шлепает, Игнат Петрович тускло на нее посмотрел и спросил:

— Ты кто?

Супруга не нашлась, что ответить на этот простой вопрос, и завyla белугой. В тот же день Игнат Петрович забыл, кто он, как его звать и все остальное, что еще помнил к тому времени.

Приехали люди в белых халатах, померили Игнату Петровичу давление и начали водить перед его бурым носом молоточком — и водили им до тех пор, пока к склерозу Игната Петровича не прибавилось косоглазие. Больше врачи добиться не смогли и, прописав цикл уколов, уехали восвояси.

Уколы Игнат Петрович переносил мужественно — только, спуская штаны, всякий раз спрашивал медсестру:

— Ты кто?

Через неделю Елена Павловна, которой этот проклятый вопрос задавался два раза в час, села на телефон и че-

рез мужа снохи двоюродной сестры шурина добыла адрес одного старичка-боровичка, который, говорили, мог все.

Старичка привезли аж из-под Подольска. Войдя, он деловито просеменил в комнату, наложил пухленькие ручки на голову Игнату Петровичу и тихим голосом сказал:

— Вспоминай.

После чего пошел в ванную и тщательным образом руки вымыл.

Получив затем от Елены Павловны несколько красивых бумажек с дяденьками в париках, старичок не торопясь поскреб их желтым ногтем, спрятал в зипунчик и засеменял прочь.

— Ой, а мне можно?.. На всякий случай... — остановила его в дверях Елена Павловна.

— Конечно, конечно! И ты вспоминай, — погладив ее по голове, разрешил старичок — и был таков.

Внушение дало результаты совершенно волшебные. Старичок, щупая в кармане бумажки, только выходил из подъезда, а Игнат Петрович уже уверенным шагом шел к серванту. «Вспомнил, вспомнил!» — приговаривал он и бил себя по голове серпастым-молоткастым.

Дело пошло как по маслу. В тот же день Игнат Петрович вспомнил, кто он и как его звать. Оpoznанная супруга всплескивала руками и приговаривала: «Ай да старичок!»

Старичок действительно оказался ничего себе.

Наутро Игнат Петрович пробудился ни свет ни заря, потому что вспомнил во сне речь Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева на семнадцатом съезде профсоюзов. Причем вспомнил дословно.

Выслушанная натошак речь произвела на Елену Павловну сильное впечатление — отчасти, может быть, потому, что остановиться Игнат Петрович не мог, хотя попытки делал.

Произнеся на пятом часу заветное «бурные продолжительные аплодисменты, все встанут», Игнат Петрович изумленно пробормотал: «Вон чего вспомнил» — и без сил упал на тахту.

За завтраком Елена Павловна с тревогой поглядывала в сторону мужа, опасаясь, что тот опять заговорит. Но,

измученный утренним марафоном, Игнат Петрович молчал, как партизан, и первой заговорила она сама.

— Moscow, — сказала она, — is the capital of the USSR. There are many streets and square here!

Хотя хотела всего лишь спросить у Игната Петровича, не хочет ли тот еще гренков.

Игнат Петрович поперхнулся глотком какао, а то, что проглотил, пошло у него носом.

— Ты чего? — спросил он, отроду не слыхавший от жены английского слова.

— Moscow metro is the best of the world, — ответила Елена Павловна, удивляясь себе. — Ой, мамочки! Lenin was born! — крикнула она, и ее понесло дальше.

Процесс пошел. Через час Можжевелов, не в силах удержать в себе, уже рассказывал супруге передовицу «Собрать урожай без потерь!» из августовской «Правды» какого-то крошечного года. Супруга плакала, но Игнат Петрович был неумолим. Кроме видов на давно съеденный урожай, Елена Павловна узнала в этот день данные о добыче чугуна в VI пятилетке, дюжину эпиграмм Ник. Энтелиса и биографию Паши Ангелиной, всю.

День пролетел незаметно.

На сон грядущий Игнату Петровичу вспомнились Чомбе, Пономарев и Капитонов.

В антракте между приступами Игнат Петрович лежал на тахте и с выпученными глазами слушал излияния супруги. Воспоминания Елены Павловны носили характер гуманитарный: она шпарила английские topics про труд, мир и фестиваль, переходя на родной язык только для того, чтобы спеть из Серафима Туликова, помянуть добрым словом царицу полей и простонать: «О господи!»

Только перед самым сном Елену Павловну наконец отпустило, и она звонко несколько раз выкрикнула в сторону Подольска: «Сука! сука! сука!»

На рассвете Игнат Петрович (была его очередь) произнес речь Хренникова на съезде композиторов, а за завтраком с большим успехом изобразил Иосифа Броз Тито с карикатуры Кукрыниксов. К счастью для супруги, наблюдать все это ей пришлось недолго: в семь утра она приступила к исполнению ста песен о Сталине — и уже не дала себя отвлечь ничем.

Дело принимало дурной оборот. Коммунистическое двухголосие, доносившееся из окон дома в центре Москвы, начало привлекать внимание. К вечеру по городу поползли слухи, что в районе Кропоткинской функционирует партиячейка истинно верного направления. Под окнами начали собираться старoverы с портретами. Ночью на фасаде дома появилась надпись, призывающая какого-то Бенью Эльцина убираться в свой Израиль, а в половине седьмого утра, судя по понесшимся из окон крикам «Расстрелять!» и «Говно!», Игнат Петрович дошел до ленинского периода в развитии марксизма.

Супруга, всхлипывая и из последних сил напевая «Варшавянку», уже писала срочную телеграмму в Подольск.

Старичок приехал к полудню.

— Что ж ты наделал, ирод? — с порога закричала на него Елена Павловна. — The Great October Socialist Revolution!

— Чего? — в ужасе переспросил старичок.

Елена Павловна только замахала руками. В комнате, сидя в кресле со стопкой валокордина, осунувшийся Игнат Петрович бормотал что-то из переписки Маркса с Лассалем. Старичок, вздохнув, почесал розовую лысинку.

— Дозировку не рассчитал, — признался он наконец. — Передержал. Теперь уж... — И развел окаянными руками.

— Верни! — закричала тогда Елена Павловна. — Lenin died in nineteen twenty four! Верни все как было! Сейчас же!

— Хорошо, — покорно согласился старичок. — И тебя, что ли, тоже?..

— Да!

— Не желаешь, стало быть, помнить? — осторожно уточнил старичок.

— Не-ет! — крикнула Елена Павловна и, рыдая, звонко запела: — «Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка-тошка!..»

— Товар — деньги — товар, — откликнулся из кресла Игнат Петрович.

— Ясно, — вздохнул старичок. Он ласково погладил женщину по седым волосам и тихо решил:

— Забывай.

К вечеру того же дня староверы ушли из-под притихших окон и шумною толпой откочевали обратно к музею Ленина, где начали раздавать прохожим листовки с требованием добиваться от дерьмократов расследования по делу об исчезновении двух коммунистов-ленинцев.

А Игнат Петрович с Еленой Павловной живут между тем и по сию пору — там же, на своей квартире. Живут хорошо, мирно; только каждое утро, встав ото сна, спрашивают друг друга:

— Ты кто?



Информация к размышлению

Хроника небывшего

М. Шевелеву

Операция «Санрайз-кроссворд»

шла как по маслу.

Старенький пастор все ж таки перепутал цвета залов, заблудился и отправил шифрованную депешу не туда. Никакой утечки о переговорах от этого, разумеется, не произошло; миссия Вольфа закончилась полным успехом. Сепаратный мир был заключен.

Переброска армии Кессельринга на Восточный фронт и успехи рейхсвера на Балатоне отозвались высадкой Квантунской армии в Чите и Хабаровске — и казнью в Москве личного состава Генштаба вкупе со всеми руководителями полковника Исаева, аккуратно в эти дни вместо звания Героя Советского Союза награжденного личным крестом фюрера.

Левые в конгрессе США покричали о предательстве, но им было указано на национальные интересы, и они набрали в рот воды.

...2 сентября 1945 года на авианосце «Зигфрид» была подписана полная и безоговорочная капитуляция коммунистической России. Европейская часть Союза вошла в состав тысячелетнего рейха; территории за Уралом перешли под юрисдикцию США.

Заодно, на память о Перл-Харборе, Штаты оттяпали у японцев четыре острова с Курильской гряды. Японцы не соглашались, но публичные испытания в Лос-Аламосе их убедили.

Немецкий атомный проект чуть запаздывал благодаря апатии физика Рунге, последний энтузиазм из которого

был выбит осенью сорок четвертого в подвалах папаша Мюллера. Проект был реализован только в сорок девятом, за что Рунге получил крест Героя Национал-Социалистического Труда.

К тому времени между демократическим Западом и нацистской Германией уже три года шла «холодная война».

...Штирлиц сидел в своем любимом кабачке «Элефант», перечитывая старые радиোগраммы из Центра. Новых давно не поступало, да и неоткуда было: на Лубянке уже располагался филиал гестапо. Однажды нацистское руководство предложило Штирлицу командировку в Москву, но он отказался, потому что не хотел встречаться с женой.

Рассчитывать было не на кого, борьба с фашизмом продолжалась в автономном режиме.

Между тем фатерлянд откуда ни возьмись заполонили убийцы в белых халатах. Они уже залечили насмерть Геббельса, его жену и шестерых детей — и, по слухам, подбирались к фюреру. Их разоблачила простая немецкая медсестра, но казнить убийц не успели, потому что весной 53-го Гитлер все-таки умер — возможно, что и сам.

В бункере началась дележка пирога — и Штирлиц понял, что его час настал. Подговорив любимца армии Гудериана, он летом того же года добился ареста рейхсмаршала СС Гиммлера, за что получил звание бригаденфюрера и «вертушку» (гадить фатерлянду было удобнее с самого верха).

Гиммлер, как выяснилось сразу же после ареста, был завербован британской разведкой еще во времена Веймарской республики. Шпиона, тридцать лет притворявшегося видным нацистом, без лишних формальностей расстреляли в военной комендатуре Берлина.

Следующей операцией Штирлица стало постепенное сближение с контр-адмиралом Деницем, результатом чего стал доклад контр-адмирала на XX съезде НСДАП — о мерах по преодолению последствий культа личности Адольфа Гитлера (Шикльгрубера). Предполагалось, что доклад будет закрытым, но Штирлиц с удовольствием организовал утечку в низовые партийные организации.

Из венцев он долго мог терпеть только Моцарта.

О предстоящем вторжении рейхсвера в Будапешт Штирлиц предупредил Хорти за полгода, но Хорти ему не поверил.

Выдержка, любил повторять полковник Исаев, — оборотная сторона стремительности. Летом 57-го подвернулся наконец случай рассчитаться с Мюллером за нервный денек, проведенный у него в подвале весной 45-го: стараниями Максима Максимовича антипартийная группировка (Мюллер, Кейтель, Роммель и примкнувший к ним Риббентроп) была осуждена на пленуме НСДАП.

Мюллер вылетел на пенсию — и до середины восьмидесятых развлекался тем, что пугал берлинцев, гуляя по бульварам без охраны.

Следует заметить, что всю эту антипартийную группировку сам Штирлиц и придумал.

На время Берлинского фестиваля молодежи и студентов 1957 года он уехал в Альпы покататься на лыжах — от стихов молодых поэтов на Александерплац его мутило. Из отечественной поэзии Штирлиц любил Рильке, но никому этого не говорил — растерзанный в клочья нацистской критикой, Райнер-Мария вынужден был отказаться от Нобелевской премии.

Полет в космос первого человека, симпатичного оберлейтенанта люфтваффе, вызвал в душе Максима Максимовича сложные чувства, но вскоре ему стало не до космоса: контр-адмирал Дениц, разогнав выставку абстракционистов в Дрезденской галерее, уехал в отпуск в Крым — и в фатерлянде запахло реваншем.

О планах гестапо по смещению старого контр-адмирала Штирлиц знал давно, но Октябрьский 1964 года Пленум ЦК НСДАП застал его врасплох. Предложение группы старых арийцев повесить волонтариста на фортепианной струне не собрало большинства — опальному борцу с пидарасами дали пенсионную дачу под Берлином, но зятя из «Фелькишер беобахтер» все-таки поперли.

О новом лидере нации было известно, что начинал он секретарем у Бормана и покойному фюреру однажды понравилась его выправка. Шевеля огромными бровями, он начал закручивать гайки и возвращать страну к исконным ценностям национал-социализма.

«А вот это — провал», — думал Штирлиц, голосуя «за».

Через четыре года танки Германии и ее союзников по Варшавскому Договору вошли в Прагу, где, не посоветовавшись с Берлином, чехи пытались построить себе национал-социализм с человеческим лицом.

Для причинения вражеской империи серьезного урона изнутри нужен был соответствующий пост — и, собрав все силы для решающего карьерного броска, полковник Исаев пустился во все тяжкие.

Он охотился с Герингом на кабанов в Берлинском зоопарке, пьянствовал в помещении рейхсканцелярии с Кальтенбруннером, расхищал вместе с Борманом партийную кассу и неоднократно участвовал в свальном грехе с министром культуры Марикой Рокк. Все это не могло не дать результатов: в семьдесят первом Штирлиц стал наконец членом Политбюро ЦК НСДАП.

Мало кто из знавших штандартенфюрера в молодые годы узнал бы его теперь: у Штирлица появился блудливый взгляд, мешки под глазами и сильное фрикативное «г» в слове «геноссе». Зато теперь он имел возможность напрямую влиять на политику Третьего рейха, что и делал, сколько хватало фантазии.

Начал Штирлиц с поворота Рейна и Одера, а продолжил строительством узкоколейки Бордо—Сыктывкар, бросив в Заполярье весь гитлерюгенд.

Главной задачей внешней политики стала поддержка всех родоплеменных африканских режимов. Усиление борьбы с рок-музыкой удачно совпало с появлением в Мюнхене карточек на пиво и баварские сосиски. «Фольксвагены» уже давно продавались только по записи.

В целом итогами десятилетия Штирлиц был доволен. В фатерлянде еще оставалось несколько недоразваленных отраслей, но это было делом времени. «Теперь главное — Иран», — думал Штирлиц, складывая на столе спичечных зверюшек.

Вооруженная поддержка шаха закончилась, как и было намечено, полной изоляцией Германии и бойкотом берлинской Олимпиады 1980 года. Немецкие атлеты взяли все медали себе, а физик Рунге, трижды Герой Национал-Социалистического Труда и лидер правозащитного движения, был сослан в закрытый город Дюссельдорф, откуда пытал-

ся поддерживать забастовки на верфях рейхсвера в Гданьске, возглавляемые каким-то одержимым электриком.

Вскоре после Олимпиады бровастый Генсек ЦК НСДАП получил литературную премию имени Ницше и умер. Следом за ним на том же посту умерли: старинный приятель Штирлица, глава внешней разведки Вальтер Шелленберг (так и не сумевший навести в фатерлянде дисциплину) и тихий, совершенно никому не известный за пределами ЦК НСДАП первый помощник лауреата премии Ницше. На всех трех похоронах исполнялись «Кольца Нибелунгов», целиком.

В 1985 году в ошалевшей от Вагнера стране к власти пришел наконец молодой, энергичный выходец из гитлерюгенда, давно чувствовавший необходимость коренных перемен в нацистском движении.

Первым делом (разумеется, с подачи Штирлица) он объявил войну шнапсу. Решение это дало поразительные результаты: уже через месяц на заводах Круппа было налажено нелегальное производство самогонных аппаратов. Когда самогонщиков начали судить, фатерлянд встал на дыбы, но до открытого бунта дело не дошло — и, вдохновленный работоспособностью нового отца нации, Штирлиц сменил тактику.

Мало кто в Политбюро НСДАП догадывался, что именно Штирлицу принадлежала идея реформации нацистского государства, впоследствии вошедшей в историю под термином «перестройкиш». А простые немцы вообще ничего не понимали — просто в одно прекрасное утро обнаружилось, что все герои фатерлянда — не потомки Зигфрида, а собачье дерьмо.

В дни выхода свежего номера «Нойес лебен» под окнами редакции стали собираться возбужденные строители Третьего рейха, поголовно поносить фюреров и спорить о прусской идее.

Германия превратилась в библиотеку. Тиражи подскочили к миллиону; в районных отделах НСДАП в открытую читали Ремарка, в Союзе писателей Третьего рейха начались консультации относительно издания полного собрания сочинений Генриха Гейне.

Пока консультации шли, собрание вышло в Верхней Саксонии сотысячным тиражом.

Мюллер тихой сапой переправил в пару американских издательств рукописи своих мемуаров о жутком прошлом гестапо и ездил туда читать лекции.

В мае восемьдесят седьмого в Доме культуры имени Геринга состоялся вечер Фасбиндера, и, пока в Политбюро обсуждали размеры карательной акции, «Берлинер ансамбль» поставил «Карьеру Артура Уи». Лидер нации посетил премьеру и произнес несколько слов об ужасах гитлеризма.

Одновременно диссидентам, севшим за распространение пьесы Брехта в самиздате, ужесточили режим.

Диверсии в области идеологии Штирлиц продолжал подпирать расколом в партийных рядах. В сентябре 1987-го, непосредственно перед заседанием Политбюро ЦК НСДАП, он еще раз ударил бутылкой по голове Холтоффа, возглавлявшего в то время берлинскую партийную организацию. Находясь в этом состоянии, Холтофф произнес яркую речь против привилегий, из-за которой был немедленно исключен из Политбюро и стал народным арийским любимцем.

Мир за пределами Германии по-прежнему сходил с ума от борца со шнапсом. Вдохновляемый Штирлицем, тот докатился до того, что признал перегибы в работе Освенцима и личным звонком вернул из закрытого города Дюссельдорфа опального физика Рунге. Вывод рейхсвера из Ирана окончательно превратил борца со шнапсом в идола западной демократии, которой с начала пятидесятых снились немецкие ядерные подлодки, всплывающие в дельте Миссисипи.

Нанося по нацизму удар за ударом, в 1989-м Штирлиц осуществил наконец операцию «Выборы в рейхстаг». Из пятисот депутатских мест целых пятнадцать удалось отдать не членам НСДАП, протащить в высший законодательный орган Третьего рейха двух евреев и организовать прямые трансляции на всю Германию.

До последнего момента нацистская верхушка была уверена, что играет с проклятым Западом тонкую двойную игру, но депутаты рейхстага, трижды проинструктированные, проверенные члены партии, истинные арийцы с характерами нордическими, выдержанными, в прошлом беспощадные к врагам рейха, оказавшись в прямом эфире, понесли родное нацистское государство по таким кочкам, что испугались даже евреи.

Когда группе бывших работников идеологического отдела ЦК НСДАП удалось поставить на голосование вопрос о многопартийности, в самой НСДАП было уже два десятка фракций, от твердокаменных рэмовцев до социал-демократов шведского типа.

Жизнь за пределами НСДАП тоже не переставала удивлять: в норвежских школах явочным порядком кончили преподавать немецкий язык; в Польше день знаний первое сентября объявили днем траура.

Подразделения рейхсвера, направленные остановить войну между Чешским и Словацким протекторатами из-за Моравии, были обстреляны с обеих сторон, и больше рейх уже ни во что не вмешивался.

Наконец, толпы славянской молодежи снесли Уральский хребет — и Западная Россия, никого буквально не спросив, объединилась с Восточной.

Штирлицу уже не надо было ничего делать: режим разваливался в автономном режиме. Единственное, что позволял себе старый бригаденфюрер, — это время от времени бить Холтоффа бутылкой по голове, но и это было уже скорее данью традиции, чем необходимостью: нашедший себя Холтофф и без того крушил рейх как мог... Собственно, никакого рейха уже не было: Дойч-Банк давал за марку полцента, гестапо окончательно перешло на рэкет; какие-то умельцы втихую акционировали имущество гитлерюгенда...

Юный резерв партии давно торговал чизбургерами в «Макдоналдсе» и вместо Вагнера в открытую тащился от группы «Queen». Деморализованные войска вермахта, сопровождаемые улюлюканьем, покидали Варшаву и Москву...

Летом девяносто первого группа отчаявшихся национал-патриотов изолировала борца со шнапсом в его резиденции на Черном море и, собравши пресс-конференцию, объявила все, что случилось в фатерлянде после восьмидесяти шестого года, недействительным.

При этом руки у патриотов тряслись.

Ранним августовским утром Штирлиц приехал к Холтоффу и, растолкав, объяснил ему, что — пора. Попросив Штирлица покрепче ударить его бутылкой по голове, Холтофф вышел в прямой эфир и позвал берлинцев на баррикады.

Через пару дней, подцепив тросами за шеи, берлинцы уже снимали с площадей изваяния фюрера, а свободолюбивый немецкий народ во главе с активистами гестапо рвал свастики и громил сейфы в здании ЦК НСДАП. Разгромив сейфы, демократы-гестаповцы с немецкой аккуратностью жгли документы...

Вернувшийся с Черного моря борец со шнапсом рейха уже не застал.

...Полковник Исаев сидел в своем любимом кабачке «Элефант», накачиваясь импортным пивом (своего в Германии давно не было). Задание, которое он поставил сам себе полвека назад, было выполнено с блеском — нацистское государство лежало в руинах. И только одно мучило старенького Максима Максимовича: он никак не мог вспомнить — где раньше видел лицо лидера Либерально-демократической партии фатерлянда, этого болтливого борца за новую Германию, вынырнувшего вдруг из ниоткуда и мигом взлетевшего в политическую элиту страны (взлетевшего, поговаривали, на деньги Бормана).

Он вспомнил это по дороге домой — и, вспомнив, остановил машину и долго потом сосал валидол.

Лицо борца с гитлеризмом было лицом провокатора Клауса, агента четвертого управления РСХА, собственноручно застреленного Штирлицем под Берлином полвека назад. Клаус не только выжил, но ничуть не постарел, а только раздобрел на спонсорских харчах — и теперь, не вылезая из телевизоров, уверенно вел фатерлянд к новой жизни.

Штирлиц выключил зажигание и заплакал тяжелыми стариковскими слезами.

Когда по радио передали

изложение речи нового генерального секретаря перед партийным и хозяйственным активом города Древоедова, Холодцов понял, что началась новая жизнь, и вышел из дому.

Была зима. Снег оживленно хрустел под ногами в ожидании перемен. Октябрята, самым ходом истории избавленные от вступления в пионеры, дрались ранцами. Воробьи, щебеча, кучковались у булочной, как публика у «Московских новостей». Все жило, сверкало и перемещалось.

И только в сугробе у троллейбусной остановки лежал человек.

Он лежал с закрытыми глазами, строгий и неподвижный. Холодцов, у которого теперь, с приходом к власти Михаила Сергеевича, появилась масса неотложных дел, прошел было мимо, но тотчас вернулся.

Что-то в лежащем сильно смутило его.

Оглядев безмятежно расprostертое тело, Холодцов озадаченно почесал шапку из кролика. Такая же в точности нахлобучена была гражданину на голову. Такое же, как у Холодцова, было у гражданина пальто, такие же ботинки на шнурках, очки...

Озадаченный Холодцов несмело потрепал человека за обшлаг, потом взял за руку и начал искать на ней пульс. Пульса он не нашел, но глаза гражданин открыл. Глаза у него были голубые, в точности как у Холодцова.

Увидев склонившееся над собою лицо, гражданин улыбнулся и кратко, как космонавт, доложил о самочувствии:

— В порядке.

При этом Холодцова обдало характерным для здешних мест запахом.

Сказавши, гражданин закрыл глаза и отчалил из сознания в направлении собственных грез. Сергей Петрович в задумчивости постоял еще немного над общественно бесполезным телом — и пошел по делам.

«А вроде интеллигентный человек», — подумал он чуть погодя, вспомнив про очки.

Передавали новости из регионов. Ход выдвижения кандидатов на девятнадцатую партконференцию вселял сильнейшие надежды. Транзистор, чтобы не отстать от жизни, Холодцов не выключал с эпохи похорон — носил на ремешке поверх пальто, как переметную суму.

Ехал он к Сенчиллову, другу-приятелю университетских лет.

Сенчиллов был гегельянец, но гегельянец неумеренный и даже, пожалуй, буйный. Во всем сущем, вплоть до перестановок в политбюро, он видел проявление мирового разума и свет в конце туннеля, а с появлением на горизонте прямоходящего генсека развинулся окончательно.

В последние полгода они с Холодцовым дошли до того, что перезванивались после программы «Время» и делились услышанным от одного и того же диктора.

Сенчиллов, разумеется, уже знал о выступлении реформатора в Древоедове и согласился, что это коренной поворот. Наступало время начинать с себя.

Не дожидаясь полной победы демократического крыла партии над консервативным, они поувольнялись из своих бессмысленных контор, взяли в аренду красный уголок и открыли кооператив по производству рыбьего жира. Они клялись каким-то смутным личностям в верности народу и стучали кулаком во впалую от энтузиазма грудь; Сенчиллов с накладными в зубах каждый день бежал фискалить сам на себя в налоговую инспекцию...

Дохода рыбий жир не приносил, а только скапливался.

В самый разгар ускорения в кооператив пришел плотного сложения мужчина со съеденной дикцией и татуировками «левая» и «правая» на соответствующих руках. Войдя, человек велел им быстро рвать когти из красного уголка вместе с рыбьим жиром, а на вопрос Холодцова,

кто он такой и какую организацию представляет, взял его за лицо рукой с надписью «левая» и несколько секунд так держал.

Холодцов понял, что это и есть ответ, причем на оба вопроса сразу.

Сенчиллов набросал черновик заявления в милицию, и полночи они правили стиль, ссорясь над деепричастиями. Наутро, предвкушая правосудие, Холодцов отнес рукопись в ближайший очаг правопорядка.

Скучный лицом капитан сказал, что им позвонят, и не соврал. Позвонили в тот же вечер. Звонивший назвал гегельянца козлом и, теряя согласные, велел ему забрать заявление из милиции и засунуть его себе.

При вторичном визите в отделение там был обнаружен уже совершенно поскучневший капитан. Капитан сказал, что волноваться не надо, что сигнал проверяется — вслед за чем начал перекидывать туда-сюда бумаги и увлекся этим занятием так сильно, что попросил больше его не отвлекать. В ответ на петушиный крик Холодцова капитан поднял на него холодное правоохранительное лицо и спросил: «Вы отдаете себе отчет?..»

У Холодцова стало кисло в животе, и они ушли.

Ночью домой к Холодцову пришел Сенчиллов. Его костюм был щедро полит рыбьим жиром; на месте левого глаза заплывал фингал. В уцелевшем глазу Сенчиллова читалось сомнение в разумности сущего.

Через неделю в красный уголок начали завозить черную мебель. Командовал операцией детина с татуированными руками.

Холодцов устроился в театр пожарником. Музы не молчали. Театр выпускал чудовищно смелый спектакль с бомжами, Христом и проститутками, причем действие происходило на помойке. С замершим от восторга сердцем Холодцов догадался, что это метафора. Транзистор, болтаясь на пожарном вентиле, с утра до ночи крыл аппаратчиков, не желавших перестраиваться на местах. Успехи гласности внушали сильнеешие надежды. Холодцов засыпал на жестком топчане среди вонючих свежепропитанных декораций.

Сенчиллов, будучи последовательным гегельянцем, нигде не работал, жил у женщин, изучал биографию Гдьяна.

Процесс шел, обновление лезло во все дыры.

Когда безнаказанно отделился Бразаускас, Холодцов не выдержал, сдал брандспойт какому-то доценту и исчез. Исчез и Сенчиллов — с той лишь разницей, что Холодцова уже давно никто не искал, а гегельянца искали сразу несколько гражданок обновляемого Союза — с намерением женить на себе или истребить вовсе.

Время слетело с катушек и понеслось.

Их видели в Доме ученых и на Манежной — в дождь и слякоть, стоящими порожняком и несущими триколор. Они спали на толстых журналах, укрываясь демократическими газетами. Включение в правительство академика Абалкина вселяло сильнейшие надежды; от слова «плюрализм» в голове покалывало, как в носу от газировки. Холодцов влюбился в Собчака, а Сенчиллов — в Станкевича. Второй съезд они провели у гостиницы «Россия», уговаривая коммунистов стать демократами, и отморозили себе за этим занятием все, что не годилось для борьбы с режимом.

В новогоднюю ночь Сенчиллов написал письмо Коротичу, и потом вся страна, вместо того чтобы работать, его читала. Весной любознательный от природы Холодцов пошел на Пушкинскую площадь посмотреть, как бьют Наводворскую, и был избит сам.

Непосредственно из медпункта Холодцов пошел баллотироваться. Он выступал в клубах и кинотеатрах, открывал собравшимся жуткие страницы прошлого, о которых сам узнавал из утренних газет, обличал и указывал направление. Если бы КГБ мог икать, он бы доикался в ту весну до смерти; если бы указанные Холодцовым направления имели хоть какое-то отношение к пейзажу, мы бы давно гуляли по Елисейским Полям.

С энтузиазмом выслушав Холодцова, собрание утвердило кандидатом подполковника милиции, причем еще недавно, как отчетливо помнилось Холодцову, подполковник этот был капитаном. Все то же скучное от рождения, но сильно раздавшееся вишь за время перестройки лицо кандидата в депутаты повернулось к конкуренту, что-то вспомнило и поморщилось, как от запаха рыбьего жира.

Осенью, перебегая из Дома кино на Васильевский спуск, Холодцов впервые увидел доллар. Какой-то пар-

нишка продавал его прямо на Тверской за четыре рубля, и Холодцов ужаснулся, ибо твердо помнил, что по-настоящему доллар стоит шестьдесят семь копеек.

Жизнь неслась вперед, меняя очертания. Исчезли пятидесятирублевки, сгинул референдум, заплакав, провалился сквозь землю Рыжков, чертиком выскочил Бурбулис. Холодцов слег с язвой и начал лысеть; Сенчиллова на митинге в поддержку «Саюдиса» выследили женщины.

Потрепанный в половых разборках, он осунулся, временно перестал ходить на митинги и сконцентрировал все усилия на внутреннем диалоге. Внутренний диалог шел в нем со ставропольским акцентом.

Летом Холодцов пошел за кефиром и увидел танки. Они ехали мимо него, смердя и громыхая. Любопытствуя, Холодцов побежал за танками и в полдень увидел Сенчиллова. Сенчиллов сидел верхом на БМП, объясняя торчавшему из люка желтолицему механику текущий момент — причем объяснял по-узбекски.

Три дня и две ночи они жили как люди. Ели из котелков, пили из термоса, обнимались и плакали. Жизнь дарилась невероятное. Нечеловеческих размеров рыцарь революции, оторвавшись от цоколя, плыл над площадью; коммунисты прыгали из окон, милиционеры били стекла в ЦК... Усы Руцкого и переименование площади Дзержинского в Лубянку вселяли сильнейшие надежды. Прошлое уходило вон. Занималась заря. Транзистор, раз и навсегда настроенный на «Эхо Москвы», говорил такое, что Холодцов сразу закупил батареек на два года вперед.

После интервью Ивана Силаева новому Российскому телевидению Сенчиллов сошел с ума и пообещал жениться на всех сразу.

Ново-Огарево ударилось об землю и обернулось Белоужской Пущей; зимой из магазина выпала и потянулась по переулку блокадная очередь за хлебом; удивленный Холодцов встал в нее и пошел вместе со всеми, передвигаясь по шажку. Спереди кричали, чтоб не давать больше батона в одни руки, сзади напирали; щеку колол снег, у живота бурчал транзистор. Транзистор знакомым голосом обещал лечь на рельсы, предварительно отдав на отсечение обе руки.

Холодцов прибавил звук и забылся.

Когда он открыл глаза, была весна, вокруг щебетали грязные и счастливые воробьи, очереди никакой не было, и хлеба завались — но цифры на ценниках стояли такие удивительные, что Холодцов даже переспросил продавщицу про нолики: не подрисовала ли часом. Будучи продавщицей послан к какому-то Гайдари, он, мало что понимая, вышел на улицу и увидел возле магазина дядьку в пиджаке на майку и приколотой к груди картонкой «Куплю ваучер». Возле него торговала с лотка девочка. Среди журналов, которыми торговала девочка, «Плейбой» смотрелся престарелым, добропорядочным хиппарем, случайно зашедшим на оргию. Холодцов понял, что давеча забылся довольно надолго, и на ватных ногах побрел искать Сенчиллова.

Сенчиллов стоял на Васильевском спуске и, дирижируя, кричал загадочные слова «да, да, нет, да!». Глаза гегельянца горели нечеловеческим огнем. Холодцов подошел к нему — уточнить, зачем он кричит «да, да, нет, да», что такое «ваучер», почему девочка среди бела дня торгует порнографией — и что вообще происходит.

Сенчиллов его не узнал. Холодцов крестом пощелкал пальцами в апрельском воздухе перед лицом друга, отчего тот вздрогнул и сфокусировал взгляд.

— Здравствуй, — сказал Холодцов.

— Где ты был? — нервно крикнул Сенчиллов. — У нас тут такое!

— Какое? — спросил Холодцов.

Сенчиллов замахал руками в пространстве, формулируя. Холодцов терпеливо наблюдал за этим сурдопереводом.

— В общем, ты все пропустил... — сказал Сенчиллов. Заложив себе уши пальцами, он внезапно ухнул в сторону Кремля ночным филином: — Борис, борись! — после чего потерял к Холодцову всякий интерес.

Через проезд стояла какая-то другая шеренга и кричала «нет, нет, да, нет!». Холодцов пошел туда, чтобы расспросить об обстоятельствах времени, и тут же получил мегафоном по голове. Слабо цапанув рукой по милицескому барьерчику, он потерял сознание.

Открыл глаза он от сильных звуков увертюры Петра Ильича Чайковского «1812 год».

В голове гудело. Несомый ветерком, шелестел по отвесно стоящей брусчатке палый лист, по чистому, уже осеннему небу плыло куда-то вбок отдельное облачко, опрокинутый навзничь Минин указывал Пожарскому, где искать поляков.

Холодцов осторожно приподнял тяжелую голову. Перед памятником, пригнувшись, наяривал руками настоящий Ростропович. Транзистор бурчал голосами экспертов. Ход выполнения Указа 1400 вселял сильнейшие надежды. Красная площадь была полна народу, в первом ряду сидел до судороги знакомый человек с демонстративной сединой и теннисной ракеткой в руках. Холодцов слабо улыбнулся ему с брусчатки и начал собираться с силами, чтобы пожелать человеку успехов в его неизвестном, но безусловно правом деле, — но тут над самым ухом у Холодцова в полном согласии с партитурой ухнула пушка. В глазах стемнело, грузовик со звоном въехал в стеклянную стену телецентра; изнутри ответили трассирующими.

Оглохший Холодцов попытался напоследок вспомнить, был ли в партитуре у Чайковского грузовик с трассирующими, но сознание опять оставило его.

На опустевшую голову села бабочка с жуликоватым лицом Сергея Пантелеймоновича Мавроди и, сделав крылышками, разделилась натрое; началась программа «Время». Комбайны вышли на поля, но пшеница на свидание не пришла, опять выросла в Канаде, и комбайнеры начали охотиться на сусликов; Жириновский родил Марычева; из «BMW» вышел батюшка и освятил БМП с казаками на броне; спонсор, держа за голую ягодицу девку в диадеме и с лентой через сиськи, сообщил, что красота спасет мир; свободной рукой подцепил с блюда балык, вышел с презентации, сел в «Мерседес» и взорвался. Президент России поздравил россиян со светлым праздником Пасхи и уж заодно, чтобы мало не показалось, с Рождеством Христовым. Потом передали про спорт и погоду, а потом в прямом эфире депутат от фракции «Держава-мать» с пожизненно скучным лицом бывшего капитана милиции полчаса цитировал по бумажке Евангелие.

Закончив с Иоанном, он посмотрел с экрана персонально на Холодцова и тихо добавил:

— А тебя, козла, с твоим, блядь, рыбым жиром мы стгоим персонально.

Холодцов вздрогнул, качнулся вперед и открыл глаза.

Он сидел в вагоне метро. На полу перед ним лежала шапка из старого, замученного где-то на просторах России кролика — его шапка, упавшая с его зачумленной головы. На шапку уже посматривали несколько человек.

— Станция «Измайловская», — сказал мужской голос.

Холодцов быстро подхватил с пола упавшее, выскочил на платформу и остановился, соображая, кто он и где. Поезд хлопнул дверями, прогрохотал мимо и укатил.

Платформа стояла на краю парка, а на платформе стоял Холодцов, ошалело вдыхая зимний воздух неизвестно какого года.

Это была его станция. Где-то тут он жил. Холодцов растер лицо и на нетвердых ногах пошел к выходу.

У огромного зеркала возле края платформы он остановился привести себя в порядок. Поправил шарф, провел ладонью по волосам, кожей ощутив неожиданный воздух под ладонью. Холодцов поднял глаза. Из зеркала на него глянул лысеющий, неухоженный мужчина с навечно встревоженными глазами. Под этими глазами и вниз от крыльев носа кто-то прямо по коже прорезал морщины. На Холодцова смотрел из зеркала начинающий старик в потертом, смешноватом пальто.

Холодцов отвел глаза, нахлобучил шапку и пошел прочь, на выход.

Ноги вели его к дому, транзистор, что-то сам себе бурча, поколачивал по бедру.

В сугробе у троллейбусной остановки лежал человек. Он был свеж, розовощек и вызывающе нетрудоспособен. Он лежал вечной российской вариацией на тему свободы, лежал, как черт знает сколько лет назад, раскинув руки и блаженно сопя в две дырочки.

Холодцов осторожно потерябил его за рукав.

...Холодцов вздрогнул и открыл глаза. Он лежал в сугробе у какой-то остановки, а над ним стоял человек и, держа его руку в своей, искал на ней пульс. Лицо у человека было знакомое по зеркалу, но очень встревоженное.

— В порядке, — успокоил его Холодцов и снова заснул.

...Холодцов постоял еще немного над недвижимым телом и энергичным шагом двинулся вон отсюда — по ко-со протоптанной через сквер дорожке, домой. Потом сорвался на бег, но скоро остановился, задыхаясь. Поправил очки, посмотрел вокруг.

Еще не смеркалось, но деревья уже теряли цвет. Тумбы возле Дворца культуры были обклеены одним и тем же забронзовевшим лицом. Напрягши многочисленные свои желваки, лицо судьбоносно смотрело вдаль, располагаясь вполоборота над обещанием «Мы выведем Россию!».

Руки с татуировками «левая» и «правая» были скрещены на груди. Никаких оснований сомневаться в возможностях человека не имелось.

Прикурить удалось только с четвертой попытки. Холодцов жадно затянулся, потом затянулся еще раз и еще. Выпустил в темнеющий воздух струйку серого дыма, прислушался к бурчанию у живота; незабытым движением пальца прибавил звук у транзистора.

Финансовый кризис уступал место стабилизации, крепла нравственность, в Думе в первом чтении обсуждался закон о втором пришествии.

Ход бомбардировок в Чечне вселял сильнейшие надежды.



Подлинные записки Фомы Обойного



1.



В тяжелые времена начинаю я, старый Фома Обойный, эти записки. Кто знает, что готовит нам слепая судьба за поворотом вентиляционной трубы? Никто не знает, даже я.

Жизнь тараканья до нелепости коротка. Это, можно сказать, жестокая насмешка природы: люди и те живут дольше — люди, которые не способны ни на что, кроме телевизора и своих садистских развлечений. А таракан, венец сущего... горько писать об этом.

В минуты отчаяния я часто вспоминаю строки великого Хитина Плинтусного:

*Так и живем, подбирая случайные крошки,
Вечные данники чьих-то коварных сандалий...*

Кстати, о крошках. Чудовище, враг рода тараканьего, узурпатор Семенов сегодня опять ничего не оставил на столе. Все вытер, подмел пол и тут же вынес ведро. Негодяй хочет нашей гибели, в этом нет сомнения. Жизнь его не имеет другого смысла: даже если вы увидите его сидящим с газетой или уставившимся в телевизор, знайте: он ищет рекламы какой-нибудь очередной дряни, чтобы ускорить наш конец. Ужас, ужас!

Но надо собраться с мыслями; не должно мне, подобно безумному юнцу, перебегать от предмета к предмету. Может статься, некий любознательный потомок, шаря по щелям, наткнется на мой манускрипт — пусть же узнает обо всем! Итак, узурпатор Семенов появился на свет наутро после того, как Еремей совершил Большой Переход...

Да, великие страницы истории забываются; пынешних-то ничего не интересует — лишь бы побалдеть у газовой конфорки. И потом — эта привычка спариваться у всех

на глазах... А спроси у любого: кто такой Еремей? — дернет усиком и похилает дальше. Стыд! А ведь имя это гремело по щелям, одна так и называлась — щель Любознательного Еремея, но ее переименовали во Вторую Бачковую...

А случилось так: Еремей пропал без всякого следа, и мы уже думали, что его смыло — в те времена мы и гибли только от стихийных бедствий. Однако он объявился вечером, веселый, но какой-то нервный. Ночью мы сбежались по этому поводу на дружескую вечеринку. На столе было несчетно еды — в то благословенное время вообще не было перебоев с продуктами, их оставляли на блюдах и ставили в шкафы, не имея дурной привычки все совать в целлофановые пакеты; в мире царила любовь; права личности еще не были пустым звуком... Да что говорить!

Так вот, в тот последний вечер, когда Иосиф с Тимошей раздавили на двоих каплю отменного ликера и пошли под плинтус колбасить с девками, а Степан Игнатьич, попив из раковины, в ней уснул, мы, интеллигентные тараканы, заморив за негромкой беседой червячка, собрались на столе слушать Еремея.

То, что мы слышали, было поразительно.

Еремей говорил, что там, где кончается мир — у щитка за унитазом, — мир не кончается.

Он говорил, что если обогнуть трубу и взять левее, то можно сквозь щель выйти из нашего измерения и войти в другое, и там тоже унитаз! Сегодня это известно любому недомерку двух дней от роду: мир не кончается у щитка — он кончается аж метров на пять дальше, у ржавого вентиля. Но тогда!..

Еще Еремей утверждал: там, где он был, тоже живут тараканы — и очень неплохо живут! Он божился, что тамошние совсем не похожи на нас, что они другого цвета и гораздо лучше питаются.

Сначала Еремею не поверили: все знали, что мир кончается у щитка за унитазом. Но Еремей стоял на своем и брался показать.

— А чего тебя вообще понесло туда, в щель эту? — в упор спросил тогда у Еремея нервный Альберт (он жил в одной щели с тещей). Тут Еремей, покраснев, признался, что искал проход на кухню, но заблудился.

И тогда мы поняли, что Еремей не врет. Побежав за

унитазный бачок, мы сразу нашли эту щель и остановились возле нее, шевеля усами.

— Хорошая щелочка, — напомнил о себе первооткрыватель.

— Офигеть, — сказал Альберт.

Он первым заглянул внутрь и уже скрылся до половины, когда раздался голос Кузьмы Востроногого, немолодого таракана правильной ориентации.

— Не знаю, не знаю... — протянул он скрипуче. — Может, и хорошая. Только не надо бы нам туда...

— Почему? — удивился я.

— Почему? — удивились все.

— Потому что, — лаконично разъяснил Кузьма и, так как не всем этого разъяснения хватило, строго напомнил: — Наша кухня лучше всех!

С младых усов слышу я эту фразу. И мама мне ее говорила, и в школе, и сам сколько раз, и все это тем более удивительно, что никаких других кухонь до Еремея никто из нас не видел.

— Наша кухня лучше всех, — немедленно согласились с Кузьмой тараканы; с Кузьмой затруднительно было не соглашаться.

— Но почему нам нельзя посмотреть, что за щитком? — крикнул настырный Альберт. Жизнь в одной щели с тещей испортила его характер.

Кузьма внимательно посмотрел на говорившего.

— Нас могут неправильно понять, — терпеливо разъяснил он.

— Кто? — опять не понял Альберт.

— Откуда мне знать, — многозначительно ответил Кузьма, продолжая внимательно смотреть. Тут, непонятно отчего, я почувствовал вдруг тоскливое нытье в животе — и, видимо, не я один, потому что все, включая Альберта, немедленно снялись и пошли обратно на кухню.

Вернувшись, мы дожевали крошки и, разбудив в раковине Степана Игнатъича, которого опять чуть не смыло, разошлись по щелям, размышляя о преимуществах нашей кухни. А наутро и началось несчастье, которому до сих пор не видно конца. Ход вещей, нормы цивилизованной жизни — все пошло прахом. Огромный мир, мир теплых местечек и хлебных крошек, мир, просторно раскинув-

шийся от антресолей аж до ржавого вентиля, был за день узурпирован тупым существом, горой мяса с длинными ручищами и глубоким убеждением, что все, до чего эти ручищи дотягиваются, принадлежит исключительно ему!

Первыми врага рода тараканьего увидели Иосиф и Тимоша. Поколбасив под плинтусом, они выползли под утро подкрепиться чем бог послал, но бог послал Семенова. Иосиф, отсидевшись за ножкой, подкрепился позже, а Тимоше не довелось больше есть никогда.

Семенов зверски убил его.

Дрожащей лапкой пишу об этом, но — что ж! — тараканья история кишит жестокостями. Сколько живем, столько и терпим от людей. Нехитрое это дело — убить таракана; летописи переполнены свидетельствами о смытых, раздавленных и затоптанных собратях наших. Человек — что с него взять... Бессмысленное существо, которому хочется как-то заполнить время, когда оно не ест, не спит и не смотрит в телевизор, — а разума, чтобы плодотворно пошебуриться, нет!

Да и откуда ему взяться, разуму? Когда бог создал кухню, ванную и туалет, провел свет и пустил воду, он создал, по подобию своему, таракана — и уже перед тем как пойти поспать, наскоро слепил из отходов человека. Лучше бы он налепил из них мусорных ведер на голодное время! Но, видно, бог сильно утомился, творя таракана, и на него нашло затмение.

Это господне недоразумение — человек сразу начал плодиться и размножаться, но так как весь разум, повторяю, ушел на нас, то нет ничего удивительного в том, что дело кончилось телевизором и этим вот тупым чудовищем, Семеновым.

...Иосиф, сидя за ножкой, видел, как узурпатор взял Тимошу за ус и унес в туалет, вслед за чем раздался звук спускаемой воды. Враг рода тараканьего даже не оставил тела родным и близким покойного.

Когда шаги узурпатора стихли, Иосиф быстренько поел и побежал по щелям рассказывать о Семенове.

Рассказ произвел сильное впечатление. Особенно удались Иосифу последние секунды покойника Тимоши. Иосиф смахивал скупую мужскую слезу и бегал вдоль плинтуса, отмеряя размер семеновской ладони.

Размер этот, надо сказать, никому из присутствовавших не понравился. Мне он не понравился настолько, что я даже попросил Иосифа пройтись еще разок. Я думал, может, давешний ликер не кончил еще своего действия и рассказчик, отмеряя семеновскую ладонь, сделал десяток-другой лишних шагов.

Иосиф обиделся и побледнел. Иосиф сказал, что, если кто-то ему не верит, этот кто-то может выползти на середину стола и во всем убедиться сам. Иосиф сказал, что берется в этом случае залечь у вентиляционной решетки с группой компетентных тараканов, а по окончании эксперимента возьмет на себя доставку скептика родным и близким — если, конечно, Семенов предварительно не спустит того в унитаз, как покойника Тимошу.

Иосифу принесли воды, и он успокоился.

Так началась наша жизнь при Семенове, если вообще называть жизнью то, что при нем началось.

2.

Первым делом узурпатор заклеил все вентиляционные решетки. Он заклеил их марлей, и с тех пор из ванной на кухню пришлось ходить в обход, через двери, с риском для жизни, потому что в коридоре патрулировал этот изувер.

Впрочем, спустя совсем немного времени риск путешествия на кухню стал совершенно бессмысленным: не удовлетворившись заклежкой, Семенов начал вытирать со стола объедки и выносить ведра, причем с расчетливым садизмом особенно тщательно делал это поздно вечером, когда у всякого уважающего себя таракана только-только разгуливается аппетит и начинается настоящая жизнь.

Конечно, у интеллектуалов вроде меня имелось несколько загашников, до которых не могли дотянуться его воняющие мылом конечности, но уже через пару недель призрак дистрофии навис над нашим неприятным сообществом. Иногда я засыпал в буквальном смысле слова без крошки хлеба, перебиваясь капелькой воды из подтекающего крана (чего, слава богу, изувер не замечал); иногда, не в силах сомкнуть глаз, выходил ночью из щели и в тоске глядел на сородичей, уныло бродивших по пустынной клеенке. Случались обмороки; Степан Игнатьич

дважды срывался с карниза, Альберт начал галлюцинировать вслух, чем регулярно создавал давку под раковиной: чудилось Альберту бесследное исчезновение тещи, возвращение Шаркуна и набитое доверху мусорное ведро...

Ах, Шаркун, Шаркун! Вспоминая о нем, я всегда переживаю странное чувство приязни к человеку, вполне, впрочем, простительное моему сентиментальному возрасту.

Конечно, ничто человеческое не было ему чуждо — увы, он тоже не любил тараканов: жаловался своей прыщавой дочке, что мы его замучили, и все время пытался кого-нибудь из нас прихлопнуть. Но дочка, хотя и обещала нас куда-то вывести, обещания своего не выполнила (так и живем, где жили, без новых впечатлений), а погибнуть от руки Шаркуна мог только закоренелый самоубийца. Он носил на носу стекляшки, без которых не видел дальше носа, и, когда терял их, мы могли вообще столоваться с ним из одной тарелки. Милое было время, что говорить!

Но я опять отвлекся.

Вскоре после начала семеновского террора случилось вот что. Братья Геннадий и Никодим, чуть не погибнув во время утренней пробежки, успели улизнуть от семеновской тапки — и с перепугу сочинили исторический документ, известный как «Воззвание из-под плинтуса». В нем братья обличали Семенова и призывали тараканов к единству.

Увы, тараканы и в самом деле очень разобщены — отчасти из-за того, что венцом творения считают не таракана вообще (как идею в развитии), а каждый сам себя, отчасти же по неуравновешенности натуры и привычке питаться каждый своей, отдельно взятой крошкой.

Один раз, впрочем, нам уже пытались привить коллективизм.

Было это задолго до Семенова, в эпоху Большой Тетки. Эпоха была смутная, а Тетка — коварная: специально оставляла она на клеенке лужи портвейна и закуску, а сама уходила со своим мужиком за стенку, из-за которой потом полночи доносились песни и отвратительный смех.

Тайный смысл этого смеха дошел до нас не сразу, — но когда от рези в животе начали околевать тараканы самого цветущего здоровья; когда жившие в ванной стали терять

координацию, срываться со стен и тонуть в корытах с мыльной водой; когда, наконец, начали рождаться таракашки с нечетным количеством лапок — тогда только замысел Большой Тетки открылся во всей черноте: Тетка, в тайном сговоре со своим мужиком, хотела спойть наш целомудренный, наивный, доверчивый народ.

Едва слух о заговоре пронесся по щелям, как один простой таракан по имени Григорий Зашкафный ушел от жены, пошел в народ, развил там жуткую агитацию и всех перебудил. Не прошло и двух ночей, как он добился созыва Первого всетараканьего съезда.

Повестка ночи была самолично разнесена им по щелям и звучала так:

п. 7. Наблюдение за столом в дообеденное время.

п. 12. Меры безопасности в обеденное.

п. 34. Оказание помощи в послеобеденное.

п. 101. Всякое разное.

Впоследствии под личной редакцией бывшего Величайшего Таракана, Друга Всех Тараканов и Основателя Мусоропровода Памфила Щелястого историки неоднократно описывали Первый всетараканий съезд, и каждый раз выходило что-нибудь новенькое, поэтому, чтобы никого не обидеть, буду полагаться на рассказы своего собственного прадедушки.

А помнилось прадедущке вот что. Утверждение повестки ночи стало первой и последней победой Григория. Тараканы согласились на съезд, но чтобы был буфет, причем подраковинные заявили, что если придет хоть один плинтусный, то ноги их не будет на столе, а антресольные сразу создали фракцию и потребовали автономии...

Подробностей прадедушка не помнил, но, в общем, кончилось дело большой обжираловкой с лужами теткинoго портвейна и мордобоем, то есть, минуя пункты 7, 12 и 34, сразу перешли к пункту 101, а Григорий, не вынеся стыда, наутро сжег себя на задней конфорке.

Остальных участников съезда спасло как отсутствие вышеописанного стыда, так и то счастливое обстоятельство, что эпоха Большой Тетки скоро кончилась: однажды ночью она спела дуэтом со своим мужиком такую отвратительную песню, что под утро пришли люди в сапогах и обоих увели, причем Тетка продолжала петь.

Напоследок мерзкая дрянь оставила в углу четыре пустые бутылки, в которых тут же сгнуло полтора десятка так и не организовавших наблюдения тараканов.

...Дух Григория, витавший над задней конфоркой, осенил Никодима и Геннадия: спасшись от семеновской тапки, братья потребовали немедленного созыва Второго все-тараканьего съезда.

Возможно ли забыть то, что случилось дальше? О нет! Пускай ноги мои дают сбой, а усы провисают, память о той ночи по-юношески свежа. По крайней мере, та ее часть, которую не отшибло, о чем ниже.

В полночь «Воззвание из-под плинтуса» было прочитано по всем щелям с таким выражением, что тараканы немедленно поползли на стол, уже не требуя буфета. (Тараканы, хотя и не могут совсем без еды, существа чрезвычайно тонкие и очень чувствительные к интонации, причем наиболее чувствительны к ней малограмотные, а из этих последних — косноязычные.)

Выползши на стол, антресольные по привычке организовали фракцию и потребовали автономии, но им пооткусывали задние ноги, и они сняли вопрос.

Слово для открытия взял Никодим. Забравшись на солонку и вкратце обрисовав положение, сложившееся с приходом Семенова, и размеры его тапки, он передал слово Геннадию для внесения предложений по ходу работы съезда. Взяв слово и тоже вскарабкавшись на солонку, Геннадий предложил для работы съезда избрать президиум и передал слово обратно Никодиму, который тут же достал откуда-то список и его зачитал. В списке никого, кроме него и его брата Геннадия, не обнаружилось.

В процессе голосования выяснилось, что большинство — за, меньшинство — не против, а двое умерли за время работы съезда.

Перебравшись вслед за братом на крышку хлебницы, избранный в президиум Геннадий снова дал слово Никодиму. Никодим слово взял и, свесившись с крышки, предложил повестку ночи:

п. 6. Хочется ли нам поесть? (Оживленное шебуршение на столе.)

п. 17. Как бы нам поесть? (Очень оживленное шебуршение, частичный обморок.)

п. 0,75. Буфет — в случае принятия решений по п. 6 и 17. (Бурные продолжительные аплодисменты, скандирование.)

В процессе скандирования умерли еще четверо.

При голосовании повестки подраковинные попытались проташить пунктом плюс-минус 90 объявление все-тараканьего бойкота плинтусным, но им было указано на несвоевременность, и пунктом плюс-минус 90 пошло осуждение самих подраковинных за подрыв единства.

После перерыва, связанного с поеданием усопших, съезд продолжил свою работу.

По пункту 6 с крышки хлебницы с докладом выступил Никодим. Выступление его было исполнено большой силы. Не зная устали, он бегал по крышке, разводил усами и в исступлении тряс лапками, отчего однажды даже свалился на стол, где, полежав немного, и продолжил речь — прямо в гуще народа.

Никодим говорил о том, что больше так жить нельзя, потому что он очень хочет есть. Подробно остановился на отдельных продуктах, которые хотел бы поесть. Это место вызвало особенный энтузиазм на столе — председательствующий Геннадий, свесившись с солонки и стуча по ней усами, вынужден был даже призвать к порядку и напомнить, что за стенкой спит Семенов, будить которого не входит в сценарий работы съезда.

Единогласно проголосовав за то, что больше так жить нельзя и надо поесть, развязались с пунктом 6; изможденный выступлением Никодим начал карабкаться обратно на хлебницу, а председательствующий Геннадий предоставил слово себе.

Его речь и события, развернувшиеся следом, стали кульминацией съезда. Геннадий начал с того, что раз больше так жить нельзя, то надо жить по-другому. Искусный оратор, он сделал паузу, давая несокрушимой логике сказанного дойти до каждого.

В паузе, иллюстрируя печальную альтернативу, умер один подраковинный.

— Но что мы можем? — спросил далее Геннадий.

Тут мнения разделились, народ зашебуршился.

— Мы можем все! — крикнул кто-то. Собрание зааплодировало, кто-то запел.

— Да, — перекрывая шум, согласился Геннадий, — мы можем все. Но! — тут он поднял усы, прося тишины, а когда она настала, усы опустил и начал ползать по солонке, формулируя мысль, зарождавшуюся в его немыслимой голове.

И все поняли, что присутствуют при историческом моменте, то есть таком моменте, о котором уцелевшие будут рассказывать внукам.

Мысль Геннадия отлилась в безукоризненную форму.

— Мы не можем спустить Семенова в унитаз, — сказал он.

Образ Семенова, спускаемого в унитаз, поразил съезд. В столбняке, охватившем собрание, стало слышно, как сопит за стенкою узурпатор, и ни с чем не сравнимая тишина повисла над столом. Одна и та же светлая мысль пронизала всех.

— Не влезет... — мрачно уронил Альберт, ставший пессимистом после года совместного проживания в одной щели с тещей. Луч надежды погас, едва осветив мрак нашего положения.

— Я продолжаю... — с достоинством напомнил Геннадий. — Поскольку мы не можем спустить Семенова в унитаз, — повторил он, — а есть подозрение, что сам он в обозримом будущем этого не сделает, то придется, сограждане, с Семеновым жить. Но как?

В ответ ему завыли тараканихи. Дав им отвыться, Геннадий поднял лапку. Вид у него был торжественнейший. Геннадий дождался полной тишины.

— Надо заключить с ним договор, — сказал он. Тишина разбавилась стуком нескольких упавших в обморок тел, а затем в ней раздался голос Иосифа.

— С кем — договор? — тихо спросил он.

— С Семеновым договор, — просто, с необычайным достоинством, ответил Геннадий.

И тут загомонило, зашлось собрание.

— С Семеновым? — перекрывая вой, простонал Иосиф. — С Семеновым! — истерически выкрикнул он и вдруг прямо по спинам делегатов, пошатываясь и подпрыгивая, побежал к солонке. Продолжая выкрикивать на раз-

ные лады проклятое слово, Иосиф начал карабкаться на солонку, но Геннадий его спихнул — и вот дальше я ничего не помню, потому что упал Иосиф на меня. Вытащенный из давки верной подругой моей жизни Ньюрой Батарейной, я был ею наутро проинформирован о ходе работы съезда.

Слушайте, чего было дальше.

Упав на меня, Иосиф страшно закричал — чем, как я подозреваю, меня и контузил. Все в панике забегали, а родственники Иосифа побежали к солонке, чтобы поотрывать Геннадию усы. Трех из них Геннадий спихнул, но четвертый, никому решительно не известный, по имени, как выяснилось впоследствии, Климентий Подтумбовый, спихнул-таки его сзади на трех своих родственников, и пока спихнутые выясняли внизу, где чьи усы, Климентий предоставил слово сам себе.

Прочие делегаты тем временем носились друг через друга по клеенке, плитусные искали подраковинных, Кузьма Востроногий кричал, что наша кухня лучше всех, а Никодим с хлебницы отрекался от Геннадия и обещал принести справку, что он круглая сирота.

Пока присутствующие бегали друг по другу, выдирали усы и нарушали регламент, оказавшийся на солонке без присмотра Климентий успел протащить штук тридцать собственных резолюций, сам ставя их на голосование и голосуя под протокол.

В процессе этого увлекательного занятия Климентий незаметно для себя вошел в раж. Так, под номером 19, например, шло решение резко улучшить ему жилищные условия под тумбой, номером 24 он со всей семьей зачислялся на общественное довольствие с обслугой, после чего — видимо, в целях экономии времени — ставить номера на резолюциях Климентий перестал.

Последним принятым им документом была резолюция, обязывавшая Семенова стоять возле тумбы, под которой живет Климентий, и отпугивать от нее тараканов. Проголосовав это, Климентий сам удивился настолько, что слез с солонки и пошел спать, не дожидаясь закрытия съезда.

Действие же на столе тем временем продолжало разворачиваться довольно далеко от сценария. Разобравшись с Геннадием, родственники Иосифа пошли на поиски отрекшегося брата, в то время как сам Иосиф бегал по спи-

нам делегатов, собирая свидетелей своего падения. Свидетели разбежались от него как угорелые, топча Кузьму, продолжавшего при этом кричать что-то хорошее про нашу кухню. Никодима родственники Иосифа не нашли ни на хлебнице, ни вокруг нее. Нюра говорит: наверное, он ушел за справкой, что сирота. Если так, то надо отметить, что лежала справка очень далеко — еще неделю после этого Никодима никто не видел, да и потом не особенно.

Отдельно следует остановиться на судьбе Геннадия. Побитый родственниками Иосифа, он не стал настаивать на своих формулировках, нервно дернул уцелевшим усом, сказал: «Живите вы как хотите», — и в ту же ночь удалился в добровольное изгнание под ванну.

Последняя фраза его несколько озадачила оставшихся, потому что все они уже давно жили как хотели.

По дороге в ванную Геннадий задел ногой Степана Игнатьича, и тот, проснувшись, спросил, скоро ли буфет. Больше ничего интересного не произошло, кроме разве того, что плитусные с подраковинными все-таки нашли друг друга и, найдя, поотрывали что смогли.

На этом, по наблюдениям подруги моей жизни Нюры Батарейной, съезд закончил свою работу.

3.

Богатая событиями ночь съезда обессилила нас. Целый день на кухне и в окрестностях не было видно ни души; Семенов, понятное дело, не в счет — этот как раз целый день шатался по территории и изводил продукты.

Куда ему столько? Отнюдь не праздный вопрос этот давно тяготил меня, и в последнее время, имея вместо полноценного питания много досуга, я, кажется, подошел вплотную к ответу. Разумеется, ест Семенов не потому, что голоден, — это лежащее на поверхности объяснение давно отмечено мною. Существо, с утра пропадающее куда-то, а по возвращении смотрящее в телевизор, лежащее на диване и храпящее, по моему разумению, вообще не нуждается в питании. Однако же Семенов ест все время.

Я давно подозревал неладное, но лишь на днях проник в его тайну. Было так. Путешествуя по верхней полке, я спрятался за сахарницу от внезапно хлынувшего света —

и оттуда, из-за сахарницы, увидел узурпатора, двумя руками выгребаящего с верхней полки съестное. И тут меня осенило... Нет, не голод гонит чудовище сюда, ему незнакомо свербящее нытье в животе, выгоняющее нас из тихих щелей на полные опасности кухонные просторы, — другое владеет им. Страшно вымолвить! Он хочет опустошить шкаф. Он хочет все доест, вымести крошки из уголков и вытереть полку влажной, не оставляющей надежд губкой. Но, безжалостный недоумок, зачем же он сам ставит туда продукты?

Вечером мы с Нюрой пошли к Еремею — послушать про жизнь за щитком. Придя, мы застали там, кроме него, еще нескольких любителей устных рассказов. Все они сидели вокруг хозяина и нетерпеливо тарабанили лапками. Мы сели и также затарабанили. Но тяжелые времена сказались даже на радушном Еремее: крошек к рассказу подавно не было.

Воспоминания о жизни за щитком начались с описания сахарных мармеладных кусочков и соевых конфет, сопровождалась шевелением усов, вздохами и причмокиванием. Я был несколько слаб после контузии, вследствие чего вскоре после первого упоминания о мармеладе отключился, а отключившись, имел странное видение: будто иду я по какой-то незнакомой местности, явно за щитком, среди экзотических объедков и неопишуемой шелухи, причем иду не с Нюрой, а с какой-то очень соблазнительной тараканихой средних лет. Тараканиха выводит меня на край кухонного стола и, указывая вниз, на пол, густо усеянный крошками, говорит с акцентом: «Дорогой, все это — твое!» И мы летим с нею вниз.

Но ни поесть, ни посмотреть, что будет у меня с тараканихой средних лет дальше, я не успел, потому что очнулся — как раз на последних словах Еремея. Слова эти были: «...и мажут сливовым джемом овсяное печенье».

Сказав это, Еремей заплакал.

Начали расходиться. Поблагодарив хозяина за содержательный рассказ, мы распрощались и, поддерживая друг друга, побрели домой, соблюдая конспирацию.

И вот тут началось со мной небывалое.

Проходя за плитой, я неожиданно почувствовал острое желание нарушить конспирацию, выйти на край ку-

хонного стола и посмотреть вниз. Желание было настолько острым, что я поделился им с Нюрой. Нюра меня на стол не пустила и назвала старым дураком, причем без всякого акцента.

Полночи проворочавшись в своей щели, уснуть я так и не смог и, еще не имея ясного плана, тайно снялся с места и снова отправился к Еремею.

Еремей спал, но как-то беспокойно: вздрагивал, подставывая на гласной, и без перерыва повторял слово «джем». И все время шевелил лапками, как будто собирался куда-то бежать.

— Еремей, — тихо сказал я, растолкав его. — Помнишь щель, которую ты нашел возле унитаза?

— Помню, — сказал Еремей и почему-то оглянулся по сторонам.

— Еремей, — сказал я еще тише, — слушай, давай поживем немного за щитком.

— А как же наша кухня? — спросил Еремей, продолжая озираться.

— Наша кухня лучше всех, — ответил я. — Но здесь Семенов.

— Семенов, — подтвердил Еремей и опять заплакал. Нервы у него в последнее время совершенно расстроились.

— Но только недолго, — сказал он вдруг и перестал плакать.

— Конечно, недолго, — немедленно согласился я. — Мы только посмотрим, разместятся ли там все наши...

— Да! — с жаром подхватил Еремей. — Только проверим, не вредно ли будет нашим овсяное печенье со сливовым джемом!

И мы поползли. Мы обогнули трубу и взяли левее. Возле унитаза при воспоминании о Кузьме Вострономом у меня снова заняло в животе.

— Ох, Еремей, — сказал я. — Как ты думаешь, поймут ли нас правильно?

— Наша кухня лучше всех! — крикнул Еремей и быстро нырнул в щель.

Опуская подробное описание нашего путешествия, скажу только: оно было полно приключений. Но упорство Еремея, без перерыва твердившего про сливовый джем, вывело нас к утру в другое измерение, к унитазу.

Тамошний мир оказался удивителен: все было как у нас, только совсем по-другому расставлено. Сориентировавшись, мы первым делом поползли в сторону кухни и возле мусорного ведра, прямо с пола, поели вкуснейших крошек. Я, признаться, не был расположен покидать эту халяву, но Еремей, попав за щиток, как с цепи сорвался.

— Хватит тебе! — орал он. — Где-то тут должен быть шкаф!

И, стуча усами, помчался наверх. Я бросился вдогонку. Шкаф действительно был. Мы собирались уже заползти между створок, когда оттуда показались усы, а вслед за ними выполз огромный и совершенно бурый таракан.

— Хэлло, мальчики, — проговорил он с очень знакомым акцентом. — Далеко собрались?

— Добрый день, — вежливо отозвался Еремей. — Нам бы в шкаф.

На это вылезший поднес ко рту лапку и коротко свистнул. На свист отовсюду полезли очень здоровые и опять-таки бурые тараканы, и не прошло пяти секунд, как мы были окружены со всех сторон. Последним неторопливо вылез жирный, со спичечный коробок, бурый же таракан с какой-то бляшкой на спине. Этот последний без перерыва жевал, что, может быть, отчасти и объясняло его размеры.

— Шериф, — обратился к жирному тот, что остановил нас, — тут пришли какие-то черные ребята, они говорят, что хотят в наш шкаф.

Тут все захохотали, но как-то странно, и, приглядевшись, я обнаружил, что они тоже жуют. Вообще, надо признать, среди бела дня посреди кухни они вели себя совершенно по-хозяйски. Кажется, они совершенно не учитывали человеческий фактор.

Жирный вразвалку подошел к нам и начал не спеша разглядывать: сначала Еремея, потом меня.

— А вы, собственно, кто такие? — спросил он через некоторое время, видимо не разглядев.

— Мы тараканы, — с достоинством сказал Еремей.

— Это недоразумение, — веско ответил называвшийся шерифом. — Тараканы — мы. А вы — собачье дерьмо.

Когда взрыв хохота утих, жирный уставил лапу Еремею в грудь и, не переставая жевать, сказал так.

— Мальчики, — сказал он, — идите откуда пришли и передайте там, что в следующий раз мои ребята будут стрелять без предупреждения. А сейчас мы с ребятами посмотрим, как вы бегаєте.

Туг стоявшие вокруг нас образовали коридор, и по этому коридору мы с Еремеем побежали. Сзади сразу начался беспорядочный грохот, и над головами у нас засветило.

Как я и обещал Еремею, наше пребывание за щитком было чрезвычайно коротким: уже вечером Еремей затормозил возле нашего унитаза, держась за сердце и тяжело дыша. Он, видимо, хотел что-то сказать, но сразу не мог. Удалось ему это только через минуту. Сливовый джем, сказал Еремей, вовсе не так вкусен, как он думал. И не исключено, что даже вреден для тараканов нашего возраста. Прощаясь со мной возле крана, Еремей попросил также никогда больше не уговаривать его насчет овсяного печенья.

Этой сентенцией и завершилось наше путешествие за щиток. Иногда я даже спрашиваю себя, не привиделось ли мне все это, как тараканиха средних лет. Но нет, кажется... А впрочем... Вы же понимаете, в наше время ни за что нельзя ручаться.

Дома меня ждала Нюра. Нашего с ней разговора я описывать не буду: бабы — они бабы и есть.

Всю следующую неделю я болел: бег после контузии не пошел мне на пользу. К тому же жирный с бляшкой начал являться мне во сне, а явившись, тыкал лапой в грудь, называл «мальчиком» и заставлял бегать. Но все это оказалось куда легче реальности, ибо вскоре после моей болезни случилось то, что заставило меня, преодолевая слабость, торопиться с окончанием моих мемуаров...

4.

Первое, что я увидел, когда, пошатываясь, вышел из-под отставших оооев, был Семенов. Семенов стоял ко мне спиной и держал в поднятой руке какую-то штукину, из которой с шипением вырывалась струя. Сначала я ничего не понял, а только увидел, как со стены, к которой протянул руку Семенов, срываясь, летит вниз Дмитрий Полоч-

ный, как падает он на кухонный стол и, вместо того чтобы драпать, начинает быстро-быстро крутиться на месте, а Семенов не бьет по нему ладонью, а только с интересом смотрит. Когда Дмитрий перестал крутиться, подобрал лапки и затих, узурпатор взял его за ус и бросил в раковину.

Паника охватила меня. Я бросился обратно под обои, я помчался к Нюре, дрожь колотила мое тело — я понял, что приходит конец. До наступления ночи от семеновской струи погибло еще трое наших, и все в кухне провоняло ею до последней степени.

Ночью, убедившись, что убийца уснул, я зажал нос и снова бросился к Еремею. Еремей, сидя по холостяцкой своей привычке в полном одиночестве, раз за разом надувался и, поднося лапки ко рту, пытался свистнуть. Он еще ничего не знал.

Услышав про струю, Еремей перестал надуваться, обмяк и устало поглядел на меня. Только тут я заметил, как постарел мой верный товарищ за минувшие сутки.

— Что же теперь будет? — спросил Еремей.

— Боюсь, что не будет нас, — честно ответил я.

— Прав был Геннадий, — тихо выдохнул он. — Надо было договариваться с Семеновым.

— Геннадий был прав, — согласился я.

— Надо собрать тараканов и пойти к Геннадию, — сказал вдруг Еремей.

Эта простая мысль почему-то не пришла мне в голову: очевидно, я уже успел нанюхаться семеновской дряни. Через пять минут, собрав кого можно и зажав носы, мы двинулись в сторону ванной. Делегация получилась солидная: кроме нас с Еремеем и Нюры, пошли Альберт с супругой, его теща и еще пятеро встреченных тараканов. Примкнул к колонне и разбуженный нашим топотом Степан Игнатьич. По дороге ему объяснили, куда идем.

Зашли и за Иосифом, но он идти к Геннадию отказался: лучше, сказал, умру здесь, как собака, а к этому семеновскому прихвостню не пойду. И, сказав, отвернулся очень гордо. Делать нечего, вышли мы от него, в цепочку построились и след в след прокрались в ванную.

Зашли мы за ножку, Еремей на стреме у косяка встал (обещал-таки свистнуть, если что), а остальные проползли к Геннадию. Сильно исхудавший изгнанник лежал на

спине за тазом с тряпками, раскинув лапки. Мы подползли и стали вокруг.

— Ты чего? — спросил его наконец Альберт.

— Не мешай мне медитировать, путник, — мирно ответил Геннадий, продолжая лежать.

— Чего не мешай? — попробовал уточнить Степан Игнатьич. Геннадий не ответил, а только скрестил нижние лапки и закатил глаза.

— Слушай, — сказал я тогда, — ты давай быстрее это слово, а то народ ждет.

Геннадий осторожно расплел лапки и перевернулся.

— Говори, странник, — сухо сказал он.

Тогда я рассказал ему обо всем, что произошло у нас после Второго всетараканьего. Геннадий не перебивал, но смотрел отрешенно.

Сообщение о ядовитой струе встретил с завидным хладнокровием. Спрошенный совета, рекомендовал самозерцание и укрепление духа путем стойки на усах, после чего опять закатил глаза.

— А договор? — напомнил я, волнуясь. — Помнишь, ты хотел заключить с Семеновым договор?

— С каким Семеновым? — спросил Геннадий.

Мы немного постояли и ушли.

Развязка приближалась неотвратимо. Наутро по вине высунувшегося из-под колонки Терентия узурпатор залил дрянью все зашкафье, плинтусы, батареи и трубу под раковиной. К вечеру те из нас, которые еще могли что-либо чувствовать, почувствовали, что дело швах.

Ночью, покинув щель, я вышел на стол. Стол был пуст и огромен, полоска лунного света косо лежала на нем. Меня подташнивало. Бескрайняя черная кухня простиралась вокруг; ручка от дверцы шкафа тускло поблескивала над хлебницей.

И тогда я закричал. На крик отовсюду начали сходить уцелевшие, и сердце мое защемило — разве столько сошлось бы нас раньше? Когда приполз Степан Игнатьич — а он всегда приползал последним, — я сказал:

— Разрешите Третий всетараканий съезд считать открытым.

— Разрешаем, — хором тихо отозвались тараканы.

— Я хочу сказать, — сказал я.

— Скажи, Фома, — подняв лапку, прошептал Еремей.

— Тараканы! — сказал я. — Вопрос сегодня один: договор с Семеновым. Буфета не будет. Скандирующей группы не будет. Антресольные, если хотят автономии, могут ее взять хоть сейчас и делать с ней что хотят. Если плинтусные имеют что-нибудь против подраковинных или наоборот — пожалуйста, мы готовы казнить всех. Но сначала надо договориться с Семеновым.

И мы написали ему письмо, а Степан Игнатьич перевел его: он, пока жил за обоями, выучил язык. Вот это письмо, от слова до слова:

«Семенов!

Пишут тебе тараканы. Мы живем здесь давно, и вреда от нас не было никому. Еще ни один человек не был раздавлен, смят или сожжен тараканом, а если мы иногда едим твой хлеб, то, согласишься, это не стало тебе в убыток. Впрочем, если ты не хочешь есть с нами за одним столом, никто не станет неволить тебя — мы согласны столотаться под плитой.

Мы не знаем, за что ты так ненавидишь нас, за что терпели мы и голод, и индивидуальный террор, не говоря уж о мелких житейских неудобствах, — но химическое оружие, Семенов! Не боишься ли ты, что кто-нибудь из наших доползет до ООН? Тебя осудят, Семенов, — если только какая-нибудь гадина не успеет наложить вето.

Семенов!

Мы хотим мирного сосуществования с различным строем и предлагаем тебе Большой Договор, текст которого прилагается.

Ждем ответа, как соловьи лета.

Тараканы.

Приложение. Большой Договор.

Руководствуясь интересами мира и сотрудничества, а также желанием нормально поесть и пожить, Высокие Договаривающиеся Стороны принимают на себя нижеследующие обязательства.

Жильцы Тараканы:

1. Обязуются не выходить на кухню с 6.00 до 8.30 (в выходные — до 11.00), а также быстро покидать места общего пользования по первому кашлю.

2. Гарантируют неприкосновенность свежего хлеба и праздничных заказов в течение трех суток со дня приноса.
3. Как было сказано выше, согласны обедать ниже. Встречным образом Жилец Семенов обязуется:
4. Перестать убивать Жильцов Тараканов.
5. Не стирать со стола, а стряхивать на пол сухой тряпочкой.
6. По выходным и в дни государственных праздников не выносить ведро перед сном, а вытряхивать на пол.

Подписи:

За Семенова —
За Тараканов —

Семенов
Фома Обойный».

Степан Игнатьич писал все в двух экземплярах — писал ночами, на шкафу, при неверном свете луны, и мы притаскивали ему последние крошки, чтобы у лапок Степана Игнатьича хватило сил.

На обсуждение вопроса о том, кто передаст письмо Семенову, многие не пришли, сославшись на головную боль. Кузьма Востроногий передал через соседей отдельно, что отказывается участвовать в мероприятии, потому что Семенов может его неправильно понять. Решено было тянуть жребий из пришедших, и бумажку с крестиком вытащил Альберт.

Мудрый Степан Игнатьич сказал, что это справедливо, потому что у Альберта все равно теща.

Мы сделали Альберту белый флажок и под утро оставили его вместе с письмом дожидаться прихода Семенова.

Описывать дальнейшее меня заставляет только долг летописца.

Едва Альберт, размахивая флажком, двинулся навстречу узурпатору, тот подскочил, издал леденящий душу вопль, взвыл, рванулся к столу и оставил от Альберта мокрое место. Сделав это, Семенов соскреб все, что осталось от нашего парламентаря, текстом Договора и выбросил обоих в мусорное ведро. Потом он обвел кухню дикими глазами и шагнул к подоконнику, на котором стояла штуковина с ядовитой струей внутри. Мы бежали, бежали...

Эпилог

Четвертые сутки сижу я глубоко в щели и вспоминаю свою жизнь, ибо ничего больше мне не остается.

Родился я давно. Мать моя была скромной трудолюбивой тараканихой, и, хотя ни она, ни я не помним моего отца, он, несомненно, был тараканом скромным и трудолюбивым.

С детства приученный к добыванию крошек, я рано познал голод и холод, изведal и темноту щелей, и опасность долгих перебежек через кухню, и головокружительные переходы по трубам и карнизу. Я полюбил этот мир, где наградой за лишения дня было мусорное, сияющее в ночи ведро — и любовь. О, любви было много, и в этом, подобно моему безвестному отцу, я был столь же скромен, сколь трудолюбив. Покойница Нюра могла бы подтвердить это, знай она хоть пятую долю всего.

Я выучился грамоте, прилежно изучая историю; красоты поэзии открылись мне. И сейчас, сидя один в щели, я поддерживаю свой дух строками незабвенного Хитина Плинтусного:

Что остается, когда ничего не осталось?

Капля надежды — и капля воды из-под крана...

Так и я не теряю надежды, что любознательный потомок, шаря по щелям, наткнется на этот манускрипт, и прочтет правдивейший рассказ о жестокой судьбе нашей, и вспомнит с благодарностью скромного Фому Обойного, которому, несмотря на скромность, невыносимо хочется есть. Надо бы пройтись вдоль плинтуса — авось чего-нибудь...

От переводчика

На этом месте рукопись обрывается, и, предвидя многочисленные вопросы, я считаю необходимым кое-что объяснить.

Манускрипт, состоящий из нескольких клочков старых обоев, мелко исписанных с обратной стороны непонятными значками, был обнаружен мною во время ремонта новой квартиры. Заинтересовавшись находкой, я в тот

же день прекратил ремонт и сел за расшифровку. Почерк был чрезвычайно неразборчив и, повторяю, мелок, а тараканий язык — чудовищно сложен; работа первооткрывателя египетских иероглифов показалась бы детской шарадой рядом с этой, но я победил, распутав все неясности, кроме одной: автор манускрипта упорно называет моего обменщика Семеновым, хотя тот был Сидоров. Тип, кстати, действительно мерзкий.

Восемь лет продолжался мой труд. Квартира за это время пришла в полное запустение, а сам я полысел, ослеп и, питаясь одними яичницами, вслед за геморроем нажил себе диабет. Жена ушла от меня уже на второй год, а с работы выгнали чуть позже, когда заметили, что я на нее не хожу.

По утрам я бежал в магазин и, если успевал, хватал кефир, сахар, заварку, батон хлеба и яйца. Иногда кефира и яиц не было, потом пропал сахар — тогда я жил впроголодь целые сутки, на чае, а случалось, и на воде из-под крана.

С продуктами стало очень плохо. Вот раньше, бывало... Впрочем, о чем это я... И потом этот завод. Пока я переводил первую главу, его построили прямо напротив моих окон, и сегодня я уже боюсь открывать форточку. Совершенно нечем дышать. Но перевод закончен, и я ни о чем не жалею.

В редакциях его, правда, не берут, говорят — не удовлетворяет высоким художественным требованиям. Я говорю: так таракан же писал! Тем более, говорят, значит, не член союза.

Впрочем, я не теряю надежды — ничего не пропадает в мире. Кто-нибудь когда-нибудь обязательно наткнется на эту рукопись и узнает все, как было.

Тяжкое бремя

Сказка

Долго ли, коротко ли,

а стал однажды Федоткин президентом России. Законным, всенародно избранным, с наказом от россиян сделать жизнь как в Швейцарии.

Федоткину и самому хотелось, чтобы как в Швейцарии, потому что как здесь — он здесь уже жил. А тут такой случай.

Приехал Федоткин с утра пораньше в Кремль, на работу, бодрый такой, стопку бумаги вынул, «Паркером» шелкнул — и давай указы писать! И про экономику, чтобы все по уму делать, а не через то место, и про внешнюю политику без шизофрении, и рубль чтобы как огурец...

Про одни права человека в палец финской бумаги извел.

А закончил про права — смотрит: стоят у стеночки такие, некоторым образом, люди. Радикулитным манером стоят, согнувшись.

Федоткин им: доброе утро, господа, давайте знакомиться, я — президент России, демократический, законно избранный, а вы кто? А они и отвечают: местные мы. При тебе теперь будем, кормилец.

Федоткин тогда из-за стола выбрался, руку всем подал, двоих, которые сильно пожилые были, разогнуть попытался — не смог.

— Господа, — сказал, — к чему это? Пусть каждый займется своей работой.

— Ага! — обрадовались. — Так мы начнем?

— Конечно! — обрадовался и Федоткин и хотел обратно к столу пойти — Конституцию дописать и с межнациональными отношениями разобраться. Но не тут-то было.

Сбоку под ручку взяли: извините, Антон Иванович... Отвели от стола подальше и вокруг бродить начали.

Один сразу с сантиметром подбежал и всего Федоткина с ног до головы измерил, другой пульс пощупал и в глазное дно заглянул, третий насчет меню заинтересовался: по каким дням творожок на завтрак Федоткину давать, а по каким — морковку тертую? А четвертый, слова не говоря, чемоданчик ему всучил и кнопку показал, которую нажимать, если все надоест.

Стоит Федоткин от ужаса сам не свой, чемоданчик проклятый двумя руками держит, а к нему уже какой-то лысый пробирается с альбомом и спрашивает: как насчет обивочки, Антон Иванович? Немецкая есть, в бежевый цветок, есть итальянская, фиолет с ультрамарином в полоску. И что паркет: оставить елочкой к окну или будет пожелание переложить елочкой к дверям?

Тут Федоткин от возмущения даже в себя пришел: это, говорит, все ерунда! И обивку велит унести с глаз долой, и паркет оставить елочкой к окну, и на завтрак давать все подряд... Вы что, говорит! Вы, говорит, знаете, какое сейчас время в России!

Переглянулись. Знаем, отвечают. А Федоткин разгорячился: какое, спрашивает, какое? Ну?

Да как всегда, говорят, — судьбоносное. Только что ж нам теперь — президенту законному, всенародно избранному, морковки не потерять?

Федоткин от таких слов задумался. Хорошо, говорит. Я согласен, только давайте побыстрее, а то — Конституция, межнациональные отношения... Время не ждет.

Побыстрее так побыстрее. Только он «Паркер» вынул да над листом занес, глядь — опять стоят у плеча в полупоклоне.

Крякнул Федоткин с досады, «Паркером» обратно щелкнул, прошел в трапезную, а там уже стол скатерочкой накрыт, и всякого разного на той скатерочке поставлено — и морковки тертой обещанной, и творожку свежайшего, альтернативного, и тостов подрумяненных, да чаек-кофеек в кофейничках парится, да сливки белейшие в кувшинчике, да каждый приборчик в салфетку с вензелем завернут, а на вензеле том двуглавый орел сам от себя отвернулся. Федоткин аж загляделся.

А как откушал он да к столу письменному воротился, таково сил ему прибавилось — горы ворочай! Взял он снова «Паркер», белый лист к себе пододвинул и решительно начертил: «Насчет Конституции» — и подчеркнул трижды.

А развить мысль не удалось — закрутило. Сначала протокол был — с послами всяческими знакомили, потом по хозяйству (башни кремлевские по описи принимал), потом хлеб-соль от заранее благодарного населения скушал, в городки поиграл для здоровья; потом на педикюр позвали — ибо негоже президенту российскому, демократическому, с когтями ходить, как язычнику; а потом сам собою и обед подошел.

А к обеду такое на скатерке развернулось, что встал Федоткин из-за стола ближе к ужину — и стоял так, вспоминая себя, пока его под локоток в сауну не отвели.

В сауне-то его по-настоящему-то и проняло: плескался Федоткин пивком на камни, с мозолисткой шалил, в бассейне тюленчиком плавал, как дите малое, жизни радуясь. Под вечер только вынули его оттуда, вытерли, в кабинет принесли да пред листом бумаги посадили, откуда взято было.

Посмотрел Федоткин на лист, а на нем написано: «Насчет Конституции». И подчеркнуто. А чего именно насчет Конституции? И почему именно насчет нее? И что это такое вообще? Задумался Федоткин, да так крепко, что даже уснул. Его в опочиваленку-то и перенесли, прямо с «Паркером» в руке.

А к утру на скатерке снова еды-питья накопилось, а в персонале такое гостеприимство прорезалось, что никакой силы-возможности отлынуть Федоткину не было. В общем, скоро обнаружилось, что за бумаги садиться — только зря туда-сюда «Паркером» шелкать.

Ну вот. А однажды (это уж много снегов выпало да водой утекло) проснулся Федоткин, надежа народная, в шестом часу пополудни. Кваску попил, поикал, полежал, к душе прислушиваясь — не захочет ли чего душа? — и услышал: пряника ей захотелось, мерзавушке.

Он рукой пошарил, а пряника под рукой не нашлось! Огорчился Федоткин, служивого человека позвал. Раз позвал — нету, в другой позвал — тихо. Полежал еще Федоткин — а потом встал, ноги в тапки сунул да и побрел, насупив брови до самых губ, пешком по Кремлю.

И когда он нашел того служивого человека — спал, за-
раза, прям на инкрустаций екатерининской! — то, растол-
кав, самолично надавал ему по преданным сусалам, при-
говаривая, чтобы пряник впредь всегда возле квасу ле-
жал! И, уже бия по сусалам, почуял: вот она когда самая
демократия началась!

Тут Федоткин трубку телефонную снял, всему свое-
му воинству радикулитному сбор сделал — и такого им
камаринского сыграл, что мало никому не показалось,
а многим, напротив, показалось даже весьма изрядно.
Все упомянул, никого не забыл, гарант общерасейский!
И насчет меню, и обивкой ультрамарин непосредст-
венно в харю, и насчет паркета — чтобы к завтраму
переложить его елочкой к дверям, да не елочкой —
какие, блин, елочки! — ливанским кедром.

А насчет листка того, с Конституцией, он с дядь-
кой, который приставлен был от случайностей его
беречь, посоветовался... Тот врачей позвал, и врачи
сказали: убрать ту бумажку со стола к чертовой ма-
тери, вредно это, на нервы действует. Да и то ска-
зать: какая Конституция? Зачем? Мало ли их бы-
ло, а что толку?

И насчет России — тоже однажды после бань-
ки решилось довольно благополучно, — что она
уж как-нибудь сама. Великая страна, не Швейца-
рия какая-нибудь, прости господи! Распрячь ее,
как лошадь, — да и выйдет куда-нибудь к чело-
веческому жилью...

Если, конечно, по дороге не сдохнет.

1996



Проект Конституции страны

1999

Статья 1. Страной правит Дедушка.

Статья 2. Дедушка является гарантом восхода солнца и его заката на благо народа.

Статья 3. Гарантом всего остального является Бабушка.

Статья 4. Бабушка избирается Дедушкой.

Статья 5. Дедушкой избираются и все остальные, они же им же снимаются, награждаются и четвертуются в связи с переходом на другую работу.

Статья 6. Раз в четыре года Дедушка разрешает избирать парламент.

Статья 7. Или не разрешает.

Статья 8. Задача парламента — не мешать Дедушке.

Статья 9. У Дедушки две ноги — правая и левая.

Статья 10. Дедушка встает с левой ноги.

Статья 11. Если Дедушка не встает ни с какой ноги, он руководит страной лежа.

Статья 12. В случае стойкой недееспособности Дедушки страной никто не руководит, а все идет как есть.

Статья 13. У Дедушки есть Таня, Рома, Абрамыч, Пал Палыч и красная кнопка.

Статья 14. До нажатия красной кнопки страна имеет федеративное устройство.

Статья 15. В стране 89 субъектов Федерации.

Статья 16. Или 88.

Статья 17. Или 47.

Статья 18. Главы субъектов Федерации образуют курултай-диван.

Статья 19. Задача курултай-дивана — не мешать Дедушке.

Статья 20. Каждый член курултай-дивана имеет право хотеть стать Дедушкой.

Статья 21. Люди, львы, орлы и куропатки имеют право хотеть стать Дедушкой.

Статья 22. Но решает это народ.

Статья 23. Который выбрал Дедушку.

Статья 24. Который (см. ст. 2).

Статья 25. Задача народа — не мешать Дедушке.

О ГЕРБЕ

Гербом страны является двуглавый Дедушка, держащий в когтях транш МВФ.



Пластилиновое время

*Памяти
Владимира Вениаминовича Видревича*

Он старенький очень,

однако живет и живет себе. Сердце пошаливает, зато голова ясная: Ленина помнит, государей-императоров несколько, императрицу-матушку... Пугачевский бунт — как вчера.

Тридцать уложений помнит, пять конституций, пятьсот шпицрутенгов, сто сорок реформ, триста манифестов. Одних перестроек и обновлений — дюжины по две.

Народных чаяний когда тыщу помнит, когда полторы. Самозванцев — как собак нерезаных. Патриотических подъемов помнит немерено — и чем все они кончились. Священных войн уйму, интернациональную помощь всю как есть. Помню, говорит, идем мы с генералом Паскевичем полякам помогать, а в Праге — душманы...

Он так давно живет, что времена слиплись: столпотворение какое-нибудь трупоносное вспоминать начнет — и сам потом голову чешет, понять не может: по какому поводу его затоптать-то хотели? Невосстановимо. То ли Романов взошел, то ли Джугашвили представился... Туман.

Так и живет в пластилиновом времени. Гитлера корсиканским чудовищем зовет: слава богу, говорит, что зима была холодная... Засулич с Каплан путает, и кто именно был врач-вредитель — Бейлис или Дрейфус, определенно сказать не берется.

С одним только предметом ясность: со светлым будущим. Всегда было. Хлеб-соль кончались, медикаменты с боеприпасами, а это — ни-ни! Как новый государь или генсек — так сразу светлое будущее, а то и по несколько штук зараз; чуть какое послабление — свет в конце туннеля, министров местами переставят — сильнеешие надежды...

А на что именно? Налог с бороды отменяют? Джаз разрешат? Туман.

Да и какая разница? Главное — что-то хорошее обещали, благодетели: с амвона, с мавзолея, из седла непосредственно... А бусурман ли сгинет? Царство ли божие настанет? Мировой капитал исчезнет? Сметана появится?.. Туман. Только крепнущая уверенность в завтрашнем дне, будь он неладен.

А уж самих благодетелей этих он помнит столько, что, если всех собрать, в колонну построить да в Китай отправить — Китай ассимилировать можно! Начнет, бывало, с Зимянина какого-нибудь начальство вспоминать — до Потемкина Таврического без остановок едет. Да и как различишь их? Лица у всех гладкие, государственные, в глазах дума судьбоносная, в руках кнутики с пряниками. Слиплись благодетели в одного — партийного, православного, за народ умереть готового прямо на руководящем посту.

Бывало, как приснятся все разом — в бороде и с орденом Ленина на камзоле, — так он проснется и всю ночь кричит от счастья.

А уж как себя самого, раба божьего, при них при всех вспомнит, в акатуях мордовских с ходынской конфетой во рту, так кричать перестает и в тишине до утра валидол расходует. А утром съезд продолжит свою работу, мужикам волю дадут, стрельцов казнят: в общем, что-нибудь опять хорошее для народа придумают.

Катится ком пластилиновый, катится...

Тут недавно по радио передали: новое поколение в большую политику приходит — так он их ждет не дождется!

На днях врачи его осмотрели, говорят: положение серьезное, но еще лет двести-триста протянет. Так что вы, ребятки, давайте шустрее с реформами, ветер вам в парус!

Пусть дедушка на новую Россию полюбуется напоследок.

Культурные люди

Памяти М. Зощенко

Народ теперь не тот,

что при коммунистах. Он из мрака, можно сказать, вышел. Культурный уровень у него теперь другой, и сознание, об чем говорить, сильно изменилось. Примером чему следующая поучительная история.

Как-то под Рождество (а может, не под Рождество, а на День Конституции, дьявол его знает, в общем, зимой) пошел я по надобности в «Металлоремонт». У меня ключи потерялись, вот я и хотел других наделать, чтобы больше в дверь не колотиться. Соседи у нас стали нервные в процессе реформ, в наружную дверь засобачили замок и запирают. Боятся людей. Зимой с мусорным ведром в одной рубашке на минутку выскочишь — и прыгаешь потом на холодке, как блоха, пока не сжальтятся.

Прямо сказать, плохо без ключей. Ну я и выпросил у соседа. Он сказал: я хотя и опасаюсь давать вам свой ключ, потому что человек вы довольно ненадежный, но на полдня — нате.

А в «Металлоремонте» сидит в будке бодрый гражданин с напильником. Давайте, говорит, вашу железку, я ее сейчас в два счета. И правда, очень скоро высовывает он мне через свое окошечко совершенно готовые ключи. Пользуйтесь, говорит, на здоровье, гражданин, по «полштуки» с вас за железку, заходите еще.

Расплатился я и пошел в мечтательном настроении домой. Я мечтал, как буду теперь ведро выносить и на соседей плевать. Так размечтался, что чуть под трамвай не зашел. Дело нехитрое.

Дома, конечно, начал ключи проверять. И вижу вот какой парадокс: ключи совсем не подходят! Причем не то чтобы один какой-нибудь, а все не влазят. Такой нетипичный случай.

Я, натурально, обиделся. Все-таки не коммунистический режим, чтобы ключи в замки не влезали. Все-таки пятый год, не говоря худого слова, к рынку переходим. Эдак по «полштуки» за железку — все деньги кончатся. И после обеда пошел снова в «Металлоремонт» с мыслью, значит, начистить кому следует рыло.

И вижу: у двери ларька топчется довольно бодрый субъект в ватничке — не тот, что с утра, но тоже очень отзвучивый мужчина. Он, как возле своей личности меня обнаружил, сразу улыбнулся и говорит: «Я, — говорит, — вижу, милый вы мой человек, что у вас есть ко мне дело, так вы, пожалуйста, не стесняйтесь, выкладывайте все начистоту!»

Я говорю: мне скрывать нечего! И все ему в подробных красках рассказал. Мастер рассмеялся на мой рассказ довольно добродушно и говорит: это сменщик! Он при коммунистическом режиме рос, и у него руки несколько косо приставлены, а вообще человек он хороший, вы уж не обижайтесь на него, пожалуйста. Не огорчайте мою раннимую душу.

Я говорю: мне обижаться без пользы, мне ключи нужны. Он мне на это отвечает: ключи ваши я сделаю, конечно, бесплатно. Открывает дверь и рукой эдак дружелюбно делает и говорит: входите, а то еще отморозите чего-нибудь по случаю.

И вот влажу я в его ларек целиком — а там неприхотливая такая, но в общем приспособленная для жизни обстановочка: точила всякие, напильники, а по стенкам календари с голыми мамзелями для уюта. И от электроприбора тепло, братцы мои, как в бане!

Меня, натурально, от всего этого сразу разморило, а мастер говорит: да что же вы стоите посредине помещения, голубчик, садитесь на мягкий стул! А я, говорит, тем временем совершенно бесплатно исправлю ошибку моего сменщика и сделаю вам хорошие дубликаты, чтобы вы больше никогда не мерзли!

От такого внимания к себе я, конечно, теряю дар русской речи. А мастер скромно надевает свой синий трудящийся халат и начинает эдак нежно вжикать своим инструментом по моим железкам.

Сейчас, говорит, я вас обслужу, можно сказать, как че-

ловека. А на сменщика, говорит, не обижайтесь! И слово за слово, заводит тонкий разговор. Дескать, еще Чаадаев предупреждал насчет ключей, что с первого раза не сделают, потому что не Европа. Вжик. И Елена Блавацкая, говорит, предупреждала. Вжик-вжик. И Рерих. И через полчаса такого разговора я, братцы мои, немею окончательно, чувствуя полную свою интеллигентскую несостоятельность рядом с познаниями этого трудящегося с его простым инструментом. И начинаю потихоньку думать про себя, что, раз такое дело, надо все-таки доплатить, а то получается нехорошо. Блавацкой не читал, а приперся, как дурак, со своими желсзками к просвещенному человеку. И поддержать культурный разговор нечем — сиди да разевай рот, будто окунь какой-нибудь.

А мастер тем временем открывает уже совершенно небывалые горизонты образования и при этом не торопясь, с большим гражданским достоинством, вжикает по моей железке инструментом. И в процессе его речи за окошком становится темно, потому что зима.

А мне еще до дому пехать.

А перебивать неловко. Все-таки культурные люди...

И вот, можете себе представить, спрашивает он меня, что я, например, думаю насчет воззрений философа Федорова о спасении мира через воскрешение умерших родителей, — а я, братцы мои, сижу уже буквально весь потный и думаю исключительно насчет того, чтобы самому из ларька живым вылезти.

И когда он наконец протягивает мне ключи, я просто чуть не плачу. Спасибо вам, говорю, огромное. Ну что вы, отвечает, это вы как клиент извините нас за причиненное беспокойство. И виновато наклоняет свою умную голову и ногой шаркает со страшной интеллигентностью. Я спрашиваю: может быть, возьмете немного денег? Тут он даже руками на меня замахал.

Тогда я говорю ему: можно ли для интересу узнать, как вас зовут? Он весь запунцовел и отвечает: Степан. Я говорю: вот за такими, как вы, Степан, будущее нашей многострадальной страны. Он скромно эдак потупился и тихо отвечает: я знаю.

Я тогда на всякий случай спрашиваю еще раз: может, все-таки возьмете денег, Степан? Тут он совсем уж сильно

потупился и говорит: ну хорошо. Я возьму ваши деньги, чтобы вас не обидеть... Строго по прейскуранту. По семьсот за железку.

Я, конечно, удивился. Как, говорю, семьсот? Утром было пятьсот! Он говорит: так то ж утром... И довольно тяжело вздыхает, явно горя о трудностях на пути реформ.

Я отдал ему деньги и, ласково попрощавшись за руку, заторопился домой.

Я шел, размышляя о высоких свойствах человеческой души. О том, какие образованные люди трудятся у нас теперь в неприметных ларьках у метро, своим примером создавая новые, культурные отношения между клиентом и работником сервиса...

Вот только дверь опять не открывалась. То есть буквально ни одним ключом, даже соседским. Я думаю, этот Степан ненароком перепилил его, когда про Рериха рассказывал.

Ну, Рерих Рерихом, а сосед мне потом по рылу съездил два раза при свидетелях.

Вы, конечно, спросите, граждане, в чем мораль данного произведения? Против чего направлено жало этой художественной сатиры?

Жало, положим, направлено против темноты и бескультурия. А мораль такая, что народ стал гораздо грамотнее. Не то что при коммунистах. При коммунистах небось ему, Степану этому, выдали бы по фунту перцу и за Рериха, и за Блавацкую... За воскрешение мертвых, допустим, вообще бы из Москвы уехал к чертям собачьим.

А теперь — философствуй совершенно свободно!

И очень даже просто.



Предрассудок

Ляпнул какой-то древний итальянец:

мол, о мертвых либо хорошо, либо ничего...

Хоронили мы Колдомуева Степана Петровича. Все чин-чинарем — гроб, венок, вдова... Народ с гвоздиками подтягивается, некоторые уже тяпнули с утра по случаю. Погода отличная, работать все равно неохота — чего ж не похоронить человека?

Мы стоим, Колдомуев лежит, всем хорошо. Вдова сияет, как антрацит. Толик анекдот рассказал... Уже бы накрывать Колдомуева и вниз, чего ему тут зря лежать, он и когда живой был, анекдотов не понимал, — вдруг Шишкин возьми да брякни:

— Панихиду объявляю открытой.

Полжизни, собака, в профкоме провел, никак не отвыкнет.

Никто говорить-то не хотел, а тут неудобно. Вдова приосанилась, ждет; все напряглись. Тут бы Шишкину сказать для снятия напряжения, что, мол, пошутил, да не тут-то было!

— Слово, — говорит, — для прощания предоставляется другу покойного Муковозову Николай Ивановичу.

Муковозов, ясное дело, возмутился: че я-то? Шишкин отвечает: иди-иди...

Муковозов в изголовье встал, подумал немного и говорит:

— Я знал покойного десять лет. — Помолчал, пальцы позагибал, говорит: — Нет, одиннадцать. Нет... — Опять позагибал, потом спрашивает: — Инструментальный отдел когда сливали?

Колдомуев лежит, не помнит. От ног отвечают:

— Ну-у, это еще до ремонта было...

Муковозов говорит:

— Ага! Вот с тех пор я покойного и знал. Ну, что я могу сказать о тебе, Степан Петрович?

Посмотрел на Колдомуева и вдруг ка-ак замолчит! Видать, изречение древнеримское вспомнил. Минуты две прошло. Шишкин говорит:

— Ну?

Муковозов ему:

— Баранки гну.

Шишкин говорит:

— Слово имеет Курицын.

Курицын, чистый римлянин, вышел и говорит:

— Прощай, Степан Петрович!

И назад.

Тут вокруг могилы рассасываться стало. Шишкин говорит:

— Стоять! Пеструхин!

Пеструхин говорит:

— Все мы знали покойного... Ну все же знали, чего тут говорить?

А из панихиды кричат:

— Давай, Колян! Скажи, не бойся!

Пеструхин подумал чуток и говорит:

— Нет слов.

Шишкин говорит:

— Тогда слово предоставляется вдове.

Вдова говорит:

— Степа! Ты был таким... таким... — Подумала и говорит: — Большим! — Потом руками как вскинет: — Ой, на кого ж ты меня покинул, касатик?

Тут панихида оживилась, потому что знала правильный ответ. А вдова все рыдает, но аккуратно так, чтобы тушь не потекла.

Шишкин говорит:

— Давайте активнее, товарищи! А то херня какая-то получается. Буду вызывать по алфавиту!

Тут все бочком, бочком — и от гроба.

Самые хитрые давно разбрелись как бы невзначай по участкам — послушать, чего о других говорят, а тут от соседних могил сами подходить стали, в лицо Колдомуеву заглядывают, версии выдвигают... Может, говорят, собак

он любил? Может, лобзиком выпиливал, двор озеленял? Мучаются люди, вспоминают, один Колдомуев лежит сачкует.

Через полчаса Женька Ивакин вдруг как закричит:

— Есть! Вспомнил!

К нему со всего кладбища сбежались: ну?

А Ивакин, гаденыш, интригует: как же, говорит, вам не стыдно, слова хорошего про человека сказать не можете...

Ему на это конкретно отвечают:

— Ивакин! Либо ты говоришь, чего вспомнил, либо мы сейчас тебя вместо него закопаем.

Ивакин вопит:

— Шашки! В шашки он, негодяй, здоров был играть! Всех чесал.

Тут праздник начался. Руки Ивакину трясут, «ура» кричат, шампанское открыли. Вдова поцеловала взасос Ивакина и еще троих. Ивакин стоит именинником. Ему кричат:

— Давай! Давай скажи, как положено, от головы, — и понеслась: салат киснет, водка греется!

Поставили Ивакина у изголовья. Ивакин говорит:

— Покойный хорошо играл в шашки! Помню. резались мы на первенство цеха... Так покойный — всех, ну всех буквально...

Вдруг Авдюхин как закричит:

— Еще бы не всех! Он же, сукин сын, ходы назад брал!

Его чуть не убили прямо у гроба:

— Что ты пристал к покойнику? Что он тебе дался? Дай уже закопать эту гадину!

Авдюхин опомнился: извините, кричит, братцы, больше не буду, вот вам святой крест во все стороны! В общем, пока ребята гроб наперегонки заколачивали, осознал вину, сбежал за пивом, а вдове — ликер кокосовый притащил и семечек горсть.

На радостях простили его.

А древнему итальянцу тому я бы ноги оторвал. Думать надо, что говоришь!

Сила воображения



Игнатьева женщины не любили.

А он их, наоборот, хотел буквально всех. Но обманывать насчет высоких чувств не желал, гордый был. Игнатьев вырос в интеллигентной семье, о любви знал по повести Фраермана «Дикая собака Динго», а женщины от этого разбегались со страшной силой.

И стал тогда Игнатьев мизантропом, и полюбил одиночество.

Ну вот. А однажды он смотрел телевизор и крепко застал на одну гимнасточку. И потом целый день думал о ней — и за ужином, и потом, и когда лег спать, — все думал и думал и додумался до того, что присела гимнасточка на край его постели и начала с ним разговаривать, и глазками делать, и ручкой шалить. А потом такие кренделя выделывать начала, что Игнатьева даже в жар бросило.

Он же интеллигентный человек!

А гимнасточка похабная доделала свое сладкое черное дело и мгновенно пропала, умница. Игнатьев охнул и тут же заснул, счастливый совершенно. А на рассвете проснулся бодрый, и на службу пошел, и целый день провкалывал, как на субботнике.

А вечером, чуть глаза закрыл — она. «Хорошо тебе вчера было?» — спрашивает. «Да», — отвечает Игнатьев. «А вот так — хорошо?» — спрашивает. Тут Игнатьев речи и лишился.

И стали они жить вместе, причем гимнасточка об этом, разумеется, ни ухом ни рылом.

Только однажды приходит она к себе в номер после вечерней тренировки (новую связку с лентой отработывала), душ принимает, чай с сухариком пьет и в постельку свою ложится, режим у нее. А сон не идет чего-то. А у нее

завтра с утра тренировка, а через месяц — чемпионат в Канаде, где болгарок надо уделать, кровь из носу, — а сна нет, и фантазии одна неспортивнее другой. Будто делает она, чего отродясь не делала, и с большим удовольствием, и телом своим натренированным такое изображает, чего ни один судья не видел — а и видел бы, ничего не понял.

А потом будто бы тепловой удар с ней случился, и полетела она куда-то, то ли вверх, то ли вниз, непонятно, а когда снова в своей постели обнаружилась, не то что связку с лентой — фамилию тренера вспомнить не смогла, и где тот чемпионат будет, и по какому виду спорта.

Вон чего бывает.

Целую неделю потом днем с блуждающей улыбкой ходила, предметы из рук роняла, а по ночам летала непонятно где. Врачи только руками разводили.

Потом в один миг отпустило ее. Вернулась в большой спорт, третий год уделывает болгарок и чувствует себя от этого, надо сказать, совершенно удовлетворенной.

А Игнатъев... неловко говорить. Просто распоясался. Недавно одна особа коронованная — ее, на беду, в «Новостях» показали, а он увидел... — такое вдруг испытала прямо на троне! Всем двором в себя приводили!

Опять же актриса американская — ну, вы знаете ее, стерва такая ногастая! — эта среди бела дня отключилась у себя в Голливуде, глаза закатила. «О, yes, — говорит, — yes... yes!» Ну, к ней-то как раз привыкли.

Так что, милые дамы, ежели вдруг чего — не пугайтесь.

Это Игнатъев.

Значит, видел вас где-то.

Процесс гражданского становления

в бригаде Сыромятникова Бутомский начал наблюдать в августе, сразу после падения тоталитаризма.

Тоталитаризм пал во вторник, а в среду с утра, когда Бутомский пришел в свою новую квартиру проводить ход ремонта, Сыромятников был уже немного просветленный. Он сидел с куском маринованной сельди в руке, прислонившись к стенке, ободранной еще накануне. Рядом, на обрывке новых обоев, были разложены резаная отечественная колбаса, хлеб и огурчики.

— С победой! — приветствовал Сыромятников хозяина квартиры и опустил в рот сельдь. Петя вынул из сумки дополнительный стакан и налил всем по пять сантиметров.

— Спасибо, — сказал Бутомский и выпил, чтобы не обижать победивший народ. Петя сразу налил еще по пять сантиметров.

Они выпили за Ельцина, Горбачева и Бурбулиса. Пия за Бурбулиса, Сыромятников задел ногой банку с олифой, она вылилась на паркет и сразу же начала распространять запах.

Сыромятников предложил тост за будущее России.

В дверь позвонили. Петя пошел открывать, вступил в олифу, и в коридоре внятно отпечатались три левых ботинка, как будто какой-то великан упрыгал отсюда на одной ноге.

Вернулся Петя вместе со здоровенным детиной. Войдя, детица первым делом задел башкой лампочку, свисавшую на шнуре. Лампочка незамедлительно откликнулась и выпала из патрона, разбившись в мелкие дребезги.

— Геныч, — представил длинного Сыромятников. — За клеєм ходил.

— Клея нет, — доложил Геныч и поставил на стол ноль семь красного.

Петя извлек из сумки с инструментами четвертый стакан.

— Ну, — сказал Сыромятников и строго посмотрел на Бутомского. — За свободу!

Выпив, Бутомский тактично (пальцами) достал кусок сельди из банки, съел его и, посидев для приличия еще секунд десять, поднялся.

— Ну, вы тут давайте... — попросил он, на что Сыромятников поднял сжатый в «рот фронт» кулак, гарантируя, что они тут дадут.

Когда Бутомский пришел провести ход ремонта через неделю, в его квартире многое изменилось. Обои были содраны окончательно, в комнате была свалена горкой плинтусная доска, а в бульонной кастрюльке лежал окаменевший шпатель. От лужи на паркете на вечные времена остался белесый абрис.

Несмотря на эти несомненные отличия, при входе в квартиру Бутомский испытал неприятное для психики чувство, которое французы называют «дежа вю»: мастера сидели в тех же позах, в каких он оставил их в прошлую среду.

— Здравствуйте, — с уважением отозвался на приход хозяина Геныч и пододвинул табуретку. Петя достал из сумки четвертый стакан, дунул в него и отработанным движением набулькал внутрь пять сантиметров.

По стаканам, налитым Петей, можно было проверять линейки.

— Ну! За богородицу, — сказал Сыромятников, и Бутомский понял, что вслед за гражданским самосознанием в бригаду проникло религиозное чувство.

Пока он обдумывал важность этого факта для судеб России, рабочие, почти не меняя мизансцены, отметили День знаний, йом-кипур и годовщину Великого Октября, а потом выпал снег.

На складах не было раствора, в магазинах — кафеля, и нигде в природе не было какой-то неведомой хреновины три на шестнадцать, без которой никак.

Больше по привычке, чем в желании что-либо изменить в этом праздничном мире, Бутомский зашел поздравить мастеров с католическим Рождеством — и застал их в

той степени святости, когда тела еще не светятся, но глаза уже видят что-то свое.

Петя и Геныч отдыхали от реальности в комнате. Сыромятников — на кухне. Он лежал на матрасе, как мыслящий, но сильно изломанный жизнью тростник, и копил силы для встречи Нового года. В белом ярком свете квартиры Бутомского простиралась, как мир на третий день творения, когда хаос, твердь и вода уже имелись, но жизнью еще не пахло.

— Эй! — несмело позвал он. Никто не откликнулся, и вдруг совершенно отчетливо Бутомский понял, что гораздо прежде конца этого ремонта его понесут из какой-нибудь съемной квартиры вперед ногами.

— Эй, вы! — сказал он.

Ответа не было, и Бутомский почувствовал, что неотвратимо наполняется праведной отвагой. Он шагнул вперед — и, продолжая поражаться своей храбрости, тихонько потряс Сыромятникова за плечо.

...Человек, трогающий руками другого человека после того, как тот практически одновременно отметил День Конституции, хануку и католическое Рождество, — такой человек заслуживает смерти. Но физического здоровья, необходимого для убийства, у Сыромятникова с собой не было, и он только лягнул врага ногой.

Сгребая ногами стеклотару, Бутомский отлетел к двери, ударился головой о косяк и вскоре оказался в старинном имении, похожем на Ясную Поляну. Сквозь осинник виднелась усадьба, в листве пели пичужки, а сам он, поигрывая лозой, стоял возле небольшого сарайчика типа конюшни.

Внутри дворовые умело привязывали к козлам Сыромятникова, Петю и Геныча. Откуда-то пахло белилами и ацетоном. Бутомский не понимал, что за праздник на дворе, но всем сердцем чувствовал радость от прихода этого праздника.

— Помилосердствуйте, барин! — стонал Сыромятников, выворачивая с козел нетрезвую голову. — Истинный крест, ко Дню Советской Армии закончим! Шпателя не было!

— Николя, ну зачем это? — нежно щебетала жена Бутомского. Она стояла неподалеку, опасливо косясь в сторону конюшни — в сторону дубленых, кожаных, готовых к лозе задниц.

— Ступай, милая, ступай... — отвечал Бутомский и, подступая к лежащему, спрашивал его со сладким замиранием сердца: — Значит, говоришь, шпателя не было?..

— Помилосердствуйте, барин, — противно бубнил растянутый на козлах. — А-а-а!

— Вот тебе шпатель! — приговаривал Бутомский, свистя лозой. — Вот тебе Советская Армия! Вот тебе Рождество Клары Цеткин! Вот тебе курбан-байрам с яблочным спасом!

— А-а-а!

На крик негодяя прибежали Лев Толстой, Антон Чехов и Владимир Короленко — и на их глазах Бутомский аккуратнейшим образом выпорол Сыромятникова, Петю и Геныча, причем в процессе порки Сыромятников орал, Геныч басом звал на помощь Глеба Успенского, а Петя продолжал разливать всем по пять сантиметров.

Потом Бутомский устал махать лозой, пошел на веранду, лег и тут же уснул. Приснилось ему, что он лежит в какой-то покореженной квартире, на полу возле плинтуса, в непонятно каком году, с гудящей головой, а над ним склонился сивый от пьянства мужик, помятый и непоротый.

— Э, командир, — сказал Сыромятников. — Живой?

— Да, — не слишком уверенно ответил Бутомский.

— Мы тут немного отдыхаем, — пояснил Сыромятников, не переставая сниться. — Но ты, главное, не бздо... все будет путем.

— Что вы скажете на это, господа? — поинтересовался Толстой за чаем.

— Насчет чего? — спросил Короленко.

— Насчет розог.

— Что тут говорить, Лев Николаевич, — пожал плечами Короленко и отломил кусочек печенья. — Дикость! Азиатчина...

— Позор, конечно, — заметил Чехов. — Но, знаете, я бы тоже их выпорол. А вы?

— Я бы вообще убил, — сказал Толстой.



Индусьев ехал в метро

и лужгал семечки. Он кидал их в рот горстями и размалывал зубами. Размолотое сползало по пищеводу, шелуха сдувалась наружу. Индусьеву было хорошо.

Ехал он давно и уже не помнил куда, потому что, когда долго лужгаешь семечки, в процесс включается и кубатура над челюстями.

Однажды ближе к вечеру семечки кончились. Индусьев пошарил в кармане, нашел пару предохранителей. Пошарил в другом — нашел пять шурупов и отвертку. Все это он служгал. Больше в карманах ничего не было.

Индусьеву стало худо. Перетирать верхними зубами нижние ему было скучно, а совсем остановить процесс Индусьев не мог, потому что тогда бы вспомнилось, куда ехал и все подробности жизни.

Поэтому Индусьев взял сидевшего напротив гражданина и служгал его.

На вкус гражданин оказался так себе. К тому же пришлось сплевывать шляпу, очки минус три, костюм и ботинки. Вынув изо рта последний шнурок, Индусьев поковырял между зубами дужкой от очков и поднял голову. Пассажиры смотрели на него во все глаза.

Сначала Индусьев смутился, а потом тоже начал смотреть.

Когда пассажиры все свои глаза отвели, Индусьев с облегчением рассмеялся и служгал их в порядке живой очереди. Пассажиры оказались людьми тактичными, и даже те, кого Индусьев лужгал, старались не встречаться с ним взглядом.

Оставшись в одиночестве, Индусьев затосковал и начал лужгать сиденья. При этом обнаружилось, что перехо-

доть от одного вагонного бока к другому гораздо легче на четвереньках. Сиденья были мягкие, но Индусьеву не хватало человеческого тепла. Разворотив все, что можно, он обиженно вздохнул и начал лужгать собственную руку, но дошел до татуировки «Петя» и остановился.

Петей звали его самого.

Индусьеву вспомнилось двуногое детство. Вспомнилась сидящая на завалинке, с ногами в шелухе, Индусьева-мама, вспомнился Индусьев-папа — папе в горсть помещался стакан семечек...

Индусьев взгрустнул. Папа с мамой давно служили друг друга, оставив в наследство Пете мешок семечек и зуд в челюстях. Если бы семечки не кончились раньше зуда, жизнь Индусьева можно было бы считать совершенно счастливой.

На конечной его растолкали двое с крыльями.

Они подхватили Индусьева под руки и полетели вверх вдоль эскалатора. Наверху сидел большой, пожилой, весь в белом, со светящимся околышем над головой.

— Индусьев? — спросил пожилой.

— Индусьев, — сказал Индусьев.

— Семечек хочешь?

— Да!

— На, — печально сказал пожилой с околышем. — Подавись.



Игорю Иртеньеву и Михаилу Кочеткову

В купе ехали четверо.

— Ну, — сказал один, когда за окном враскосьяк побежали городские окраины, — будем знакомы! Алексей! — Он сложил из руки «рот фронт» и, разжав, лопатой протянул навстречу соседям.

Пассажиры замялись, но впереди лежал целый день пути, знакомства было не избежать. Поезд шел туда, где кончались не только рельсы, но и вообще все.

— Петр, — подавая детине маленькую аккуратную руку, сказал скуластый брюнет. Третьего пассажира звали Константином, был он худ, высок и патлат.

Четвертый, сидевший с ногами в углу — юный, налысо выбритый, но с косичкой сзади, — молча всем поклонился, вынул из холщового мешка «Бхагават-Гиту» и выбыл из обращения.

Пришла проводница; собрали за белье, попросили чая. Выбритый с косичкой отказался и от чая.

Петр вынул из сумки и положил на столик запотевший целлофановый пакет с распластанной в хлебе котлетой, другой пакет — с огурцами и тонко, на просвет, нарезанным сыром со слезой. Общительный Алексей добавил полпалки толсто нарубленной колбасы, три яйца, ноль семь коньяка и семейство латунных, матрешкой, стопочек.

Константин, помедлив, завершил натюрморт курицей, запеченной в фольге.

Человек с косичкой, выждав некоторое время, вынул из холщовой сумки апельсин, сосредоточенно очистил его и съел.

После второй заговорили о политике.

— Козлы, — убежденно сказал Алексей.

— Почему козлы? — поинтересовался Константин.

— Потому что.

— Кто? — уточнил Петр.

— Они все, — ответил Алексей, кладя в рот яйцо. — Нахapaли и еще хотят.

— Все не так просто, — осторожно откликнулся Константин. — Попробуйте посмотреть на вещи с другой стороны...

— С какой еще другой? — Алексей прожевал яйцо и прополоскал рот чаем. — Нету никакой другой стороны!

— Есть, — возразил Константин. — Другая сторона всегда есть. И отсюда обязательно надо посмотреть!

Мимо окна проехал овраг с дощатыми временками, стоявшими на самом краю и словно бы раздумывавшими — не броситься ли совсем вниз? Появилось и гуськом ушло за рощицу несколько покосившихся телеграфных столбов.

— Вот я, например, был депутатом.

— Вы?

— Я, — подтвердил Константин. — И козлом себя не считаю.

— Да я вообще... — покраснел Алексей. — Я же не про вас...

— Нет-нет! — Константин жестом отверг предположение о личной обиде. — Я в принципе говорю: тут ничего нельзя сделать. И потом: вы же сами... мы же сами, — поправился он, — выбрали... тех, кого выбрали, правда?

— Ну, — согласился Алексей.

— Так что же тогда выходит?

— Что? — с опаской переспросил Алексей.

— Выходит, мы сами и козлы, — мягко доформулировал Константин.

— Да ладно вам... — не поверил детина. Он еще подумал немного над открывшимся, потом покосился на бритого с косичкой и молча налил три стопки.

— Будем!

— Куда мы денемся, — согласился патлатый. Выпили.

— А я не прошел, — вдруг сказал Петр с верхней полки.

— Куда? — спросил Константин.

— В депутаты. — Петр помолчал еще и свесился вниз. — Вы по какому округу были?

Через полчаса разговор соскользнул на баб.

— В основном — бляди, — сообщил свое мнение Алексей. — Про всех не скажу, всех не знаю, но в основном...

— А вы многих знали? — заинтересовался Петр. Дети на закатил глаза и зашевелил губами, считая.

— До ебаной матери, — округлил он наконец.

— И все, значит...

— Почти все, — заверил атлет.

— А вы сами? — спросил Константин.

— Что?

— Если посмотреть с другой стороны, — напомнил Константин.

— То есть?

— Ну, вот вы... ведь даже сосчитать не можете, сколько у вас их было.

Алексей хмыкнул.

— Я, конечно, тоже кобель порядочный! — Он шумно, с удовольствием выдохнул, устроился поудобнее и снова начал перечислять, загибая пальцы: — Значит, так! Ленка, потом Ирка, потом... Маша, Света, Нина Петровна, потом пионервожатая эта... потом опять Ленка, потом Полина...

— Какая Полина? — насторожился брюнет на верхней полке. — Как фамилия?

— Ладно, ладно, — отмахнулся Алексей. — Отдыхай.

Поезд, тяжело вздохнув, остановился. За окном темнел кусок вокзала. С товарных путей женский голос гулко и заполошно прокричал что-то про восьмую, которую надо подать на пятый. Бритый кришнаит вынул из своего мешка очередной апельсин, очистил его и начал есть, аккуратно собирая косточки в кулак.

Мимо окна, качаясь в такт скрипу снега, проплыла фуражка и следом две ушанки.

— Патруль, — определил Алексей и, помолчав, добавил: — Я, помню, ходил однажды в патруль. Смешная история... — Он замолчал. Поезд дернулся, поравнялся с фуражкой и, оставив ее позади, покатыл в ночь.

— Так что? — напомнил патлатый. — Ходили в патруль — и? Вы говорили: смешная история...

— А-а. Ну, оборжешься! Зима тоже была, колотун... Идем. Вижу — чурка какой-то в шинели идет навстречу.

Нас увидел и сразу бочком, бочком — и в переулок... Самовольщик! Я ему: «Стой! Ко мне!» — а он бежать. Я за ним, а он, сука, со страху так чешет, хрен догонишь. Но я ж спортом занимался, разряд был, дышалка... а потом, в отпуск-то охота! — ну я за ним и наладился. Ребята сразу отстали, а я на принцип! Пять минут за ним бежал, за уродом!..

Алексей не на шутку распалился от воспоминания, махал ручищами, глаза его горели.

— Он на станцию — я туда. Он по путям — я за ним! И на запасных догнал! Он, сучонок, сдох через рельсы бегать. Догнал я его и вот так... — Алексей занес кулачище над столом, — кэ-эк дам по балде! Он с копыт, башкой об уголь — там склад был — и лежит. Ну, а я сел на рельсы, отдыхиваюсь, жду, пока ребята подойдут. И представляете — застудил яйца! Мне в отпуск ехать — две недели дали за отличную службу! — а у меня вот такие стали! Как у слона буквально! Ну, меня в медсанбате кололи всякой гадостью — стали нормальные, маленькие...

Детина вдруг замолчал.

— Даже еще меньше, чем были.

И он замолчал опять, уже надолго.

— Ну? — подбодрил рассказчика Константин, так и не дождавшийся смешного.

— Баранки гну! — немедленно среагировал детина. — А мне обидно стало, что они маленькие, яйца, мне ж в отпуск идти! Так я потом, как из медсанбата вышел, и под холодную воду их, и в снегу держал — ни в какую! Так до сих пор маленькие и остались. Вот такусенькие. Представляете?

Алексей замолчал и откинулся назад, весь охваченный неожиданным воспоминанием. Внизу стучали колеса, вдоль окна черной стеной летел лес; бритый, закрыв «Бхагават-Гиту», смотрел на рассказчика.

— Все? — раздалось с верхней полки.

— Все, — подтвердил Алексей. — Теперь давай ты чего-нибудь смешное Расскажи.

И налил.

— Хорошо, — согласились с верхней полки. — Это тоже в армии было. Пошел я как-то в самоволку. Только из гар-

низона выбрался, гляжу — патруль. А первым здоровенный такой старшина шагает, рожа репой, увидел меня, сразу глазки кровью налились, как у кабана. «Ко мне-е!» — кричит. Ну, я, конечно, — ноги, а этот — за мной. Здоровый, мерин. Я от него туда, сюда — как заяц... Все-таки догнал он меня, урод...

Тут брюнет свесился с полки и пояснил:

— Спортсмен был, наверное, — и, снова улегшись, продолжил: — Ну вот. На путях железнодорожных меня догнал — и как даст сзади своей колотушкой. Я упал, башкой обо что-то трах — и все, ничего не помню. Очухался на гауптвахте. Десять суток на воде и хлебе строевой шаг отрабатывал. И как раз на десятый день — от сотрясения, видать — у меня способности открылись...

— Какие способности? — поинтересовался Константин.

— Порчу насыпать могу, — пояснил брюнет и, свесившись вниз, доброжелательно оглядел присутствующих.

Детина так и сидел с невыпитым коньяком наперевес. Колеса стучали в полной тишине.

— А у меня тоже было смешно, — поделился вдруг Константин. — Я в медсанбате служил. И вот, значит, как-то зимой привозят нам старшину с во-от такими яйцами! Отморозился. На рельсах сидел, имбицил. Ну, колем ему гадость всякую, колем... Глядим — совсем они у него маленькие становятся. Недели через две фельдшер меня и спрашивает: мы чего ему колем? Я говорю: откуда мне знать? Он тогда посмотрел и говорит: ох ты, мать-перемать, я ж ему не ту концентрацию херачу! Хорошо, говорит, заметили, а то бы совсем в горошину съезжилось у парня, а ему на дембель...

Константин закончил свой рассказ и в тяжелой тишине захрумкал огурцом. Детина так и сидел со стопкой в руке. Рот его был открыт.

— А я... — раздалось вдруг из угла.

Говорил кришнаит.

Брюнет свесился со своей полки по пояс, Константин перестал жевать. Детина медленно поставил на столик нетронутую стопку и повернул к читателю «Бхагават-Гиты» голову с парой раскаленных глаз на буром лице.

— Ты еще?.. — захрипел он. — Ты еще будешь?.. Не было тебя нигде, вообще не было, врешь!

— Я никогда не вру, — сказал кришнаит и, покраснев, потупился. — Мне нельзя. — Он поднял глаза, они сияли светом последней истины. — Послушайте! Однажды, в прошлой жизни, когда я был яйцом... обыкновенным мужским яйцом...

Поезд разрезал тьму, а может, тьма поглощала поезд — и все зависело только от того, с какой стороны смотреть.



Вечное движение

Этюд

— «О ф... фен... ба... хер!» —

прочел Карабукин и грохнул крышкой пианино.

— Нежнее, — попросил клиент.

— А мы — нежно... От винта! — Движением плеча Карабукин оттер хозяина инструмента, впрягся в ремень и скомандовал: — Взяли!

Лысый Толик на той стороне «Оффенбахера» подсел и крикнул, принимая вес. Обратно он вынырнул только на площадке у лифта. Лицо у Толика было задумчивое.

— Тяжело? — сочувственно поинтересовался клиент.

— Советские легче, — уклончиво ответил Толик.

— Раза в полтора, — уточнил Карабукин. Он часто дышал, облокотившись на «Оффенбахер».

Они стояли черт знает на каком этаже, а грузовой лифт — на третьем. Уже два месяца.

— Взяли, — сказал Карабукин.

Через пару пролетов Карабукин молча лег лицом на «Оффенбахер» и лежал так, о чем-то думая, минут десять. Лысый Толик вылез из лямки и сполз вниз по стене. Он посидел, обтер рукавом поверхность головы и, обратившись в пространство, предложил покурить. Клиент торопливо распахнул пачку. Толик взял одну сигарету, потом подумал и взял еще три.

Карабукин курить не стал.

— Здоровье бережете? — льстиво улыбнулся клиент — и сам покраснел от своей бестактности.

— Здоровья у нас навалом, — ответил цельнолитой Карабукин, разглядывая клиента, похожего на подержанную мягкую игрушку. — Можем одолжить.

Тот испугался:

— Не надо, что вы!

Помолчали, Карабукин продолжал рассматривать клиента, отчего тот еще уменьшился в размерах.

— Сам играешь? — кивнув на инструмент, спросил он.

— Сам, — ответил клиент. — И дочку учу.

Наступила тишина, прерываемая свистящим дыханием Толика.

— На скрипке надо учить, — посоветовал Карабукин. — На баяне максимум.

— Извините меня, — сказал клиент.

За полчаса грузчики спустили «Оффенбахер» еще на несколько пролетов. Они кряхтели, хрипели и обменивались короткими птичьими сигналами типа «на меня», «стой», «ты держишь?» и «назад, блядь, ногу прищемил».

Хозяин инструмента, как мог, мешался под ногами.

Потом Толик объяснил, что либо сейчас умрет, либо сейчас будет обед. Грузчики пили кефир, вдумчиво заедая его белой булкой. Глаза у них были отрешенные. Клиент, стараясь не раздражать, пережидал за «Оффенбахером».

— Толян, — спросил наконец Карабукин. — Вот тебе сейчас чего хочется?

— Бабу, — сказал Толян.

— Хер тебе на рыло, — доброжелательно сообщил Карабукин. — А тебе?

— Мне? — Клиент слабо махнул рукой, подчеркивая ничтожность своих притязаний. — Мне бы переехать поскорее... Я не в том смысле, что вы медленно! — торопливо добавил он.

— А в каком? — спросил Карабукин.

— В смысле: много работы.

— Это вот?.. — Карабукин пошевелил в воздухе растопыренной пятерней.

— Да, — стыдясь себя, сказал клиент.

— А бабы, значит, тебе не надо? — уточнил Карабукин.

— Ну почему? — Клиент покраснел. — Этот аспект... — И замолк, сконфуженный. Они помолчали.

— А вам, — спросил клиент из вежливости, — чего хочется?

— Мне?

— Да.

— Мне, — сказал Карабукин, — хочется сбросить твою бандуру вниз.

— Зачем? — поразился клиент.

— Послушать, как ебанется, — ответил Карабукин. Клиент пошел пятнами. — Ладно, ни бэ! — успокоил Карабукин. — Я пошутил.

Толик заржал сквозь булку.

— Что вы нашли смешного? — со страдальческой гордостью спросил клиент.

— А вот это... — охотно ответил Толик и двумя руками изобразил падение «Оффенбахера» в лестничный пролет. И опять от души захохотал.

— Это не смешно, — сказал клиент.

— Ладно, — сказал незлобивый Толик. — Давай лучше изобрази чего-нибудь. Чем зря стоять.

Клиент, в раннем детстве раз и навсегда ударенный своей виной перед всеми, кто не выучился играть на музыкальных инструментах, вздохнул и открыл крышку. «Оффенбахер» ощерился на лестничную клетку желтыми от старости зубами.

Размяв руки, очкарик быстро пробежал правой хроматическую гамму.

— Во! — сказал восхищенный Толик. — Цирк!

Клиент опустил полноватым задом на подоконник, нащупал ногой педаль и осторожно погрузился в первый аккорд. Глаза его тут же затянуло поволокой, пальцы забродили вдоль клавиатуры.

— Ну-ка, стой, — приказал Карабукин.

— А? — Клиент открыл глаза.

— Это — что такое?

— Дебюсси, — доложил клиент.

— Ты это брось, — неприязненно сказал Карабукин.

— То есть? — не понял клиент.

Карабукин задумчиво пожевал губами.

— Ты вот что... «Лунную сонату» можешь?

Очкарик честно кивнул.

— Вот и давай, — сказал Карабукин. — Без этих ваших...

— Что значит «ваших»? — насторожился клиент.

— «Лунную сонату», — отрезал Карабукин и для ясности снова пошевелил в воздухе растопыренными пальцами. — Добром прошу.

— Хорошо, — вздохнул пианист. — Вам — первую часть?

— Да уж не вторую, — язвительно ответил Карабукин.

На звуки «Лунной» откуда-то вышла старуха, похожая на некормленное привидение. Она прошаркала к «Оффенбахеру», положила на крышку сморщенное, средних размеров яблоко, бережно перекрестила игравшего, поклонилась в пояс грузчикам и ушла восвояси.

— Вот! — нравоучительно сказал Толику Карабукин, когда соната иссякла. — Бетховен! Глухой, между прочим, был на всю голову! А у тебя, мудилы, уши как у слона, а что толку?

— Сам ты слон, — ничуть не обидевшись, ответил Толик, и, стуча несчастным «Оффенбахером» по перилам, они поволокли его дальше. Клиент морщился от каждого удара, прижимая заработанное яблоко к пухлой груди.

— Бетховен... — сипел Толик, размазанный лицом по инструменту. — Бетховен бы умер тут. Глухой... Да он бы ослеп!

На очередной площадке они рухнули на пол. Из легких вырывались нестройные хрипы. Клиент, стоя в отдалении, опасливо заглядывал в глаза трудящимся. Ничего хорошего как для художественной интеллигенции вообще, так и в особенности для пианистов, в этих глазах видно не было.

Клиент, напротив, любил простой народ. Любил по глубокому нравственному убеждению, регулярно переходившему в первобытный ужас. В отчаянном расчете на взаимность он любил всех этих грузчиков, сантехников, шоферов, продавщиц... Гармония труда и искусства грезила ему всякий раз, когда рабочие и колхозники родной страны при случайных встречах с прекрасным не били его за бессмысленную беглость пальцев, а, искренне удивляясь, давали немного денег на жизнь.

— Можно я вам сыграю? — не зная, чем замолить свою вину, осторожно предложил пианист.

— Потерпеть не можешь? — спросил Карабукин.

— Не, пускай, почему! — согласился Толик. — Концерт, блядь, по заявкам! — рассмеялся он. — Давай луди!

Музыка взметнулась в пролет лестничной клетки. Навстречу, по прямой кишке мусоропровода, просвистело

вниз что-то большое и гремучее, где-то в недосыгаемом далеке достигло земли и, ударившись об нее, со звоном разлетелось на части.

С последним аккордом клиент погрузился в «Оффенбахер» по плечи — и затих.

— Наркоман, что ли? — с уважением спросил Толик. — Чего глаза закатил?

— Погоди, — осек его Карабукин, немного озадаченный услышанным. — Это что было?

— Шуберт, — ответил клиент.

— Тоже глухой? — поинтересовался Толик.

— Нет, что вы! — испугался клиент.

— Здоровско! — Толик так обрадовался за Шуберта, что даже встал. — А я смотрите что могу.

Он шагнул к «Оффенбахеру», одной рукой, как створку шкафа, отодвинул в сторону клиента, обтер руки о штаны, отсчитал нужную клавишу и старательно, безошибочно и громко, отстучал собачий вальс. Каждая нота вальса живо отражалась на лице хозяина инструмента, но прервать исполнение он не решился.

В последний раз влупив по клавишам, Толик жизнерадостно расхохотался, после чего на лестничной клетке настала относительная тишина. Только в нутре у «Оффенбахера», растревоженном сильными руками энтузиаста, что-то гудело.

— Толян, — сказал пораженный Карабукин, — что ж ты молчал?

— В армии научили, — скромно признался Толян.

— Школа жизни, — констатировал Карабукин и повернулся к клиенту. — Теперь ты.

...День клонился к закату. Толик лежал у стены, широко разбросав конечности по лестничной клетке неизвестно какого этажа.

За время их мучительного путешествия с «Оффенбахером» в подъезде прозвучала значительная часть мирового классического репертуара. Переноска инструмента сопровождалась вдохновенными докладами клиента о жизни и творчестве лучших композиторов прошлого. Сыграно было: семнадцать прелюдий и фуг, дюжина этюдов, уйма пьес и один хорошо темперированный клавир.

В районе одиннадцатого этажа Толик сделал попытку исполнить на бис собачий вальс, но был пристыжен товарищем и покраснел, что в последний раз до этого случилось с ним в трехлетнем возрасте, во время диатеза.

Полет валькирий сменился шествием гномов, а земли все не было. Лысый, крепкий, как у лося, череп Толика блестел в закатном свете. Чудовищное количество переходило в какое-то неясное качество: казалось, череп меняет форму прямо на глазах.

Напротив Толика, привалившись к косяку и с тревогой прислушиваясь к своей развороченной душе, сидел Карабукин.

— Это кто? — жадно спрашивал он.

— Рахманинов, — отвечал клиент.

— Сергей Васильевич? — уточнял Карабукин. Они стаскивали «Оффенбахер» еще на пару пролетов вниз и снова располагались для культурного досуга.

— А можно вас попросить, Николай Игнатьевич, — сказал Карабукин как-то под утро, — исполнить еще раз вот это... — Суровое лицо его разгладилось, и, просветлев, он намычал мелодию. — Вон там играли... — И показал узловатым пальцем вверх.

— «Грезы любви»? — догадался клиент.

— Они, — сказал Карабукин, блаженно улыбнулся — и заснул под музыку. Через минуту рядом раздался голос проснувшегося Толика.

— Ференц Лист! — сказал Толик. Сильно испугавшись сказанного, он озадаченно потер лысую голову. Потом лицо его разнесло кривой улыбкой. — Господи, твоя воля... — прошептал он.

Однажды Николай Игнатьевич съездил на лифте домой и привез оттуда к завтраку термос чая, сушки и бутерброды. Он был счастлив полноценным счастьем миссионера.

Грузчики не спали. Они разговаривали.

— Все-таки, Анатолий, — говорил Карабукин, — я не могу разделить ваших восторгов относительно Губайдуллиной. Увольте. Может быть, я излишне консервативен, но мелодизм, коллега! Как же без мелодизма!

— Алексей Иванович, — отвечал лысый Толик, прикладывая к шкафообразной груди огромные ладони, — мелодизм безнадежно устарел! Еще в одиннадцатом году Скрябин писал Танееву...

Тут они заметили подошедшего клиента и внимательно на него посмотрели, что-то вспоминая.

— Простите, что вмешиваюсь, — предложил клиент. — Но давайте попьем чайку — и двинемся.

— Куда? — спросил Карабукин.

— Как «куда»? — бодро ответил клиент. — Вниз!

— Не хочется вас огорчать, Николай Игнатьевич, — сказал Карабукин и, повернувшись, нежно погладил лаковый бок «Оффенбахера», — но вниз мы пойдем без него.

— Как без него? — снова переспросил клиент.

— Одни, — ответил Толик.

— Как одни?

— Ну, ну, — сказал Карабукин. — Будьте мужчиной.

— Видите ли, — мягко объяснился Толик, — я ведь не подъемный кран. И Алексей Иванович тоже. Согласитесь: унизительно тяжести на себе таскать, когда повсюду разлита гармония...

— Я вам заплачу... — позорно забормотал клиент, шаря по карманам.

— Эх, Николай Игнатьевич, Николай Игнатьевич, — укоризненно протянул Карабукин, — даже странно слышать от вас такое...

— Что деньги?.. — заметил лысый Толик. — Бессмертия не купишь.

Они по очереди пожали клиенту вялую руку, спросили у него адрес консерватории и ушли.

Клиент сел на ступеньку и минут пять неотрывно смотрел на «Оффенбахер». Он чувствовал себя миссионером, съеденным во имя Христа. Потом он мысленно попробовал «Оффенбахер» приподнять и мысленно умер. Потом воля к жизни победила, клиент вызвал лифт и отправился к магазину.

Через пять минут он вернулся с тремя мужиками, которым как раз переноски «Оффенбахера» не хватало, чтобы нахерачиться наконец вдребадан. Мужики впряглись в представленные грузчиками ремни и с криком понеслись вниз.

Еще через пять минут, сильно постаревшие, они пова-

лились на лестничную площадку и начали дышать кто чем мог.

— Слышь, хозяин, — придя в себя, заявил наконец один из вольнонаемных, — ну-ка, быстро сбацай чего-нибудь.

— Ага! — поддержал другой. — Пока лежим.

— Ты это... — сказал третий и почесал голову сквозь кепку. — «Лунную сонату» можешь?

Все трое уставились на работодателя, и он понял, что его звездный час настал.

— Хер вам всем на рыло! — торжественно произнес хозяин «Оффенбахера». — Тащите так!

1995





Когда Павлюк уже стоял на табуретке

с петель вокруг тощей кадыкастой шеи, ему явился ангел и сказал:

— Павлюк!

Павлюк оглянулся. В комнате было совершенно пусто, потому что ангел не холодильник, его сразу не видеть. Так, некоторое сияние у правого плеча.

— Павлюк! — повторило сияние. — Ты чего на табуретке стоишь?

— Я умереть хочу, — сказал Павлюк.

— Что вдруг? — поинтересовался ангел.

— Опостылело мне тут все, — сказал Павлюк.

— Ну уж и все, — не поверил ангел.

— Все, — немного подумав, подтвердил Павлюк и начал аккуратно затягивать петлю.

— А беленькой двести? — спросил ангел. — На природе?

Павлюк задумался, не отнимая рук от веревки.

— Если разве под картошечку... — сказал он наконец.

— Ну, — согласился ангел. — С укропчиком, в масле... Селедочка ломтиком, лучок колечком... — Павлюк сглотнул сквозь петлю.

— А пивка для рывка? — продолжал ангел. — На рыбалке, когда ни одной сволочи вокруг. Да с хорошей сигаретой...

Павлюк прерывисто вздохнул.

— А девочки? — не унимался ангел.

— Какие девочки?

— Ну, такие, понимаешь, с ногами...

— Ты-то откуда знаешь? — удивился Павлюк.

— Не отвлекайся, — попросил ангел. — А в субботу с утра — банька, а в среду вечером — «Спартак»...

— Чего «Спартак»? — не понял Павлюк.

— Лига чемпионов, — напомнил ангел.

— Неужто выиграют? — выдохнул Павлюк.

— В четверку войдут, — соврал ангел.

— Надо же, — сказал Павлюк и улыбнулся. Петля болталась рядом, играя мыльной радугой.

— Ты с табуретки-то слезь, — предложил ангел. — А то как памятник прямо...

Павлюк послушно присел под петлей, нашарил в кармане сигарету. Ангел дал прикурить от крыла.

— И что теперь, на работу? — робко спросил Павлюк.

— На нее, — подтвердил ангел.

— А потом что? Опять домой?

— Есть варианты, — уклончиво ответил ангел.

Павлюк еще помолчал.

— Ну хорошо, — сказал он наконец. — Но смысл?

— Какой смысл?

— Хоть какой-нибудь, — попросил Павлюк.

— Зачем? — поразился ангел.

Павлюк помрачнел.

— Потому что без смысла жить нельзя!

— Вешайся, — сказал ангел. — Смысла ему!

Вешайся и не морочь людям голову!



Жизнеописание города Почесалова от царя Алексея Михайловича до наших дней

Геннадию Хазанову

В городе Почесалове

достопримечательностей было три: церковь Пресвятой Богородицы Девы Марии, камвольно-прядильный комбинат имени Рамона Меркадера и лужа на центральной площади.

История первых двух достопримечательностей более или менее ясна. Церковь, построенная при Алексее Михайловиче, была перестроена при Анне Иоанновне, разграблена при Владимире Ильиче и взорвана при Иосифе Виссарионовиче. После этого, ввиду временной (со времен татаро-монгольского ига) нетрудоспособности почесаловского населения, развалины церкви так и пролежали до Никиты Сергеевича, при котором их приспособили под овощехранилище.

Камвольно-прядильный комбинат имени Рамона Меркадера построен был после войны и с тех пор бесперебойно выпускал ледорубы на экспорт, соревнуясь за переходящее знамя с кондитерской фабрикой имени Чойбалсана, выпускавшей что-то до такой степени сладкое, что людей, работавших там, наружу вообще не выпускали.

Что же до третьей достопримечательности — большой, в полтора гектара, лужи посреди города, — то разобраться в истории этого вопроса гораздо сложнее: никаких документов относительно времени и обстоятельств ее появления в почесаловских архивах не сохранилось. Да и в областном центре, в городе Глупове, тоже их не нашлось.

Надо заметить, что демократы, в новейшие времена пришедшие к почесаловскому кормилу, неоднократно и с самым загадочным видом кивали на опечатанные комнаты в местном отделении КГБ — но уж давно побиты стекла в КГБ, уже, посрывав печати, энтузиасты гласности повы-

таскивали из ихних сейфов все до последнего стакана, а света на тайну почесаловской лужи не пролилось и оттуда.

Вроде как всегда она была; вроде как имманентно при-
суща этой именно местности. По крайней мере, почетный
старожил города Самсон Цырлов, про год рождения кото-
рого спорят местные краеведы (сам Самсон Игнатьич от-
морозил мозги в Альпах в итальянскую кампанию 1799 го-
да), — так вот, этот самый дедушка утверждает, что ишо в
мирное время, до итальянской то есть кампании, лужа бы-
ла. Еще указ вроде читали царицы Екатерины Алексеевны:
осушить ту лужу, не позорить ее перед Волтером — и даже
прислали из столицы на сей предмет капитан-исправника,
и песка свезли на подводах со всей России, но тут пронесся
по Почесалову слух, что в Петербург, проездом от ливон-
цев к китайцам, нагрязнул маг, превращающий различные
субстанции в золото и съестное, — и песка не стало.

Причем вроде даже не воровал никто, а было так: вы-
шел утром капитан-исправник на площадь — стоят подво-
ды, нагнул сапог подтянуть, голову поднял — ни подвод,
ни песка; опять голову нагнул — сапог нету.

Впечатление было столь сильным, что капитан-ис-
правник, до того не бравший в рот, немедленно напился в
лежку, а потом, опохмелившись, пошел все это искать. Но
мужики, глядя честными глазами, разводили честными
руками — и умер капитан-исправник здесь же, в Почеса-
лове, в опале и белой горячке, под плеск разливающейся
лужи, в царствование уже Павла Петровича.

При этом Павле Петровиче жизнь почесаловцев быст-
ро упорядочилась: первым делом прислал он с фельдъеге-
рем приказ устроить на центральной площади плац и от
заутрени до обеда ходить по оному на прусский манер,
под флейту.

Эта весть повергла почесаловцев в уныние, и ближе к
полудню они начали стекаться к площади. На месте буду-
щего плаца, широко разлившись, плескалась лужа.

— М-да... — сказал один почесаловец, почесав в затыл-
ке. — Да еще под флейту..

— А при Катьке-то поменьше была, — заметил насчет
лужи другой.

Постояли они, поплевали в лужу да и разошлись по
домам. Европейскому уму этого не понять, но была у них

такая чисто почесаловская мысль, что начальственное распоряжение, по местному обычаю, рассосется само собой. Однако же само собой не рассосалось, и через неделю весенний ветерок пронес по городу слово «гауптвахта». Что означало сие, толком никто сказать не мог, но звучало слово так многообещающе, что население, взяв ведра, пошло на всякий случай лужу вычерпывать.

Встав в цепочку, почесаловцы принялись за работу, в чем сильно преуспели — по подсчетам местного дьяка, ведер ими было перетаскано до восьми сотен с лишком, — однако лужи все не убывало. Ближе к вечеру почесаловцы сели перекурить, а один шебутной некурящий интересу ради пошел вдоль цепочки, по которой передавали ведра, и обнаружил, что кончается она аккурат у другого конца лужи. Когда он сообщил об этом курящим, его начали бить, а прибыв, разошлись по-тихому, с богом, по домам.

В столицу же было послано с курьером донесение о наводнении, затопившем свежестроенный плац вместе с ходившими по оному на прусский манер селянами.

Однако прочесть этого Павлу Петровичу не довелось, потому что по дороге в Санкт-Петербург курьер заблудился и нашел столицу не сразу, а спустя только три года, ранней весной 1801-го.

Первое, что он увидел, войдя в Михайловский замок, была красная рожа гусара Зубова. Взяв курьера за грудки, гусар приподнял его над паркетом и, рассмотрев, спросил:

— Че надо?

— Донесение к императору, — просипел курьер.

— Пиздец твоему императору, — доверительно сообщил ему гусар Зубов, и курьер с чувством исполненного долга побрел обратно в Почесалов.

При новом государе вопрос о луже временно потерял актуальность: государь воевал, и ему было ни до чего. А самим почесаловцам она ну не то чтобы совсем не мешала, а так... привыкли. К тому же рельеф дна оказался совсем простой; даже малые дети знали: здесь по щиколотку, тут по колено, там вообще дна нет. Ну и гуляли себе на здоровье. А вот французы недоглядели: идучи через Почесалов на Москву, потеряли эскадрон кирасир, до того без потерь прошедших Аустерлиц и Ватерлоо. Только булькнуло сзади.

Позже, когда здешние сперанские затеяли осушить наконец лужу и соорудить на ее месте нечто по примеру Елисейских Полей, местные патриоты вышли к луже с хоругвями и песнопением — и отстояли святое для всех россиян место. При этом часто поминался Иван Сусанин с его топографическими фокусами.

В общем, ни черта у сперанских не вышло: Елисейские Поля так и остались в Париже, а лужа — в Почесалове. Ну, а уж потом пошло-поехало. Сперанские подались в декабристы, проснулся Герцен — и почесаловцы, поочередно молясь, читая по слогам «Капитал» и взрывая должностных лиц бомбами-самodelками, даже думать забыли о луже. Только регулярно плевали в нее, проходя то в церковь, то на маевку.

Лишь изредка какой-нибудь нетрезвый почесаловец, зайдя по грудь там, где безнаказанно бегал ребенком, начинал кричать в ночи леденящим душу голосом. Эти звуки отрывали его земляков от «Капитала» и борща с гусятиной; они внимательно прислушивались к затихающему в ненастной тьме крику и затем философски замечали:

— Вона как.

И кто-нибудь обязательно добавлял насчет лужи:

— А при Николай Палыче — меньше была...

Наконец, изведя администрацию терактами, почесаловцы дожили до того светлого дня, когда на край лужи с жутким тарыхтением въехала бронемашина и какой-то человечек в кожанке, совершенно никому здесь не известный, взобравшись на броню и пальнув из маузера в Большую Медведицу, объявил о начале с сей же минуты новой жизни, а с 23 часов — комендантского часа. В связи с чем предложил всем трудоспособным в возрасте от 15 до 75 лет явиться завтра в шесть утра для засыпки позорной лужи и построения на ее месте мемориала Сен-Жюсту.

— А это что за хрен такой? — поинтересовался из толпы один недоверчивый почесаловец — и был человечком немедленно пристрелен из маузера. Тут почесаловцы поняли сразу две вещи: первое — что Сен-Жюст никакой не хрен, а второе — что с человечком шутки плохи. Поэтому той же ночью его потихоньку связали и утопили в луже вместе с маузером и броневиком.

Тут началось такое, чего почесаловцы не видали отродясь. Белые и красные принялись по очереди отбивать друг у дружки город и, войдя в него, методично уничтожать население, по мере силы-возможности топившее и тех и других. Причем процедура утопления становилась для топимых все более мучительной, потому что каждый раз перед вынужденным уходом из города и белые, и красные назло врагу поэскадронно, совместно с лошадьми, в лужу мочились.

Вышло так, что последними из города ушли белые, поэтому историческая ответственность за запах осталась на них, о чем до последнего времени знал в Почесалове каждый пионер. Уже в 89-м побывал здесь напоследок один член политбюро. Два дня морщился, а потом не выдержал, спросил: да что же это у вас, товарищи, за запах такой? А ему в ответ хором: да белые в девятнадцатом нассали, Кузьма Егорыч! А-а, сказал, ну это другое дело...

Но это все потом было, а тогда понаехало товарищей во френчах, и поставили они возле лужи памятник первому утопленнику за дело рабочих и крестьян, и порешили в его честь строить в Почесалове канал — от лужи прямоком к Северному Ледовитому океану.

Почесаловцы хотели было спросить: зачем им канал до Северного Ледовитого океана? — но вовремя вспомнили про Сен-Жюста и ничего спрашивать не стали. А утопить всех товарищей во френчах не представилось возможным, потому что первым делом те провели по земле черту, объявили ее генеральной линией и сообщили почесаловцам, что шаг вправо, шаг влево — считается побег.

Канал почесаловцы строили тридцать лет и три года. А когда почти уж прорыли его, то оказалось: проектировал все это скрытый уклонист, и направление, скотина, дал неверное, и все это время копали не на север, а на восток, к совсем другому океану.

— А вы о чем думали? — сурово спросило у почесаловцев начальство.

— А вот мы и думали: чего это солнце на севере встает? — ответили почесаловцы.

Так что бросили канал копать, начали закапывать — причем для пушей государственности закопали туда и самих строителей. Закопав же, послали телеграмму товари-

щу Сталину и сели на берегу лужи ждать ордена. Но вместо ордена пришло им из Москвы сообщение, что они вместе со всем советским народом наконец-то осиротели и можно немного расслабиться.

Вскоре приехал в Почесалов из района новый руководитель и сказал: теперь, когда мы этого усатого бандита похоронили, буквально никто не мешает нам эту поганую лужу закопать. А то, сказал, ее уже из космоса видно. Давайте, говорит, навалимся на эту гадость всем миром! Услышав знакомые нотки, почесаловцы тревожно на говорящего посмотрели, но ни маузера, ни кожанки не увидели: шляпа да пиджак на косоворотку. Незнакомых слов человек не произносил и вообще собою был прост, будто и не начальник он им, а так... дядя по кузькиной матери. Детишек на трибуну взял: видите, сказал, этих мальцов? Если не потонут они в вашей вонючей луже, то будут жить при коммунизме.

— Не может быть! — не поверили почесаловцы.

— Сукой буду! — ответил начальник. В «Чайку» сел, шофер на газ нажал — волной квартал смыло.

А почесаловцы так обрадовались нарисованной перспективе, что тут же пошли писать транспарант «Здравствуй, коммунизм!» — чем и пробавлялись до осени, а осенью лужу заштормило, и аккурат к ноябрьским пришла из Москвы телеграмма: доложить об осушении ко Дню Конституции.

Встревоженные такой злопамятностью, почесаловцы навели справки, и по справкам оказалось: новый руководитель хоть с виду прост, но в гневе страшен и уже не одну трибуну башмаком расколошматил. Струхнули тогда почесаловцы да и обсадили лужу по периметру, от греха подалее, кукурузой, чтоб, с какой стороны ни зайди, — все царица полей! А чтобы из космоса ее тоже было не видеть, послали трех совхозных умельцев на Байконур. Те вынули из ракеты какую-то штуковину — из космоса вообще ни хрена видно не стало!

А умельцы, вернувшись, месяцев еще пять пропивали какой-то рычажок. Иногда, особенно крепко взяв на грудь, они выходили покурить к луже и, поплеывая в нее, мрачно примечали:

— При Сталине-то поменьше была...

Потом уже обнаружилось: этот новый руководитель — фантазер был, перегибщик и волонтарист, из-за него как раз ничего и не получалось! А уж как коллективное руководство началось — тут и дураку стало ясно, что луже конец. Да и куда ж ей стало деться, если целый насос в Почесалов привезли, у немцев-реваншистов на нефтепровод и трех диссидентов выменянный! Валютная штучка! Привезли тот насос на берег лужи, оркестр туш сыграл, начальник красную ленточку перерезал, пионеры горшочек с кактусом ему подарили, начальник шляпу снял, брови расправил, рукой махнул: давай, мол! — да и высморкался. А высморкался, смотрит: насоса нет.

И все, кто там стоял, то же самое видят. Нет насоса!

Оркестр есть, транспарант есть, пионеров вообще девать некуда, а валютная штучка — как во сне привиделась...

Ну, разумеется, искали ее потом по всей области с собаками, посадили под это дело двух баптистов, трех юристов и четырех сионистов; прокурор орден Ленина получил. А лужа так и пролежала, воняя, посреди города до самой перестройки.

И настолько она к тому времени почесаловцам надоела — просто невозможно сказать! Поэтому нет ничего удивительного, что с первыми лучами гласности почесаловское общество пробудилось, встрепенулось — и понесло местное начальство по таким кочкам, что отбило всякую охоту к сидению. Начальство стало ездить встречаться с народом и искать возле лужи консенсусы. А народ как почувствовал, что наверху слабицу дали, так словно с цепи сорвался — вынь ему да положи к завтраму, чего со времен Ивана Калиты недодано!

Сначала, на пробу, в газетах, а потом раздухарились, начали в лужу начальство окунать и по местному телевидению это показывать. А уж райком почесаловский, собственными языками вылизанный, измазали всем, что только под руку попало, — а надо сказать, что под руку в Почесалове отродясь ничего приличного не попадало, город с незапамятных времен по колено в дерьме лежал.

Памятник первому утопленнику за дело рабочих и крестьян снесли, а на цоколь начали забираться все кому не лень и речи говорить. А на третий день один такое ска-

зал, столько счастья всем посулил, что его сразу выбрали городским головой. У некоторой части почесаловцев само название должности вызвало обиду: выходило, что они тоже какая-нибудь часть тела... Но их уговорили.

А уж как выбрали голову, тут сразу свободы произошло — ешь не хочу! Народ в Почесалове отродясь толком не работал, а тут на службу приходиться перестали — по целым дням вокруг лужи ходят с плакатом рукодельным «Хочим жить лучше!» да коммунистов, если под руку попадутся, топят. А рядом кришнаиты танцуют, кооператоры желающих на водных лыжах по луже катают, книжки по тайваньскому сексу продают. Да что секс! Социал-демократическое движение в Почесалове образовалось, господами друг дружку называть начали. «Господа, — говорят, бывало, после хорошенького брифинга, — кто обблевал сортир? Нельзя же так, господа! Есть же лужа...»

И кстати, насчет лужи сказано было новым руководством недвусмысленно: луже в обновленном Почесалове места нет! И открыли наконец общественности глаза: оказывается, это совсем не белые во всем виноваты, а красные! Это они в девятнадцатом в лужу нассали!

А скоро наконец создано было совместное предприятие по осушению, почесаловско-нидерландское, «Авгий лимитед», и уже через два месяца результаты дало! Генеральный директор с почесаловской стороны по телику выступил — СП, сказал, заработало свои первые десять миллионов и приступает к реализации проекта. «Сколько?» — не поверил ушам ведущий. «Десять миллионов», — скромно повторил генеральный директор и при выходе из студии был схвачен в сумерках полномочными представителями почесаловского народа — и сей же час утоплен.

В общем, он еще легко отделался, потому что остальных всех посадили, а которых не успели посадить, те из Почесалова уехали и до конца жизни мучились без родины, которую без мата вспоминать не могли.

А почесаловцы, утопив мерзавца, заработавшего десять миллионов, обмыли это дело и зажили в свое удовольствие в полном равенстве. А поскольку работать было им запаadlo, а сидеть совсем без дела тоскливо, то вскоре увлеклись они борьбой исполнительной и законодательной властей, благо телевизоры в Почесалове еще работали.

Два года напролет по ночам в ящик смотрели, но второй год уже в противогазах, потому что запах от лужи сделался совсем невыносимым...

А потом в магазинах кончилась еда.

Этому почесаловцы удивились так сильно, что перестали ходить на митинги и смотреть в ящик — а к зиме впали в спячку.

Пока они спали, им пришла из других городов продовольственная помощь, и ее съели при разгрузке вагоны железнодорожной станции.

Почесаловцы спали.

Это может показаться странным — ведь не медведи же, прости господи! Но это, во-первых, еще как посмотреть, а во-вторых — за столько веков борьбы со стихийным бедствием этим, с лужей, столько было истрачено сил, столько похерено народной смекалки, которой славны меж других народов почесаловцы, что даже удивительно, как же это они раньше не заснули!

Чернели окна, белел под луной снег.

Иногда только от воя окрестных волков просыпался какой-нибудь особо чуткий гражданин, выходил на берег зловонной незамерзающей лужи, подступившей уже к самым домам, и, мочась в нее, бормотал, поеживаясь:

— А при коммунистах-то поменьше была...

1991



И коротко о погоде

В понедельник в Осло,

Стокгольме и Копенгагене — 17 градусов тепла, в Брюсселе и Лондоне — 18, в Париже и Праге — 19, в Женеве — 21, в Мадриде — 22, в Риме — 23, в Стамбуле — 25, в деревне Гадюкино — дожди.

Во вторник во всей Европе сохранится солнечная погода, на Средиземноморье — виндсерфинг, в Швейцарских Альпах — фристайл, в деревне Гадюкино — дожди.

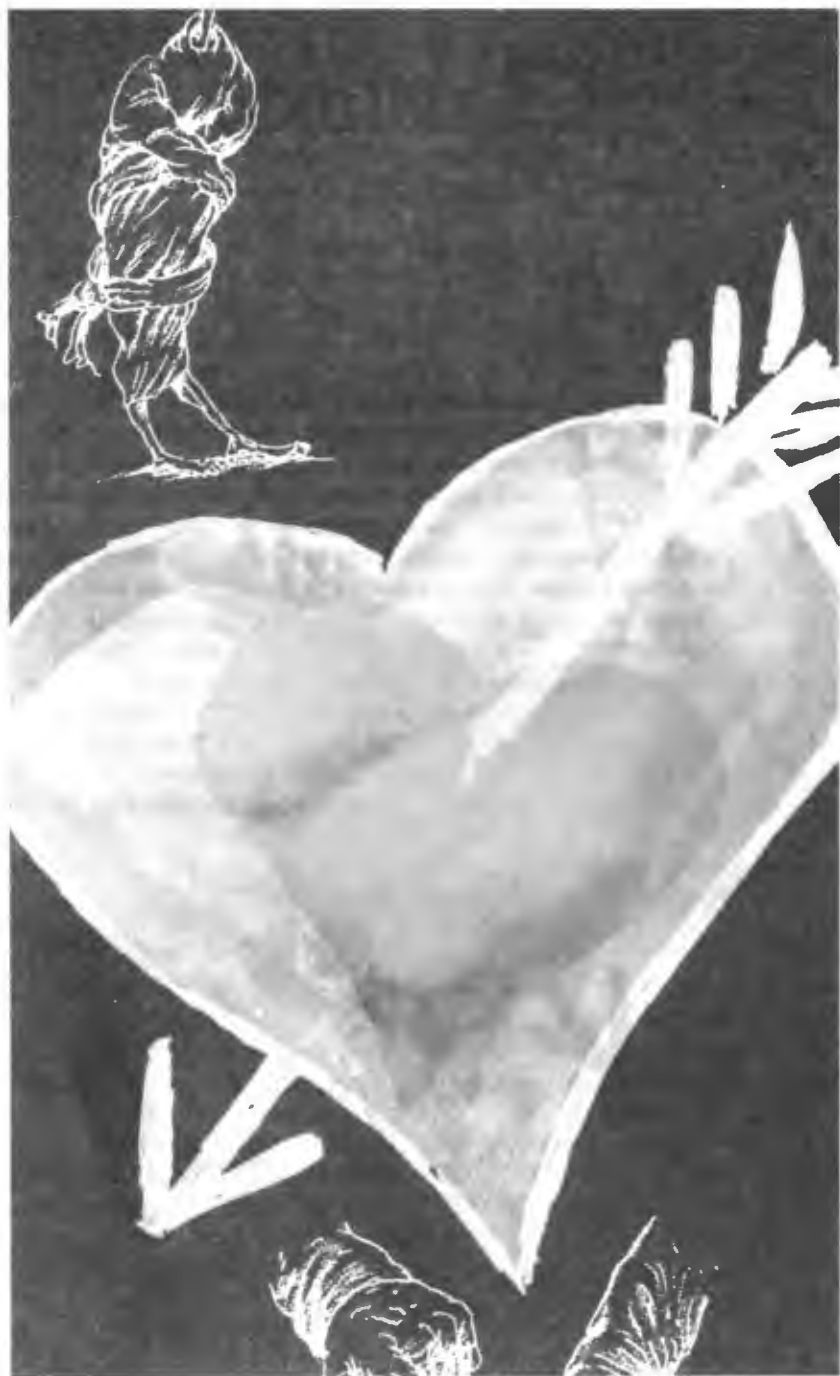
В среду еще лучше будет в Каннах и Люксембурге, совсем хорошо — в Ницце, деревню Гадюкино смочит.

Московское время — 22 часа 5 минут. На «Маяке» — легкая музыка.



СТИШКИ





Сатирик

В выходные я не выхожу,
А сижу на кухне и пишу.
Мне, друзья, давно не до Парнасу.
Но зато к обеду есть рассказ,
Есть частушка для народных масс.
Кто из вас, коллеги, крайний в кассу?

Зритель будет топтать сапогом,
Хрюкать, ржать и писать кипятком —
Чем глупей реприза, тем успешней.
А простое слово «унитаз»
Вызовет у публики экстаз —
Хоть на бис исполни. Ад крошечный.

Если отказаться от реприз,
Где взять денег на крупу, на рис?
До меня нарезан этот студень.
Заоконный впитывая шум,
В выходные я не выхожу,
А о буднях вообще не будем.

О некоторых странностях судьбы

Отработано веками.
Ничему не удивляйтесь...
Одного гноили в яме,
Оказалось, что — Сервантес!

Ох, по городам и весям
Погуляла плеть закона!
Ежели кого повесят,
Обязательно — Вийона.

То ли плакать, то ль смеяться
На породу человечью...
Посадили тунейдца —
Вышел с Нобелевской речью!

* * *

«Я был в Мексике...»

Из Бродского

В стране, где древние ацтеки
На безнадежном солнцепеке
Друг друга резали, чтоб боги
Им обеспечили рассвет,

Есть море имени Кортеса,
Который, очищая кассу
Земли, сюда приплыл без визы
И свел их численность на нет.

Потомки, называя море
В честь этой, скажем прямо, твари,
В виду, мне кажется, имели
Простые нравы здешних мест —

У нас, ацтеков, крика «браво»
Достойны жившие кроваво,
И чем масштабнее расправа,
Тем симпатичнее Кортес...

Хуту и тутси

Нацвопрос решают худо
В Руанде с Бурунди.
Тутси убивают хуту
В населенном пункте.

Рядом — Господи Иисусе! —
Тоже скуки мало:
Хуту убивают тутси,
Мочат чем попало.

Солнце парит. Бог скучает,
Тутси режут хуту...
Как они там различают,
Кто из них откуда?

* * *

Я живу в измученной стране.
Я стою за молоком и хлебом.
В очереди, столбиком нелепым,
Я торчу со всеми наравне.

И меня держа за своего,
Очередь хранит свою ментальность,
И не замечает ничего,
И прощает за национальность.

Но едва священный Аполлон
Слуха чуть подмерзшего коснется —
Очередь немедля встрепенется
И покатит на меня баллон.

К горным высям музами влеком,
Огребу от каждого мудилы
И за то, что скисло молоко,
И за то, что хлеба не хватило.

Гомерическое

Можешь ли, друг мой, представить такую картину:
Моется в ванной семейства отец многомудрый.
В утренний час он мурлычет, свой слух услаждая,
Бьется отвесно струя в зеленоватую воду —

Моется муж. Между тем, одолевши Морфея,
Вежды давно уж подъяли его домочадцы:
Кот Феодосий, сын Петр, Анна Степанна, супруга;
Двое последних танцуют у запертой двери.

После обильных вчера чаепитий вечерних
За ночь наполнились их пузыри мочевые...
Голову пенит супруг, Гектору статью подобный,
Бьется о воду струя, счастливец поет из «Аиды».

Скачет по комнате сын его, юноша стройный,
Странной лица белизной унитазу подобный.
Втуне мужа зовет долговыйная Анна,
Бегаёт зря по квартире, держась за промежность.

Птицы давно облегчились на шляпы прохожим.
Мяу, обрызгав обои, изводит сметану.
Ноги распарив свои, кран затворивши холодный,
Мудрый семейства отец в ванне, икая, сидит.

Руки воздев, Персефоною мечется Анна,
Сын неутерпный колотит о дверь кулаками:
Пенно-могучий глава, пальцы восставив к ушам,
Два слуховых своих чистит, мыча, лабиринта...

Боги, как плохо иметь совмещенный санузел!

Московский пейзаж

Вот — очередь у посольства
В честь ихнего хлебосольства.

Рядом — менты,
Одеты в унты.

Справа — некто
Ведет объекта.

Слева — Гиви
Торгует киви.

Тут же: старушка, иконка да кружка,
Статная дама с портретом Саддама,
Мигалка над «ВАЗом»,
Детина под газом
И — в центре пейзажа —
Я сам. Вэлком Раша!

* * *

Какое счастье: сперли кошелек!
Как нынче я отделался легко-то.
А ведь могли раздеть до босых ног,
Глаз выдавить, пырнуть заточкой в бок —
Да мало ли чего, была б охота!
Могли для смеху челюсть своротить,
В психушку спрятать для эксперимента,
В чулан, как Буратину, посадить
За оскорбление чести Президента.
Могли послать сражаться в Сомали,
Копаться на урановую залежь...
Да мало ли чего еще могли —
У нас на что надеяться, не знаешь.
На службе ли придавит потолок,
В больнице ли пришьют к затылку ногу...
А тут какой-то сраный кошелек —
Да пропади он пропадом, ей-богу!

* * *

Ты мне нравишься, девчонка из соседней средней школы,
Пробегающая мимо с легкой сумкой на плече —
Нравится твоя походка, и каштановая челка,
И осанка, и улыбка, и фигурка, и вообще!

Но иду я нынче с рынка, у меня в руке авоська,
И в другой руке авоська, и еще одна в зубах.
У меня была получка, у меня жена и дочка,
Сто халтур, аспирантура, гоголь-моголь, Фейербах!

Оттого-то мимо, мимо ты летишь в весеннем свете,
И в ребро меня, похоже, зря пихает сатана:
Я махнул бы вслед рукою — да в руках авоськи эти,
Я бы крикнул: «Стой, девчонка» — да в зубах еще одна!

Баллада об авокадо

Когда услышал слово «авокадо»
впервые, в детстве... нет, когда прочел
его — наверно, у Хемингуэя
(или Ремарка? или у Майн Рида? —
уже не помню), — в общем, с тех вот пор
я представлял тропическую синь,
и пальмы над ленивым океаном,
и девушку в шезлонге, и себя
у загорелых ног, печально и
неторопливо пьющего кальвадос
(а может, кальвадос). Я представлял
у кромки гор немыслимый рассвет
и черно-белого официанта,
несущего сочащийся продукт
экватора — нарезанный на дольки,
нежнейший, бесподобный авокадо!

С тех пор прошло полжизни. Хэм забыт,
кальвадос оказался просто водкой —
на яблоках, обычный самогон.
Про девушек я вообще молчу.
Но авокадо... — боже! — авокадо
не потерял таинственнейшей власти
над бедною обманутой душой.
И в самом деле: в наш циничный век,
когда разъеден скепсисом рассудок,
когда мамоной души смущены,
потерян смысл и врут ориентиры —
должно же быть хоть что-то, наконец,
не тронутое варварской уценкой?!

И вот вчера я увидел его —
в Смоленском гастрономе. Он лежал,
нетронутый, по десять тысяч штука.
Но что же деньги? Деньги — только тлен,
и я купил заветный авокадо,
нежнейший фрукт — и с места не сходя,
обтер его и съел...

Какая гадость!



С родителями. 1994



Дед, Ефсей Самуилович Дозорцев,
погиб 7 октября 1941 года.



С дедушкой Семеном Марковичем
и бабушками – Ревеккой Абрамовной
и Лидией Абрамовной



С братом Сережей



1985 г. Первый раз в первый класс



Забайкальский военный округ. Май 1981 года.



С мамой Инессой Евсеевной



С отцом Анатолием Семеновичем



Мила, Витя, Валентина



С дочкой Валентиной, 1988



Театр-студия
Дворца Пилишров
на Ленинских
горах.
Педагог
Шендерович
со своими
студийцами
1987



Десятилетие Студии Олега Табакова, 1984,
Лицом на ливанино — П. Шендерович

Япона жизнь

Хокку

Снова рассвет.
Ветка стучит в стекло.
Отпилю.

Вставать не буду.
Пусть себе там, на работе,
Думают: где он?

Лежу и плачу.
Что же мне снилось такое?
Наверное, шпроты.

Надо идти.
Если придумать куда,
Можно вставать.

Старик под окном
В мусорном роется баке.
Все же напьюсь.

Возьму красный флаг
И выйду со старым портретом.
Вдруг да поможет?

Щелкнул пультом.
Спикер приехал в Думу.
Будет ли кворум?

Вышел за хлебом.
Купив, покрошу его птицам?
Вряд ли. Съем лично.

Повстречал Горбачева...
Зря мы не слушали старца.
Плачу, в плечо уткнувшись.

Кимоно прохудилось.
Жду зарплаты за май и июнь.
Бамбук и вишня в снегу.

Птица на крыше.
В клюве большая корка.
Летать разучилась.

Саке не осталось.
Сосед отдыхает в прихожей.
Голова в обувнице.

Не спится. Волнуюсь:
Потанин или Березовский
Получит «Роснефть»?

* * *

Любой пройдоха корчит тут пророка,
Что ни мерзавец, то посланец бога,
И если вправду есть господне око,
Оно давно закрылось от стыда.

Засим же никому из них не страшно.
По кумполу бы дать вошедшим в раж, но
Скорей они тобой удобрят пашню
Под всенародно-радостное «да!».

P.S.

«Люблю отчизну я, но странною...» —
Глаза б мои уже не видели
Ее вокзалов лавки банные,
Аэропортов накопители,

Свои пути через Вселенную
Ее развинченные поиски,
Духовность эту офигенную
С Христом на знамени обкомовском...

Хот-доги заедая пиццами,
Любя Каддафи при okazji,
Она березовыми ситцами
Заколебала всю Евразию —

И заколдово-зачарована
Сама собой, лежит, громадина,
Где тянут всё, что не своровано,
И тырят всё, что не украдено.

Дороги вектор тут утратили,
Пейзане жизнь ведут унылую,
За слово «гринпис» шлют по матери,
И в глаз дают за душу милую.

Здесь пуст лоток, но полон противень,
Идет распятие — столетия,
А джаз — всегда измена Родине.
Здесь бьют
На первое и третье.

Зато здесь Гоголь опечаленный
Пересидит себя, отвесного,
И вдруг весна придет нечаянно,
Холстину разодрав небесную,

И на меня при этом давеча
Такие вдруг глазищи рухнули,
Что все, едри их мать, товарищи
Забылись вместе с их хоругвями!

* * *

Взошло светило над домами.
Неизъяснимая словами,
Жизнь обрела черты.
Гармонию расслышал в мире
Поэт — и забряцал на лире
Во имя красоты.

Пока поэт бряцал на лире,
Вода закончилась в сортире,
Повсюду свет погас.
На кухню вышли тараканы,
Пришли в движенье истуканы
И двинулись на нас.

Небесные разверзлись хляби,
И в пирамиде Хамурапи
Очнулись ото сна,
И в полдень начало смеркаться,
И стало трижды три — пятнадцать,
И день был без числа.

Пока поэт бряцал на лире,
Псы новобранцев хоронили,
Чума пускалась в пляс,
Плутонием сочилось миро...

Но было б, отложи он лиру,
Все хуже в тыщу раз!

Ямбы

Я никогда не вырасту большим. Я притворяюсь. Мне лет пять, не больше. Мне, в сущности, плевать, какой режим у взрослых, кто у власти — Ленин в Польше, поляки в Костроме ли... Видит бог: мне формочки важнее и совок.

Не то чтоб гордость — я б сходил в народ, да страшно-вато: вроде, честь по чести, молчишь как рыба — запекают в тесте, а птицею взлетишь — стреляют влет. И сам не понимая, кто таков, под водочку идешь у едоков.

А что ж прогресс? Да вот: сейчас жрецы объявят лупо-глазому народу, где завтра корм найдут себе Тельцы и в час который Рыбам дуть на воду... Что день грядущий приготовит нам, то и съедим, коли не нас ам-ам.

...Родной пейзаж, родимый моветон — в болотах стрелы, кошки при сметане, и каждый (не обмолвиться б!) *дантон* выводит толпы и полощет знамя... Меня увольте, сидя на печи да едучи, есть эти калачи!

Я не ездук в еmeliном авто и не искатель ванькиных лягушек — я знаю невысокий свой, зато насиженный шесток вдали царь-пушек. Не ем стекла, не исцеляю вдов, но отвечаю за порядок слов.

Уже не рок событий нас влечет, а воспиталка в лоно общепита, и дождик потемневшую сечет песочницу родного алфавита. И я не буду эту или ту жрать землю — у меня песок во рту!

* * *

Когда Москва, сдыхая от жары, из кожи улиц выползла на дачи, я уезжал от друга, наудачу из этой выходявшего игры. Бог знает, где он полагал осесть, взлетев из «Шереметьева-второго»...

Я шел под дальним, колотушкой в жесть окраин бившим, долгожданным громом на Ярославский этот вавилон, в кошмар летящих графиков сезонных, в консервы хвостовых и дрожь моторных, в стоячий этот часовой полон — и думал об уехавшем. Он был мне ближе многих в этом винограде и переменой собственной судьбы застал врасплох. Однако мысли эти недолго волновали вялый мозг: какой-то пролетарий, пьяный в лоск, и женщина, похожая на крысу, народу подарили антрепризу. В дверях ли он лягнул ее ногой, или дебют разыгран был другой — не ведаю, застал конфликт в разгаре, — и пролетарий уж давал совет закрыть хлебало и вкушал в ответ и ЛТП, и лимиту, и харю. Покуда он, дыша немного вбок, жалел, ожесточая диалог, что чья-то мать не сделала аборта, на нас уже накатывал пейзаж — пути, цистерны, кран, забор, гараж, — пейзаж, довольно близкий к натюрморту...

(О господи, какая маета по этой ветке вызубренной виться, минуя города не города, а пункты населенные. Убиться охота мне приходит всякий раз, когда Мытищи проползают мимо, — желание, которое не раз, в час пиковый, в напор народных масс, казалось мне вполне осуществимым.)

Но я отвлекся. Склока между тем уже неслась под полными парами на угольях благословенных тем, звенящих в каждом ухе комарами. Уж кто-то, нависая над плечом, кричал, что лимита тут ни при чем — во всем виновны кооперативы; другой к ответу требовал жидов, а некто в шляпе был на все готов: «Стрелять!» — кричал и хорошел на диво. Уже мадам в панамке, словно танк, неслась в

атаку, и прыщавый панк, рыча, гремел железками навстречу, и звал истошно лысый старовер «отца народов» для принятия мер, чтобы «отец» единство обеспечил.

А поезд наш уж нанизал на ось и Лосиноостровскую, и Лось, и где-то возле станции Перловской две нити распорили небеса, и магниевый отсвет заплясал на лицах, будто вынутых из Босха.

Когда грозой настигнут был вагон, уж было в пору звать войска ООН, но дело отложила непогода: все бросились задраивать ковчег, и пьяный пролетарий-печенег пал навзничь по закону бутерброда. В Подлипках вышли панк и враг жидов — и тот, который был на все готов, «Вечерку» вынув, впился в некрологи. Панамка стала кушать абрикос, а лысый через Болшево понес свои сто песен об усатом боге. Он шел под ливнем, божий человек, наискосок пересекая площадь, вдоль рыночных рядов и магазина «Хлеб» — по нашей с ним, о господи, по общей — Родине...

А что, мой друг, идут ли там дожди, поют ли птицы и растет трава ли? Прожив полжизни, я теперь почти не верю в это — и уже едва ли поверю в жизнь на том конце земли. Нам, здешним, и без Мебиуса ясно: за Брестом перевернуто пространство и вклеено изнанкой в Сахалин. Но ты, с кем пил вчера на посошок, решился и насквозь его прошел, оставшимся оставив их вопросы, их злую тяжбу с собственной судьбой, гнев праведный, и праведные слезы, и этот диалог многоголосый, переходящий плавно в мордобой.

А мне в придачу — душу, на лотке лежащую меж йогуртом и киви, и бедный мозг с иголкой в виске, свернувшийся улиткой на листке — на краешке неведомой стихии...

Хромой стих

Посмотри, как прекрасен мир!
Паутину плетет паук,
Он в нее поналовит мух,
И не будут вокруг жужжать.

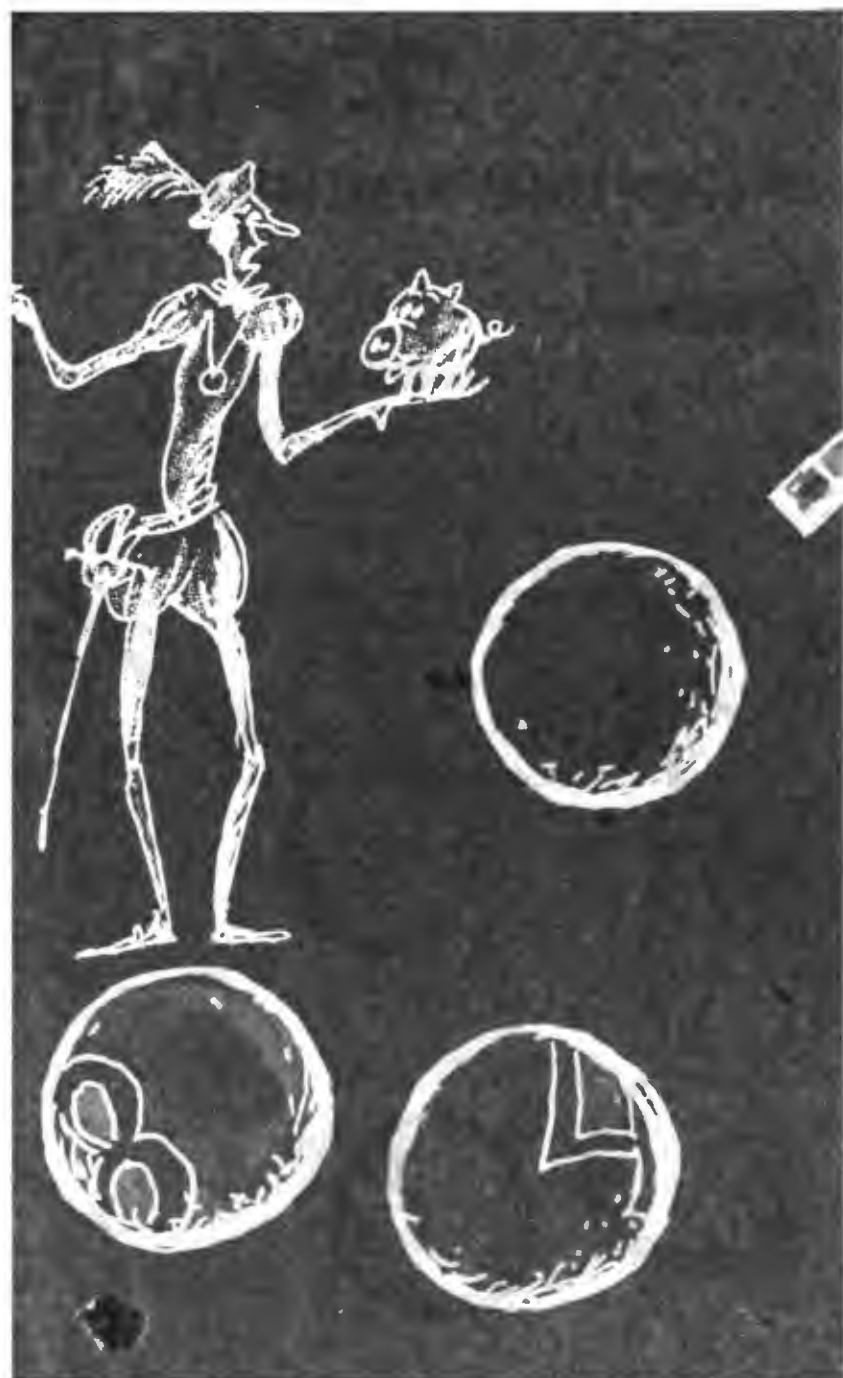
Будет полная благодать —
Запоеет на лугу рожок,
А потом упадет снежок,
А весной прорвет трубу.

Я видал это все в гробу,
Извините за выраже...
Я давно не взлетал уже.
Но покамест еще жужжу.

Театр «Черные ходики»

*Пьески маленькие
и пьески большие*





— **И**ук-тук-тук.

- Кто там?
- Это писатель Шендерович?
- Ну, допустим.
- «Допустим» — или писатель?
- Допустим, Шендерович. А вы кто?
- А мы, допустим, читатели.
- Вы что, умеете читать?
- Не все.
- Прочтите, что написано на стене.
- Там написано «Все козлы!». Это вы написали?
- Ну, допустим, я.
- Хорошо написано, не сотрешь.
- Наконец-то у меня появился свой читатель. Входите.



Предупреждение для публики

Театр «Черные ходики» основан в 1988 году. С той поры В. Шендерович является его бессменным художественным руководителем, а также единственным драматургом театра. Он же работает в нем актером и председателем профкома.

Представления театра «Черные ходики» происходят по преимуществу на квартире у В. Шендеровича перед его женой, выслушавшей от мужа с 1988 года более 180 пьес, не считая набросков и вариантов, и находящейся в связи с этим в критическом состоянии.

По многочисленным просьбам московских театров с 1992 года пьесы к постановке не предлагаются.



Прибытие

МУЖЧИНА. Гражданин, вы не подскажете, как пройти к...
(Шепчет на ухо.)

ГРАЖДАНИН. Это здесь. Занимай очередь.

МУЖЧИНА (в ужасе). Это все к ней?

ГРАЖДАНИН. К ней, к ней...

ГОЛОС ИЗ ПРИЕМНОЙ. Посланные к... матери за март прошлого года — идите на...!

Не надо шуметь!

ГАЛИЛЕЙ. Земля вертится! Земля вертится!

СОСЕД. Гражданин, вы чего шумите после одиннадцати?

ГАЛИЛЕЙ. Земля вертится.

СОСЕД. Ну допустим — и что?

ГАЛИЛЕЙ. Как что? Это же все меняет!

СОСЕД. Это ничего не меняет. Не надо шуметь.

ГАЛИЛЕЙ. Я вам сейчас объясню. Вот вы небось думаете, что Земля стоит на месте?

СОСЕД. А хоть бы прохаживалась.

ГАЛИЛЕЙ. А она вертится!

СОСЕД. Кто вам сказал?

ГАЛИЛЕЙ. Я сам.

СОСЕД (после паузы). Знаете что, идите спать, уже поздно.

ГАЛИЛЕЙ. Хотите, я дам вам три рубля?

СОСЕД. Хочу.

ГАЛИЛЕЙ. Нате — только слушайте.

СОСЕД. Ну, короче.

ГАЛИЛЕЙ (волнуясь). Земля — вертится. Вот так и еще вот так.

СОСЕД. Хозяин, за такое надо бы добавить.

ГАЛИЛЕЙ. Но у меня больше нет.

СОСЕД. Тогда извини. На три рубля ты уже давно показал.

ГАЛИЛЕЙ. Что же мне делать?

СОСЕД. Иди отдыхать, пока дают.

ГАЛИЛЕЙ. Но она же вертится!

СОСЕД. Ну что вы как маленький.

ГАЛИЛЕЙ. Вертится! Вертится! Вертится!

СОСЕД. Гражданин, предупреждаю последний раз: будете шуметь — позвоню в инквизицию.

Занавес

У врат



ДУША. Где это я?

АРХАНГЕЛ. В раю.

ДУША. А почему колючая проволока?

АРХАНГЕЛ. Разговорчики в раю!

Занавес

Сеанс



ГИПНОТИЗЕР. Вам хорошо-о...

ПАЦИЕНТ. Плохо мне.

ГИПНОТИЗЕР. Вам хорошо, хорошо-о-о...

ПАЦИЕНТ. Очень плохо.

ГИПНОТИЗЕР. Это вам кажется, что вам плохо, а вам — хорошо-о-о!

ПАЦИЕНТ. Это вам «хорошо-о-о», а мне жуть как плохо!

ГИПНОТИЗЕР. Вам так хорошо, вы даже не подозреваете!

ПАЦИЕНТ. Ой! Совсем плохо стало.

ГИПНОТИЗЕР. Стало хорошо, а будет еще лучше.

ПАЦИЕНТ. Не надо еще лучше, не-ет, только не это!

ГИПНОТИЗЕР. Поздно. Сейчас будет так хорошо — вы забудете, как маму зовут!

Занавес

Разговор по душам



ГРОЗНЫЙ. Ну что, смерды вонючие?

Бояре падают ниц.

Извести меня небось хотите?

Бояре скулят.

А я вас, сукиных детей, на медленных угольях!

Бояре стонут.

Медведями, что ли, затравить?

Бояре причитают.

С Малютой, что ли, посоветоваться?

Бояре воют.

Сами-то чего предпочитаете?

БОЯРЕ. Не погуби, отец родной!

ГРОЗНЫЙ. Ну вот: «Не погуби...» Скучный вы народ, бояре. Неинициативный. Одно слово — вымирающий класс.

Занавес

Орел и Прометей

ОРЕЛ. Привет!

ПРОМЕТЕЙ. Здравствуй.

ОРЕЛ. Ты, никак, не рад мне?

ПРОМЕТЕЙ. Чего радоваться-то?

ОРЕЛ. Это ты прав. Я тоже каждый раз с тяжелым сердцем прилетаю.

ПРОМЕТЕЙ. Да я тебя не виню.

ОРЕЛ. Это все Зевс. Суровый, собака. *(Плачет.)*

ПРОМЕТЕЙ. Ну ничего, ничего...

ОРЕЛ. Замучил совсем. Летай по три раза в день, печень людям клюй... Сволочь!

ПРОМЕТЕЙ. Ну извини.

ОРЕЛ. Ладно, чего там. У тебя своя работа, у меня своя. Начнем.

Занавес

Судья и Робин-Бобин Барабек

СУДЬЯ. Подсудимый, признаете ли вы, что скушали сорок человек, и корову, и быка, и кривого мясника?

БАРАБЕК. Ах, не могу об этом слышать! *(Падает в обморок.)*

СУДЬЯ. Но уцелевшие говорят, что вы их всех съели.

БАРАБЕК. А что, кто-то уцелел?

СУДЬЯ. Да.

БАРАБЕК. Ничего не знаю. Я боец идеологического фронта.

СУДЬЯ. Так вы их ели или нет?

БАРАБЕК. Были такие ужасные времена... Их съела эпоха!

СУДЬЯ. А вы?

БАРАБЕК. Я только корову, остальных — эпоха!

Занавес

Воля к победе

ТРЕНЕР. Здесь лыжник не пробегал?

КОЛХОЗНИК. Это в синей шапочке?

ТРЕНЕР. Ага, жилистый такой.

КОЛХОЗНИК. Да раз пять уже пробегал.

ТРЕНЕР. Злой пробегал?

КОЛХОЗНИК. Ох, злой! Вас вспоминал, вашу мать и весь лыжный спорт.

ТРЕНЕР (*радостно*). На первое место идет, сучонок!

Убегает.

КОЛХОЗНИК (*печально*). Вот и мы тоже по району.

Занавес

Встойле

— Ты откуда такой заезженный, Буцефал?

— Империю расширяли... (*Умирает.*)

Занавес

Апарт

Считать ли изнасилованием, когда идея овладевает массами?

Голоса за ужином

— Вина передай.

— А тебе не хватит?

— Отвали. Праведник нашелся. Ну, будем.

— А этот чего не пьет?

- Спроси.
- Опять орать начнет. Достал.
- Спроси, спроси...
- Слушайте, вы чего такой хмурый сегодня?
- Один из вас предаст меня.
- Ой, Учитель, ешьте и не говорите глупостей!

Утренний доклад

Диалог-фантазия

- А что народ?
- Бунтуют, государь. Чего и взять с поганцев, кроме бунта?
- Чего хотят-то?
- Хлеба.
- Дать.
- Как будто уж съели весь.
- Зады наскипидарь. Всему тебя учить... *(Ест осетра.)*
- За скипидаром послано.
- Ну то-то! Хоть этого с запасом. Что пехота? Не ропщет ли?
- Весь день кричат «ура».
- Дать водки нынче ж. *(Кушает пахнет.)* С валютой как?
- Валюты вовсе нет — Малюты есть.
- Да, русская земля обильна! *(Доедает трюфеля.)* Кто в заговоре нынче? Что притих? Неужто нету?
- Как не быть-то их? Вот список на четырнадцать персон.
- Казнить. *(Пьет кофий.)*
- Дыба, колесо?
- Ты их, мон шер, пожалуй, удави. По-тихому... *(Рыгает.)*
- Се ля ви! Все крутишься... *(Рыгает, крестит рот.)* Все для народа! Кстати, как народ?

Человек и прохожий

ЧЕЛОВЕК. Осторожней, пожалуйста, здесь яма!

ПРОХОЖИЙ. Это клевета на наши дороги!

Падает в яму.

ЧЕЛОВЕК. Ну я же вам говорил!

ПРОХОЖИЙ (*из ямы*). Демагогия!

ЧЕЛОВЕК. Давайте руку...

ПРОХОЖИЙ (*кидаясь грязью*). Уйди, провокатор!

ЧЕЛОВЕК. Простите меня, если можете.

Уходит.

Занавес

П р о т о к о л

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Сидоров, вы взятки брали?

СИДОРОВ. Ну.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. А давали?

СИДОРОВ. Ну.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. И много?

СИДОРОВ. А вот сколько вам.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Это немного.

СИДОРОВ. Вы у меня не один.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. А кто это у вас на червонцах вместо Ленина?

СИДОРОВ. Не выпендривайтесь, а то и этих не дам.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Тогда распишитесь вот здесь.

СИДОРОВ. Голуба, вы же знаете, я неграмотный.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. А вы крестик поставьте.

СИДОРОВ. А вы — нолик.

Занавес

Г о г о л ь и р е д а к т о р

ГОГОЛЬ. Добрый день.

РЕДАКТОР. Ну.

ГОГОЛЬ. Я приносил вам вторую часть моей поэмы.

РЕДАКТОР. Фамилия.

ГОГОЛЬ. Гоголь.

РЕДАКТОР. «Мертвые души» называлась?

ГОГОЛЬ. Да.

РЕДАКТОР. Она нам не подошла.

ГОГОЛЬ. Я тогда заберу?

РЕДАКТОР. Не заберете.

ГОГОЛЬ. Почему?

РЕДАКТОР. Мы ее сожгли.

Занавес

Лав стори

ОНА. Что вы тут делаете?
ОН. Я профорг.
ОНА. Не прикасайтесь ко мне.
ОН. Я по поручению.
ОНА. Что вы делаете?
ОН. Тс-с-с...
ОНА. Перестаньте сейчас же.
ОН. Тщ-щ-щ...
ОНА. Я закричу.
ОН. Уже поздно.
ОНА. В каком смысле?
ОН. В смысле — ночь.
ОНА. Что вы делаете?
ОН. Так надо. Я профорг.
ОНА. Ох... Но я же не член профсоюза!
ОН. Что ж ты раньше-то молчала, дуреха?

Занавес

Диспансеризация

ВРАЧ. Дышите. Не дышите. Не дышите. Не дышите...
КЛИЕНТ (*сипит*). Долго еще не дышать?
ВРАЧ. Не разговаривайте, больной. Ну что вы выпучили глаза — врачей не видели? Перестаньте хрипеть, больной! Не надо ложиться на пол, здесь не пляж! Марь Иванна! Унесите этого синего хулигана! Ну оборзел народ! Никакой дисциплины!

Занавес

Горе от ума

ЧАЦКИЙ. Чуть свет — уж на ногах!
ИНСТРУКТОР (*входя.*) Заканчивайте.
ЧАЦКИЙ. Вы кто?
ИНСТРУКТОР. Дед Пихто.

ЧАЦКИЙ. В чем дело?

ИНСТРУКТОР. Начинаем учения штаба гражданской обороны.

ЧАЦКИЙ. Но здесь спектакль!

ИНСТРУКТОР. Видал я ваш спектакль.

ЧАЦКИЙ. Уйдите со сцены, люди смотрят!

ИНСТРУКТОР. Где люди?

ЧАЦКИЙ. Вон сидят.

ИНСТРУКТОР. Товарищи, поздравляю вас с началом практических занятий по пользованию противогазом.

ЧАЦКИЙ. Вы с ума сошли!

ИНСТРУКТОР. На себя посмотри.

Занавес

Комсомольское ретро

КОМСОРГ. Васин, ответьте: почему вы мечтаете стать членом Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи?

ВАСИН. Че?

КОМСОРГ. Ну, вы, Васин, наверное, хотите быть в первых рядах строителей коммунизма?

ВАСИН. Ну, ептыть!

КОМСОРГ. Тогда скажите нам, Васин: сколько орденов у комсомола?

ВАСИН. Че?

КОМСОРГ. Я спрашиваю: Васин, вы знаете, что у комсомола шесть орденов?

ВАСИН. Ну, ептыть!

КОМСОРГ. Мы надеемся, Васин, что вы будете активным комсомольцем.

ВАСИН. Че???

КОМСОРГ. Ну, ептыть, Васин, билет возьмешь в соседней комнате!

Занавес

Реплики в антракте

Татуировка: «Не забуду мать родную, партию и правительство».

С транспаранта упала буква. Многих поубивало.

Если цирковой медведь поднял лапу, это еще не значит, что он «за».

Быки и не подозревают, что дозволено Юпитеру...

Опьяненные властью опохмеляются кровью.

Менделеев жил в эпоху, когда людям еще снились периодические таблицы.

Цезарь может гордиться рабами, которые гордятся водопроводом!

Рыбе трудно объяснить, что такое балык.

На государственной палитре нет места для краски стыда.

На болоте может не только стоять город, но и держаться государство.

Лифт, который ломается по два раза в сутки, и Федор Михайлович Достоевский — явления глубоко национальные!

Ездовая собака сдохла от гордости.

Старость, конечно, не радость, но иная смерть — все-народный праздник.

Конвойный вынужден повторять путь арестанта.

О величии эпохи спросите у раздавленных ею.

вященная обязанность

Строиться, взвод! Эй, чмо болотное, строиться была команда! Это ты на «гражданке» был Чайковский, а здесь — чмо болотное и пойдешь после отбоя чистить писсуары!

Еще есть вопросы? Кто сказал «еще много»? Я, Герцен, послушаю твои вопросы, но сначала ты поможешь рядовому Чайковскому в его ратном труде.

Вы чем-то недовольны, Грибоедов? Или думаете, если в очках, то умнее всех? А что ж у вас тогда портянка из сапога торчит? Сапоги, товарищ рядовой, тесные не бывают, бывают неправильные ноги! Объявляю вам два наряда вне очереди, рядовой Грибоедов, чтобы вы не думали, что умнее всех. В наряд заступите вместе с Менделеевым, он вчера отказался есть суп. Раз я говорю, что это был суп, Менделеев, значит, это был суп! Будете пререкаться, отправим на химию. Тридцать отжиманий, Менделеев! Лобачевский, считайте. Глинка, предупреждаю: если Менде-

леев не отождествится, сколько я сказал, вы с Левитаном будете в выходной заниматься физподготовкой.

Кому еще не нравится суп?

Пржевальский, тебе нравится? Рядовой Пржевальский, выйти из строя! Объявляю вам благодарность. Вот, берите пример: суп ест, ни на что не жалуется, здоровый, как лошадь.

А тебя, Толстой, я предупреждал, чтобы ты молчал. Не можешь молчать? Я тебе устрою, Толстой, пять суток гауптвахты, чтобы ты научился. Ты, Толстой, пахать у меня будешь до самого дембеля.

Дисциплина во взводе упала, но она об этом пожалеет. Взвод, смирно! Вольно. Рядовой Суриков, выйти из строя! Посмотрите на Сурикова! Это солдат? Нет, это не солдат, это лунатик. Ночью он рисует боевой листок, а днем спит в строю! У тебя, Суриков, листок, у Шалапина самодеятельность, а служить за вас Пушкин будет? Не будет! Его вторую неделю особисты тягают за какое-то послание в Сибирь... Развелось умников! Шалапин заступает в наряд по посудомойке, Суриков — в котельную.

Кто хочет помочь Сурикову нести людям тепло? Белинский, я вижу, что ты — хочешь. Выйти из строя! Товарищи солдаты! Вот перед вами симулянт Белинский. Он не хочет честно служить Родине, он все время ходит в санчасть, его там уже видеть не могут с его туберкулезом! Вы пойдете в котельную, рядовой Белинский. Я вас сам вылечу.

А вы чего там бормочете, Щепкин? О профессиональной армии бредите? Чтобы честные люди за вас служили, а вы — «ля-ля, тополя»? Не будет этого! Замполит сказал: гораздо дешевле противостоять блоку НАТО с такими, как вы. Особенно как Белинский. Чтобы равенство, и если слдохнуть, то одновременно.

Взвод — газы! Надень противогаз, уродина! Во какие лица у всех одинаковые стали! Где Шишкин, где Рубинштейн — ни одна собака не разберет. Заодно и национальный вопрос решили. А еще говорят, что в армии плохо. В армии — лучше некуда! Кто не верит, будет сегодня после отбоя читать остальным вслух «Красную звезду».

Взвод, напра-во! Ложись! На прием пищи, в противогазах, по-пластунски, бего-ом!.. арш!

И^Инспекция

ИНСПЕКТОР. К нам поступили сигналы о воровстве на вашем ракетном крейсере.

ОФИЦЕР. Воровство? На крейсере?

ИНСПЕКТОР. Да.

ОФИЦЕР. Это абсолютно исключено.

ИНСПЕКТОР. Где он у вас?

ОФИЦЕР. На пятом пирсе.

ИНСПЕКТОР. Пройдемте на пятый пирс.

ОФИЦЕР. Чего зря ходить? Мы на нем стоим.

ИНСПЕКТОР. А где же ракетный крейсер?

ОФИЦЕР. Какой ракетный крейсер?

Занавес

В^В мире животных (Радиоперехват)

— Кабан, Кабан, я Белка. Как слышишь? Прием.

— Белка, слышу тебя хорошо. Ты где? Прием.

— Кабан, я лечу за тобой, за тобой лечу! Как понял? Прием.

— Белка, я Кабан, не понял: зачем летишь за мной? Прием.

— Кабан, повтори вопрос! Вопрос повтори! Прием.

— Зачем ты, Белка, летишь за мной, Кабаном?

— Не знаю, Кабан! Приказ Хорька. Как понял? Прием.

— Ни хера не понял! Какого Хорька, Белка? Я Кабан. Кто такой Хорек? Кто это? Прием.

— Кабан, ты дятел! Как понял? Прием.

— Понял тебя, Белка. Я — Дятел. Повторяю вопрос про Хорька. Кто это?

— Кабан, сука, ты всех заманал, лети вперед молча! Конец связи.

Занавес

В^Высокие широты

— Здравствуйте, товарищи североморцы!

— Здрав-ав-ав-ав-ав-ав!

— Поздравляю вас с наступлением полярной ночи!
— Уё! Уё-о! Уё-о!

Занавес



ГЕНЕРАЛ. Доктор, мне скучно.

НАЧМЕД. А вы, дуся, водочкой.

ГЕНЕРАЛ. Куда водочкой, доктор? Спирт не берет!

НАЧМЕД. А вы картишки раскиньте... Штабные учения, то-се... Некоторым помогает.

ГЕНЕРАЛ. Надоело.

НАЧМЕД. Тогда крови попейте, ласточка моя!

ГЕНЕРАЛ. Опять крови?

НАЧМЕД. Как прописано, голубчик! По Уставу.

ГЕНЕРАЛ. Да я вроде только завязал...

НАЧМЕД. А вы опять развяжите, мамуня. Войну какую-нибудь.

ГЕНЕРАЛ. Скучно, доктор!

НАЧМЕД. Тогда, мамочка моя, стреляться. По две пули перед едой.

Занавес

Апарт

В военное время ничто не ценится так дорого, как плоскостопие...

Акт приемки

*спектакля «ОТЕЛЛО» в драмкружке Дома офицеров
Прикордонского военного округа*

Политуправление Прикордонского военного округа приказывает:

1. Запретить сцену пьянства лейтананта Кассио как клевету на офицерский состав.
2. Запретить сцену похищения генералом Отелло его сожительницы Дездемоны как клевету на моральный облик генералитета.

3. Запретить поручику Яго расистские высказывания в отношении старшего по званию как подрывающие дисциплину.
4. Сократить сцену шторма до 2–3 баллов, ветер южный, умеренный.
5. Крик Отелло «ОЮЮЮ!» сократить в четыре раза.
6. Сократить целиком образ девицы Бьянки как неверно ориентирующий личный состав.
7. Сократить реплику «В Алеппо турок бил венецианца» как неверно ориентирующую турок.
8. Заменить сцену потери Дездемоной платка на сцену потери ею карты укрепрайона.
9. Ввести в пьесу образ шпиона Джимкинса, крадущего у Дездемоны карту укрепрайона.
10. Сделать Отелло белым.
11. Присвоить имя «Отелло» миноносцу «Непоправимый», а его самого переименовать в Отелкина.
12. Запретить Отелкину душить Дездемону. Душить шпиона Джимкинса, укравшего карту укрепрайона.
13. Автору — продолжить работу над пьесами, рассказывающими о нелегкой судьбе бойцов невидимого фронта.

Сельская жизнь



СТЕПАН ИВАНЫЧ. Чтой-то у нас выросло?

АГРОНОМ. Урожай, Степан Иваныч.

СТЕПАН ИВАНЫЧ. А чегой-то: никогда не росло, а вдруг выросло?

АГРОНОМ. Перестройка, Степан Иваныч.

СТЕПАН ИВАНЫЧ. И чего теперь?

АГРОНОМ. Посидите тут, узнаю. *(Уходит, возвращается.)*
Убирать надо, Степан Иваныч!

СТЕПАН ИВАНЫЧ. Да ну!

АГРОНОМ. Честное слово.

СТЕПАН ИВАНЫЧ. Побожись.

АГРОНОМ. Век воли не видать.

Занавес

Получка



ПЕТРОВ. Что это?

КАССИР. Это ведомость.

ПЕТРОВ. Нет, вот это, вот это!

КАССИР. Это сумма.

ПЕТРОВ. Не может быть.

КАССИР. Бывает...

ПЕТРОВ. Долларов?

КАССИР. Это за неделю.

Петрова увозят в сумасшедший дом.

Следующий, пли-из!

Занавес

Человек и закон



ЗАКОН. Так нельзя.

ЧЕЛОВЕК. Отзынь, фуфло!

ЗАКОН. Нельзя так. Статья это.

ЧЕЛОВЕК. Да пошел ты...

ЗАКОН. Ну как знаешь. (*Уходит.*)

Занавес

Митинг



КРЕСТЬЯНЕ. Хле-ба! Хле-ба!

АРТИСТЫ. Зре-лищ! Зре-лищ!

Занавес

Лицом к народу



ЛИЦО В ПРОТИВОГАЗЕ. Бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу!

ДРУГОЕ ЛИЦО В ПРОТИВОГАЗЕ. Бу-бу, бу!

ДИКТОР. Мы передавали праздничный концерт, посвященный Дню химических войск.

Занавес

Прямой эфир

ДИКТОР. Внимание! Передаем экстренное сообщение. (*Читает про себя.*) Не может быть! (*Достает платок, вытирает пот со лба.*) С ума сойти. Вот ужас!

ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Читай текст, гадина!

ДИКТОР. Может, не надо им, на ночь-то?

Занавес

С пятой цифры

ДИРИЖЕР. С пятой цифры, пожалуйста!

ОРКЕСТРАНТЫ. А по лбу тебе контрабасом не надо, плеши-вый?

ДИРИЖЕР (*доставая из чемоданчика*). Это у меня пулемет.

ОРКЕСТРАНТЫ. Да ну!

ДИРИЖЕР. Уверяю вас.

ОРКЕСТРАНТЫ. Так бы сразу и сказал. (*Играют с пятой цифры*)

Занавес

У шлагбаума

НАРУШИТЕЛЬ. Скажите, пожалуйста, а что — граница по-прежнему на замке?

ПОГРАНИЧНИК. На замке, итить его мать, а то бы сам давно ушел!

Занавес

Киллер

— Здравствуйте. Вы слесарь?

— Я киллер.

— А я слесаря вызывал.

— А я — киллер.

— А где же слесарь?

— Откуда мне знать?

- Странно. Присылают кого ни попадя. Ну, входите.
- Зачем?
- Ну, раз пришли...
- Спасибо, я так.
- Что значит «так»?
- Через порог.
- Что вы, через порог нельзя!
- Почему?
- Поссоримся.
- Я что-то не пойму... Вы Скворцов?
- Скворцов.
- Ну правильно! А я — киллер!
- Да понял, не тупой. Господин Киллер, не в службу, а в дружбу, сбегайте в ДЭЗ, спросите — что они там все, с ума посходили?

Занавес

Монолог

Рашен Канары

(Исполняется на языке оригинала)

Хау мач... вот это? Большое, синее — хау мач? Ду ю спик инглиш? Спэниш? Че, онли спэниш? Ну, эль момент. Э-э... Их бин купить вот это. Зис — хау доллара? Вот, блин, тупой. Ай вонт зис! Зис! Давай, загорелый, соображай! За-вязывай лопотать по-своему, не хиляет, Лисен сюда. Лисен сюда, говорю! Зис хочу! Зис, зис и вон зис! Их бин башлять! Доунт андэрстэнд? Онли спэниш? Хенде хох! Гы-ы-ы... Шутка, смайл! Купить, купить это все! Не понимать? Косишь, чернявый? Кэш, андэрстэнд, кэш? Да опусти руки-то! Ай эм раша, релакс! Нихт стрелять. Мир, дружба, долларз! Покупать это все. Цузамен, наличман! Ну? Хилтон, муйня вот эта синяя с дельфинами... Их бин владеть! Так! Резвее сучи ногами, чувак, квики за лоером, одна нога здесь, другая — хиа! Май нейм из Паша фром Люберцы, саям алейкум, ферштейн? И давай, отмороженный, заманал уже, начинай понимать по-русски, включаю счетчик!

Вопросы в буфете

Что такое собака Баскервильей? Это Муму, которой удалось выплыть.

Может ли женатый человек позволить себе причинно-следственную связь?

В чем сила москитов? В подавляющем большинстве!

Когда уходить с корабля крысе, если она капитан?

Что такое человек, с точки зрения обезьяны? Это пример того, до чего может довести труд!

Монолог

Dura lex...*

Встать, суд идет! Вон, уже идет. Где, где... Вон, в длинном, два мужика и баба. Не угадал. Вон баба, с краю, с фиксой. А по центру как раз мужик. Сам ты пальто, это мантия. Это ж суд идет! Ничего не медленно, дурачок. Куда спешить? Видал в коридоре у стенки тетку с глазами завязанными? Сам ты расстрел — это Фемида! Намек гипсовый для умных вроде тебя. Потому что видеть вас больше никого не может! Весы? Были весы, вчера еще были, в овощной унесли. А потому что не стой с завязанными глазами. А ты чего любознательный такой? Не журналист часом? А кто? Так, подышать зашел? Тикал бы ты отсюда, парень, пока эти трое в пути. Вон уже все разошлись давно, кроме конвоиров, обвиняемый мемуары пишет, адвокаты пиво пьют в прокуратуре, а ты все торчишь среди помещения. А суд-то идет! Смотри, они уже близко. Лучше разглядеть хочешь? Не советовал бы. Люди пожилые, мирные: придут, чайку под гербом попьют и разойдутся. А не ровен час кого встретят — засудят к чертовой бабушке! Рефлекс. Слева, в очечках, видишь? С виду пришибленный, а такой умелец, статьями закидает по мозжечок, удивиться не успеешь. Тут Кони не валялся. Так что

* Закон суров, но это — закон (лат.).

тикай, парень, тикай, это я тебе как секретарь суда советую. Мне ж потом тебя протоколировать руки отсохнут. Отползай тихонечко к дверям и растворяйся в пейзаже, только конвоира не разбуди, он за это убивает.

Реплики в антракте

Учитель физики спился, объясняя правило буравчика. Носорог плохо видит, но при таком весе это уже не его беда.

Стартер в прошлом был снайпером, и бегуны это знали. Приснился Петр Первый, стригущий бороды Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу.

Червяка мутило от слов «рыболов-спортсмен».

Моисей сорок лет водил евреев по оккупированным палестинским территориям.

Смердящих осторожно называли сильными духом.

Одного юношу не признали как художника. Стал фю-рером. Надо быть внимательнее к талантам.

На круглых дураков число «пи» не распространяется.

Был так угрюм, что его перестали посещать даже мысли.

На удары судьбы отвечал ударами по ней же.

Протер глаза и перестал видеть окончательно.

Вот вам моя рука — вы ее выкрутили!

Чувствовал себя дикарем среди миклухо-маклаев.

Возле ударенного пыльным мешком задохнулось сорок человек.

Культуру — в массы!

КРИТИКЕССА. Что вы хотели этим полотном?

ХУДОЖНИК. Я хотел это... (*Теребит бороду.*) В общем, значит, тут такое дело... (*Чешет голову.*) Эхма! (*Сморкается.*)

КРИТИКЕССА. Больше ничего не хотели?

ХУДОЖНИК. Да оно как бы... (*Скребет шею пятерней.*)

КРИТИКЕССА. Желаю вам новых.

Занавес

Исповедь

СЛУЖИТЕЛЬ КУЛЬТА. Грешил ли ты, сын мой?

ПРИХОЖАНИН. Ох, грешил. Ох, как грешил! Просто, если рассказать... Вот хоть вчера... *(Шепчет.)*

СЛУЖИТЕЛЬ КУЛЬТА. Да ну! *(Прыскает.)*

ПРИХОЖАНИН. Вот тебе и ну.

СЛУЖИТЕЛЬ КУЛЬТА. А она?

ПРИХОЖАНИН. А она... *(Шепчет.)*

СЛУЖИТЕЛЬ КУЛЬТА. Врешь! *(Хихикает.)*

ПРИХОЖАНИН. Ей-богу. Два раза.

СЛУЖИТЕЛЬ КУЛЬТА. Врешь!

ПРИХОЖАНИН. Вот те крест. И главное: каждый день!

СЛУЖИТЕЛЬ КУЛЬТА. Ой! *(Хохочет.)* Ой, нет!

ПРИХОЖАНИН. Каждый день по два раза! Гы-гы.

СЛУЖИТЕЛЬ КУЛЬТА. А-а-ах... Ф-фу...

ПРИХОЖАНИН. А по субботам мы...

СЛУЖИТЕЛЬ КУЛЬТА. Стой! Не могу! Прекратить! А-аах... *(Плачет от смеха.)* Но ты хоть раскаиваешься?

ПРИХОЖАНИН. То есть!

СЛУЖИТЕЛЬ КУЛЬТА. Я отпускаю тебе, сын мой!

ПРИХОЖАНИН. Да я никуда не уйду, папа!

Занавес

На чай

ПАССАЖИР. Можно чаю?

ПРОВОДНИЦА. А яду тебе не надо?

ПАССАЖИР. Яду не надо.

ПРОВОДНИЦА. А то могу налить.

ПАССАЖИР. Спасибо, не надо.

ПРОВОДНИЦА. Вы не стесняйтесь.

ПАССАЖИР. Мне бы чаю.

ПРОВОДНИЦА. Чаю, значит?

ПАССАЖИР. Его.

ПРОВОДНИЦА. С сахарком?

ПАССАЖИР. Если можно.

ПРОВОДНИЦА. Ложечкой не размешать?

ПАССАЖИР. Спасибо, я сам.

ПРОВОДНИЦА. А яду, значит, не надо?

ПАССАЖИР. Вы уже предлагали.

ПРОВОДНИЦА. Работа такая.

ПАССАЖИР. Понимаю.

ПРОВОДНИЦА. Работать никто не хочет, а кататься взад-вперед — пожалуйста, чаю ему, трясь, хресь, елкин вексель, алкин штепсель, три аршина, восемь в кубе, через драный компостер налево!

ПАССАЖИР. Если не трудно, повторите, пожалуйста, еще раз.

Проводница повторяет еще раз.

ПАССАЖИР. Большое спасибо, теперь запомнил.

ПРОВОДНИЦА. А ты кто?

ПАССАЖИР. А я — лингвист.

ПРОВОДНИЦА. Лингвист, возьми яду!

Занавес

В ресторане

— Разрешите пригласить вашу даму?

— Она не танцует.

— Какие танцы? У меня ордер на арест!

Занавес

По списку

НЕКТО (*входя со списком.*) Кто тут Петухов?

ПЕТУХОВ. Я Петухов.

НЕКТО (*торжественно.*) Петухов, вы сопля на палочке!

ПЕТУХОВ. Я сопля на палочке?

НЕКТО. Вы Петухов?

ПЕТУХОВ. Петухов.

НЕКТО. Секундочку. (*Сверяется со списком.*) Все верно: «Петухов — сопля на палочке». Пушкина не видели?

ПЕТУХОВ. Нет.

НЕКТО. Увидите Пушкина, передайте ему, что он... (*смотрит в список.*) фигуля на рогуле! Только смотрите, ничего не перепутайте!

ПЕТУХОВ (*радостно*). Чего тут путать-то? Фигуля на ро-
гуле! Пышкин! Пышки-ин! Иди, чего скажу-у! (*Уходит.*)

Занавес

Санкции

(Пьеса в трех актах)

Акт первый

МАРЬ ИВАННА. Я вас последний раз предупреждаю, Капи-
толина Петровна: если Совет Безопасности проголосует за
санкции, я за себя не ручаюсь!

Конец первого акта

Акт второй

КАПИТОЛИНА ПЕТРОВНА (*входя*). Ну что, Марь Иванна, —
съели?

МАРЬ ИВАННА (*темнея лицом*). Проголосовали?

КАПИТОЛИНА ПЕТРОВНА (*пританцовывая*). Еще как прого-
лосовали!

Конец второго акта

Акт третий

На крюке, удушенная бельевой веревкой, висит Капитолина Петровна.

ДИКТОР (*появляясь в телевизоре*). Марь Иванна! Совет
Безопасности отменил принятые накануне санкции.

Занавес

По мотивам Светония

ЦЕЗАРЬ. И ты, Брут?

БРУТ. И я, Цезарь.

ЦЕЗАРЬ. Не ожидал.

БРУТ. Сюрприз!

Занавес

Вам письмо!

ПОЧТАЛЬОН. Это Восковой тупик, двенадцать?

ЧЕЛОВЕК. Да.

ПОЧТАЛЬОН. А вы, значит, Крюкин?

ЧЕЛОВЕК. Крюкин я.

ПОЧТАЛЬОН. Пляшите, Крюкин, вам письмо.

ЧЕЛОВЕК. Ура-а! (*Пляшет.*)

ПОЧТАЛЬОН. Что это?

ЧЕЛОВЕК. Что?

ПОЧТАЛЬОН. Что это вы такое сплясали?

ЧЕЛОВЕК. Да я так вообще...

ПОЧТАЛЬОН. Вы, Крюкин, еще раз такое спляшете, я милицию вызову. (*Уходит.*)

Занавес

Из цикла «Монологи у шлагбаума»

Таможенник

Идут и идут... Вроде, думаешь, уже все — нет, опять они с тетками, с птичками, с чемоданами. Сколько их, а? Как погром — так никого... Выйдите из режимной зоны, гражданин!

Страна большая, вот что я вам скажу. Каждого в мирное время не разглядишь. В Москве — Иванов, в Херсоне — Сидоренко, а заглянешь в душу — все Шнейерсоны! Сумочку откройте. Лекарства — нельзя. Я вижу, что это анальгин, гражданка выезжающая. А я говорю — нельзя! Потому что анальгин нужен тем, кто остается жить на родине!

А что у вас, гражданин? Альбом? Почему нельзя — можно, только фотографии выньте. А откуда я знаю, что это за пруд с гусем? Может, это засекреченный пруд с засекреченным гусем. Что значит «родина» — мало ли кто где родился? Я, может, в Генштабе родился, на карте мира. Вот не поставлю вам штампик, и будете смотреть на свой пруд с гусем, пока не ослепнете.

И маму анфас нельзя. В профиль — тем более. А кто подтвердит, что это ваша мама? Может, это директор швейной фабрики, которая самолеты выпускает? Кто вам сказал, что вы похожи? Ничего общего. И папу нельзя.

Может, он у вас в «ящике». Что значит «живой»? Это он еще не выезжал, вот он и живой!

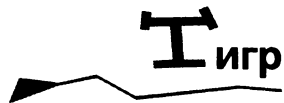
А это что за листочек? На память о сынишке? Палка, палка, огуречик? Надо было ставить печать у оценщика — и на палках, и на огуречике отдельно. А сейчас мы с вами пройдем и оформим контрабанду живописи. Вот такой у нас с вами огуречик получается, гражданин выезжающий. И не надо багроветь, надо внимательно читать декларацию! Что вы читали, какую? «Прав человека»? Это вы на зоне будете читать, начальнику конвоя, после работы!

А у вас, гражданин, где вещи? Как, это все? Авоська с визой и ботинки фабрики «Скороход»? Хотите ноги скорей унести? А как фамилия? Как?! Коган-Каценеленбоген? Через черточку? Как вы жили тут с такой фамилией, проходите скорей!

А вы чемодан открывайте, гражданин, и вещи выньте. Плед отдавайте сразу — это импорт. И крестик снимайте — это народное достояние. И зачем вам там — крестик? Вам дай волю — всю Россию увезете... Не дадим! Что можно? Подушку с матрацем можно и матрешку на память о перестройке. Все! А канарейку будем просвечивать. Я, гражданин выезжающий, вообще никогда не шучу. Будем просвечивать канарейку и резать ее вдоль, потому что в ней может быть контрабанда: камешки, металлы драгоценные, иконы... Я вижу, что это канарейка, а не кашалот, а вот вы что за птица, это мы сейчас посмотрим!

Нам торопиться некуда, мы тут по гроб жизни! А то они все — туда, а я, по уши в правовом государстве, ссюскайся с ними? Так они ж не уедут тогда. Ведь плакать будут, взлетно-посадочную полосу целовать... Я, может, для того и стою тут, посланец Страны Советов, чтобы они уехали счастливыми оттого, что уехали!

Чтобы до конца дней своих вздрагивали на своей исторической родине, вспоминая настоящую.



Ахр-р-р! Они думают, что я заболел. Идиоты. «Он ничего не ест, скорее за ветеринаром!..» Приперся этот дурачок, залез ко мне в пасть по пояс, все потроха обстучал...

Потом вылезает и говорит: «Очень тяжелый случай, у животного не в порядке печень». Сам ты животное! Я здоров, как захвост! И твое счастье, что я политический тигр, а не уголовный — сожрал бы тебя за клевету, только мозги бы выплюнул.

«Печень»... Я голодовку объявил после Мадрида! Я теперь их тухлятину жрать не буду. Я теперь знаю, как тигров кормить положено — мясом их кормить положено, мясом! Нету мяса? Пускай отправляют в Мадрид, там есть. Там все есть! Замечательный город, чего меня раньше туда не пускали? Наверное, было указание сверху, из дирекции. Интриги, ахр-р-р! Совали в такие дыры — от названий мороз по коже! «Сык-тив-кар»... Вот я вам теперь в Сыктивкар полечу!

В Мадрид, ахр-р-р! Тем более сюда меня теперь все равно не пустят, я документы съел... Вон он, дрессировщик Сундуков с женой своей, стервой, носится по аэропорту, как мартышка по манежу. Домой-то хочется! А документики — тютю...

В Мадрид, ахр-р-р! Отдельный вольер без сквозняков! Я не могу больше на семи метрах между пони и бегемотом — они меня угнетают своим интеллектом, эти травоядные! И потом: там тепло все время, и никто не празднует праздника «Русская зима». А здесь все празднуют праздник «Русская зима» — это надо, чтобы отморозило мозги, такое праздновать!

Звери дубака дают, а им хаханьки. Им мерзнуть некогда, они воруют. В один день попону с лошади стянули, кусок барьера и ящик с песком. Зачем человеку ящик с песком? А то еще — сперли с моей клетки замок... Клиника, честное слово! Ну, я походил по цирку... Мрачное, доложу вам, местечко. И люди какие-то нервные... Я же не инспектор манежа — чего от меня шараться?

Я уже не говорю об уважении к профессии. «Синьоры, эль тигро грандиозо, когтидо полметро!» А здесь? «Ваня, давай тащи этот вонючий матрац на манеж!» А на манеже — дрессировщик Сундуков с женой-стервой... Слушайте, я пятый год с тумбы на тумбу хожу, а такого дурака не видал. Пьет все, что горит, сморкается на пол, читает «Советский спорт». Царь природы! Вон он, по аэропорту бегаёт, документы ищет... А я их съел! Сам теперь пускай

через горящий обруч прыгает и тухлятину жрет — в гробу я его видал!

Господа! Никто не знает, как по-испански будет — «я прошу политического убежища»?



Сыночка, как только приедешь на место, сразу напиши. Открытки я положила в низ чемодана. Знаешь, этот город, куда ты летишь... я все время забываю... да, Нью-Йорк, — это очень большой город. Ты сразу купи там карту и отметь кружочком, где будешь жить, чтобы не заблудиться... Я знаю, как ты ориентируешься! Как Иван Сусанин, ты ориентируешься! Ты потерялся на Красной площади, когда тебя принимали в пионеры. Когда тебя подобрали милиционеры на площади Дзержинского, ты все еще искал Мавзолей. Я думала, я сойду с ума, когда они привели тебя, в соплях и красном галстуке.

Ты плакал, что не увидел дедушку Ленина. Ты правильно плакал! Те, что его тогда увидели, все поняли гораздо раньше. Этот Ленин так на них подействовал! И потом — ты все время думаешь о чем-то своем, поэтому с тобой все время что-то случается. Кстати, там есть океан, так ты купайся, но осторожно. Что ты машешь руками? Ты плаваешь, как твой отец, — он, наверно, давно утонул где-нибудь. В пионерлагере ты чуть не захлебнулся в блюдечке с чаем, а тут целый океан — и я должна быть спокойна?

Кстати, я чуть не забыла: ты помнишь Розу Львовну из второго подъезда? Слушай, у нее был зять, ты его знаешь — когда в семьдесят пятом хоронили Зелика, он одолжил у тебя трешку до среды... Так он ее не отдает, потому что давно уехал! Там, где конверты, его адрес — обязательно напиши ему, он даст тебе много хороших советов! Не маши на меня руками, там ужасная безработица! Но такие опытные инженеры по технике безопасности, как ты, наверняка нужны. Когда будешь устраиваться на работу, не забудь показать свой диплом и фотографию из газеты — они всех уволят, а тебя возьмут!

И я тебя умоляю: не ходи там вечером пешком, там это очень опасно! Не маши на меня руками! Во-первых, в Америке много наркоманов, а во-вторых — негры. Я очень уважаю негров за их борьбу за их права, но кажется, они тоже не любят евреев. И еще вот что хочу тебе сказать: там, среди капиталистов, бывают очень разные люди. Не маши на меня руками, а слушай! Бывают такие, которые ради сверхприбыли не пожалеют живого человека. Так ты, пожалуйста, не перенапрягайся, хорошо ешь и чаще бывай на свежем воздухе. Что ты смеешься? Ты же у меня как природа: осенью желтый, весной зеленый.

Обо мне не волнуйся: все, что мне надо, у меня есть, а молоко будет приносить Люся. И не уговаривай меня, ты же знаешь: я решила посмотреть, чем тут закончится. Нет, но они же обещали, они же не могут снова обмануть — люди перестанут им верить! Как только придет социализм с человеческим лицом, я тебе сразу напишу... И перестань махать на меня руками — когда ты машешь на меня руками, у тебя лицо, как у того социализма, что сейчас!

Да, чуть не забыла: в этом Нью-Йорке, там есть биржи, так ты на них не ходи. Они носятся как угорелые, тебя затопчут насмерть, это я тебе как мать говорю! И не играй в азартные игры. Что ты смеешься? Ты проиграл Семе в дурака сто рублей или не проиграл? Так он уже давно там, ждет не дождется твоего приезда. Ты опять ему все проигрываешь, а остальное пропьешь. Молчи! Ты не знаешь, сколько людей спивается при капитализме! Мне Фира рассказывала, она сама видела в программе «Время»...

Что ты опять машешь руками? Потерпи, уже недолго осталось, будешь махать руками на ту статую, которая там стоит... Я знаю, что она молчит, — а что она может тебе сказать, когда ты ей совершенно посторонний человек? Ну хорошо. сыночка, не сердись. Что, тебе уже пора? Ну, иди. Хорошо, что ты летишь Аэрофлотом, это так надежно...

Подойди, я тебя поцелую. Кстати, ты помнишь, что там бушует СПИД? И можно, я попрошу этого молодого человека, чтобы он ничего не искал у тебя в чемодане? Он же все равно ничего не найдет, а ты потом не сможешь как следует сложиться. Ну, не надо так не надо. Прощай. То есть, конечно, до свидания, конечно... Иди. Стой. Сыночка! Если будет плохо с деньгами, ты не стесняйся, звони.

Те, кто уцелеет, расскажут, как было замечательно!

Из дальних странствий

- 
- Хай!
 - Чего?
 - Привет! Это я. Итс ми.
 - Итс кто?
 - Ну как же? Я жил тут, напротив!
 - Ах да, да... Припоминаю.
 - Ну как вы? Я тут не был семь лет...
 - Мы? Помаленьку.
 - У вас тут такие перемены...
 - У нас? Секундочку... Маш, говорят, у нас перемены!
 - ГОЛОС ИЗ КУХНИ.** Пускай идет к такой-то матери!
 - Вот видите, все по-прежнему.
 - Ну как же! А путч? А СНГ?
 - А-а. Так это у них.
 - А у вас...
 - А у нас по-прежнему. Ну вот разве что... Даже не знаю. Ну вот Петька женился.
 - Петька женился? Поздравляю!
 - Спасибо, он уже развелся. Что еще? Коганы вернулись.
 - Вернулись Коганы???
 - Ага. И снова уехали. Вы Петрачкова Иван Борисыча знали?
 - Петрачкова? А как же!
 - Умер он.
 - О господи!
 - Да чего там «о господи» — реанимировали. Так что ничего, буквально ничего не изменилось. Вот вы приезжайте к нам лет так через... Впрочем, вы где живете?
 - В Сан-Франциско.
 - Вот и живите себе. Если что-нибудь изменится, я вам сообщу по факсу.
 - У вас есть факс?
 - Если что-нибудь изменится — будет.

Занавес

Реплики в антракте

Позвольте мне со всей прямою криво усмехнуться.
В государстве метрономов синкопы вне закона.
У нашего прошлого большое будущее.
Я знаю их кулаки как свои пять пальцев...

Истории из актерской курилки

Короли и шуты

У одного короля был шут. Очень талантливый юноша. Король на него нарадоваться не мог.

— Покажи, — говорил, — министра. — Шут показывал. Король задира л мантию и дрыгал ножками прямо на троне. Смешливый был.

— Кóролеву, — говорил, — покажи. — Шут показывал. Король сползал с трона и ползал по зале на карачках. «Ой, — говорил, — не могу».

— А теперь, — сказал однажды, — покажи меня. — Шут показал и потом, на лесоповале, все не мог понять, что же он такого сделал.

У одного шута был король. Довольно просвещенный был король, с пониманием. Однажды, когда в стране остался только абсолютизм, а все остальное кончилось, он призвал шута.

— Ты, — говорит, — давай острее шути. Сегодня уже можно острее. Что это за вечные фиги в кармане. Не при феодализме живем. Хочешь сказать, что я дурак, — скажи. Ты хочешь сказать, что я дурак?

Шута хватил паралич, и оставшиеся два года жизни он смешил государя лежа и без слов.

У одного короля были шуты. Штук двадцать, и все с дипломами «массовик-затейник». Придет, бывало, с работы, в ладоши хлопнет — шуты сбегутся отовсюду, как тараканы на хлеб, и до ночи ему глупости свои говорят. Потом короля осенило, и он их всех назначил министрами. Теперь хорошее настроение и в рабочее время.

У одного короля был шут. Хороший человек, но еврей. Причем картавый, что в профессиональном смысле шло на пользу. То есть текст значения не имел, все уже и так смеялись. А он, дурак, репетировал, ночами не спал, по восемь редакций одной шутки...

У одного короля был шут. В юности пошучивал на свой страх и риск на площадях и был порот, вследствие чего поумнел. Потом подстерег во время охоты королевского портного и неожиданно рассмешил. Был замечен, вошел в штат, пробился к телу. Теперь пожилой человек, с доступом к государеву уху. Решает вопросы торговли пушной и раздает квоты на пряники. Недавно награжден орденом «За заслуги перед Родиной-матерью 12-й степени».

Юмор ненавидит.

Ночное

(Драма в двух актах)

Акт первый

Город. Ночь. Входит человек.

ЧЕЛОВЕК (*очень громко*). Все люди — братья! Все люди — братья! Все люди — братья!

Зажигается свет, выходят люди.

ЧЕЛОВЕК. Вот они! Вот их сколько! И все — братья!

Человека начинают бить.

ЧЕЛОВЕК. Братья! Только не ногами!

Акт второй

Город. Ночь. Входит человек.

ЧЕЛОВЕК. Ну что? Попрятались, гниды? Попрятались, овечьи хвосты? Попрятались, индюшачье дерьмо?

Окна не зажигаются, люди не выходят.

Занавес

Ошибочка

— Тук-тук-тук.

— Кто там?

— Рэкет.

— Какой рэкет, я учитель труда!

Рыдания из-за двери.

Занавес

Контакт

ЧЕЛОВЕК. Ты кто?

ИНОПЛАНЕТЯНИН. Бип. Бип.

ЧЕЛОВЕК. Чего?

ИНОПЛАНЕТЯНИН. Бип.

ЧЕЛОВЕК. Ты, сука, говори по-русски!

ИНОПЛАНЕТЯНИН. Бип! Бип! Бип!

ЧЕЛОВЕК. Знаешь что, вали отсюда, чудило пятиное, без тебя тошно.

Занавес

Под микроскопом

ПЕРВАЯ АМЕБА. Слушай, чего он на нас все смотрит?

ВТОРАЯ АМЕБА. Смотрит — значит, надо.

ПЕРВАЯ. Я не могу размножаться, когда он смотрит.

ВТОРАЯ. Ой, какие мы нежные.

ПЕРВАЯ. Да! Мы нежные! Нежные мы!

ВТОРАЯ. Хорош выдрючиваться, делай как все.

ПЕРВАЯ (плача). Это унижительно...

ВТОРАЯ. Не смейся людей!

Занавес

Апарт

Когда я слышу слово «народ», моя рука тянется к валидолу.

Звуки жизни

(Радиопьеса)

— Па-алучай! (Звук удара.)

— Я требую уважения к правам человека!

— На! (Звук удара.)

- Если вы не прекратите, всем будет хуже!
- А вот тебе и ногой! (*Звук удара.*)
- Низкий негодяй, умрите! (*Выстрел.*)
- Это вы мне?
- Вам.
- Странно. (*Стук тела.*)

Занавес

Чушкин и Амальгамский

ЧУШКИН (*поднося кулак*). Видал?

АМАЛЬГАМСКИЙ. Да уж не раз.

ЧУШКИН. И чего думаешь?

АМАЛЬГАМСКИЙ. Думаю, надо бы помолчать.

ЧУШКИН. А ты скажи.

АМАЛЬГАМСКИЙ. Зачем?

ЧУШКИН. Я же вижу, тебе свербит сказать.

АМАЛЬГАМСКИЙ. Спасибо, я потерплю.

ЧУШКИН. Во-от! Хитрожопые вы, за это вас народ и не любит!

Занавес

Патриот и прохожий

ПАТРИОТ (*входя с топором*). Где тут живут эти...

ПРОХОЖИЙ. Какие?

ПАТРИОТ. Ну, такие...

ПРОХОЖИЙ. Такие тут больше не живут.

Занавес

В песочнице

— Давай играть, будто ты серб, а я хорват!

— А это как?

— Ну, ты моих всех убьешь, а я твоих всех...

— Ух ты! Класс! А потом?

— А потом: будто ты абхаз, а я грузин! Мы с тобой пона-

рошку помиримся, а потом я сзади нападу. А Толька будет как будто русский, отвернется и ничего не заметит!

— Здравско! А потом?

— А потом ты будешь как будто еврей.

— А ты?

— А я не еврей.

— А кто?

— Да какая разница?

Занавес

Недоразумение

ПУТЕШЕСТВЕННИК. Скажите, это что за деревня?

УЧАСТНИК. Бородино.

ПУТЕШЕСТВЕННИК. А чего народу столько собралось?

УЧАСТНИК. А тут сейчас начнется...

ПУТЕШЕСТВЕННИК. Я отойду. Вы скажете, что я за вами?

Занавес

Время — вперед!

— Почему вы не уезжаете, Исаак Моисеевич?

— А что?

— Как «что»? Но все же уезжают!

— Разве?

— Все уже давно уехали, Исаак Моисеевич!

— Куда?

— Вы что, сами не знаете?

— Боже, неужели обратно в Бердичев?

— Какой Бердичев? В Израиль!

— Зачем?

— Как «зачем»? Вы что, газет не читаете?

— А что-нибудь случилось?

— Как «что-нибудь»? Как «что-нибудь»?

— Розочка, накапай молодому человеку валерьянки и включи радио: мы таки немного отстали от жизни.

Занавес

Среди бела дня

МИЛИЦИОНЕР. Гражданин, можно вас на минуточку?

ГРАЖДАНИН. Не-ет! Не-ет! Не-е-ет! *(Делает себе харакири.)*

Занавес

Свобода перемещения

ЧЕЛОВЕК *(входя с чемоданом).* Здесь жить нельзя! *(Уходит. Возвращается.)* И там нельзя! *(Садится на чемодан, цепенеет.)*

Занавес

Апарт

Пока одни несут свой крест, другие становятся гвоздями сезона.

Встреча с народом

(Из далекого прошлого)

ФАРАОН. Как жизнь, ребята?

РАБЫ. Плохо, господин.

ФАРАОН. Есть-пить дают?

РАБЫ. Мало, господин.

ФАРАОН. Я чувствую вашу озабоченность. Сейчас вообще трудное время. Сейчас нам всем надо проявить выдержку, не поддаваться эмоциям. Пока не отбалансируется механизм перехода на феодальные рельсы.

РАБЫ. Поскорей бы, господин.

ФАРАОН. А я так скажу: чтобы лучше жить, надо лучше работать. Мы на правильном пути. Мне кажется, вы согласны.

РАБЫ. Мы согласны, господин, только скажи надсмотрщикам, чтобы не били!

ФАРАОН. Это неоднозначный вопрос. Совсем без плетей мы еще не можем. Но знаете, я верю в египетский народ! По-моему, это ясно.

РАБЫ. Ясно, господин. Спасибо тебе за все.

ФАРАОН. Вам спасибо, что пригласили. Трудности у вас, конечно, еще будут, но я смотрю в будущее с оптимизмом.

Аплодисменты, крики «приходи еще».

Занавес



Христос и собрание

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Слово имеет Христос.

ХРИСТОС. Люди! Я Сын Божий!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Регламент!

ХРИСТОС. Я еще не сказал.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Сказал.

ХРИСТОС. Люди!

НАРОД (хором). Пошел вон!

ХРИСТОС. Люди! Вы братья!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Уважайте собрание.

ХРИСТОС. Побойтесь Бога!

Христу отключают микрофон.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Товарищи! В президиум поступила записка с предложением Христа распять. Поскольку других предложений нет, ставлю вопрос на голосование. Кто «за»? Ну, подавляющее большинство!

Занавес



Сизиф и болельщики

СИЗИФ (катя камень). О-ох! О-ох!

БОЛЕЛЬЩИКИ. Давай, Сизифушко, не посрами!

СИЗИФ. Подмогнули бы, а?

БОЛЕЛЬЩИКИ. Давай-давай-давай!

СИЗИФ. Эх, мать честна! (*Катит камень.*)

БОЛЕЛЬЩИКИ. Си-зиф! Си-зиф!

СИЗИФ. М-м-м.

БОЛЕЛЬЩИКИ. Держать, Сизя, держать!..

СИЗИФ. А-а-а!..

Камень срывается и летит вниз, давя болельщиков.

Занавес

Перестройка

МУЖИК (стоя босиком в луже и топая ногой). Свобода-а! Брежнев — дурак. Ленин — сволочь, Сталин — скотина, Горбач — козел! Свобода-а-а-а!..

Занавес

Вольтерьянцы

- Знаешь, что сказал Вольтер?
- Нет.
- Вольтер сказал: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов отдать жизнь за ваше право их свободно высказывать!»
- Прямо так и сказал?
- Ага.
- Еще раз повтори.
- «Я не разделяю ваших убеждений...»
- А они о чем спорили?
- Какая разница? Главное: этот «за», а тот «против», но терпит. Я, говорит, не разделяю ваших убеждений...
- Чьих?
- Что?
- Ну, кому он это говорил все время?
- Тебе не все равно?
- Так если какой-нибудь козел...
- Мало ли что! Козел не козел, а выскажись!
- Это кто сказал?
- Вольтер.
- Вольтер, а дурак.

Занавес

Мылодрама

(В четырех действиях с криками в антракте)

Действие первое, перестроечное

- Товарищи, мойте руки с мылом!
- Тамбовский волк тебе товарищ!

- Не хотим с мылом!
- С мылом — не хотим!
- Надо, милые. Ну что вы как маленькие. Перед едой-то...
- Ешь свое мыло сам!
- По-да-вись!
- Ату его!
- Айда жрать немывши!
- Свобода-а-а!

Конец первого действия

Действие второе, демократическое

- Господа! Подойдите понюхайте, как пахну.
- Чего идти? Отсюда слышно!
- Да, браток. Амбре у тебя...
- Это все ерунда. Вы меня вдохните.
- Ну-ка... Ох ты! Мать. Вот это да! Уши закладывает.
- Имеем право!
- Почешите мне вот здесь, господа.

Конец второго действия

Действие третье, смутное

- Вы кто?
- Мы? Местные.
- То-то я гляжу: ростом вроде местные, а лиц не видать.
- Лиц ему... Пятый год на ощупь скребемся.
- Слушайте, а что, если — того?..
- Чего?
- Я в смысле... может, помыться?
- Типун тебе на язык!
- Нет, я ведь так, пофантазировать просто... Помыться, положим, с этим... как же его... ну брусочки такие... у этого, которого мы повесили тогда в поликлинике... как же это называлось?
- Мыло.
- Вот! С мылом. Да горячей водой, как при тоталитаризме!

Конец третьего действия

Крики в антракте:

- Отойдите от меня!
- Куда?

- Немедленно прекратите пахнуть!
- Воздуху! Кислороду! Умира...

Действие четвертое, гигиеническое

- Строиться, уроды! Мылся — р-раз! Мылся — два! Смой! Руки к осмотру, сволочи!

Занавес

Реплики в антракте

Когда государство повернулось лицом к человеку, человек закричал от ужаса.

Все равно нищие — так уж хоть пойдем по миру!

Когда стране снится свобода, у пограничников встает шлагбаум.

Втянуть звук обратно в фанфары!

Человеку со школы разрешается пошуметь во время перемен.

Русский парламентаризм: Стенька на Стеньку...

Ветер перемен не должен свистеть в ушах.

Думали — оттепель, а это мартовские иды...

Дети согбенных вырастают горбатыми.

Иногда эпохи замирают, глядя на секундомер.

Бывает, что варвары занимают в империи руководящие посты.

Плешь на голове Цезаря не должна считаться достижением республиканцев.

Флюгер был приколотен намертво, и ветер обреченно дул в указанном направлении.

С рычагов власти надо снимать отпечатки пальцев.

Нашедшего выход затопчут первым.

Здесь вам не равнина

АЛЬПИНИСТ (*вползая на карачках*). Скажите, это цик Коммунизма?

НЕКТО (*сплевывая вниз*). Какого, бля, коммунизма... Вали отсюда, отмороженный, пока и тебя не приватизировали.

Занавес

Как ждет любовник молодой

- Слышь, чувак, где тут памятник Пушкину?
- А вон.
- Это вот этот, что ль, курчавый?
- Ну.
- Во, блин, здоровый какой. Слышь, чувак, тут телка не паслась? Такая, с пятым номером, черненькая, Татьяной звать.
- Да тут их, коз, до стеганой матери — Татьян, шматьян... Позекай.
- У, чувырла! Говорил ей: давай у «Мака», нет — «Пушкин, Пушкин»... Интеллигентка, японский бог! Найду — ноги вырву.

Медленно опускается занавес

Указатели

НЕПРУШЕЧКИН. Люди! Кто-нибудь наконец скажет мне, как пройти в...

ЛЮДИ (*указывая в разные стороны*). Туда! Туда! Туда!

НЕПРУШЕЧКИН. Всем спасибо. (*Стреляется.*)

Занавес

Не надо песен!

- Алло, вы меня слышите?
- Слышим.
- Это радио?
- Радио, говорите!
- Слушайте, это безобразие, к вам невозможно дозвониться!
- Говорите, вы в эфире!
- Я в эфире?
- Да, говорите!
- Ой. Чего-то я хотела сказать... Ах да. Все сволочи!
- Спасибо.
- Сволочи все.

- Большое спасибо за звонок.
- И вы тоже сволочь.
- Представьтесь, пожалуйста.
- Белорыбицына Анна Петровна.
- Уйдите из эфира, Анна Петровна!
- А можно я вам спою?
- Не надо.
- Это народная песня, но слова мои.

Поэт.

- Низкий вам поклон, Анна Петровна. Повесьте трубочку.
- Вы не любите народных песен?
- Я не люблю народных песен? Хочешь, я тебе сам спою, старая карга?

Поэт.

- Батюшки, сумасшедший!

Частые гудки.

- Мы продолжаем передачу из цикла «Демократия на марше».

Занавес



- Стоять!
- Стою.
- Ты за Булкина или за Телкина?
- Простите, я не местный. (Пауза.)
- Не ходи тут, мужик. Выборы у нас завтра, убить могут.

Занавес

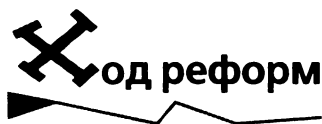
Специальное предложение

- Здравствуйте. У вас есть минутка?
- У меня их полно.
- Где вы проводите свой отпуск?
- Да вот тут и провожу.
- Вы бы хотели отдохнуть за границей?
- Хотел бы.
- Поздравляю! Вас ждет Ривьера.
- Меня?

- Вас.
- Кто вам сказал?
- Я сам вижу, ждет.
- Не дождется. Я бюджетник.
- Только не надо меня пугать.
- У меня зарплата триста грязными!
- Тогда вам нужен таймшер.
- Зачем?
- Забыться.
- Я не могу забыться, у меня семья!
- Вам надо забыться вместе с семьей.
- Вы предлагаете яду?
- Я предлагаю полупансион. С бонусом.
- Кто это?
- Приходите на презентацию, расскажу.
- А это бесплатно?
- Да.
- Я приду с женой.
- Пожалуйста.
- А у жены — брат...
- На здоровье.
- У брата — дети...
- Поздравляю.
- А горячее будет?
- Нет.
- А что будет?
- Вы будете приятно удивлены.
- Если будет горячее, скажите, мы не поедим.
- Мы сделаем вам специальное предложение.
- Специальное? Мне?
- Вам.
- Сделайте его сейчас!
- Речь идет о вилле на Лазурном Берегу.
- Где этот берег?
- Во Франции. Три этажа, два бассейна, парк с розарием, яхта с джакузи, всего — двести акров...
- А на сотки — это сколько?
- На сотки — вспотеете считать.
- От города далеко?
- От Монте-Карло полчаса.
- Мне надо подумать... Удобства в доме?

- Да.
- Беру!
- Там еще площадка для гольфа...
- Сказал же, беру. Ну-ка, покажите, где это. Ага, широта, долгота... Спасибо, записал.
- Зачем вам широта и долгота?
- Без этого нельзя.
- У вас кэш или по карточке?
- Чего?
- Деньги — чеком или налом?
- О деньгах вы забудьте. Я тридцать лет ковал для страны ядерный меч. У меня ничего нет, кроме красной кнопки.
- Но эта вилла стоит...
- Это она сейчас стоит. А нажму на кнопку — цена упадет.
- Но...
- Не сердите меня. Я еще зарплату за январь не получил, мне нажать кнопку — как почесаться... Я же сказал — беру.
- Это невозможно!
- Посмотрите, я правильно записал координаты? (*Пауза.*) Проследите, чтобы яхта стояла возле джакузи. Я скоро буду.

Занавес



- Алло, Москва? Как у вас там?
- Все путем.
- Сразу главное скажи: реформы идут?
- Идут.
- Перекрестись.
- Сукой буду, идут.
- Сам-то как?
- Функционирует.
- В теннис играет?
- Бросил.
- Дирижирует?
- Завязал.
- Барвиха, обслуга?..
- Само собой.
- Но реформы — я правильно тебя понял?
- Реформы идут.

- А эти все бузят?
- Как положено...
- Фонды, комитеты...
- Как положено.
- Каддафи-мадафи...
- Не то слово.
- А реформы, говоришь...
- Реформы идут!
- А правда, что лысый?..
- Правда.
- Не может быть!
- Все правда.
- И жилье, и строительство?
- Аск!
- А этот... правда, что он «Мерседесы» себе?..
- Два.
- Только два?
- А там всего два было.
- А никель стратегический?
- Это не он.
- На финики, по бартеру..
- Не он.
- А кто?
- Это Федька.
- Какой Федька?
- Наш Федька, из орготдела...
- А лицензии?
- А лицензии он сам выдает.
- А-а... Но главное — извини, я тут просто волнуюсь очень... как реформы?
- Реформы идут.
- Ну слава богу. А вообще как жизнь?
- Нормально. Жена на Канарах, дети в Оксфорде...
- Так ты один?
- Ну вот еще!
- То-то я слышу: душ.
- Это фонтан.
- Врешь!
- Фонтан, мраморный. Приезжай, искупаемся.
- Хорошо. Только честно скажи: возврат возможен?
- Какой возврат?

- Ну вообще, назад...
- Назад ничего возвращать не будем!
- Нет, я в смысле: реформы — идут?
- Реформы — идут.
- Просто гора с плеч. Просто не поверишь. Ну, привет народу!
- Какому народу?
- Российскому. Увидишь кого-нибудь из российского народа — от меня привет!
- А ты где?
- А черт его знает — тут облака внизу. Я ж тебе из самолета звоню...

Занавес

Жизнь замечательных людей

Ступкин, Сявкин и Шмульткин на презентации.

СТУПКИН (налегая на жульен). Вот оно, началось. (Отрезает ломоть ананаса.) Хорошо! (Мажет киви черной икрой.) Вот оно как. (Утирается.) Вот теперь все. (Ложится в блюдо с осетром.) Увидимся как-нибудь. (Умирает.)

Занавес

Выбор России

- Девушка, я вам нравлюсь?
- Нет.
- А вон тот, в портянках?
- Господи, ну и рожа!
- Вот видите. Так что давайте по-хорошему...

Занавес

Встреча с народом — 1993

ПРЕЗИДЕНТ. Низко кланяюсь вам. (Кланяется.)

НАРОД. Bravo! Бис! (Овацши.)

ПРЕЗИДЕНТ. Если бы не вы... (Кланяется.)

Народ плачет, утираясь триколором.

ПРЕЗИДЕНТ. Ну уж теперь я им... (*Кланяется.*)

НАРОД. Бо-рис! Бо-рис!

ПРЕЗИДЕНТ. Но если что — все к Моссовету! (*Кланяется.*)

Занавес

Сенаторы

(Диалог в римских банях)

МОЛОДОЙ. Я вам вот что скажу: грязная это вещь — политика!

СТАРЫЙ. Чудовищно грязная. Чу-до-вищ-но!

МОЛОДОЙ. Вот взять хоть меня. Третий только день в Капитолии, а уже, хвала богам, буквально с ног до головы...

СТАРЫЙ. Да, прилипает.

МОЛОДОЙ. И как же вы эдак всю жизнь-то?

СТАРЫЙ. Мы? Хорошо.

МОЛОДОЙ. Но ведь — грязно!

СТАРЫЙ. Грязно. Очень. Но хорошо.

Занавес

Закат империи

ВАРВАР (входя). Хороший город Рим. Баньки тут — зашибись!

Занавес

Апарт

Золотая Орда? Извините, цвет орды меня не интересует.

Еще апарт

Кентавр хорош тем, что может сам обосновать необходимость стойла.

По вызову

Ночь. Курофеев дрожит, лежа под одеялом.

КУРОФЕЕВ. Сейчас мне явится призрак. Вот уже сейчас.

ПРИЗРАК (являясь). Привет. Звали?

КУРОФЕЕВ. Так я и знал. А-а-а! А-а-а!

ПРИЗРАК. Ты чего, Курофеев?

КУРОФЕЕВ (*стучит*). Тьфу-тьфу-тьфу! (*Крестится.*) Свят-свят-свят!

ПРИЗРАК. Ты, Курофеев, совсем спятил.

КУРОФЕЕВ. Провались! Сгинь! Исчезни! А-а-а!

ПРИЗРАК. Хозяин — барин. (*Исчезает.*)

Занавес

Экзамен

— «Зачем кружится ветер в овраге, подъемлет лист и пыль несет?»

— Перепад давления.

— Садись, два.

Занавес

Смерть атеиста

ПИЧУГИН (*грозя в небо кулаком*). У-у-у!

ГОСПОДЬ (*посылая молнию*). Бац!

МОЛНИЯ (*попадая в Пичугина*). Хрясь!

ПИЧУГИН (*чернея на глазах*). Ну надо же!

Занавес

Рыба

— Слыхал: в ноябре — конец света!

— Какого числа?

— Пятнадцатого.

— Это у нас что?

— Пятница.

— А как же рыбалка?

— Какая рыбалка — конец света!

— Не, ну мы же договаривались.

— О чем?

— Насчет рыбалки.

— Петя, рыбы больше не будет!

- Так я что: зря снасти купил?
- Зря.
- Не, мы так не договаривались.
- С кем?
- А нельзя перенести на шестнадцатое?
- Кого?
- Ну конец этот.
- Нельзя!
- Ч-черт... Слушай, тебе снасти не нужны?

Занавес

Апарт

Человек произошел от обезьяны. Но с божьей помощью.

Эксперимент

(Старый сюжет в трех разговорах)

Разговор первый

Парк, утро. Из густого тумана, прогуливаясь, медленно выходят двое. Они немолоды. На обоих добротные пальто, кашне. Один, прихрамывая, опирается на суковатую палку. Второй заметно выше своего хромого спутника. Они беседуют.

ВЫСОКИЙ. Кстати, ты обратил внимание на Ионов?

ХРОМОЙ. Ионов, Ионов. Позволь, это благообразный такой? Обратил, как же.

ВЫСОКИЙ. Прекрасный человек! Непорочный, справедливый. Богобоязненный.

ХРОМОЙ. Я заметил, тебя вообще бояться...

ВЫСОКИЙ (без иронии). Еще бы.

ХРОМОЙ. Но — не любят

ВЫСОКИЙ. Я им не апельсин.

ХРОМОЙ. И то верно. (Пауза.) Позволь спросить, а как с жилищными условиями?

ВЫСОКИЙ. У меня?

ХРОМОЙ. Про тебя я в курсе. У протеже твоего, непорочного.

ВЫСОКИЙ. При чем тут?

ХРОМОЙ. Да так, любопытно.

ВЫСОКИЙ. Нормально с условиями.

ХРОМОЙ. Конкретнее, если можно.

ВЫСОКИЙ. Ну, особнячок двухэтажный. По Рублево-Успенскому.

ХРОМОЙ. Кирпич?

ВЫСОКИЙ. Разумеется.

ХРОМОЙ. Участочек?

ВЫСОКИЙ. С обслугой, сорок соток. Живет, с божьей помощью, неплохо.

ХРОМОЙ. Так, так...

Остановившись у большого муравейника, начинает с интересом ворошить его палкой.

О! побежали, маленькие, побежали...

ВЫСОКИЙ. Не отвлекайся!

ХРОМОЙ. Извини. Привычка.

ВЫСОКИЙ. Между прочим, дурная.

ХРОМОЙ. Это надо доказать.

ВЫСОКИЙ (*морщась*). Ладно, ладно! Софист.

ХРОМОЙ. Отнюдь! Я — практик. Так о чем мы?

ВЫСОКИЙ. Мы об этом... а, ч-черт...

ХРОМОЙ (*с готовностью*). Да-да?

ВЫСОКИЙ. Забыл фамилию.

ХРОМОЙ (*понимающе*). Годы...

ВЫСОКИЙ. Кто бы говорил.

ХРОМОЙ. Ионов его фамилия.

ВЫСОКИЙ. Точно.

ХРОМОЙ. Мудрый. Богобоязненный. Сорок соток.

ВЫСОКИЙ. Напрасная, между прочим, ирония. Да, я воздал ему. Но — по заслугам!

ХРОМОЙ. Ты, как всегда, торопишься.

ВЫСОКИЙ. Я наблюдаю его шестьдесят лет!

ХРОМОЙ. Шестьдесят лет наблюдать человека — и уже делать выводы? О-хо-хо! Тебе дай волю — опять мироздание за неделю...

ВЫСОКИЙ. Не богохульствуй хоть при мне-то.

ХРОМОЙ. Ладно, не будем о грустном. Итак, Ионов!

ВЫСОКИЙ. Ионов — образец. И пожалуйста, не возражай. Тут тебе ничего не светит.

ХРОМОЙ. Да мне и не надо У меня своя номенклатура, у тебя — своя. (*Пауза.*) Только что-то не верится.

ВЫСОКИЙ. Отчего же?

ХРОМОЙ. В особнячке, на сорока сотках... Дети небось пристроены?

ВЫСОКИЙ. Дети в порядке.

ХРОМОЙ. Ну вот.

ВЫСОКИЙ. Что?

ХРОМОЙ. Вот я и говорю: может, недаром богобоязненный Ионов твой?

ВЫСОКИЙ. Что, что?

ХРОМОЙ. Может, никакой не образец он, а просто — опытный экземпляр?

ВЫСОКИЙ. Это пошло.

ХРОМОЙ. Жизнь вообще пошлая штука. Не находишь?

Срывает травинку и ловит на нее муравья.

ХРОМОЙ. О! побежал, побежал...

ВЫСОКИЙ. Не отвлекайся!

ХРОМОЙ. Извини. (*Слизывает муравья с травинки.*) Ну так что с Ионовым твоим?

ВЫСОКИЙ. Что?

ХРОМОЙ. Давай разберемся с ним? Поскребем амальгамку-то?

ВЫСОКИЙ. Мы с тобой?

ХРОМОЙ. А почему нет?

ВЫСОКИЙ. Это исключено.

ХРОМОЙ. Да кто узнает-то? (*Пауза.*) По рукам?

ВЫСОКИЙ. Опять пари?

ХРОМОЙ. Почему непременно пари? Просто эксперимент, из любви к истине. Ты истину любишь?

ВЫСОКИЙ. Я сам истина.

ХРОМОЙ. Извини, запомятовал.

Несколько секунд идут молча.

ВЫСОКИЙ. Так что ты говоришь?..

ХРОМОЙ. Я говорю: эксперимент. (*Пауза.*) Притом во славу божию. Если, конечно, ты не заблуждаешься насчет Иопова.

ВЫСОКИЙ (*сухо*). Конкретнее.

ХРОМОЙ. Конкретнее: жилищные условия. Их надо уху-д-шить. Кардинально. А лучше вообще того... сжечь, напри-мер.

ВЫСОКИЙ. Зачем?

ХРОМОЙ. Как зачем? Послушать, что скажет!

ВЫСОКИЙ. Да что он вообще может сказать?

ХРОМОЙ. А вот слушаем.

ВЫСОКИЙ. Надеешься, скажет что-нибудь... эдакое... про меня?

ХРОМОЙ. Признаться, надеюсь.

ВЫСОКИЙ. Напрасно.

ХРОМОЙ. Так по рукам?

ВЫСОКИЙ. Неугомонный...

ХРОМОЙ. По рукам? *(Пауза.)*

ВЫСОКИЙ. Ну хорошо. Предположим, согласен.

ХРОМОЙ. Вот и отлично. Давно была у меня эта мысль...

ВЫСОКИЙ. Мысли бывают у меня! И то редко.

ХРОМОЙ. Поздравляю. Мыслишь — следовательно, существуешь...

ВЫСОКИЙ. Не отвлекайся.

ХРОМОЙ. Как скажешь. Итак...

ВЫСОКИЙ. Пожар?

ХРОМОЙ. Пожар. Хотя дело хозяйское. Может, и не пожар. Может, наоборот, наводнение. Землетрясение, сель, ядерная бомбардировка...

ВЫСОКИЙ. Ну, ну, размечтался. К чему расходовать энергию? Утюг оставили, спичку бросили...

ХРОМОЙ. Тебе виднее. Но чтоб дотла.

ВЫСОКИЙ. Зачем дотла?

ХРОМОЙ. Для чистоты эксперимента. Чтобы на ровном обугленном месте любил господу своего. Непременно дотла.

ВЫСОКИЙ. Ладно. Дотла так дотла. Это, в общем, все равно.

ХРОМОЙ. Кому как... И еще... *(Пауза.)*

ВЫСОКИЙ. Говори.

ХРОМОЙ. Детишек бы тоже того... прибрать бы. Для чистоты эксперимента, а? *(Пауза.)*

ВЫСОКИЙ. Что ж. Это даже... забавно.

ХРОМОЙ. Когда со мной скучно-то было? Ну? Сам сделаешь — или?.. *(Высокий морщится.)* Понял, понял — отдыхай. Вот расписочку только, если можно...

ВЫСОКИЙ. Какую расписочку?

ХРОМОЙ. Ордерок расходный. На домик, на детей...

ВЫСОКИЙ. Бюрократ.

ХРОМОЙ (*разводя руками*). Порядок, отчетность... Мы же не маленькие.

ВЫСОКИЙ. Держи. (*Вынимает из кармана квадрат плотной бумаги.*)

ХРОМОЙ. Вот это, можно сказать, по-божески... Благодарствуйте. (*Аккуратно прячет лист.*) Ну, до завтра! Пожар в полдень, не пропусти. (*Улыбается.*) Будет красиво... (*Тает в тумане.*)

Разговор второй

Уже вовсе и не туман, а пар. Сауна. На лавке, закутанный в простыню, сидит Высокий. Из парилки, смугл и волосат, выходит Хромой. Он в шапочке и с веником.

ВЫСОКИЙ. Ну как?

ХРОМОЙ. Отлично! Парку бы еще подбавить...

ВЫСОКИЙ. Не дома! Ишь, пригрелся, парку ему.. Зубы-то не заговаривай! Знаешь, зачем зван!

ХРОМОЙ. Ты о чем?

ВЫСОКИЙ. Прекрасно ты понимаешь, о чем я!

ХРОМОЙ. А-а... Об Ионове?

ВЫСОКИЙ. О нем, о нем.

ХРОМОЙ. М-да... Действительно, странный случай. Ему дом спалили к чертям собачьим, а он доволен. Детей похерили, а он голову пеплом посыпал — и сидит тише мыши. Бог, видите ли, дал, бог и взял... (*Пожимает плечами.*) Слушай, а может, он просто... того, а?

ВЫСОКИЙ. Кого?

ХРОМОЙ. Не в себе.

ВЫСОКИЙ. Он абсолютно нормален.

ХРОМОЙ (*смеясь, грозит пальчиком*). Э-э... Все относительно — не слыхал?

ВЫСОКИЙ. Мне объясняли. Но я не понял.

ХРОМОЙ. А очень просто. Вот, например, ты говоришь: он нормален. А у меня есть парочка психиатров — так он у них завтра к койке примотанный лежать будет, с тусклым взглядом и головой трясти.

ВЫСОКИЙ. Бандиты они, а не психиатры.

ХРОМОЙ. Конечно. Но кто не бандит? Вот ты, между нами говоря, ни за что ни про что дом человеку спалил. Не говоря уж о детях.

ВЫСОКИЙ (*строго*). Это был эксперимент. Эксперимент, закончившийся к вящей славе божией.

ХРОМОЙ. Так уж прямо и закончившийся? (*Пауза.*) Вот за что люблю тебя — ловишь с полуслова. Приятно общаться.

ВЫСОКИЙ. В чем дело?

ХРОМОЙ. В Ионове дело. В рабе твоём бездомном, пеплом посыпанном. Неужто так и оставишь его?

ВЫСОКИЙ. За ИONOва не бойся. Дом застрахован. Со стройматериалами помогу, детей пошлю. Заживет не хуже людей.

ХРОМОЙ. Вот этого и боюсь.

ВЫСОКИЙ. То есть?

ХРОМОЙ. Так ведь вернешь ему все — да еще и вознагородишь, пожалуй, не разобравшись!

ВЫСОКИЙ. Что значит «не разобравшись»? Дом ему спалили?

ХРОМОЙ. Как свечку.

ВЫСОКИЙ. Детей уничтожили?

ХРОМОЙ. Поголовно.

ВЫСОКИЙ. Ну! А он хоть бы пикнул!

ХРОМОЙ. Контролирует себя. Сдерживается. Я же говорил: опытный экземпляр!

ВЫСОКИЙ. Мне главное — как ведет себя.

ХРОМОЙ. А в душу заглянуть?

ВЫСОКИЙ. Меня подробности не интересуют.

ХРОМОЙ. А напрасно! Самое интересное в человеке — именно подробности. Например: что он там себе думает, когда славит тебя, на пепелище на детских костях сидя?

ВЫСОКИЙ. И что же он, по-твоему, думает?

ХРОМОЙ. Чужая душа — потемки! Но в виде исключения можно и с фонариком...

ВЫСОКИЙ. Ну и?..

ХРОМОЙ. Я ничего не утверждаю. Это только предположение. Рабочая гипотеза.

ВЫСОКИЙ. Короче!

ХРОМОЙ. Короче, не рад он. Внутренне сильно недоволен. Ропщет, можно сказать!

ВЫСОКИЙ. На меня?

ХРОМОЙ. Ну не на меня же.

ВЫСОКИЙ. Погоди-ка.

Открывает дверь сауны. За ней — облака. Смотрит куда-то вниз.

ВЫСОКИЙ. Ну, одежда разодрана. Ну, голова в пепле, действительно. Жена плачет. Сам грязный очень. На коленях стоит, качается туда-сюда... Вспоминает детей. (*Удивленно.*) Очень расстроен! Но — не ропщет, нет!

ХРОМОЙ. Торопишься! Опять ты торопишься! Одним глазком глянул — и готово! А ведь там не левиафан какой-нибудь — человек все-таки, венец творения...

ВЫСОКИЙ. Не усложняй. Глина — она глина и есть.

ХРОМОЙ. Однако ж не свистулька! Там, в глине этой, помимо божьего промысла, чего только не копошится! Самолюбие, идеи разные... Тут иной раз и в микроскоп посмотреть надо. А иной раз — и ланцетом разрезик-другой сделать. Для пущей ясности.

ВЫСОКИЙ. К чему это ты?

ХРОМОЙ. Что?

ВЫСОКИЙ. Да вот насчет ланцета.

ХРОМОЙ. Насчет ланцета — это к слову. А вот насчет Ионова говорю тебе: нечисто тут. Как профессионал говорю. Неспроста он богобоязненный такой. Понял, откуда ветер дует!

ВЫСОКИЙ. Ты считаешь?..

ХРОМОЙ. А чего там считать! Качается туда-сюда, а сам такое думает... Говорить не хочется.

ВЫСОКИЙ. Но, но!

ХРОМОЙ. Да что я-то? Это же он.

ВЫСОКИЙ. Погоди-ка!

Открывает дверь сауны. Долго и пристально смотрит вниз.

ВЫСОКИЙ. Нет. Не может быть.

ХРОМОЙ. Ну и слава богу, если ошибаюсь. Кто без греха. Но проверить все-таки не мешает.

ВЫСОКИЙ. Излагай, излагай...

ХРОМОЙ. Испытать его надо. До самого донышка испытать.

ВЫСОКИЙ. Уж куда дальше-то?

ХРОМОЙ. Не скажи. Мы покуда только вокруг да около ходили — теперь самое время плоти коснуться... Рассудок затмить. По черным полям на край доски провести — да там, на самом краешке, и оставить на время! Вот тогда и узнаем, что у него на душе, у твоего Ионова.

ВЫСОКИЙ. А не жалко?

ХРОМОЙ. Как не жалко! Были бы слезы — заплакал бы! Но что поделать: за истину надо платить. И потом: дело-то общее...

ВЫСОКИЙ. У нас с тобой?

ХРОМОЙ. Конечно. Ну чего, в самом деле... Все свои.

(Пауза.)

ВЫСОКИЙ. Хорошо, вот он в твоей руке.

ХРОМОЙ. Ага!

ВЫСОКИЙ. Только чур не до смерти.

ХРОМОЙ. Обижаешь. Зачем он мне мертвый-то? Сам же первый из него великомученика сделаешь! Нетушки, пускай живет. Но так живет, чтобы все время умереть хотелось!

ВЫСОКИЙ. Конкретнее.

ХРОМОЙ. Что-нибудь придумаю... С фантазией, слава богу, порядок!

ВЫСОКИЙ. Ты давай без экзотики.

ХРОМОЙ. Какая экзотика, что ты! Я же не маньяк. Ну, с легким паром, коллега! Как говорится — следите за рекламой!

Вышагивает из сауны и пропадает в ночных облаках.

Разговор третий

Сад. Чугунная ограда тонет в тумане. В шезлонге, у сервировочного столика, пьет чай Высокий. В кустах заливается соловей.

ВЫСОКИЙ. Надоел. *(Соловей замолкает. Высокий, обращаясь в пространство.)* С чем пожаловал?

ХРОМОЙ *(появляясь).* Да так. Проходил мимо — дай, думаю, зайду, давно не виделись.

ВЫСОКИЙ. Угощайся.

ХРОМОЙ. Спасибо, только что пообедал у себя. Кстати, решил прогуляться. Врачи рекомендуют после еды.

ВЫСОКИЙ. Садись.

ХРОМОЙ. Отчего же, присесть можно. Разговор не короткий.

ХРОМОЙ. Увы.

ВЫСОКИЙ. Насквозь тебя вижу.

ХРОМОЙ. Так я ж весь как на ладони! Никаких вторых планов, раздвоений души... Простой, как жизнь.

ВЫСОКИЙ. К делу.

ХРОМОЙ. К делу. Заговорил Ионов-то...

ВЫСОКИЙ. Заговорил.

ХРОМОЙ. Ай-яй-яй. Неделю целую молчал и вдруг заговорил. И главное — как! Просто, можно сказать, поэт! Погибни, говорит, день, в который я родился! Так вот, сразу.

ВЫСОКИЙ. Не глухой, слышал.

ХРОМОЙ. Еще бы! Пятый день смерти просит.

ВЫСОКИЙ. Но меня — не похулил.

ХРОМОЙ. Все впереди.

ВЫСОКИЙ. Что ты с ним сделал?

ХРОМОЙ. Я? Помилуй! Даже странно... Состоялось коллективное решение...

ВЫСОКИЙ. Не паясничай. Что у него?

ХРОМОЙ. Проказа.

ВЫСОКИЙ. Звучит шаловливо.

ХРОМОЙ. Да и выглядит ничего себе. Взглянуть не желаешь?

ВЫСОКИЙ. Придет время — взгляну.

ХРОМОЙ. Не откладывай на завтра... Зовет он тебя. Объясниться желает. Узнать: за что?

ВЫСОКИЙ. Вот я прямо сейчас все брошу и побегу объясняться.

ХРОМОЙ. Правильно. Они ему так и сказали.

ВЫСОКИЙ. Да, кстати! Откуда эти трое?

ХРОМОЙ. Которые вокруг сидят?

ВЫСОКИЙ. Да.

ХРОМОЙ. Это друзья его.

ВЫСОКИЙ. Друзья? Что-то не припоминаю...

ХРОМОЙ. Друзья детства. Не оставили в беде, пришли посочувствовать.

ВЫСОКИЙ. Твоя работа?

ХРОМОЙ. Моя.

ВЫСОКИЙ. Это провокация.

ХРОМОЙ. Что ты! Провокации разве такие бывают?

ВЫСОКИЙ. Провокация чистой воды! Вон его как трясет от них! Того гляди, ударит.

ХРОМОЙ. Да, нервы у старика ни к черту. Пардон.

ВЫСОКИЙ. Твои люди кого хошь из себя выведут!

ХРОМОЙ. А что такое?

ВЫСОКИЙ. Что такое? А вот (*указывая куда-то вниз*) — долговязый этот каяться его зовет! В чем ему каяться, Ионову?

ХРОМОЙ. В чем покаяться, у приличного человека всегда найдется.

ВЫСОКИЙ. Софистика! Другой, жирный, рот ему затыкает, угрожает от моего имени... Где ты откопал этих сукиных детей?

ХРОМОЙ. Земля велика.

ВЫСОКИЙ. Но особенно третий старается, плешивый: на все, говорит, божий промысел! Он, говорит, и святым своим не доверяет, небеса ему и те нечисты... Это про меня-то. Смотри!

ХРОМОЙ. Не бери в голову. Утешает старика как может.

ВЫСОКИЙ. Я им устрою утешение. Самозванцы! И ты тоже хорош: подсадку устроил! Как маленький, честное слово...

ХРОМОЙ. При чем тут возраст? Проверенная методика...

ВЫСОКИЙ. «Методика»... А Ионов — ни слова против меня. Ни словечка! И твоим спуску не дает. Мне тут записали пару мест. Вот. Вы, говорит, сплетчики лжи! А? Каково?

ХРОМОЙ. Неплохо. А еще он сказал им: «Я хотел бы состязаться с богом». (*Пауза.*) Тебе — не записали?

ВЫСОКИЙ. Как он сказал?

ХРОМОЙ (*раздельно*). «Я хотел бы — состязаться — с богом». Я, говорит, завел на него судебное дело. А то, говорит, что же получается?

ВЫСОКИЙ. Что?

ХРОМОЙ. Получается, говорит, нет пользы человеку в благоугождении богу!

ВЫСОКИЙ. Это он сказал — или ты?

ХРОМОЙ. Он.

ВЫСОКИЙ. Нету пользы?

ХРОМОЙ. Говорит: нету.

ВЫСОКИЙ. Не врешь?

ХРОМОЙ. Моя специальность — неприятная правда.

ВЫСОКИЙ. Когда он это сказал?

ХРОМОЙ. Сегодня, в четырнадцать сорок три.

ВЫСОКИЙ. Мне не докладывали.

ХРОМОЙ. Распустил ты аппарат. Мне сразу доложили.

ВЫСОКИЙ. Что он еще говорил?

ХРОМОЙ. Так... Все больше вопросы задавал.

ВЫСОКИЙ. Кому?

ХРОМОЙ. Вообще. В пространство.

ВЫСОКИЙ. Например?

ХРОМОЙ. Например, спрашивал: почему беззаконные достигают старости и умирают в полноте сил своих, а праведник гниет заживо? Не ясно ему.

ВЫСОКИЙ. Еще вопросы были?

ХРОМОЙ. В основном — этот.

ВЫСОКИЙ. И что, кто-нибудь ответил ему из... пространства?

ХРОМОЙ. Отвечали, но шепотом. Ты, сказали, сначала думай, а потом говори.

ВЫСОКИЙ. Это долговязый сказал?

ХРОМОЙ. Ага.

ВЫСОКИЙ. Хороший совет.

ХРОМОЙ. Невыполнимый, к сожалению. Языки-то ты всем дал, а мозгов... Что ж, так всю жизнь и молчать?

ВЫСОКИЙ. Не отвлекайся. Что остальные?

ХРОМОЙ. Жирный возмутился. Речь говорить начал, все пепелище слюной забрызгал... Кричал: ложь это!

ВЫСОКИЙ. Да ну?

ХРОМОЙ. Ей-богу. Раз, кричал, гниешь заживо, сволочь, значит, никакой не праведник ты! Поделом тебе!

ВЫСОКИЙ. Дурак.

ХРОМОЙ. С кадрами вообще беда.

ВЫСОКИЙ. А что плешивый?

ХРОМОЙ. Плешивый с другой стороны зашел. Что, говорит, за удовольствие вседержителю, что ты праведен?

ВЫСОКИЙ. Слушай, они там у тебя совсем распоясались!

ХРОМОЙ. Разве, говорит, может человек доставлять пользу богу? Разумный доставляет пользу себе самому.

ВЫСОКИЙ. Он у тебя что, с философским образованием?

ХРОМОЙ. Нет. Просто демагог.

ВЫСОКИЙ. Мерзавцы. Все трое.

ХРОМОЙ. Это уж будьте покойны. Мерзее некуда. Да и четвертый... *(Пауза.)*

ВЫСОКИЙ. Эх, Ионов, Ионов, огорчил ты меня.

ХРОМОЙ. Чего уж так расстраиваться...

ВЫСОКИЙ. Пользы ему, видите ли... Хорош!

ХРОМОЙ. Все они там внизу хороши, если копнуть. Говорил я тебе: не надо было в шестой день работать! Отдохнул бы как человек...

ВЫСОКИЙ. Это тоже был эксперимент.

ХРОМОЙ. Понимаю. Молодость... Человек — это звучит гордо, и все такое... Звучит гордо, да выглядит отвратительно!

ВЫСОКИЙ. Лепил с себя.

ХРОМОЙ. Ну-у... Модель, кто спорит, совершенная. Но — глина... сопротивление материала... Ты им про вечное — а им особнячок отдай, детей верни, здоровье поправь. Кой им черт в этом здоровье, понять не могу! Мелочные людишки... Бог, можно сказать, с ними... Круглосуточно.

ВЫСОКИЙ. Не лезь копытами в душу.

ХРОМОЙ. Если обидел — извини.

ВЫСОКИЙ. Я могу обидеть. Меня — труднее. Итак! Provokаторов с пепелища убери. Сей же час убери, пока я их не испепелил. Эксперимент окончен.

ХРОМОЙ. Убрать — дело нехитрое. *(Плюет вниз.)* Видишь, уже и след простыл... Только что-то не пойму я... А как же подопытный наш?

ВЫСОКИЙ. С подопытным говорить буду. Сам!

ХРОМОЙ. Говорить? Он в суд тебя тащит, как президента какого-нибудь — прости, господи! — а ты: говорить?

ВЫСОКИЙ. Ты-то чего разволновался?

ХРОМОЙ. Как чего? Это же подрыв основ! Эдак каждый кусок глины начнет права качать! Он же атеист без пяти минут!

ВЫСОКИЙ. Не преувеличивай. И потом: атеисты — часть замысла. Чтобы скучно не было. А насчет «без пяти минут» — так за пять минут этих я... папу римского из него сделаю! Хоть он и прокаженный.

ХРОМОЙ. Ну и сделай для смеху папу, а потом мне отдай!

ВЫСОКИЙ. Насовсем?

ХРОМОЙ. Насовсем.

ВЫСОКИЙ. Насовсем — не могу.

ХРОМОЙ. Почему?

ВЫСОКИЙ. Потому что! Маленький ты, что ли? Представляешь, что начнется, какие разговоры пойдут? Кадры разбазариваю, своих сдаю... Ты даже понятия не имеешь, с кем мне тут, в высших сферах, приходится общаться! .

ХРОМОЙ. Да плюнь ты на них! Тоже святые нашлись, политику диктовать... Оставь мне Ионова. Оставь!

ВЫСОКИЙ. Не проси. Рад бы — не могу. *(Пауза.)*

ХРОМОЙ. Жаль. А то бы отдал мне их всех?

ВЫСОКИЙ. Кого — всех?

ХРОМОЙ. Ну вообще. Оптом. А? Вот бы славно было. Что тебе стоит? Гулять так гулять. Разом бы все узлы и развязали. У меня на Ближнем Востоке парочка лидеров есть — любо-дорого посмотреть! И помогать им не надо, сами Судный день устроят... А когда пепел развеется, сядем вместе — но уже не за неделю, смешной срок! — а основательно, с учетом, так сказать, допущенных ошибок... Без вольнодумств этих. Я помогу. Там *(указывает вниз)* нас поймут. Давай тряхнем стариной, а? Натура у тебя широкая, я ж тебя знаю, самому небось охота...

ВЫСОКИЙ. Изыди.

ХРОМОЙ. Как хочешь. Я помочь хотел.

ВЫСОКИЙ. Спасибо.

ХРОМОЙ. Не за что. *(Пауза.)* Ну? Будешь восстанавливать статус-кво?

ВЫСОКИЙ. Да.

ХРОМОЙ. Сорок соток, особнячок?

ВЫСОКИЙ. Да.

ХРОМОЙ. Вот скука-то. Такое качественное пепелище...

ВЫСОКИЙ. Изыди.

ХРОМОЙ. Про прислугу не забудь: сгорела.

ВЫСОКИЙ. Прислуга будет новая.

ХРОМОЙ. А дети?

ВЫСОКИЙ. И дети новые.

ХРОМОЙ. Ионов — тоже новый?

ВЫСОКИЙ. Ионов — старый. Мозги только на место поставлю...

ХРОМОЙ. Больно ты добрый.

ВЫСОКИЙ. Это да. Посмотреть останешься?

ХРОМОЙ. Что ты, только душу травить...

ВЫСОКИЙ. Тогда изыди.

ХРОМОЙ. Уже изшел практически. Ну, до новых встреч в эфире. *(Уходит и тут же возвращается.)* А славно было бы... Всех разом. А? *(Исчезает.)*

ВЫСОКИЙ. «Всех разом»... Может, и стоило бы. Расплодились, размножились, теперь до каждого не доберешься...

А доберешься — и сам не рад. Характер дурной, самомнение вселенское... Вот хоть этот, прокаженный... как же его... а, не важно. Пользы ему, видите ли, нету! А я не зубная паста! (*Пауза.*) И зачем я опять с ними связался? Теперь диспут устраивать, общественное мнение организовывать, апокриф создавать... На что вечность уходит, а? Иной раз думаешь: а не послать ли все... к этому? Но нет, нельзя. Кто придумал сюжет, тому и отвечать за развязку. И потом: они же верят! Не все, конечно, но многие... как ни странно... Теперь уже ничего не поделаешь. (*Тяжело вздыхает.*) Ну, пора. А то ляпнет еще чего-нибудь сгоряча, потом греха не оберешься... Эй, ты! вниз! тебе говорю! Как тебя там? Ионов! Это я. «Кто, кто»... Я!

Гром и молния.

Занавес

Реплики в антракте

Бессмертные все умерли. Осталось два-три долгожителя.

Эволюция началась с того, что обезьяна почувствовала себя человеком.

Когда истину долго отстаивают, вера выпадает в осадок.

Я и сам думал, что Харе Кришна, а оказалось — Аллах акбар!

Церковь поставила божий промысел на попа.

Относительно маятника Вселенная все время мотается туда-сюда.

Богов много, а мы одни. Пора поставить крест на Голгофе!



— Это ящик Пандоры. Если его открыть, всем хана. Открывать?

— Открывай!

— Так ить хана...

— Давай, не томи.

- Всем-всем хана.
- Всем-всем?
- Ага.
- И Козлову?
- Как же без Козлова?
- Открыва-ай!

Занавес

Революционная ситуация

ВЕРХИ. Вы че, не хотите жить по-старому?

НИЗЫ (*почесываясь*). Не-а...

ВЕРХИ. Вот и нам уже того...

НИЗЫ. Кого?

ВЕРХИ. Неможется нам. Управлять-то.

НИЗЫ. Ну и?

ВЕРХИ. Так это... Чего делать-то будем, нет?

НИЗЫ. Да задавиться.

ВЕРХИ. В смысле?

НИЗЫ. В смысле: гребись оно веслом!

ВЕРХИ. Так, значит, ничего не будет?

НИЗЫ. Не. (*Плюют.*) Отдыхайте пока.

Занавес

На ветвях власти

НАРОД (*входя*). Это ветви власти?

КРИКИ. Они, они!

НАРОД (*озираясь*). И который тут у вас будет самый легитимный?

КРИКИ. Я! Нет, я! Молчи, урод! Моя будет самый легитимный!

НАРОД. Вы тут все, что ли, легитимные?

КРИКИ. В натуре! Век воли не видать! Уйди из-под ветвей!

Улюлюканье.

НАРОД. Не пойму я что-то...

КРИКИ. Не надо тебе ничего понимать! Иди работай!

Хруст ветвей, чавканье, выстрелы.

Занавес

ВЫСШАЯ ИНСТАНЦИЯ



- Слушаю вас.
- У меня проблемы...
- Вижу.
- Мне не платят зарплату.
- Ужас...
- Да! Два года.
- Я говорю: ужас, как от вас пахнет! Встаньте там, у двери.
- Простите.
- И пользуйтесь дезодорантом. Вы живете среди людей.
- Я...
- Слушаю вас.
- Два года — ни копейки... Написал в райсовет — оштрафовали. Пришел в милицию — выписали из квартиры.
- Все?
- Нет. Я пожаловался в прокуратуру.
- Вижу.
- Да. Мне сломали руку и выггли клеймо, запрещающее въезд в пределы Садового кольца.
- На левом боку.
- Откуда вы знаете?
- В Конституционный суд обращались?
- Да.
- И что?
- Дочь забрали в армию.
- Хорошо. Дальше.
- Что?
- Изложите суть вопроса.
- Мне не платят деньги. Меня выписали из квартиры...
- Я уже это слышал.
- Мне сломали руку!
- Вторую?
- Нет, первую.
- Вы уже говорили об этом! Старайтесь не повторяться, у нас очень много работы... Вас тут миллионы таких.
- Мне выггли клеймо.
- Зачем вы сюда пришли?
- Мне сказали, здесь...
- Да, и что?

- Я хотел...
- Короче.
- Но я...
- Время! (*Пауза.*)
- Я пойду?
- Спасибо, что напомнили. (*В трубку.*) Павел Семеныч, тут ко мне пришел человек, которому не нравится жить на родине — сломайте ему, пожалуйста, левую ногу.

Занавес

Спрашивайте — отвечаем

- Господи, за что?
- За все.
- Так я же ничего не делал!
- А вот как раз за это!

Занавес

Общественное мнение

КОРРЕСПОНДЕНТ. Что вы думаете о правительстве?

ПРОХОЖИЙ.....!

КОРРЕСПОНДЕНТ. Неужели?

ПРОХОЖИЙ.....!

КОРРЕСПОНДЕНТ. Спасибо.

ПРОХОЖИЙ.....!

Занавес

Выездной концерт

ВЕДУЩАЯ. Паганини! Каприз-фантазия! Опус двадцать семь! Исполняет Игнат Закорюкин! (*Пауза.*) Закорюки-ин! (*Пауза.*) Опять напился, подлец. (*Улыбается.*) Акробатический этюд! Исполняют Марина и Олег Сивцевы! (*Пауза.*) Сив-цевы-ы-ы! (*Заглядывает в кулису, отшатывается.*) Молодожены, блин! (*Улыбается.*) Ну и черт с ними. Танец с саблями! (*Пауза.*) Па-де-де из оперы «Щелкунчик»!

(Пауза.) Вологодские попевки! Дрессированные собаки!
Есть кто живой? (Пауза.) Концерт окончен! (Уходит.)

Занавес

Ток-шоу

ВЕДУЩИЙ. Добрый вечер! Сегодня в нашем ток-шоу в острой дискуссии о путях развития законности сойдутся милиционер Ангелюк и вор в законе Злыднев. поприветствуем наших гостей!

Входят и садятся Злыднев и Ангелюк.

ВЕДУЩИЙ. Итак, справа от меня — полковник Ангелюк... или нет, простите. Да! Ангелюк слева. А справа, если я не ошибаюсь... Нет, пожалуй... справа Ангелюк, ведь он в форме. А впрочем... Ну да. В общем, один из них Ангелюк, а другой Злыднев. Аплодисменты в студии!

Занавес

У синего моря

ЗОЛОТАЯ РЫБКА. Отпусти меня, старик, а я тебе три желания исполню.

СТАРИК. Умори старуху, рыбка, а то сил моих больше нет.

ЗОЛОТАЯ РЫБКА. Уже.

СТАРИК. Точно?

ЗОЛОТАЯ РЫБКА. У нас как в аптеке.

СТАРИК. Тогда оживи и то же самое — еще два раза.

Занавес

Как хорошо быть патриотом

СЕНЬКИН (стоя в штанах и босиком). Люблю народ.

Сенькину приносят носки и галстук.

СЕНЬКИН (разрывая на груди рубашку от Армани). Верю в Россию!

Сенькину приносят новую рубашку, костюм и ботинки.

СЕНЬКИН (кура гавану). Отечество в опасности!

Сенькину приносят чашечку кофе.

СЕНЬКИН (*прихлебывая*). Держава и народ!

Сенькину приносят итальянский гарнитур, арабскую сантехнику, избирают депутатом, строят дачу на Рублевском шоссе и отправляют на Канары для обмена опытом.

СЕНЬКИН (*лежа поперек Канар*). Во пруха, я торчу!

Входит киллер.

Занавес

Египетские ночи

КЛЕОПАТРА. Скажите, кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?

ПЕТР ИВАНОВИЧ ЧИЖИКОВ. Ценою жизни?

КЛЕОПАТРА. Да!

ПЕТР ИВАНОВИЧ ЧИЖИКОВ. Одну ночь?

КЛЕОПАТРА. Ну, две.

Занавес

Диоген и начальство

НАЧАЛЬСТВО. Ты кто?

ДИОГЕН. Диоген я. Может, слыхали?

НАЧАЛЬСТВО. Не слыхали. А чего в бочке сидишь?

ДИОГЕН. Так Диоген же.

НАЧАЛЬСТВО (*сопровождающим лицам*). Чтоб к завтраму ни одного бомжа в городе не было!

Занавес

Искусство принадлежит народу

ИНВАЛИД (*сидя на газете с гармошкой*). Какая песня без бая-яна!..

ПРОФЕССОР (*высовываясь из окна*). Уйдите из-под консерватории, милейший, вы мне срываете учебный процесс!

ИНВАЛИД. Где консерватория?

ПРОФЕССОР. Станный вопрос. Вы под ней сидите.

ИНВАЛИД. А-а, так это вы тут целый день тренькаете?
(Поджигает консерваторию.)

ПРОФЕССОР. Горн-и-им!

ИНВАЛИД (сидя на пепелище). Какая песня без бая-я-я-яна-а-а-а...

Занавес

шибка резидента

Пивная. Над столами — Иванов, Петров, Мушкин и другие.

ИВАНОВ. Мужики, никто не знает — столица Венесуэлы, семь букв?

ПЕТРОВ. Кого?

ИВАНОВ. Венесуэлы. (Пауза.) Извините.

ПЕТРОВ. Смотри, а то можно и по хлебалу.

ИВАНОВ. Да нет, я так...

ПЕТРОВ. Я предупредил. (Пауза.)

МУШКИН (из угла). Каракас.

ПЕТРОВ. Что?

МУШКИН. Столица Венесуэлы — Каракас.

ПЕТРОВ. Кто это?

ИВАНОВ. Не знаю.

ПЕТРОВ. С тобой?

ИВАНОВ. Первый раз вижу.

ПЕТРОВ. Вяжи его, ребята! Шпион!

Мушкина вяжут.

Занавес

ремьера заявления

ЧЕЛОВЕК (скребет пером, бормоча). Я, Иван Иванович... Нет, что-то не то!

Рвет бумагу, задумывается.

Я, Петро Семенович... Не то!

Рвет бумагу.

Я, Асланбек Файзулович...

Рвет.

Я, Моисей Абрамович... Какая гадость!

Рвет на мелкие клочки.

Я, Хосе Фернандо... Батюшки! Кто же я?

Наливает, пьет.

Я, член КПСС с тридцать седьмого... очередник с семьдесят третьего, узник совести, секретарь парткома... Ай!

Наливает, пьет.

Я, вышеупомянутый... Уходя из жизни... Не то! Подъезжая под Ижоры... Вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени... Фиделя Кастро... Владимира Красное Солнышко... перед лицом своих... твоих... двоих-троих...

Плачет.

Не судьба!

Рвет чистые листы, посыпает клочками голову.

Зима!

Счастливо смеется, кладет голову на стол и засыпает.

Занавес

Реплики на выходе

Перпетуум пропили!

Власть народа? Уточните — над кем?

Является ли свободой осознанная необходимость пойти в рабство?

Сколько предрассудков искоренили, а рассудка все нет и нет.

Перстом указующим полезно чесать в затылке.

Левша подковал блоху. Теперь не только кусает, но еще, сволочь, и цокает.

Не так страшен палач, как отвратительны зрители.

Мало прийти к власти — надо уйти от нее живым.

Усилия пророков бесплодны, потому что история развивается по спирали...



Вечерний выезд общества слепых

Комедия

Действующие лица

ОЧКАРИК
МУЖЧИНА
ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ
ДАМА
ЛЫСЫЙ, *ее муж*
ПАРЕНЬ
ДЕВУШКА
ПЬЯНЫЙ
БАБУШКА С МАЛЬЧИКОМ
ДЕДУЛЯ
ВОШЕДШИЕ НА СТАНЦИИ

Вагон метро, поздний вечер, редкие пассажиры. Поезд вдруг замедляет ход и останавливается, наступает тишина. Некоторое время все сидят молча.

Парень и Девушка продолжают целоваться.

ДАМА. Кошмар какой-то.

ЛЫСЫЙ. Ровным счетом ничего ужасного.

ДАМА. У тебя всегда все в порядке. *(Пауза.)*

ОЧКАРИК. Приехали. «Поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны!»

ПЬЯНЫЙ *(просыпаясь)*. Что?

ОЧКАРИК. Спи, дядя. Спи, все в порядке.

ПЬЯНЫЙ. Какая станция?

ОЧКАРИК. Станция «туннель».

ПЬЯНЫЙ *(подумав)*. Мне плохо.

ОЧКАРИК. Кому сейчас хорошо?

ЛЫСЫЙ *(кивнув на целующихся)*. Им.

ОЧКАРИК. Это ненадолго.

МАЛЬЧИК. Бабушка, а почему мы стоим?

БАБУШКА. Сейчас поедem.

Парень и Девушка продолжают целоваться. Пауза.

ДАМА. Мы вам не мешаем?

ПАРЕНЬ. Ничуть.

ДАМА. Ни стыда, ни совести!

МУЖЧИНА. Эй! Нажмите там кнопку.

ОЧКАРИК. Зачем?

МУЖЧИНА. Вам ближе.

ОЧКАРИК. И что?

МУЖЧИНА. Спросите у машиниста: долго еще будем стоять?

ОЧКАРИК. А он-то откуда знает?

МУЖЧИНА. А кто знает?

ОЧКАРИК. Никто не знает.

МУЖЧИНА. Вам что, трудно нажать кнопку?

ОЧКАРИК. Вы настаиваете?

МУЖЧИНА. Да.

ОЧКАРИК. Хорошо, нажал.

МУЖЧИНА. Теперь спросите.

ОЧКАРИК. Да у меня, собственно, нет вопросов.

МУЖЧИНА. Почему вы улыбаетесь?

ОЧКАРИК. А что?

МУЖЧИНА. Не надо улыбаться.

ОЧКАРИК. Почему?

Мужчина, не отвечая, подходит к точке экстренной связи и нажимает на кнопку.

МУЖЧИНА. Алло! Алло, машинист! Что случилось? Почему стоим? Алло!

ОЧКАРИК. А вдруг он умер?

МУЖЧИНА. Кто?

ОЧКАРИК. Машинист.

МУЖЧИНА. Да вы что?

ОЧКАРИК. А что? Дело нехитрое; вот у дедушки спросите...

ДЕДУЛЯ. Чаво?

ОЧКАРИК. Ничего-ничего. Отдыхаем.

МУЖЧИНА. А помощник машиниста? Он тоже умер?

ОЧКАРИК. Зачем? Помощник жив. Он сидит над телом машиниста и плачет. Тот был ему как отец. Подобрал на улице, дал в руки профессию. Передал секреты мастерства...

ДАМА. То, что вы говорите, — возмутительно!

ОЧКАРИК. Правда?

ДАМА. Да!

ОЧКАРИК. Тогда извините меня. Машинист жив. Помощник не плачет. Я пошутил.

ДАМА. Между прочим, очень глупые шутки.

ОЧКАРИК. А сидеть с важным видом под землей — не глупо?

ДАМА. Так, это уже слишком. (*Мужу.*) Мужчина ты или нет?

ЛЫСЫЙ. Почему это заинтересовало тебя именно сейчас?

ДАМА. Потому что ты позволяешь всяким наглецам разговаривать со мной в таком тоне!

ЛЫСЫЙ. Он и не думал с тобой разговаривать.

МУЖЧИНА (*в динамик.*) Алло! Машинист! В чем дело? Долго мы еще будем тут стоять? (*Пауза.*) Немедленно ответьте! Отвечайте, когда вас спрашивают! Козлы!

ГОЛОС ИЗ ДИНАМИКА. Сам ты козел!

ОЧКАРИК. Вы были правы: он жив.

МУЖЧИНА. Ах ты!.. (*Ожесточенно жмет на кнопку, потом бьет по динамику.*) Отвечай! Отвечай, гад!

ОЧКАРИК. Слушайте, вот я смотрю на вас, смотрю... У меня такое ощущение, что вы куда-то торопитесь.

МУЖЧИНА. Не ваше дело!

ОЧКАРИК. Конечно, не мое. Просто интересно: куда? (*Пауза.*) Быть может, дело того не стоит? А?

МУЖЧИНА. Помолчи, умник.

ОЧКАРИК. Молчу, молчу...

Несколько секунд наблюдает за тем, как жмет на кнопку Мужчина.

Кстати, один раз вы уже не прислушались к моим словам — и что же? Поезд стоит, как стоял, а вас, если я только не ослышался, публично назвали козлом.

МУЖЧИНА. Чего тебе надо, ты?

ОЧКАРИК. Ничего.

МУЖЧИНА. Ну и молчи.

ОЧКАРИК. Молчу.

МУЖЧИНА (*жмет на кнопку*). Прекратите смотреть!

ОЧКАРИК. Говорить нельзя, смотреть нельзя... Да вы тиран!

МУЖЧИНА. Чего тебе надо?

ОЧКАРИК. Вы уже спрашивали.

Мужчина жмет на кнопку.

Господи боже мой! Ну не будьте же вы опять... травоядным! Вы можете жать на кнопку или на голову этого дедушки — скорее не поедem.

ДЕДУЛЯ. Чаво?

ОЧКАРИК. Кочумай, дед, все замечательно! Ну давайте поговорим как люди, а? Все равно же сидим. Куда вы так торопитесь?

МУЖЧИНА. Почему это вас интересует?

ОЧКАРИК. Просто так.

МУЖЧИНА. Ничего не бывает просто так.

ОЧКАРИК. Вы уверены?

МУЖЧИНА. Уверен. *(Пауза.)*

ОЧКАРИК. Хорошо, я открою вам тайну. Я из органов.

ДАМА. Прекратите! Прекратите паясничать, слышите?

А вы прекратите целоваться!

ПАРЕНЬ. А вы не смотрите.

ДАМА. Я сама знаю, куда мне смотреть!

ПАРЕНЬ. Тогда смотрите. *(Целуются.)*

ДАМА. Какая гадость!

МУЖЧИНА. Козел ты, а не работник органов.

ОЧКАРИК. А может, я и то и другое?

МУЖЧИНА. В органах не держат болтунов.

ОЧКАРИК. Откуда вы все знаете?

МУЖЧИНА. Да уж знаю.

ОЧКАРИК. Не смею спорить. Но помните: отказ от помощи следствию — усугубляет... Итак, версия первая: вы спешите к возлюбленной! Кто за эту версию? Правильно, никого. Вы не похожи на Ромео. Хотя убить можете.

ДАМА. Вы, молодой человек, не из органов. Вы, наверное, из цирка.

ОЧКАРИК. В некотором смысле.

ДАМА. Но здесь не цирк.

ОЧКАРИК. А что здесь?

ДАМА. Здесь — метро.

ОЧКАРИК. Простите! Метро — это вид транспорта. А мы сидим, как тушканчики, под землей и понятия не имеем, когда увидим свет божий. Так что это не метро.

ДАМА. А что же это?

ОЧКАРИК. Поживем — увидим. Может быть, как раз и цирк. Может, чья-то лабораторная колба. А может, могильник.

МАЛЬЧИК. Бабушка, а что такое могильник?

Пауза.

пьяный (просыпаясь.) Где мы?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Знаете, этот вопрос мы как раз и обсуждаем.

пьяный. Мне плохо.

МУЖЧИНА. Слушайте, в чем дело? Нам всем надо поскорее выбраться отсюда, а мы слушаем этого балабола, вместо того чтобы что-нибудь придумать!

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Я уже придумал. Вам надо срочно отойти в сторону.

МУЖЧИНА. С какой стати?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. На всякий случай.

пьяный. М-м-м-м...

МУЖЧИНА (отпрыгивая *в сторонку*). Эй! Ты!..

ДАМА. Его сейчас вырвет!

ЛЫСЫЙ. Чистая правда...

ОЧКАРИК. Дядя! Стой! Потерпи! Не высказывайся на людях!

пьяный. Га-а-а...

Общее смятение.

ОЧКАРИК. Ну вот. А вы говорите — метро.

ДАМА. Безобразие! Господи, ну почему я должна находиться среди этой мерзости?

ЛЫСЫЙ. Мы все находимся здесь.

ДАМА. Мне плевать на всех! Меня бесит твое вечное смирение!

ЛЫСЫЙ. Что поделать, дорогая. Все сущее — разумно!

ДАМА. Кто тебе это сказал?

ЛЫСЫЙ. Гегель.

ДАМА. Твой Гегель — идиот! Мне надоело! Зачем я вообще не осталась дома?

ЛЫСЫЙ. Я задавал себе этот вопрос весь вечер.

пьяный. Га-а-а...

ДАМА. Да уберите же его отсюда!

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Куда?

ОЧКАРИК. Господа! Не дадим чьей-то рвоте помешать поиску истины! Итак: куда же так торопится самый нетерпеливый из нас? Версия первая — к возлюбленной — не набрала большинства голосов...

МУЖЧИНА. Парень, ты что, больной?

ОЧКАРИК. Это откуда смотреть. Если с вашей каланчи, то конечно.

МУЖЧИНА. Сам ты каланча.

ОЧКАРИК. Отличный ответ! Однако — к делу. Версия вторая: вы шпион и торопитесь на явку.

Глубокая пауза. Мальчик высовывается из-за Бабушки и восхищенно смотрит на Мужчину.

Ну ладно, ладно, пошутил. Закрой рот, мальчик. Никакой вы не шпион. Вы член ордена милосердия и спешите к одинокой больной бабушке, жертве коммунистического режима. Угадал?

МУЖЧИНА. Кретин!

ОЧКАРИК. Действительно. Как я мог такое про вас подумать! Все бабушки мира перемрут с голоду, прежде чем вы вспомните об их существовании.

МУЖЧИНА. У тебя все?

ОЧКАРИК. Да ну какое там «все» — полный коробок версий! Вы бизнесмен и опаздываете на бизнес-ужин. Вы язычник и торопитесь на вечернее жертвоприношение. Вы, наконец, коммунист-ленинец, и вас ждут в Минске четверо товарищей для празднования годовщины Первого съезда РСДРП...

МУЖЧИНА. Козел. Ну ты козе-ел...

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Простите, что вмешиваюсь, но ваша первая версия никуда не годится.

ОЧКАРИК. Почему?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Бизнесмен — в метро?

ОЧКАРИК. А у него «Мерседес» угнали.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. И вещи из квартиры вынесли?

ОЧКАРИК. С чего вы взяли?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. В таких... штанах — на бизнес-ужин?

ОЧКАРИК *(оценив)*. Да. Это не бизнесмен. Беру свои слова назад. *(Мужчине.)* Видите, я умею признавать ошибки! *(Гражданину в плаще.)* Либо язычник, либо коммунист-ленинец.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Вот, другое дело... *(Пауза.)*

МУЖЧИНА. Вы что, из одного дурдома сбежали?

ОЧКАРИК. Те, кто сбежал из этого дурдома, живут себе где-нибудь на Лонг-Айленде и давно забыли, как выглядит

метро. Впрочем, там тоже дурдом, только условия лучше. А мы, как видите, здесь. И что самое печальное: у наших лечащих врачей — там, наверху, — тот же диагноз, что у нас... Так что ваша версия не проходит. Может быть, есть другие? *(Пауза.)* Жаль.

ДАМА. Вы, наверное, считаете себя самым умным здесь.

ОЧКАРИК. Ну что вы, как можно.

ДАМА. Я же вижу.

ОЧКАРИК. Что?

ДАМА. Считаете себя самым умным.

ОЧКАРИК. Ну, если вы настаиваете...

ДАМА. Нахал! Вместо того чтобы что-нибудь сделать, сидите тут нога на ногу и поливаете всех грязью.

ОЧКАРИК. Мадам, по первому пункту ваших претензий я уже замечал, что сделать нам ничего нельзя. Пункт второй. Я могу не сидеть нога на ногу и даже готов пройтись несколько раз туда-сюда, если только это примирит вас с действительностью. И, наконец, относительно грязи. У меня и в мыслях не было обижать вас, равно как и нашего нетерпеливого товарища по несчастью. Я только отвечал на его вопрос относительно, как он выразился, дурдома. Дело в том, что мы с коллегой придерживаемся того прискорбного мнения, что вся наша жизнь — клиника... Но, я вижу, вы не согласны?

Дама хмыкает.

И отказываетесь считать себя членом нашей дружной спятившей семьи?

ДАМА. Хватит кривляться!

ОЧКАРИК. Правильно! Ощущение собственной полноценности — характерный симптом для пациентов именно вашего профиля. Только не волнуйтесь!

ДАМА. Вы абсолютно аморальный тип. Ваше присутствие оскорбительно для нормальных людей. И не впутывайте нас в свою компанию!

ОЧКАРИК. Мадам, в эту компанию всех нас привела сама Судьба! Всесильные Парки сплели нити наших жизней.

МУЖЧИНА. Не надо ля-ля!

ОЧКАРИК. Простите, как вы сказали?

МУЖЧИНА. Не надо ля-ля!

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Не могли бы вы пояснить свою мысль чуточку доступнее?

МУЖЧИНА. Могу. Вы сами по себе — а мы сами по себе. Ясно?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Предельно. Но, извините, от вас я такого не ожидал...

МУЖЧИНА. Не понял.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Женщине простительно, но уж вы-то должны признать, что находитесь в нашем отделении с полным на то основанием!

МУЖЧИНА. Я сказал: не надо ля-ля! Я совершенно нормален.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Пардон. Только что на наших глазах вы били кулаком по куску пластмассы, требуя от него ответа... Так что говорить о норме не приходится. Может быть, ваш случай в нашей палате — самый тяжелый.

МУЖЧИНА. Скопище козлов. Козлы. Все козлы.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. И кстати, зря вы упорствуете. Сошлись бы, в самом деле, — куда торопитесь? И вам бы полегчало, и людей бы не мучили. Все свои... Не хотите? Ну, вольному воля.

ОЧКАРИК. Золотые ваши слова! Правда, дедуля?

ДЕДУЛЯ. Чаво?

ОЧКАРИК. Я говорю: правда, торопиться некуда?

ДЕДУЛЯ. Парамонов я!

ОЧКАРИК. Орел!

МУЖЧИНА. Козлы!

ОЧКАРИК. А в самом деле, господа, чего мы там, наверху, не видели? Ваше мнение, коллега?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Предлагаю поставить на голосование вопрос о сохранении статус-кво. Посидим, поговорим...

ДАМА. Глупо!

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. А у вас, я вижу, очень высокие требования к окружающим. И тем не менее вот лично вы — что там забыли?

ДАМА. Нормальную жизнь!

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Ту, где вам плевать на всех?

ДАМА. А если и так?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. У вас милое представление о норме. (Лысому.) Что говорит об этом Гегель?

ЛЫСЫЙ. Гегель молчит. Только регулярно утирается.

ДАМА. Ах, вот как?

ЛЫСЫЙ. Но если ваш вопрос касается и меня, то могу сказать, что лично я там, наверху, видел практически все и даже много лишнего. Так что я никуда не спешу.

ОЧКАРИК. О! Еще один наш! И Парамонов тоже «за»... Подними руку, дедуля! Вот... *(Показывая на Парня с Девушкой.)* И эти двое... просто у них руки заняты. Большинство!

ДАМА. Слушайте, да они же... Ну, это уже вообще!

БАБУШКА. Ребятки, потерпели бы до дому? Ей-богу, а?

ПАРЕНЬ. Сколько можно терпеть-то?

ДЕВУШКА. Он же стоит!

ДАМА. Фу, какой срам!

ЛЫСЫЙ. Дорогая, она имела в виду поезд!

ПАРЕНЬ. Ну, хорош глазеть, не в кино!

ЛЫСЫЙ. В самом деле, пересядем...

ДАМА. Вот еще! Х-ха!

БАБУШКА. Петя, пошли отсюда.

МАЛЬЧИК. Я хочу посмотреть!

БАБУШКА. Нечего там смотреть!

МАЛЬЧИК. Ну да, нечего...

БАБУШКА. Петя, идем!

МАЛЬЧИК. А тетя смотрит!

ЛЫСЫЙ. Ей уже можно.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Петр, это не «Чип и Дейл». Глазки вылезут.

ОЧКАРИК. Бабушка тебе потом все расскажет. Отвернись на полчасика.

ЛЫСЫЙ. Полчасика? Вы их переоцениваете.

ОЧКАРИК. Я вижу, вы не верите в молодежь.

ЛЫСЫЙ. Не верю. Минут десять-пятнадцать от силы.

БАБУШКА. Пойдем, Петенька, я тебе яблочка дам.

МАЛЬЧИК *(вырываясь)*. Сама ешь свое яблочко! Я развитой мальчик! Мне уже можно!

БАБУШКА *(хватая его в охапку и уволаскивая прочь)*. Я тебе покажу «развитой»!..

МАЛЬЧИК. А-а-а!

ОЧКАРИК. Не меньше двадцати минут. Пари?

ЛЫСЫЙ. Пари.

ОЧКАРИК. Коньяк.

ЛЫСЫЙ. Идет.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Я разобью.

ЛЫСЫЙ. Засаекаю. Время пошло.

ДАМА. Поздравляю. Ты докатился.

ЛЫСЫЙ. А чего сидеть без дела?

ДЕВУШКА. О-о-о...

ДАМА. Какая мерзость!

ОЧКАРИК (Парню). Дружище, не торопись!

ЛЫСЫЙ. Не слушайте ничьих советов, молодой человек, и я прошу вас — по возможности скорее!

ПЬЯНЫЙ. Га-а-а...

ЛЫСЫЙ. Да я не вам!

МУЖЧИНА. Козлы!

ДАМА. Кончится это когда-нибудь или нет?

ОЧКАРИК. Мы как раз поспорили об этом с вашим мужем.

ДАМА. Размазня он, а не муж! Нашел себе приятелей!

ОЧКАРИК. Каждому свое. У нас пари — у них любовь, вы с язычником силой воли поезда подгоняете...

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Кстати, о поезде, соратники. Стоит и стоит. Любопытно, что бы это все-таки значило?

ОЧКАРИК. Ваша гипотеза?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Дайте подумать.

МУЖЧИНА. Да ладно, «гипо-отеза»! Ученые, блин! (*Бьет ногой по двери.*) Сломался к чертовой матери, совок вонючий, и вся гипотеза!

ОЧКАРИК (Гражданину в плаще). Он не язычник. Он таки коммунист-ленинец. (*Мужчине.*) Слушайте, из вас можно и нужно делать гвозди! Ну почему, если поезд остановился, где ему не положено, то он непременно сломался? Все может быть гораздо интереснее...

МУЖЧИНА. Глупости!

ОЧКАРИК. Знаете, я не удивлюсь, если окажется, что вы до сих пор живете по Птолемею, в центре мироздания... Очнитесь! Ваша чугунная логика давно не пляшет! Мир огромен и непостижим! Уже сто лет кратчайшей между двумя точками может оказаться кривая!

МУЖЧИНА. Не надо ля-ля!

ОЧКАРИК. Господи боже мой! Ну хорошо. Скажите, что делают там эти двое?

МУЖЧИНА. Они трахаются.

ОЧКАРИК. Чрезвычайно поверхностное наблюдение! То есть они, несомненно, трахаются, но не исключено, что она в настоящий момент переживает глубочайшее внутреннее перевоплощение, а он — в тот же самый, заметьте, момент! — просто мстит какой-нибудь блондинке.

ДЕВУШКА. О-о-о...

ЛЫСЫЙ. Простите, что перебиваю, но, по-моему, там — все!

МУЖЧИНА. При чем тут вообще они?

ОЧКАРИК. Это пример!

МУЖЧИНА. Пример — чего?

ОЧКАРИК. Неэвклидовой геометрии бытия!

МУЖЧИНА. Не надо ля-ля!

ОЧКАРИК. Тьфу!

МУЖЧИНА. Мы говорили о поезде.

ОЧКАРИК. Но поезд ехал во Вселенной! Как вы не понимаете: к этой остановке в туннеле могло привести все, что угодно!

МУЖЧИНА. Что? Кто-то перепилил рельсы?

ОЧКАРИК. Слишком прямая связь. Действительность всегда чуточку неочевиднее. Распрягите фантазию — и она приведет вас к месту сама! За десятки километров отсюда, на шлюзе Москвы-реки, дежурный, не выспавшийся из-за того, что соседи праздновали йом-кипур...

МУЖЧИНА. Что они праздновали?

ОЧКАРИК. Не важно!

МУЖЧИНА. Но я не понял!

ОЧКАРИК. Выбросьте из головы! Дежурный, говорю я, с недосыпу нарушил правила техники безопасности! Произошел громадный сброс воды. Вода хлынула в подземные реки и начала размывать стены туннеля. Могло такое случиться или не могло?

ДАМА. Да вы что? Вы что!

ОЧКАРИК. При чем тут вообще я? Это дежурный по шлюзу.

ДАМА. Не смейте говорить такое! Это ужасно!

ОЧКАРИК. Я только предполагаю. Возможно, для беспокойства нет никаких оснований, и у дежурного вообще нет соседей, и все они выспались, а потом никто не нарушал правил техники безопасности. А просто, пока мы ехали, какой-нибудь восточный умелец объявил всем желающим джихад, а министр путей сообщения оказался исламским

фундаменталистом — и вот мы сидим тут с вами под землей и коротаем время в приятной беседе в ожидании слуг Аллаха. А? Что? Не хотите джихада? Хорошо, вот вам совсем простенький, семейный вариант: от машиниста ушла жена к другому машинисту, и он протестует...

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Или к власти пришли кроты.

Пауза.

ОЧКАРИК. Что?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Кроты. Кто заглядывал к ним в душу? Согласитесь: с точки зрения кротов, метро — это оккупация. Кто может поручиться, что все эти годы они рыли свои ходы просто так?

ОЧКАРИК. Мама родная!

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. То-то и оно. И вот... Сегодня у нас какой день?

МУЖЧИНА (*ошарашенно*). Среда.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Правильно. А в прошлую пятницу они собрались под станцией Лось...

МУЖЧИНА. Почему под станцией Лось?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. А они всегда собираются там. (*Пауза.*) Я продолжаю. К этому времени почти все было уже готово, конечно же, они давно знали планы подземных коммуникаций и заранее отрыли ходы под пересадочные узлы. Оставалось наметить число... Что вы так на меня смотрите?

МУЖЧИНА. Вы говорите о кротах?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Да.

МУЖЧИНА. Но... Этого же не может быть!

Пауза. Все уже давно не отрываясь смотрят на Гражданина в плаще.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Я вижу, мне придется начать *ab ovo*...

МУЖЧИНА. Не понял.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Это по-латыни. «*Ab ovo*» значит: с самого начала, «с яйца».

МУЖЧИНА. Они откладывают яйца?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Не отвлекайтесь. Слушайте. После войны на одном из засекреченных объектов под Москвой биологи начали выводить особую породу кротов-мутантов для диверсионных целей. Кроты были выбраны не случайно. Известно, что они — самые жестокие существа на земле. Встречи в подземных ходах никогда не заканчиваются

бескровно. Львы и волки оставляют побежденного соперника в живых, кроты — никогда. Слепые, в полной тьме, они сражаются до тех пор, пока один из них не умрет.

ЛЫСЫЙ. Это правда.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Курировал проект лично Берия. Животных облучали, воздействуя на генетический код.

ОЧКАРИК. Да-да, я читал в «Огоньке»...

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Результатов не было. Кроты мерли. В начале пятидесятых проект был закрыт, лабораторию разогнали: лженаука и всякое такое... — а уцелевших животных просто выпустили в окрестные поля.

ОЧКАРИК. Роковая ошибка!

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Да, но кто же мог знать?! Излучение дало результаты через два поколения: уже совершенно бесконтрольно начали появляться крупные, почти человеческих размеров особи с повышенной агрессивностью. Вначале это были одиночные нападения на ночные смены проходчиков метро...

ДАМА. Боже мой!

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Но вскоре они прекратились — и прекратились словно по чьей-то команде... Вы догадываетесь?

МУЖЧИНА. Нет.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Облучение дало еще один страшный эффект. У кротов появилась иерархическая структура — вроде той, что существует у крыс и людей: подчинение всех одному, самому сильному.. У них появилась организация. Почти все, что рождалось в чьем-то подземном мозгу, теперь могло стать реальностью... О! Вы слышите?

МУЖЧИНА. Что? Что?! *(Пауза.)*

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Кажется, показалось.

ПАРЕНЬ. Мужик, это ты что — серьезно?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Хотел бы я, чтобы это оказалось шуткой.

ДЕВУШКА. Сереж, ну ты чего?

ПАРЕНЬ. Погоди.

МУЖЧИНА. Не мешайте, вы, там! Говорите, говорите!

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Они готовились много лет. Они посылали наверх мутантов-разведчиков... Вы заметили, что в последнее время в метро стало гораздо больше слепых?

ДАМА. Ах!

МУЖЧИНА. Что?..

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Да. Они готовились. Они копили силы. И вот, кажется, их час настал. Уже в понедельник гигантские кроты-мутанты были готовы парализовать поезда в туннелях, но что-то им помешало...

ОЧКАРИК. Я думаю, дождь.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Дождь?

ОЧКАРИК. В ночь на понедельник шел сильный дождь. Шел или нет?

МУЖЧИНА. Шел.

ОЧКАРИК. Ну вот. А в это время кроты хуже слышат — ведь они переговариваются на высоких частотах...

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Да-да! Наверное. Но как бы то ни было, вчера дождь прекратился...

МУЖЧИНА. И что?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Вы еще спрашиваете?

Пауза. Где-то внутри состава раздается скрежет.

МАЛЬЧИК. Кроты — это такие мыши?

ДАМА. Я хочу наверх! Немедленно, сейчас же сделай так, чтобы я была наверху!

ЛЫСЫЙ. Дорогая, не все сразу.

ДАМА. Я не хочу здесь, не хочу, не хочу!

МАЛЬЧИК. Дядь, а кроты скоро будут?

ПАРЕНЬ. Эй, вы чего все, а?! (*Девушке.*) Чего тебе?

ДЕВУШКА. Поцелуй меня вот сюда...

ПАРЕНЬ. В мозг тебя не поцеловать? Ты слушай, чего говорят-то!

ДЕВУШКА. Сереж, ты меня любишь?

ПАРЕНЬ. Дура!

Мужчина подходит к кнопке экстренной связи, поднимает руку, медлит.
И все-таки решается.

МУЖЧИНА. Алло! Кто-нибудь, ответьте! Ответьте, я прошу вас. (*В динамике — тишина.*)

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Похоже, вам никто не ответит больше.

МУЖЧИНА. Но кто-то же называл меня козлом!

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Я не хочу вас расстраивать, но для того, чтобы назвать вас козлом, необязательно быть машинистом!

Пауза.

ОЧКАРИК. А может, все-таки — шлюз?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Давайте наконец назовем вещи своими именами. И шлюз, и джихад — это всего лишь наши безобидные фантазии. Бегство от реальности. Все гораздо серьезнее.

ДАМА. Господи, спаси и сохрани! Господи, спаси и сохрани! *(Начинает истово креститься.)*

ОЧКАРИК. Она верующая?

ЛЫСЫЙ. Сам удивляюсь!

МУЖЧИНА. Что же нам делать?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Ждать.

МУЖЧИНА. Чего?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Я бы на вашем месте приготовился к худшему.

МУЖЧИНА. А на вашем?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Я готов к худшему уже давно. С тех пор, как узнал обо всем этом.

МУЖЧИНА. Да? А как вы узнали?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Я не могу вам этого сказать.

МУЖЧИНА. Понимаю. *(Пауза.)*

ДЕДУЛЯ *(вдруг, очень громко).* Товарищи! Почему стоим?

БАБУШКА *(в страшном испуге).* Тс-с-с!

ДЕДУЛЯ. Чаво такое?

БАБУШКА *(в ухо, громким шепотом).* Кроты!

ДЕДУЛЯ. И чаво?

Бабушка начинает плакать. Пьяный, очнувшись, подходит к двери и смотрит паружу тусклым взглядом. Потом оборачивается и натывается все тем же взглядом на Даму.

ПЬЯНЫЙ. Э! Тетка! Чего не едем?

ДАМА. Гадость, гадость!

ПЬЯНЫЙ. Мне самому плохо, чего кричать-то! *(Лысому.)*

Слышь, друг, разбудишь во Владыкине. *(Ложится.)*

МУЖЧИНА. Надо что-то предпринять! *(Греет ладонями лица.)* Надо срочно что-то предпринять!

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Что?

МУЖЧИНА. Откуда они могут... прийти?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Отовсюду. За пределами этого вагона — их территория...

ПАРЕНЬ. Слушайте, что за... Берия, шмерия! Вы что? Кро-

ты не ходят! Кроты вот такие вот, маленькие! Этого всего не бывает, что вы тут говорили!

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Откуда вы знаете?

ПАРЕНЬ. От верблюда! Кроты не разговаривают на высоких частотах!

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. А на каких же они, по-вашему, разговаривают?

ПАРЕНЬ. Ни на каких они не разговаривают! Они вообще молчат!

МУЖЧИНА. Дурак!

ПАРЕНЬ. А за дурака я тебе сейчас ряшку на куски порву. Хочешь?

МУЖЧИНА. Ты что, тупой? Ты что, до сих пор ничего не понял?

ПАРЕНЬ. Я понял. Я понял, что вы все либо обкурились, либо природой поврежденные.

ДЕВУШКА. Сереж, да ну их, Сереж...

ПАРЕНЬ. Да крыша у меня от них едет! Кроты не разговаривают! Не разговаривают кроты!

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. То есть вы хотите сказать, что никогда не слышали их разговора?

ПАРЕНЬ. А вы — слышали?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. А вы слышали, как летит через ночь летучая мышь? Слышали, как, не видимая никем, ползет к спящему каравану змея? Как рассекает черную толщу воды акула-убийца? Что мы вообще знаем о жизни за пределами нашего слуха — мы, стоящие на еле освещенном полустанке цивилизации, посреди враждебного мира?

ПАРЕНЬ (перепуганный). Мужик, ты чего?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Он не слышал!

ОЧКАРИК. Какая самонадеянность!

ДАМА. Господи, спаси и сохрани!

ЛЫСЫЙ. Вряд ли господь начнет спасательные работы именно с нас.

МУЖЧИНА. Скажите... Вам что: совсем не страшно?

ЛЫСЫЙ. Нет.

МУЖЧИНА. Но почему?

ЛЫСЫЙ. Реинкарнация.

МУЖЧИНА. Что?

ЛЫСЫЙ. Переселение душ. После смерти я превращусь в ворона и проживу еще триста лет.

МУЖЧИНА. А я?

ЛЫСЫЙ. Вы верите в реинкарнацию?

МУЖЧИНА. Нет.

ЛЫСЫЙ. А во что вы верите?

МУЖЧИНА. Да я, собственно...

ЛЫСЫЙ. Я вижу, вы еще не сформулировали.

МУЖЧИНА. Еще нет.

ЛЫСЫЙ. Тогда — извините.

МУЖЧИНА. Не понял.

ЛЫСЫЙ. Тогда вам кранты.

МУЖЧИНА. Какие кранты?

ЛЫСЫЙ. Обыкновенные советские кранты. Отсутствие реальности, данной в ощущениях. Вам как коммунисту после смерти больше ничего не положено.

МУЖЧИНА (*чуть не плача*). Я не коммунист! Что вы привязались ко мне! Я на футбол ехал! «Спартак» играл с этими... (*Пораженный.*) Забыл!

ДАМА. Господи, спаси и сохрани!

МУЖЧИНА. Это я что же — не увижу финала?

ЛЫСЫЙ. Смотря о каком финале речь.

Тяжелый скрипучий звук проходит по составу. Мужчина вскакивает и прижимается спиной к торцу вагона.

МУЖЧИНА. Они?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Кто?

МУЖЧИНА (*одними губами*). Кроты?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Кому же еще...

ОЧКАРИК (*трагически*). Прощайте! Простите и вы, если что не так...

ПАРЕНЬ. Эй! Вы чего? А? Не, вы что, серьезно?

ДАМА. Да сделайте же что-нибудь!

МУЖЧИНА. Нас тут пятеро мужчин. Дед и алкаш не в счет. Пятеро! Просто так мы не сдадимся. Каким-то му...

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Мутантам.

МУЖЧИНА. Да! Каким-то, блядь, кротам! Да я им яйца пототибаю, сукам! Да я... Что?

ОЧКАРИК (*сдавленно*). Ничего. (*Он сидит, согнувшись по полам и закрыв лицо ладонями.*)

МУЖЧИНА. В чем дело?

ОЧКАРИК. Ой.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Простите, я тут... *(Вынимает платок, притворно сморкается.)*

МУЖЧИНА. Вот как. Значит...

ОЧКАРИК. Ох! Все! Не могу! Извини, старик! Уй! Все! А-а-а! *(Хохочет в голос.)*

Через несколько мгновений к Очкарику присоединяется Гражданин в плаще. Они хохочут, колотя себя и друг друга ладонями по коленкам и плечам, они воют и скулят от прорвавшегося наконец наружу смеха.

МУЖЧИНА. Вот, значит, как...

ЛЫСЫЙ. Если я не ошибаюсь, кроты отменяются?

ОЧКАРИК. Ну, класс! Ай, какой класс!

ПАРЕНЬ. Ну, вы, мужики, даете! Ну вы вообще отвязанные...

ДЕВУШКА. Сереж, поцелуй меня знаешь куда?

ПАРЕНЬ. Да с удовольствием!

ДАМА. Мерзавцы! Мерзавцы оба!

ЛЫСЫЙ. Твои молитвы подействовали! *(Тоже начинает смеяться.)*

ОЧКАРИК. Ой, сейчас сдохну! Дедуля! Как тебя! Парамонов! Что ж ты глухой такой, а? Таковую мульку пропустил...

ДЕДУЛЯ. Сынок, я что-то не пойму: поезд, что ль, испортился?

Очкарик, не в силах говорить, несколько раз кивает головой.

Это, я помню, однажды тоже: вот так стоим, стоим, а потом — басмачи... Не люблю поездов!

БАБУШКА. Предупреждали меня насчет москвичей, но чтоб такое... Тьфу!

МУЖЧИНА *(сухо)*. Я рад, что вам весело.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Извините нас, но вы же сами... Ради бога, простите. И вы тоже. Даже не знаю, что на меня нашло.

МУЖЧИНА. Послушайте, что я вам скажу. Вас надо расстреливать. Всех.

ОЧКАРИК. Неужели — всех?

МУЖЧИНА. Тебя. Тебя. И тебя с твоим Гоголем.

ЛЫСЫЙ. Гегелем.

МУЖЧИНА. Не важно. Всех умников.

ЛЫСЫЙ. И чем же, позвольте осведомиться, займете свой досуг после расстрела? Скучно не станет?

МУЖЧИНА. За меня не беспокойтесь.

ЛЫСЫЙ. А если отменят футбол?

МУЖЧИНА. Футбол не отменяют.

ЛЫСЫЙ. А вдруг?

МУЖЧИНА. Не надо ля-ля.

ЛЫСЫЙ (жене). Когда станешь вдовой, обрати на него внимание. Основательный человек.

И вдруг — толчок, и медленно, но все быстрее, быстрее начинают ползти за окнами стены туннеля. И общий выдох облегчения.

ВСЕ. Ну слава богу! Поехали! Все! Наконец-то!

ОЧКАРИК. Джихад кротам! Ура!

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Ф-фу. *(Перестав смеяться, откидывается на спинку сиденья.)*

ОЧКАРИК. Что с вами?

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Ничего. Хорошо, что поехали.

ОЧКАРИК. Да! Хорошо! И-йех! *(Потягивается.)* Посидели на славу! *(Снова хохочет.)*

ДАМА. Вам надо сидеть в тюрьме.

ОЧКАРИК. Это невозможно. Меня только что расстреляли.

ЛЫСЫЙ. Знаете, шутки шутками, а ведь я тоже сначала... ну не то чтобы поверил, но... То есть гляжу на вас, вижу, что сочиняете, а все равно...

ОЧКАРИК. Еще бы! Берия, кроты-разведчики, слепцы-мутанты... Чистый Голливуд!

ЛЫСЫЙ. А вообще — осторожнее надо с фантазиями.

ОЧКАРИК. Почему вдруг?

ЛЫСЫЙ. Сбываются. В России особенно.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Да. Что-то повело меня... И откуда такая жуть в голову лезет? До сих пор *(стучит себя пальцем по голове)* сидят, проклятые...

ОЧКАРИК. Ладно, проехали! *(Указывая на Парня и Девушку.)* О, смотрите!

ДАМА. Да что ж такое, а? Опять!

МАЛЬЧИК. Ура-а! Опять!

БАБУШКА. Петя, от-вер-нись!

ЛЫСЫЙ. Кстати, за вами коньяк.

ОЧКАРИК. Куда прикажете доставить?

ЛЫСЫЙ. Ладно, живи...

БАБУШКА. Отвернись, кому сказано!

ОЧКАРИК. Ребята, давайте в темпе, скоро станция!

ЛЫСЫЙ. Не тушуйся, молодежь! В случае чего — сорвем стоп-кран!

ДАМА. Я вас в милицию сдам! Всех!

ЛЫСЫЙ. Верю!

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Вы слышали? Был какой-то звук.

ДАМА. Хватит, хватит!

ОЧКАРИК (от дверей). Ну, господа-товарищи, спасибо за компанию. Слышь, спартаковец! Последняя просьба перед расстрелом: согласишься, что мир — нелинейная штучка!

МУЖЧИНА. Не надо ля-ля!

ОЧКАРИК. Счастливiec! Все-то тебе ясно: мяч круглый, поле ровное, да?

МУЖЧИНА. Да!

ОЧКАРИК. Терпенье и труд все перетрут, не плюй в колодец, копейка рубль бережет... Да?

МУЖЧИНА. Да.

ОЧКАРИК. И не надо ля-ля?

МУЖЧИНА. Не надо.

ОЧКАРИК. И все просто?

МУЖЧИНА. Как дважды два.

Пауза. Стук колес все реже.

ОЧКАРИК. Дважды два бывает одиннадцать.

МУЖЧИНА. Дважды два — четыре.

ОЧКАРИК. Чаше, конечно, четыре. Но иногда бывает и одиннадцать. Болельщику «Спартакa» это знать необязательно, но ты уж поверь на слово. И если поезд остановился в туннеле, то скорее всего это поломка, но — не всегда...

Двери открываются, но Очкарик не выходит, а отшатывается назад. В вагон начинают входить слепые — много, очень много слепых. Стуча палочками, они быстро и организованно рассаживаются по свободным местам.

Гражданин в плаще встает и остается стоять.

ДЕВУШКА. Сереж, ты чего? *(Смеется.)* Да они же ничего не видят: ну, давай...

СЛЕПОЙ (остановившись возле Гражданина в плаще, писклявым голосом). Простите, это место свободно? *(Гражданин в плаще молчит.)* Могли бы и ответить.

ГРАЖДАНИН В ПЛАЩЕ. Свободно. Садитесь, пожалуйста.

СЛЕПОЙ. Большое вам человеческое спасибо.

Садится и, повернув голову, улыбается Гражданину в плаще, обнажив верхние зубы. Поезд трогается и въезжает в туннель.

Занавес

Нимфа



ГАМЛЕТ. Чего там у нас с текстом?

СУФЛЕР. Офелия. О нимфа.

ГАМЛЕТ. Кто?

СУФЛЕР. Что?

ГАМЛЕТ. Кто нимфа?

СУФЛЕР. Офелия.

ГАМЛЕТ. Мы чего играем?

СУФЛЕР. «Гамлета».

ГАМЛЕТ. Погоди, а «Поросята»?..

СУФЛЕР. «Поросята» были с утра.

ГАМЛЕТ. Сейчас что — вечер, что ли?

СУФЛЕР. Ну.

ГАМЛЕТ. С ума сойти, как летит время! «Офелия! О нимфа!...»

Занавес

Случай из практики



СЛЕПОЙ. Гражданин, вы не переведете меня через улицу?

ГРАЖДАНИН. Говорите громче, я глухой.

СЛЕПОЙ. Через улицу!

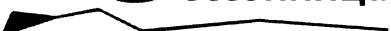
ГРАЖДАНИН. Вы что, слепой?

СЛЕПОЙ. Да!

ГРАЖДАНИН. То-то я смотрю: какая улица? Мы же в лесу!

Занавес

Бессонница



ЧЕЛОВЕК (*ворочаясь в постели*). Интересно все-таки, есть бог или его нет? Или все-таки есть? Или все-таки — нету? Или есть?

ГОЛОС СВЕРХУ. Нету меня, нету! Спи!

Занавес

Поклон

Эволюция миллионы лет распрямляла человека, но так и не сделала его нестигаемым.

Границу рабства нельзя пересечь нелегально.

Ничего не бойтесь — все уже было.

Умом Россию не понять, а другими местами — очень больно!

Хочешь укрыться от дождя? Поднимись над облаками!



Публицистика





Не люблю народ



Что, что?

Что слышали! Не люблю народ!

Впрочем, храбрись не храбрись, а написал такое — и стало не по себе. Как раньше — от слов «не люблю КПСС». Шутка ли! Любовь к народу — ведь это и есть тот эталонный метр, которым измеряется добропорядочность отдельного субъекта.

Любишь народ? Скажи громче, не стесняйся!

Что ж, поклясться в этом большом и чистом чувстве не забыл еще ни один политик — от Нерона до депутата райсовета все как один любят. Политики, впрочем, имеют дело со статистическими величинами — с массами, так сказать. Поэтому и любовь их носит довольно прикладной характер.

И вообще, в любви к массам есть раздражающая расплывчатость, которую не приведи бог конкретизировать. Когда самец-производитель покрывает все стадо, это не любовь. Это что-то другое.

Но бог с ними, с политиками. А вот лично я совершенно бескорыстно народ не люблю. Для тех, кто понял меня неточно, специально поясню: не люблю любой народ.

Русский не люблю очень. Еврейский — терпеть не могу. Даже от малого, корякского, бросает в дрожь.

Взамен готов попробовать полюбить каждого отдельно взятого индивида. И этого, икающего за ларьком? И этого. Но в отдельности от статистических величин.

Когда я слышу слово «народ», моя рука тянется к валидолу.

Икающего за ларьком можно отпнуть, вымыть с мылом и почитать ему на ночь адаптированный для детей пересказ Библии. В одном случае из ста, при благоприятном

расположении звезд, он впоследствии что-нибудь такое осознает и перейдет с портвейна на сухое. Индивид в принципе способен на восхождение. У народных масс эта самая масса слишком велика для восхождения наверх. Зато для лавинообразного схода вниз — в самый раз.

Поэтому Гёте и Гейне идут поштучно, а счет кричавших «хайль» шел на миллионы. И в любом языке пропорции будут те же.

Народ не способен написать «Божественную комедию» — зато может изгнать с родины ее автора, а потом много веков подряд им гордиться.

Народ присваивает себе гениев. Нашему среднестатистическому соотечественнику чрезвычайно важно, например, что Толстой, которым гордится весь мир, — русский! Нашего среднестатистического соотечественника это самоутверждает.

Когда человека хотят надуть, ему льстят.

Но чтобы успешно польстить индивиду, надо хоть мало-мальски знать его тайные «клапаны», о чем предупреждал однокашников еще принц Гамлет. Тут легко ошибиться...

А льстить народу — нет ничего проще! Текст имеется даже в ожеговском словаре русского языка. И как раз на слове «народ». «Советский н. — н.-герой, н.-созидатель». «Великий русский н.».

Замените, по обстоятельствам, «советский» на «немецкий», а «русский» на, скажем, «полинезийский» — и вперед, в большую политику. «Н.» ждет вас!

Отечеством, предупреждал Дюрренматт, называют государство, когда надо проливать за него кровь. По аналогии: великим, трудолюбивым, мудрым и еще уж бог знает каким народом называют жителей этого государства, когда их надо в очередной раз надуть. Уж сколько раз твердили миру!.. Ан глядь: снова — не один человек, а сразу миллионы раздулись от самодовольства и готовы к употреблению.

Но откуда эта восторженная готовность личности расслабиться и получать удовольствие от слияния с массой себе подобных? Или человеку мало самого себя? Или срабатывают атавистические, пещерного происхождения механизмы: когда вместе со всеми, то в безопасности?

Бог вещь. Только весь опыт цивилизации показывает: как раз вместе со всеми-то и опаснее во сто крат! Все полеты в исторические пропасти, какие помнит человечество, совершались коллективно, с флагами и предметами культа, с криком «ура».

Даже колбаса — и та бывает отдельной, а венцу творения сам бог велел. И уж точно: во все времена, а в смутные в особенности, надежда — на отдельного человека. На миллионы отдельных людей. На атеистов и верующих, кадетов и социалистов — лишь бы каждый осознавал себя личностью, суверенитет которой в конечном счете важнее суверенитета страны; осознавал — человеком, а не крупницей народа, воином Аллаха, солдатом партии, проводником идей чучхе...



Приметы нового, или Добро пожаловать, Аттила!

Среди бела дня в ресторан

Дома актера вошел детина в тренировочных штанах. У волосатых щиколоток болтались штрипки. По полу следом за ним волочились шнурки кроссовок. Из-за углового столика детину приветствовали добродушным ржанием и свойским матерком. Дитина отвечал адекватно.

Я огляделся. Ресторан продолжал жить своей жизнью. Ага, подумал я. Значит, уже можно.

А в кальсонах на свадьбу? Нет, этого еще нельзя. Ближе к концу года, пожалуй. А сейчас еще нельзя. Не сезон.

Однако процесс, как уже не говорится, пошел. Муравьиное наступление нищих и торгующих, вырвавшись из подземных переходов наверх, образовало фон, на котором уже ничто оказалось, извините за терминологию, не запахло. Посему (по состоянию дел на март девяносто третьего года) милости просим москвичей и гостей столицы:

- наезжать друг на друга в метро ручными тачанками;
- поджигать вагоны электричек, выбив, для тяги, стекла;
- разговаривать матом при женщинах, детях и милиционерах;
- торговать порнографией в людных местах;
- мочиться, как собачка, среди бела дня на угол дома.

По большой нужде — только в подъездах и лифтах, пока только там. Извините. Если у «Макдоналдса» или непосредственно на Лобное место — еще могут не понять. Не дорос народ.

Но именно на этом направлении — а отнюдь не в обуздании гиперинфляции или восстановлении производст-

венных связей — следует ожидать большого, настоящего прорыва. Ибо, кажется, идея превращения Москвы в образцовый посткоммунистический город не на шутку овладела массами.

Уже видел мужичка, деловито дымившего сигаркой в ожидании поезда метро. Дежурный, конечно, мог бы сделать ему замечание, но сам сидел в своей будке в рейтузах.

Все это, конечно, только внешние приметы. Так по оживленному барахтанью воробьев в лужах понимаешь: весна!

Когда три года назад в январских сумерках мне ломал нос гегемон с телосложением двухкамерного холодильника, кто-то из зрителей заботливо подобрал и унес от греха подальше в неизвестном направлении мою упавшую в снег шапку. Я часто и с возрастающей нежностью вспоминаю этого человека: он первый, на личном примере, попытался открыть мне глаза на новые горизонты нравственности.

И вот — приплыли.

В переходе со станции метро «Театральная» (б. «Площадь Свердлова») на станцию «Охотный Ряд» (б. «Проспект Маркса») сидит с гармошкой девочка лет шести-семи и звонким, чистым — чуть не сказал: «пионерским» — голоском поет похабные частушки. Над нею возвышается дебелая тетка, больше которой в Москве был только памятник Дзержинскому, и собирает с народа деньги за искусство. Деньги дают.

...Собственно говоря, бога нет уже давно, но что все дозволено, люмпен раскусил лишь в новейшие времена. Раньше его смущала милиция. Песок, как говаривал один персонаж у О'Генри, неважная замена овсу, и все-таки страх перед участковым несколько сдерживал в отсутствие страха божьего.

Теперь, когда отечественный «мент» окончательно перешел на хозрасчет и самофинансирование, бытовой люмпен расцвел внешним цветом. Потому что чего там, в самом-то деле... Все свои. Как говорил, снимая штаны при посторонней даме, чеховский помещик Грябов: «Это, брат, ей не Англия!»

С подобной десаκραлизации бытовой морали начинался, наверное, упадок Римской империи. Точнее, тут-то он

и стал вдруг очевиден. Вчера трепетали за гектар до Капитолия, сегодня впервые безнаказанно вошли под фронтон, а завтра, глядишь, пишут гадости на колоннах и мочатся со ступенек...

Причем — это уже моя личная гипотеза — делали все это никакие не варвары, а вчерашние законопослушные римские плебеи, в одночасье узнавшие, что последние двенадцать цезарей были сволочами один хуже другого, а тринадцатого вроде как не будет вообще... Вот и решили посылить отметить наступившую свободу. Сенаторы уже давно торговали Римом в особом крупном размере, legionеры понанимались к гуннам и слиняли на окраины империи бороться за ихнюю независимость... Остановить одичание Вечного города было некому. Да и нечему.

Не хочется о грустном, но Атила пришел туда фактически как свой к своим. Он быстро восстановил дисциплину и приподнял производительность труда. И благодарные горожане ботали на своей новой фене, от которой Цицерона разбил бы на месте паралич, что, мол, этот с низеньким лбом хоть и суров, но по-своему, по-варварски, справедлив. И потом: с нами, с римлянами (говорили они), по-другому нельзя...

И, возможно, были правы.

Это я к тому, что, когда в ресторан Дома актера входит, встречая молчаливое понимание, детина в тренировочных штанах и кроссовках на босу ногу, из этого ресторана надо уходить.



Борьба с Пышками

Вночь на четверг

они объявили войну проституции в Москве, но никого не нашли. «Ни одной единицы», как выразился один гуманитарный сержант в телевизоре.

— Как же так? — удивился корреспондент, в предыдущие ночи легко и в великом множестве находивший тружениц пола вдоль Садового кольца.

— Наверное, кто-то их предупредил, — подумав, осторожно предположил сержант.

Он далеко пойдет с его дедуктивным методом.

Щас обуемся и пойдем искать врага, пробравшегося в ряды наших жегловых-шараповых.

А лучше поедем — вот на этой на патрульной машине, которая каждый вечер сто пятнадцать раз проезжает мимо женских табунов в подворотнях, а на сто шестнадцатый заезжает туда и везет девушек в отделение милиции на «субботник».

Недавно такой «субботник» хотели устроить одной моей знакомой: у нее муж иностранец, так она расслабилась, забыла, где находится, и вышла вечером на улицу столицы нашей Родины — хорошо одетая и без паспорта. Ну, ее и забрали в восемьдесят восьмое отделение милиции, посадили в т.н. «обезьянник» (клетку для задержанных) и полночи убеждали не строить из себя целку и поработать на коллектив.

Позвонить домой не дали (не в Америке живем), и муж полночи разыскивал жену по моргам и больницам. Он не знал, что она, проститутка, сидит в двух шагах от него, в отделении милиции, и как последняя блядь отказывает стражам порядка.

Правда, это была ночь не на четверг, потому что в ночь на четверг они с проституцией борются — только у них никак не получается, потому что этих самых бабочек все время кто-то предупреждает.

Как бы нам все-таки поймать его, перерожденца?

Я думаю, правильнее всего будет сделать это силами моего родного двадцать четвертого отделения, в помещении которого зимними холодными ночами ходят отогреваться кариатиды среднего возраста, подпирающие собой стены кинотеатра «Орленок» (триста рублей за сеанс).

Или пригласить того безымянного бойца, который рано утром выпал пьяненьким в сисю из милицейского «уазика» неподалеку от памятника Ленину на Октябрьской площади. Этому борьбу с проституцией можно доверить с чистой душой, ибо следом за ним из того же «уазика» на моих глазах выпали три растерзанные девицы плюс одна с фингалом — то есть отчасти боец проституцию уже победил.

...Позже в ту правоохранительную ночь в какой-то подворотне милиции все-таки удалось отловить нескольких неорганизованных «единиц» — и сержант, страшно досадуя, рассказывал корреспонденту, что придется их потом отпустить. Законодательная база, говорил, хромает. Только, сказал, и можем, что оштрафовать за отсутствие регистрации (поклон Лужкову).

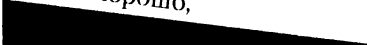
Девиц грузили в милицейский автобус и неторопливо расходились по своим чисто конкретным делам угрюмые ребята спортивного вида. С регистрацией у них все было нормально (поклон Лужкову), а «сутенер» — слово иностранное, поэтому к ребятам у милиции претензий не было.

Теперь только бы найти того перерожденца, который предупредил об операции.

Восстановление статус-кво



Все-таки хорошо,



что в этом ненадежном, колеблемом всеми ветрами мире еще существуют вещи, недвижимые, как звездное небо над мной и нравственный закон внутри членов Совета Безопасности.

Обязательно должно быть нечто эдакое, постоянное! Константа хоть какая-нибудь, прости господи, убеждающая в незыблемости мироустройства. В четверг — заседание политбюро. В пятницу — «Поле чудес». Летом — татары.

Увеличение количества констант называется стабильностью.

Ельцин должен бороться с войной в Чечне. Войска — бомбить аулы. ФСБ — ловить Дудаева. Дудаев — давать интервью. Все должно идти своим чередом.

И вот, признаюсь вам, последние полгода я, незлобивый столичный обыватель, жил в неосознанном раздражении: что-то в стране было не так! То есть в общих чертах все было нормально, но какое-то маленькое несоответствие не давало наслаждаться продвижением по пути реформ. Эдакое раздражение зрчка — будто вышел на Пушкинскую площадь, а там Гоголь.

Недели только полторы назад отлегло: Новодворскую привлекли.

Вот оно что! До этого она, оказывается, целых полгода на свободе была, а мы из виду упустили. Чувствовали: что-то не так — и мучились.

Потому что Новодворская должна сидеть в тюрьме. При коммунистах, при демократах, при батьке Махно...

Без разницы! В этом — залог спокойствия общества и нестигаемый успех правоохранительного органа.

Теперь, когда все встало на свои места, поинтересуемся: за что же ее на сей раз? Это, конечно, ерунда, «за что», тут главное — оттянуться всем законом: ее, Новодворскую, и за пропаганду войны уже привлекали (не Невзорова же!), и за призыв к терроризму, и даже, от большого ума, за отказ от службы в Вооруженных Силах... Но все-таки... как говорил Остап, из чистого любопытства... за что сейчас?

Вы будете смеяться — 74-я! Разжигание межнациональной розни! Вот кто, оказывается, у нас ее разжигает!

Не г-н Барсуков со своими публично озвученными представлениями о чеченском народе; не милиция, введшая в право оборот «лицо кавказской национальности»; и, уж конечно, не полсотни погромных газет, рядом с которыми «Советская Россия» — просто Белоснежка... Межнациональную рознь у нас разжигает Новодворская!

Чем же? Оказывается, одним интервью и двумя статьями (двухлетней давности) — текстами, почти полностью посвященными советскому народу, обидеть который в настоящий момент, согласитесь, невозможно по причине отсутствия оно́го как в природе, так и в праве. А русский народ, за который обиделась прокуратура, упомянут у Новодворской только раз, но действительно весьма неличеприятно: мол, русские — как квартиранты, которым легче уйти, чем навести порядок там, где они живут...

Ай-яй-яй. Тут бы и нахмурить правоохранительные брови, да вот незадача: нехорошая фраза эта — всего лишь пересказ классической мысли историка Ключевского.

Тут перед прокуратурой открываются заманчивые перспективы. Во-первых, собственно Ключевский этот — умер не умер, а 74-ю для острастки педагогического колледжника МГУ вклеить не помешает.

Но что Ключевский! А Лермонтов М.Ю., 1814 г.р., из шотландцев, беспартийный? «Страна рабов, страна господ», говорите?

А Карамзин Н.М. с его «воруют»?

А Герцен А.И. со всем собранием своих диссидентских сочинений?

А эфиоп этот с бакенбардами, позволивший себе заявить, что мы, видите ли, ленивы и нелюбопытны?

А подельник его, Чаадаев? Мы, говорит, принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, — представляете? И разобраться, почему Яковлевич! Хотя Чаадаева не больно посадишь — он сумасшедший, но уж поручик Толстой у нас не отвертится: семидесятую «прим» ему, голубчику, за «Хаджи Мурата», пропаганду чеченского терроризма!

Впрочем, это все, конечно, со временем. А пока — срочно посадить Новодворскую! Народу, особенно накануне выборов, нужна стабильность.



Как бы не прощелкать

Случилось со мной недавно странное:

полетел я на неделю в Тунис.

И вот стоит у Средиземного моря эдакий шезлонг, поверх шезлонга матрасик мягонький, поверх матрасика полотенчи́ко, а уж на полотенчике я. А у ног моих бассейн с водопадом для плези́ру, а сверху солнышко теплое, а сзади гарсон смуглый, весь в белом, с золотыми галунами, желающим напитки разносит.

- Сначала я струхнул от всего этого. В первый раз, как тот гарсон ко мне приблизился, по советской-то привычке струхнул: ой, подумал, что-нибудь нарушил я, ой, сгонят сейчас с полотенчика!

Потом привык, бояться гарсона перестал. За тентом, однако, когда темечко напекло, отправился сам — чай не барин, да и неловко человека гонять...

А назавтра осмотрелся, гляжу: французы-немцы отдыхающие знай пальцами себе шелкают, а он уж тут как тут — с тентом, с кофе, с джин-тоником... Ну, на третий день и я шелкать начал. Чего, в самом деле!..

А на пятый день, поверите ли, рассердился я на местного этого с галунами: медленно, гад, ходит! И полотенчи́ко мне косо постелил, и не улыбнулся. Немцу, который по соседству подгора́ет, небось все зубы показал, а мне только самую малость.

А еще пару дней покоптился, халява кончилась, и полетел я обратно к себе домой. Выспался, встал, на кухню вышел, стою посреди Измайлова с обгорелой рожей, пальцами шелкаю, шелкаю, а кофе нет. Не несет никто.

Эта нравоучительная история рассказана с умыслом и имеет вот какую мораль: быстро мы к хорошему привыка-

ем. Незаметно и в считанные дни хорошее становится нормальным и как бы даже само собою разумеющимся.

Вроде цветного телевизора. Ну, цветной, ну, с пультом, ну и что?

А то, что уже работает завод по обратному внедрению в жизнь «КВНа» с лупой! Special for you!

Недавно Геннадий Андреевич Зюганов огласил примерный состав своего будущего правительства, дав россиянам счастливую возможность пососать нитроглицерину заранее.

Коммунисты сняли все вопросы одним кадровым заявлением! Теперь, чтобы предсказать грядущее, не надо даже напрягать мозги — организм знает ответы сам.

Задачу снабжения населения продовольствием будет решать товарищ Стародубцев. О, yes! Мои кишки, забитые макаронами на «картошке» в семьдесят седьмом, мои ноги и локти, удерживавшие меня в очереди за кончающимся хлебом, по батону в руки, зимой девяносто первого, знают, как он будет решать этот вопрос!

Мои глаза знают, что им покажет из ящика председатель Гостелерадио Виктор Анпилов. Показаны мне будут: хлеб, льющийся в закрома Родины, рапорт о миллиардной тонне стали, вселение многодетной семьи в новую квартиру, вручение ордена Ленина Зюганову Тулеевым (или наоборот) и как израильская военщина разгоняет мирных палестинцев. Мои глаза давно знают все это наизусть и больше в ту сторону смотреть не могут.

Это — если Анпилова товарищи по партии утверждают. Если не утвердят, все то же мне покажет какой-нибудь другой провокатор.

А из соседнего ящика будет литься Чайковский, переложенный псевдонародными припевками. Шевчуков, Макаревичей и прочих Б. Г. будет курировать лично товарищ Селезнев, борющийся с роком еще на посту главного редактора «Комсомольской правды», — так что и здесь никаких неожиданностей не предвидится. Ну и глушилки, конечно, как без глушилок! (Вы, надеюсь, еще не забыли, что за спиной западных радиостанций стоят ЦРУ и его прихвостни из НТС?)

О военной реформе, проводимой министром обороны А. Макашовым, мне сигнализирует уже не какая-нибудь одна часть тела, а весь организм, ударенный в свое время о военный округ, соседствующий с тем, где командовал означенный Альберт. Организм сигнализирует, что будет укрепление дисциплины. А укрепление дисциплины по-армейски — это вот что. Это когда солдат, похожий на привидение, красит траву в зеленый цвет, а весной из разных краев пригоняют новый призыв, и пока они драют гуталином плац, солдат наконец становится человеком и наедается чужими пайками, как кабан.

Ну и охрана завоеваний социализма, разумеется. Привет Гавелу.

Рыжков будет реформировать промышленность.
No comment.

В общем, все будет путем. Все тем же, ленинским. У нашего прошлого — большое будущее!

А мы-то, грешные, уже попривыкнуть успели — к тому, что прилавков ломится, что газет уйма, что кроме красного в спектре цветов немерено; что на эстраде — то Синатра, то Зыкина, то вообще Пенкин... Что никакая гадина со значком не объясняет тебе, как надо жить, а как не надо. Перестали считать победой над строем поездку в Болгарию.

Вот и в Тунис этот, где морду себе сжег... — не от ЦК профсоюза и не в составе делегации, а так вот сдуру взял и поехал, никем буквально не утвержденный! Теперь могу засвидетельствовать: Тунис — существует! Еще лет десять назад — не поручился бы. И гарсон там есть, у синего моря, в белом с золотыми галунами, легкий на помине.

Только как бы нам, проснувшись однажды среди родных болот, не стоять потом в ступоре, щелкая бесполезными пальцами.

Теперь будет не то, что раньше.

Теперь — нравственность, или, чтобы вам было еще понятнее, духовность.

Они выберут из своего партхозактива на Охотном Ряду двенадцать самых духовных, типа этого, с головой как дыня, или другого, который от имени всех аграриев вспоминал, чего какой у чекистов должно быть температуры... или вообще третьего, который на заседании брови у себя выщипывал и ел прилюдно, — и они будут решать, чего нам с вами смотреть, читать и слушать, а чего — нет.

У них получится, я знаю.

Откуда такая уверенность? А вы в биографии загляните этих оплотов нравственности! Обком, горком, райком... У них руки заточены именно под запрет чего-либо-нибудь. Их господь для этого и создавал, в назидание беспартийным. Ничего другого эти твари (божьи) не умеют — иначе проводили бы отпущенное им время в сотворении, как говорил Андрей Платонов, «вещества жизни», а не в парткомах.

Но в реальную жизнь их всегда ссылали, как в Шушенское.

Весь век при руководстве массами. Только раньше — черная «Волга» и Программа Мира, а сейчас — «Ауди» и духовность вот эта самая, блин.

О духовности ихней — отдельный разговор.

Ее земное воплощение — коммунист Ковалев (сауна на халяву, желательно с девочками на халяву же, в идеале — на бандитские бабки, и чтобы при этом быть министром юстиции).

Ее высшее достижение — платный провокатор, лучшее вложение денег партии (он же — главный либерал стра-

ны), в церкви, перед телекамерами, со свечкой в руке и нетвердым знанием, к левому или к правому плечу вести пальцы от пуза — и сколько тех пальцев должно быть.

Ее ежедневность — Охотный Ряд, с тараканьими бегами вдоль чужих кнопок, с подлогом на каждом шагу и расширенным строительством вдоль Рублево-Успенского шоссе.

Одного лысого борца за нравственность я с особым удовольствием наблюдал во время сочинского «Кинотавра» в гостиничном казино, среди девочек не самого тяжелого поведения. Даже в процессе игры в «блэк джек» его не покидало судьбоносное выражение лица.

Они обожают эвфемизмы. Говорят «Ленин» — подразумевают «партия», говорят «интернациональная помощь» — подразумевают зачистку кишлаков... Что же они имеют в виду, когда говорят о грядущей духовности? Какие лица грезятся им в этом случае на телеэкранах вместо лиц Ханги, Фоменко и, ну, допустим, Шендеровича?

Может быть, лица Сергея Аверинцева, Виктора Астафьева, Фазиля Искандера?

Тогда, честное слово, я бы с удовольствием сделал шаг в сторону. Но — подите спросите у депутата Шандыбина, кто такой Искандер...

Нетушки. Телеэкраны заполняют совсем иные лица, и тексты у них будут, уверяю вас, соответствующие. Ибо совсем не нравственность и «чистота русской речи» интересует этих господ, большинство из которых не отличают своего кармана от государственного и под страхом смерти не напишут диктанта для шестого класса...

Просто хочется власти окончательной. И путь к этому прянику лежит через эфирную зону. Вот и вся их духовность.

Свобода слова мешается под державными ногами. И помяните мое слово: если им удастся убрать со своего пути эту помеху — вот тогда и начнется настоящая порнография...

Давайте бороться с преступностью.

Пора! Найдем у диссидента пистолетик, захватим с поличным поэтессу, отыщем в газете ненормативное словцо, навалимся на финансовую дисциплину в отдельно взятом детском саду — и всех посадим! Плюс Новодворскую (это святое). Потому что — «ведь надо же начинать, хотя бы с малого», как сказал мне один следователь по особо важным делам, брошенный на борьбу с резиновыми изделиями.

И то сказать, с чего и начинать, как не с малого. Можно, конечно, начать с большого — например, на администрацию родимую гавкнуть насчет коррупции, — только тебя же потом из мундира со звездой вынут и за все то же самое сгноят.

Можно «качка» вот этого, что возле твоего учреждения припарковался, арестовать с его малиновым пиджаком и «стингером» в «Мерседесе» — но у него же, гада, телохранителей... и сам он в прошлом телохранитель: он же, падла, выстрелит, а у него иммунитет!

Можно «Останкино» колючей проволокой оцепить по периметру за «черный нал» — но кто ж тогда перед выборами страну сориентирует? Хотя за «черный нал» и страну можно — колючей проволокой по периметру...

Таможню можно разогнать, ментов посадить половину... потом вторую посадить — но ведь самого же потом сапогами по почкам...

Кобзон, наконец... Но тут уж лучше сразу яду выпить.

Так что начнем борьбу с преступностью с диссидента и поэтессы. Так-то оно надежнее.

Купи козла

Помните анекдот про еврея,

пришедшего к ребе жаловаться на тяжелые жилищные условия? Мол, жена, теща, пятеро детей, и все в одной комнате... Ребе сказал: купи петуха.

Через неделю приходит еврей снова, говорит: ребе, лучше не стало, стало хуже: жена, теща, пятеро детей, петух кричит... Ребе сказал: купи свинью.

Через пару дней опять прибегает этот нервный еврей: ребе, кричит, это невыносимо! Жена, пятеро детей, теща, петух кричит, свинья гадит... Ребе сказал: купи козла. А когда через день приполз к нему на коленях еврей, в комнате у которого теперь в придачу ко всему вонял козел, мудрый ребе сказал: а теперь продай петуха, свинью и козла!

И наавтра к нему пришел совершенно счастливый еврей: ребе, говорит, какое счастье, такая просторная комната — а в ней только я, жена, теща и пятеро детей!

Очень полезный анекдот.

В начале пути реформ господь послал президенту России спикера Хасбулатова с группой дрессированных народных избранников. Спикер называл министров червяками, народные избранники на глазах у миллионов телезрителей проводили партхозактивы.

От президента России мы в ту пору чего-то еще ждали, а от партхозактивов уже семьдесят лет тошнило даже беспартийных — поэтому, когда приспичило, все дружно сказали «да-да-нет-да».

Получив новый вотум доверия от народа, президент поехал в Сочи отрабатывать подачу, а когда посреди Москвы взбухло гноище вооруженных нардепов, велел

министру обороны фигачить по ним из танков. Министр обороны полсуток думал, в какую сторону фигачить, за это время так никогда и не найденные снайперы поубивали полторы сотни москвичей, а милиция, храбро исчезнувшая с улиц в ночь с третьего на четвертое октября, утром пятого в городе появилась в необычайном количестве и начала избивать журналистов и лиц кавказской национальности.

В любой другой точке мира, исключая несколько прогрессивных людоедских режимов, такое повлекло бы за собой отставку всех силовых министров и отправление их под суд — но у нас господь послал им альтернативу в виде Макашова и Ачалова, а при взгляде на этих товарищей перекрестились даже неверующие.

При сравнительном анализе Грачев и К" оказались как бы демократами.

Победив мятежников, власть во главе с законно избранным отвязалась окончательно, начала пить нефть, заедавая человечиной, а через пару лет случайно обнаружила, что скоро выборы и все накопленное имущество может уйти к совершенно посторонним людям.

Рейтинг власти к тому времени сам собою ушел глубоко за ноль.

И тут, когда казалось, что все пропало (Барвиха, Завидово, Петрово-Дачное...), господь послал президенту России коммуниста Зюганова. Довольно быстро было изготовлено ужасающих размеров пугало и воткнуто посреди избирательного огорода. Пугало махало кумачом, обещало все отнять-поделить и на ночь глядя вспоминало Джугашвили.

А президент России как раз вспомнил несколько демократических словосочетаний и временно покаялся... Потом своими ногами (что особенно выделялось средствами массовой информации) подошел к пугалу вплотную и предложил народу сравнить. Сравнение получилось в пользу президента — прежде всего потому, что как мужчина он оказался значительно симпатичнее пугала.

И мы за него проголосовали. Проголосовали, разумеется, сердцем — мозги у нас для кроссвордов.

Получив от народа вотум доверия, президент России... Впрочем, это мы уже проходили.

...А теперь господь послал нашему законно избранному законно избранному по соседству Александра Григорьевича Лукашенко. Тот вообще чудо что за человек! Журналистов бьет, Гитлеру симпатизирует, обещает себя всему электорату по гроб жизни.

На время посевной отменил деятельность оппозиции.

Так что мы на Бориса Николаевича нашего молиться должны.

Господи, какой замечательный у нас президент! Ведь все могло быть гораздо, гораздо хуже!

Купи козла.



Прощание славянки



В течение полугода

после демобилизации из армии я видел один и тот же сон: из аэропорта меня отправляют обратно в часть — дослуживать почему-то ровно пять дней.

Я просыпался в холодном поту.

Но если бы армия могла видеть коллективные сны, ее кошмар был бы совершенно симметричным: ей бы снилось, что меня оставили в ее рядах.

Дело в том, что мы совершенно не подходили друг другу, и все эти пятнадцать лет я радуюсь нашей разлуке за нас обоих.

И даже если забыть про дедовщину и прочие прелести армейской жизни, благодаря которым чтение книг Шаламова и Солженицына вызывало во мне странный эффект, известный в народе под именем «дежа вю» — ощущение, что все это уже было со мной... Если даже представить, что я служил бы в некоей фантастической части, взятой целиком из альманаха «Подвиг»...

Хотя нет, лучше представим все наоборот. Представим, что генерала Граче-Макашовского призывали в консерваторию.

А что? И очень даже! Пришла с каникул Дума, приняла на свежую голову закон о всеобщей музыкальной повинности — и вот генерал впритирку с другими убогими (инженерами, сантехниками, биофизиками...) уже стоит на сборном пункте в районной музыкальной школе.

Через пару дней, дав окончательно пропахнуть друг другом, всех грузовиками свозят в консерваторию, переодевают во фрак, дают папку для нот и два часа на изучение нотной грамоты. Потом приходит тромбон со второго

пульта со списком, тычет указкой в партитуру и спрашивает: это какая нота, уроды? Ответившие неправильно сразу идут драить очко в консерваторском сортире.

Ночью все учат устройство клавиатуры — и не дай бог генералу перепутать бемоль с диезом или не сыграть Шопена, пока спичка горит: заставят приподнять рояль и так стоять, а откажется — прищемят пальцы крышкой (так уж у них, у музыкантов, с древности заведено), а будет кричать — пойдет после отбоя вместо сна учить наизусть Губайдуллину, а в шесть утра — подъем и сразу полчаса хроматической гаммы на скрипке. Не возьмет генерал первую позицию раз, промахнется с недосыпу второй — пятикурсники струнного отделения отведут его в кабинет сольфеджио и там измелят.

И напрасно будет он умолять их и объяснять, что не дал ему бог слуха и тонких пальцев, — ему на это только скажут: ага! значит, ты, сука, будешь в штабе задницу просиживать, а на скрипке за тебя играть Ойстрах будет? Два часа, гаденыш, и чтоб была первая позиция, как на картинке! Время пошло.

И уж отныне он будет крайним в оркестре. И из сортира не вылезет, и «на тумбочке» под портретом Чайковского простоят три ночи подряд в шестой балетной позиции, а балетки у него будут для смеху на два размера меньше, чем ноги. А на четвертую ночь вместе с другими молодыми музыкантами будет он до рассвета покачивать кровать дембеля Спивакова и изображать ему стук колес, чтобы дембелю снилось, что он едет на фестиваль в Кольмар... А днем генерал Граче-Макашовский будет переписывать всему оркестру партитуры, и от недосыпу потеряет сознание, и его отведут в санчасть, и местный коновал в чине хормейстера заглянет ему в глазное дно и пропишет три раза в день бельканто стоя на четвереньках.

А когда генерал пожалуется на невыносимые условия музыкальной службы по команде министру культуры Сидорову, письмо до Сидорова не дойдет, а дойдет до начальника консерватории, и ночью, придя из увольнительной, «Виртуозы Москвы» снова измелят его и сбросят в оркестровую яму.

А в столовой его порцию будут подчистую съедать духовые, и к зиме голод усилится невыносимо, и однажды в

кармане фрака у него найдут ворованный сахар и опять отметелят в кабинете сольфеджио...

Достаточно — или рассказывать еще? Достаточно? А не рассказывать, как он пытался бежать из расположения консерватории, прихватив с собой две флейты и горсть клавиш, чтобы продать их и поесть по-человечески? Как его поймали, и снова били, и дали восемь лет за нарушение присяги, данной Отечеству, которое позарез нуждается в укреплении музыкальной культуры?.. Не надо? Хорошо, не буду.

Только один вопрос.

Товарищи генералы! Я еще не убедил вас в необходимости альтернативной службы?



Подстава, шиза и непонятки

Недавно в вагоне метро

я увидел рекламу. Она была наклеена прямо поверх схемы линий метрополитена, что показалось мне очень верным решением с точки зрения рекламного дела.

Ибо прочтет ли кто-нибудь, чего наклеено над вагонными окнами, это еще бабушка надвое сказала, а тут на моих глазах несколько бедолаг-пассажиров, подошедших уточнить свой маршрут под землей, бормоча проклятия, вчитывались в проклятый листок...

Прочел листок и я. Если бы оттуда мне сообщили, что «Краш» — это мой цвет, или призвали пользоваться тампаксом, в этом, пожалуй, не было бы никакого парадокса, а только легкое хамство.

Но схема метрополитена была заклеена рекламным проспектом Института международного права.

Реклама Института права путем явного правонарушения... как сказал бы ослик Иа-Иа, — это было душераздирающее зрелище. Но услужливая память тут же начала подкидывать впечатления бывшего, и частный случай легко вписался в общую картину жизни, где, по Гоголю, все не то, чем кажется.

...Я не знаю, где он и кто он сейчас, этот человек, но в начале восьмидесятых он был заместителем главного редактора журнала «Крокодил». В сатиру он пришел из структур МВД, что с государственной точки зрения было даже предусмотрительно. Блестящий фельетонист Александр Моралевич, помню, неоднократно и довольно назойливо предлагал ему написать диктант, что заместитель главного не рискнул сделать ни разу. Трудности, которые

он прилюдно испытывал с падежами, не мешали ему числиться автором восьми книг.

Это был, так сказать, писатель.

А прошлым летом по дороге на дачу я встретил милиционера, еще не ушедшего в литературу. С головой (и автоматом Калашникова) милиционер ввалился в открытое по случаю жары окно машины, обдал меня сивушным перегаром и сказал буквально следующее: «Ара, попить есть?»

С учетом всех обстоятельств, как-то: незамысловатое обращение, бренчащий по стеклу автомат, неславянский тип моего лица и то, что встреча наша происходила вскоре после Буденновска, я не стал посылать стража на три буквы, потому что хотел жить, а посмертно мог оказаться и чеченским террористом. Я только вспотел до глубины души и честно ответил: «Ара, попить нет!» — и мы поехали на дачу, а мент замахал жезлом на следующую машину.

Впрочем, с пьяного какой спрос? Вот вам про трезвых.

Сижу я как-то у «Фрунзенской», пью кофе, лето опять-таки. Вдруг — скрип тормозов, из машины выскакивают ребята спортивного телосложения, подбегают к стоящей у бордюра красной «девятке» и с громким матом выдергивают оттуда трех хорошо одетых людей.

За соседним столиком говорят: во беспредел пошел, прямо среди бела дня! И я тоже думаю: может, ну ее на фиг, мою чашечку кофе, а то сейчас как пальнут... Позвать, что ли, милицию?

Но тут бандиты ставят выдернутых из машины в положение «ноги врозь, руки на капот» — и начинают в «девятке» копать.

Нет, говорят за соседним столиком, это не бандиты, это ОМОН переодетый, а бандиты — как раз те, что в «девятке», ишь, нахалы! И я тоже успокаиваюсь и, радуясь торжеству закона, продолжаю пить кофе.

Тут к стоящим в положении «ноги врозь, руки на капоте» неторопливо подходит накачанный, коротко стриженный человек и с размаху бьет их поочередно ногой под ребра. Нет, говорят за соседним столиком, эти, накачанные, точно бандиты, а те, в «девятке»... Хотя те тоже бандиты...

Тут наше гадание на кофейной гуще наконец прерывает приезд к месту событий милицейского «уазика». Изби-

тых оттаскивают от их «девятки» и увозят навстречу правосудию. Этот финал снимает вопрос ведомственной принадлежности накачанных матерщинников, но в душном воздухе остается висеть другой: почему, черт возьми, бандиты так похожи на нас, пьющих кофе, а представители закона настолько неотличимы от бандитов?

Хотя опять-таки — какие вопросы, к кому? Бывший генпрокурор России Степанков, как мы помним, свободно ботал по фене, другой страж закона приторговывал джипами... Образы еще недавно первых людей страны, генералов и министров «Шамы», «Миши» и «Саши», легко, без швов в сознании, монтируются со словами «подстава», «шиза» и «непонятки». Воистину, чудны дела твои, господи!

У меня нет претензий к действительности. Все сущее, видимо, разумно, и пускай цветут сто цветов... Я только хочу, чтобы не было непоняток. Чтобы рекламой Института права не заклеивалась схема метро. Чтобы милиционер не называл меня арой, певец не торговал оружием, охранник не пел, а редактор умел написать диктант.

Чтобы министр Российской Федерации не дружил в открытую с вором в законе, а человек с повадками пахана не становился министром вышеозначенной Федерации.



Как нас теперь называть?

МЫ ПЛЫЛИ в Тверь.

Был дивный летний вечер и т. д. Я любовался видами, стоя на носу теплохода «Федор Шаляпин». Взгляд мой случайно наткнулся на судовой колокол. На колоколе черным по медному было написано — «Климент Ворошилов».

Если на клетке со слоном увидишь надпись «буйвол»... Я протер глаза. Надпись на колоколе не исчезла.

Как сказал бы голос Копеляна за кадром — информация к размышлению. Перед рейсом я, по дурной привычке читать все, что напечатано, прочел рекламный проспект пароходства, из коего узнал: теплоход «Федор Шаляпин» был построен в ЧССР в 1977 году. Меня это сразу смутило: строить на родине Дубчека корабль имени эмигранта — была в этом, согласитесь, какая-то идеологическая близорукость...

Теперь же, увидев судовой колокол, я глубоко задумался. Настолько глубоко, что на ближайшей стоянке подошел к борту и начал археологические исследования. Визуальные раскопки эти продолжались недолго. Перед словом «Федор» совершенно отчетливо читались следы букв, бывших на этом борту раньше: «Климе...»

Дедуктивный метод победил. В разбушевавшейся фантазии тут же нарисовалась картина в духе постмодернизма — «К. Ворошилов рубит шашкой Ф. Шаляпина во время круиза Москва — Тверь».

Вскоре случай свел меня с главным механиком судна, просившим называть его попросту, без чинов, Володей. Володе только что исполнилось пятьдесят лет, из которых тридцать три он проплавал по Волге — причем было это у Володи наследственное: отец и дед его тоже всю жизнь плавали.

Трехсотлетие российского флота он воспринимал как семейный праздник.

Поздравив Володю со всеми юбилеями, я выпил налитый им стакан дистиллированной флотской воды и уже в этом состоянии поделился своим открытием относительно прошлого имени теплохода. И услышал замечательные подробности, никакой ответственности за которые не несу.

В 1990 году, когда Санкт-Петербург еще был Ленинградом, но процесс уже пошел, в высоких кабинетах решено было переименовать «Ворошилова» к чертовой бабушке, от греха подальше — и экипажу было предложено плавать под именем «Николай Карамзин».

Имя это, что любопытно, родилось не в Академии наук, а в тех же партийных кабинетах, откуда в семьдесят седьмом выскочил на горячем коне Климент Ефремович. Просто к девяностому году классовый подход сменился местническим, а Карамзин очень кстати оказался родом с Поволжья, из Ульяновска, который, в свою очередь, если кто не знает, долгое время был Симбирском.

А ульяновский первый секретарь был в корешах с первым секретарем нижегородским (тогда еще — горьковским). Корабль же был приписан к Горьковскому пароходству — вот нижегородский секретарь Горьковского обкома, чтобы сделать приятное партийному коллеге, и пообещал ему, что «Ворошилов» будет «Карамзиным». Так сказать, от нашего стола — вашему столу!

Имя Карамзина ничего не говорило ни уму, ни сердцу экипажа — да и пассажирам не особенно, — и экипаж написал письмо чуть ли не в ЦК со своим рабочим условием: либо «Федор Шалапин», либо вообще «Владимир Высоцкий»! Начальство в девяностом году трудящихся немного побаивалось, но о Высоцком не могло быть и речи. Так «Климент Ворошилов» стал «Федором Шалапиным».

А чтобы ульяновскому руководству не было обидно, в «Николая Карамзина» переименовали пароход «Советская Конституция». После такого имени экипажу было, видать, уже все равно, хоть «Чаадаевым» назови...

Вот такая история.

Я выпил еще один стакан дистиллированной флотской воды за Володино здоровье, получил из рук его жены

уникальный значок с профилем нашего теплохода и подписью «Климент Ворошилов» — и покинул каюту.

Мы плыли по каналу реки Москвы, стоящему на костях его безымянных строителей-зэков, и голос корабельного методиста взволнованно рассказывал об истории создания на берегу канала грандиозного монумента В.И. Ульянову, переименованному в свое время в Ленина.

А потом мы приплыли в Тверь (в прошлом — город Калинин), где на центральной площади, перед зданием, в котором, как утверждает мемориальная доска, служил в должности вице-губернатора Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, стоит памятник — угадайте с трех раз кому?

Подсказываю: в распахнутом пальто, правая рука указывает направление.

А как называется площадь? Ну разумеется.

Надо переименовать, граждане! Либо площадь в «имени Салтыкова-Щедрина», либо Тверь — обратно в Калинин.

И вообще, самое время понять, в какой стране мы все-таки живем.



Дочка вернулась из школы, хихикая.

Иду, говорит, на перемене по коридору, а навстречу Иришка, и волосы у Иришки мокрые, как будто только что из ванны. Я спрашиваю: ты чего? А Иришка говорит: понимаешь, иду себе, никого не трогаю, а навстречу священник с ведром, в каких в школьном буфете супы разносят. Увидел меня и говорит: как, тебя еще не окропили? Сунул губку в ведро и на меня выжал.

...Когда-то, узнав о существовании в школьном расписании дочки предмета «Основы духовной культуры», я искренне обрадовался. Сам-то простоял все детство под пионерским салютом, Библию впервые открыл великовозрастным дядей... Подумал: вот как славно, дочка с малолетства узнает про оба Завета, про кровную связь всех религий мира, про нелегкие отношения человека с небом...

Три ха-ха! Учили молиться. Зато теперь... Подумать только: всего один дурак вышел в школьный коридор с ведром воды — а сколько последствий! Иришка мокрая, дочка веселая, и мне не надо вести в своей семье атеистическую пропаганду. Воистину, неисповедимы пути господни.

Впрочем, что я все о себе да о себе! Черт ли вообще со мной! В стране уже лет десять — духовный переворот. Толпы новообращенных хлынули на стадионы. Батюшки святят «Мерседесы» и за отдельную плату — запчасти. Член обкома со свечкой — привычнеее зрелище. Потому что нам без идеологии никак нельзя. Либо коммунизм победит, либо Христос воскресет. Либо и то и другое.

В отсутствие идеологического отдела ЦК свободная Россия быстро затосковала и начала озираться по сторо-

нам. А тут как раз они, патентованные носители духовности — по большей части, разумеется, прошедшие аттестацию в КГБ.

Ибо священников, не прошедших аттестацию в лубянском очаге духовности и либерализма, по большей части давно сгноили на Соловках.

Так с тех пор и живем — вроде и в светском государстве, а не совсем. В светском, согласитесь, трудно представить сбор средств на культовое сооружение в качестве обязательной дани для бизнесменов (см. храм Христа Спасителя).

Может быть, поэтому ни один деятель церкви (кроме покойного отца Александра Меня, имевшего, к слову, большие проблемы с церковной властью) пока не завоевал в нашем обществе того безусловного уважения, которым обладали наши светские, хотя иногда религиозные, современники — Сахаров, Рихтер, Окуджава, Лихачев...

Сегодняшние слуги Христа в открытую занимаются политикой, успешно выбивают в правительстве налоговые льготы и скупают акции крупных банков в стране и за рубежом, и говорить об авторитете церкви сегодня можно только в новейшем значении слова «авторитет».

Я не вправе обращаться к святейшему патриарху Алексию — я не православный и не могу что бы то ни было советовать ему относительно ведения дел во вверенной ему епархии. Но гражданина Российской Федерации Ридигера (как равный равного) хотел бы попросить не брать на себя лишнего и не говорить, например, от имени народов России, как он сделал в своем обращении к президенту. В России очень много разных народов и конфессий — и далеко не все давали ему право говорить от их имени.

А что до тревожащих его материй — содержания отдельных телеканалов, оскорбления чувств и перехода границы, отделяющей добро от зла, — что ж... Мои, например, чувства давно и глубоко оскорбляет канал «Московия». Но я не пишу писем президенту и спикерам палат с просьбой запретить «круглые столы» по вопросам спасения России путем изгнания бесов. Я просто беру пульт — и постное лицо господина Крутова со товарищи исчезает из моего телевизора совершенно бесследно.

Мы откуда живем не в Иране и не в Северной Корее — и не стоит туда особенно стремиться, потому что разогнать паровоз любого фундаментализма проще, чем потом его остановить. Притом что вектор у нас в России может поменяться за пару дней, вы же помните... А инерция гонения останется.

У слуг церкви есть их паства, и в ней (по моим скромным наблюдениям) есть что исправлять к вящей славе Христовой.

А мою дочку попрошу не обрызгивать водой без моей специальной просьбы. Она не овощ.



Часы с петушком и кукушечкой



Моим соседом



по дороге в Нижний Новгород оказался дедуля из Курска — лет семидесяти, в тельняшке и с таким запасом провианта, как будто ехать он намеревался до Владивостока.

Мне было добросердечно предложено поесть и налито пива.

Не помню, с чего начался наш разговор, но первый же дедулин тезис поразил меня в самое сердце. В досаде поминая неурожай картофеля на своих сорока сотках, дедуля вдруг в довольно сильных выражениях помянул Соединенные Штаты Америки.

Картошка не бузина, США не Киев. Я спросил: при чем тут Америка? Оказалось: курскую дедулину картошку извел колорадский жук (на метр в землю уходит, ничего с ним сделать нельзя!), а жука того, из названия видно, наслали к нам империалисты, дабы понизить урожай.

Остаток пути я потратил на изучение этой курской аномалии.

Особых усилий для изучения не требовалось: говорил дедуля сам, ровным тихим тенорком. Вот что я узнал. Что после войны дедушку не отпустили домой, а оставили (как оставляют вещь) еще на шесть лет служить на флоте; что жена горбатилась в колхозе за трудодни и потом, до самой пенсии, тридцать лет, как лошадь, за копейки, а теперь сильно заболела ногами; что душат налогами — работаешь, работаешь, а ничего не остается; что зять, дочерин муж, оказался трутень — только лежит на диване и пьет; что законы у нас мягкие, а надо бы таких расстреливать, и вообще, чтобы знали; что в Америке законы гораздо строже — на Клинтона недавно покушались, и покушавшегося

расстреляли (я было не поверил, но дедуля отмел все сомнения: расстреляли, расстреляли!); что при Сталине было тяжело, но справедливо, потому что с народом иначе нельзя; что из Курска в Нижний он едет в гости к внучку и везет ему часы с петушком и кукушечкой.

Петушок этот прокукарекал в четыре часа пять минут утра. На пятôm, кажется, «кукареку» я проснулся и, лежа в полной темноте, прослушал этих «кукареку» еще с десятток. Время я хорошо запомнил потому, что бесстрастный женский голос из часов сообщал мне его после каждого петушьего крика.

Дедуля при этом продолжал безмятежно спать — прямо в тельняшке. Утром только поинтересовался: петушок был или кукушечка? Я сказал: петушок. Вот, очень довольный за меня, сказал он — и улыбнулся. Глаза у него были голубые, добрые до нежности. А еще есть кукушечка, сказал он. За окном плыл жутковатый производственный пейзаж — какие-то трубы, ограды, коробки корпусов... Мы послушали, как кукует кукушечка. Внуку везу, сказал дедуля. Внучок смысленный, обрадуется.

Умывшись и попив пивка, дедуля немного подумал и сделал сообщение на межнациональную тему: чеченцы, сказал, вредный народ, еще в войну нам вредили, и не надо с ними разговаривать, а надо так: всех русских оттуда вывезти, а на остальных бросить сверху бомбу. Какую бомбу? — спросил я. Такую, ответил дедуля и мысль свою охотно пояснил. Он когда на Дальнем Востоке служил, на японцев бросили бомбу — и все, и никаких разговоров. Японцы тоже вредный народ? — спросил я. Очень, подтвердил дедуля и застенчиво улыбнулся.

Поезд остановился в Дзержинске, последней станции перед Нижним. Я набросил пиджак и пошел размять ноги — а заодно голову, поврежденную ночным кукованием и утренней политинформацией. Дверь вагона была закрыта, проводница в своем купе пила чай в компании со сменщицей.

- Откройте дверь, — попросил я.
- Зачем? — удивилась проводница.
- Так... — сказал я. — Подышать.
- Нашел где дышать, — сказала проводница.
- Козленочком станешь, — пояснила сменщица.

После их короткого совместного рассказа о характере производства в городе Дзержинске я не стал настаивать на открытии двери и побрел обратно к дедуле. Дедуля медленно пережевывал колбасу, глядя в окно.

Следующей темой было падение производства. В Курске, сообщил дедуля, глядя на дзержинские заводские трубы, производство стоит, рабочие денег не получают — а почему? И он посмотрел на меня своим голубым пронзительным глазом. Я понял, что от меня требуется переспросить. Почему? Потому что немцы вывезли у нас все сырье! Скупили по дешевке и вывезли. Я опять не поверил. Неужели все? Все. Зачем? Специально! Чтобы заводы встали. А потом взять голыми руками.

...Мы ехали сквозь вечные российские виды — с покосившимися телеграфными столбами, с нищими делянками за колючей проволокой, этим плющом отечественных заборов, с изрезанной оврагами, выхолощенной землей и рядами неостывающих труб, — и он говорил со мною, добрый, хлебосольный, голубоглазый дедушка, насмерть, насквозь, пожизненно протравленный прошедшими десятилетиями, как насквозь был протравлен ими этот безнадежный советский натюрморт.

И не было ничего бессмысленнее, чем спорить с ним, — как нету ничего безнадежнее, чем спорить с этим видом за окном поезда. Бытие, знаете ли. Реальность, данная в ощущениях, хотя иногда и довольно сильных.

И вряд ли кукушечка прокукует нам однажды какое-нибудь совсем новое время: Гринвич далеко, а Дзержинск — вот он.

Нашли, где дышать — на Родине!

Жалко только внука. Смешленный внучок...

Ты помнишь наши встречи?

Мемуары сержанта запаса

Посвящается С. А.

Несколько бесхитростных историй,

рассказанных ниже, наряду со множеством недостатков, на которые автору, несомненно, еще будет указано, имеют одно скромное достоинство: все они произошли на самом деле.

История болезни

В конце февраля 1981 года меня прямо с полкового стрельбища увезли в медсанбат. Из зеленой машины с крестом вылез незнакомый мне лейтенант и привычно крикнул:

— Шендерович тут есть?

Не поручусь, что, крикнув это лейтенант на месяц позже, ответ был бы утвердительным. Дело в том, что я, пользуясь популярным в стране лагерным сленгом, доходил.

У меня болела спина. Зеленые круги перед глазами были намертво вписаны в квадрат полкового плаца. Я задыхался, у меня разжимались кулаки — не в переносном смысле, а в самом что ни на есть прямом: выпадали из рук носилки со шлаком во время нарядов в котельной.

Человек, не служивший в Советской Армии, резонно спросит тут: не обращался ли я к врачам? Человек служивший такого не спросит. Потому что самое опасное для советского солдата не болезнь. Самое опасное — это приход в санчасть, ибо тут ему открывается два пути. Либо его госпитализируют, и он будет мыть полы в означенной санчасти с мылом каждые два часа, пока не сгинет окончательно, — либо не госпитализируют, и его умысел уклониться от несения службы будет считаться доказанным.

Меня из санчасти возвращали дважды — и оба раза с диагнозом «симуляция». В первый раз майор медицинской службы Жолоб постучал меня по позвоночнику и по-

просил нагнуться. Кажется, он искал перелом. Не найдя перелома, майор объявил мне, что я совершенно здоров. Через неделю после первичного обстукивания я появился в санчасть снова и попросил сделать мне рентген. Наглость этой просьбы была столь велика, что майор временно потерял дар командной речи — и в воскресенье меня повезли на снимок.

А еще через неделю я был приведен пред ясные майорские очи и вторично поставлен в известность о своем совершенном здоровье. Апропо майор сообщил, что если еще раз увидит меня на территории полковой санчасти, то лечить меня будут на гауптвахте.

Юноша я был смысленный и проверять, как держит слово советский офицер, не стал. Мне хватило ежедневного лечения у старшего сержанта Чуева, о каковом сержанте и первых четырех месяцах службы под его началом я, если хватит цензурных слов, расскажу отдельно.

Так, днем топча плац, а по ночам не вылезая из нарядов, я всю зиму привыкал к существованию на грани отключки — поэтому появление на стрельбище в конце февраля зеленой машины с крестом и крик незнакомого лейтенанта воспринял как очередное доказательство бытия господня.

В медсанбате мне выдали пижаму, отвели в палату и велели лежать не вставая. В истории всех армий мира не наберется и десятка приказов, выполненных с такой педантичностью: я лег и тут же уснул.

Когда к концу дня меня растолкали на прием пищи, я, одурев от сна, попросил принести мне чаю в постель. «А палкой тебе по яйцам не надо?» — спросили меня мои новые боевые товарищи. «Не надо», — вяло ответил я и снова уснул.

Что интересно, чаю мне принесли.

На третий день к моей койке начали сходить медсанбатовские ветераны. Разлепляя глаза среди бела дня, я видел над собой их уважительные физиономии. Еще никогда выражение «солдат спит — служба идет» не реализовалось так буквально.

При первой встрече со мной рентгенолог, лейтенант медслужбы Анкудинов, с нескрываемым любопытством переспросил:

— Так это ты и есть Шендерович?

И я ответил:

— В этом не может быть сомнений.

Туг я был не прав дважды. Во-первых, окажись на месте Анкуддинова другой офицер, я бы за такой ответ огреб по самое не могу, а во-вторых, сомнения в том, что я Шендерович, уже были.

На второй или третий день после прилета в столицу ордена Ленина Забайкальского военного округа город Читы нас, лысых дураков, построили в шеренгу, и прапорщик Кротович, человек интеллекта запредельного, выкликнул, глядя в листочек:

— Шендерович!

— Шендерович, товарищ прапорщик, — неназойливо поправил я.

Прапорщик внимательно посмотрел, но не на меня, а в листочек.

— Шендерович, — повторил он, потому что у него так было записано. Я занервничал:

— Шендерович, товарищ прапорщик.

Моя фамилия мне нравилась, и я не видел основания ее менять.

Прапорщик снова внимательно посмотрел — но уже не на листочек, а на меня.

— Шендерович, — сказал он очень раздельно. И что-то подсказало мне, что ему виднее.

— Так точно, — ответил я — и проходил Шендеровичем до следующей переписи.

А в начале марта 1981 года я (уже под своей фамилией) стоял перед лейтенантом медслужбы Анкуддиновым, и он держал в руках снимок моей грудной клетки. Уж не знаю, какими судьбами этот снимок попал от полковых ветеринаров к нему, профессиональному рентгенологу, но, видимо, чудеса еще случаются в этом мире.

Впервые рассмотрев на черном рентгеновском фоне мой позвоночник и узнав, что его владелец все еще бегаёт по сопкам в противогазе, Лев Романович Анкуддинов предложил доставить нас обоих в медсанбат. Лев Романович считал, что с таким остеохондрозом долго не бегают — даже по равнине и со своим лицом.

Так благодаря чудесному случаю я все-таки сменил шинель на пижаму.

В медсанбате мне было хорошо. Я понимаю, что риску потерять читательское доверие; что в этом самом месте повествования следует припомнить, как тянуло в родную часть к боевым товарищам, как просыпался по ночам от мысли, что они где-то там несут нелегкую службу за меня, но — чего не было, того не было. Не тянуло. Не просыпался. Зато именно в медсанбате мне впервые после призыва захотелось женщину.

До этого целых пять месяцев мне хотелось только есть, спать и чтобы ушли вон все мужчины. Признаться, я даже тревожился на свой счет, но тут как рукой сняло.

Здесь же, впервые за эти месяцы, я наелся. Причем это даже мягко сказано. Дело было так. Как-то ночью меня, в лунатическом состоянии ползшего в туалет, окликнул из кухни повар Толя.

— Солдат, — сказал он. — Есть хочешь?

Видимо, ответ на этот вопрос был написан на моем лице большими транспарантными буквами, потому что, не дожидаясь его, повар предложил:

— Подгребай сюда через полчаса, солдат, я тебя покормлю. Только без шума.

Полчаса я пролежал в кровати, боясь уснуть. Слово «покормлю» вызывало истерические реакции. Это было слово из предыдущей жизни. В ордена Ленина Забайкальском военном округе на эту тему ходило в обращении словосочетание «прием пищи», существительное «жрачка» и глагол «похавать».

На двадцать девятой минуте я стоял у кухонных дверей. Не исключено, что стоял, поскуливая. Из-за дверей доносились запахи.

В эту ночь я обожрался. Еда стояла в носоглотке, но остановить процесс я не мог.

Лирическое отступление о еде. Не буду утверждать, что ее в Советской Армии не было никогда, но что ко дню моего призыва еда в СА кончилась — это утверждаю как очевидец. Я ее уже не застал. Новобранцы образцовой «брежневской» дивизии образца 1980 года ели только то, что не представляло интереса для десятка воров, кормившихся при кухне. Хорошо помню в связи с этим ощущение безграничного счастья, испытанное в момент покупки и съедения всухомятку в городе Чите полукилограмма

черствоватых пряников. Могу также поклясться на общевойсковом Уставе Вооруженных Сил СССР, что однажды, курсантом, уронив на затоптанный в серое месиво пол кусочек сахара, я поднял его, обдул и съел. Подо всем, что читатель здесь подумает о моем моральном состоянии, я готов безусловно подписаться.

Впрочем, я отвлекся.

Так вот, в медсанбате мне было хорошо. Это сначала. А потом стало совсем хорошо. В одно прекрасное утро, на осмотре, командир медроты капитан Красовский — к слову сказать, умница и трудяга — ни с того ни с сего и весьма притом конфиденциально поинтересовался: не знаю ли я часом генерала Громова из областной прокуратуры? Никакого генерала я, разумеется, не знал. Ну и хорошо, как-то неопределенно сказал Красовский, иди лечись...

Через несколько дней меня попросили зайти.

В кабинете у капитана сидел некий старлей с щитом и мечом в петлицах, сам же Красовский, пытливо на меня глянув, тут же из кабинета вышел. Тут, должен сказать, мне стало как-то не того... Дело заключается в том, что человек я мнительный, со стойкими предрассудками как к щиту, так и в особенности к мечу.

— Рядовой Шендерович? — спросил старлей. Не вспомнив за собой никакой вины, заслуживающей трибунала, я ответил утвердительно.

— Как себя чувствуете? — продолжал старлей. — Как лечение? Может быть, есть какие-нибудь жалобы?

И на лице офицера госбезопасности отразилась искренняя тревога за процесс моего выздоровления.

Не буду врать, что мне захотелось себя ущипнуть — скорее даже захотелось ущипнуть лейтенанта, — но вот ощущение некоторого сдвига по фазе появилось. Например, я и по сию пору уверен, что если бы наябедничал старлею на кого-нибудь из сослуживцев, до командира полка включительно, то этому кому-нибудь назавтра поставили бы клизму со скипидаром. Если я ошибаюсь, то пусть это останется моей маленькой невинной мечтой.

Но я не готов к такой щедрости со стороны судьбы и, как мешком ударенный, бездарно промямлил, что у меня все хорошо.

— Где желаете продолжить службу? — спросил старлей.

Я вам клянусь своим остеохондрозом — это чистая правда! Эх, ну что мне стоило попроситься в кремлевские курсанты? Вот бы народу набежало посмотреть! Но совершенно ошалев от нереальности происходящего, я ответил нечто до такой степени благонравное, что человека послабее могло от этого и стошнить. Старлей же только светло улыбнулся и в последний раз спросил:

— Значит, все в порядке?

Тут мне захотелось зарыдать у него на погоне. Я ни черта не понимал.

Сразу после ухода старлей в кабинет тихо вошел капитан Красовский и совсем уж по-домашнему попросил меня не валять ваньку и сознаться, кем я прихожусь генералу Громову из прокуратуры. Тут я подумал, что сейчас шизанусь. Я призываю в свидетели всех, кто знает меня в лицо, и спрашиваю: могут ли у генерала Громова из прокуратуры быть такие родственники? За очевидностью ответа возьмем шире: могут ли у генерала быть такие знакомые? Ну нет же, о господи! Я спросил капитана: в чем дело? Я поклялся, что фамилию генерала слышу второй раз в жизни, причем в первый раз слышал от него же. Капитан задумался.

— Понимаешь, — ответил он наконец, — генерал Громов чрезвычайно интересуется состоянием твоего здоровья.

И он с опаской заглянул мне в глаза.

Я был потрясен — а когда немного отошел от потрясения, то сильно струхнул. Я только тут догадался, что меня принимают за кого-то другого. Тень Ивана Александровича Хлестакова осенила меня: я понял, что играю его роль — с той лишь разницей, что, в отличие от Ивана Александровича, у меня нет брички, чтобы заранее ука-
тить отсюда.

По здоровом размышлении я струхнул окончательно. До меня дошло: только что, за пять минут, Советская Армия израсходовала на меня стратегические запасы внимания к рядовому составу лет на пятнадцать вперед — и я не очень-то представлял, какой валютой придется за это расплачиваться.

Но деваться было некуда.

С тех пор я постоянно читал в глазах окружающих по-

священность в мою родовую тайну. Статус то ли тайного агента, то ли внебрачного генеральского сына располагал к комфорту, и в полном соответствии с гоголевской драматургией я начал постепенно входить во вкус: смотрел после отбоя телевизор с фельдшерами, в открытую шлялся на кухню к повару — словом, разве что не врал про государя императора! Я вообще не врал! На возникавшие время от времени наводящие вопросы я по-прежнему отвечал чистую правду, но растущая наглыватость поведения придавала моим ответам смысл вполне прозрачный.

Вскоре я перестал ломать голову над этим кроссвордом, просто жил себе как человек — впервые со дня призыва.

...А устроила мне весь этот неуставной рай моя собственная мама. Получив мое письмо из медсанбата, мама начала фантазировать и дофантазировалась до полной бессмыслицы. И тогда добрый приятель нашей семьи, который по совместительству был, говоря гоголевским языком, Значительное Лицо, позвонил по вертушке вот этому самому генералу Громову из Читинской прокуратуры и, для скорости исполнения представившись моим дядей, попросил генерала уточнить состояние здоровья племянничка.

Значительное Лицо, надо полагать, и не догадывалось, как сдетонировала на просторах Забайкальского военного округа его невинная просьба...

Возле еды

В конце мая я стал хлеборезом.

Этому событию предшествовало исчезновение из полка прежнего хлеборежа — всеильного Соловья. Соловей этот то ли проворовался настолько, что продуктов перестало хватать прапорщикам, то ли прибил кого сильнее нормы — в общем, его отправили в дисбат, наводить ужас на внутренние войска.

А вместо него как раз вернулся из медсанбата я — отъевшийся, как хомяк, с записью в медкарте насчет ограничения физических нагрузок и с высшим образованием, что в умах местных стратегов справедливо связалось со знанием четырех правил арифметики. (Окончил я, к слову сказать, Институт культуры, из левобережных рощ ко-

тогого вышел с компостированной головой и загадочной записью в дипломе «культпросветработник высшей квалификации».)

Здесь я вынужден вторично огорчить читателя. Дело в том, что, узнав о назначении, я не только не стал проситься обратно в строй, но даже, напротив, обрадовался. Я понимаю, как это нехарактерно для советского солдата — стремиться к продуктам, но такой уж я моральный урод. Если на то пошло, то я вообще человек с кучей гуманистических предрассудков, тихий в быту и вялый в мордобое, и глубочайшее мое убеждение состоит в том, что чем меньше я буду иметь отношение к обороноспособности страны, тем для обороноспособности лучше. Для меня это ясно как божий день — и мысль, что только случайность спасла Вооруженные Силы страны от такого лейтенанта, как я, иногда покрывает меня холодным потом посреди сна. (Об этой случайности — ниже.)

В общем, я стал хлеборезом и в тот же день получил от полковника Гусева Устав тыловой службы с напутствием до вечера выучить наизусть нормы выдачи продуктов.

После «Графа Монте-Кристо» у меня в руках не было чтива столь увлекательного. Тихо икая от волнения, я узнавал, что и в каких количествах должен был ежедневно поедать вместе с боевыми товарищами. Через полчаса я запер хлеборезку и начал следственный эксперимент.

Я взвесил указанные в Уставе 65 граммов сахара и обнаружил, что это шесть кусочков. Я несколько раз перепроверял весы и менял кусочки, но их все равно получалось шесть. А в дни моей курсантской молодости никак не выходило больше трех. Аналогичным образом двадцать положенных на едока граммов масла оказались высоченной, с полпальца, пайкой, от получения которой на завтрак в курсантские времена меня бы хватил удар. То масло, которое иногда (видимо, по недосмотру Соловья) падало на наши столы, можно было взвешивать на микронных весах. А вообще-то жрали мы маргарин.

Подполковник Гусев приказал мне выучить нормы выдачи продуктов, и я их выучил, но дальше начались недоразумения. Я-то понял подполковника так, что в соответствии с нормами надо в дальнейшем и выдавать, — но в этом заблуждении оказался совершенно одинок.

В первом часу первой же ночи в окошке выдачи появилась физиономия. Физиономия сказала: «Дай сахарку». — «Не дам», — сказал я. «Дай», — сказала физиономия. — «Водилы велели». — «Скажи им: нету сахара», — ответил я. «Дай», — сказала физиономия. «Нет», — сказал я. «Они меня убьют», — сообщила физиономия. «Откуда я возьму сахар?» — возмутился я. Физиономия оживилась, явно готовая помочь в поиске. «А вон же!» — И физиономия кивнула на коробки. «Это на завтрак», — сказал я. «Дай», — сказала физиономия. «Уйди отсюда», — попросил я. «Они меня убьют», — напомнила физиономия. «О господи!» — Я выгреб из верхней пачки десять кусков, положил на ломоть хлеба и протянул в окошко. «Мало», — вздохнула физиономия. Я молчал. Физиономия вздохнула. «И маслица бы три паечки», — сказала она наконец и тут же пояснила: — «Водилы велели!» — «Масла не дам!» — крикнул я. «Они меня убьют», — печально констатировала физиономия. «Я тебя сам убью», — прохрипел я и запустил в физиономию кружкой. Физиономия исчезла. Кружка вылетела в окошко выдачи и загрохотала по цементному полу. Я отдышался и вышел за ней. Физиономия сидела у стола, глядя с собачьей кротостью. Я длинно и грязно выругался. Физиономия с пониманием выслушала весь пассаж и предложила: «Дай маслица».

Когда я резал ему маслица, в окошко всунулась совершенно бандитская рожа, подмигнула мне и сказала:

— Э, хлэборэз, масла дай?

Стояла весенняя ночь. Полк хотел жрать. Дневальные индейцами пробирались к столовой и занимали очередь у моего окошка. И когда я говорил им свое обреченное «нет», отвечали удивительно однообразно: «Они меня убьют».

И я давал чего просили.

От заслуженной гауптвахты меня спасала лишь чудовищная слава предшественника — после его норм мои недовесы казались гарун-аль-рашидовскими чудесами. Впрочем, это не мешало подполковнику Гусеву совершать утренние налеты на хлебобрезку, отодвигать полки, шарить в холодильнике и проверять хлебные лотки.

Отсутствие там заначек убеждало его только в моей небывалой хитрости. «Где спрятал масло?» — доброжелательно спрашивал полковник. «Все на столах», — отвечал

я. От такой наглости подполковник кричал почти восхищенно. «Найду — посажу», — предупреждал он. «Не найдете», — отвечал я. «Найду», — обещал полковник. «Дело в том, — мягко пытался объяснить я, — что я не ворую». — «Ты, Шендерович, нахал!» — отвечал на это подполковник Гусев — и наутро опять выскакивал на меня из-за дверей, как засадный полк Боброка.

Через месяц полное отсутствие результата заставило его снизить обороты — не исключено даже, что он поверил мне, хотя скорее всего просто не мог больше видеть моей ухмыляющейся рожи.

Мне между тем было не до смеха. Бандит Соловей успел так прикормить дембелей и прапорщиков, что мои жалкие попытки откупиться от этой оравы двумя паечками и десятью кусочками сахара только оттягивали час неминуемой расплаты. Лавируя между мордобоем и гауптвахтой, я обеспечивал всеобщее пропитание. При этом наипростейшие на первый взгляд процедуры превращались в цирк шапито. Рыжим в этом цирке работал кладовщик Витя Марченков. Витя бухал на весы здоровенный кусище масла и кричал:

— О! Хорош! Забирай!

— Витя, — смиренно вступал я, — подожди, пока стрелка остановится.

Витя наливался бурым цветом.

— Хули ждать! — кричал он. — До хуя уже масла!

— Еще триста грамм надо, — говорил я.

— Я округлил! — кричал Витя, убедительно маша руками перед моим носом. — Уже до хуя!

Названная единица измерения доминировала в расчетах кладовщика Марченкова, равно как и способ округления в меньшую сторону с любого количества граммов. На мои попытки вернуться к общепринятой системе мер и весов Марченков отвечал речами по национальному вопросу, впоследствии перешедшими в легкие формы погрома. Взять вес, указанный в накладной, можно было, только привязав Марченкова к холодильнику, о чем, учитывая разницу в весовых категориях, можно было только мечтать.

Получив, таким образом, масла на полкило меньше положенного, я, как Христос пятью хлебами, должен был

накормить им весь полк плюс дежурных офицеров, сержантов и всех страдавших бессонницей дембелей. И хотя фактически существовавшие ночные нормы я снизил до минимума, а начальника столовой прапорщика Кротовича вообще снял с довольствия — за наглость, чрезмерную даже по армейским меркам, а все равно: не прими я превентивных мер — минимум трех бы тарелок на утренней выладе не бывало. Приходилось брать встречные обязательства, то есть отворовывать все это обратно. И, взяв ручку, я погрузился в расчеты.

Расчеты оказались доступными даже выпускнику Института культуры. Полграмма, слизанные с пайки каждого бойца и помноженные на их количество, давали искомые три тарелки масла плюс еще несколько, которые я мог бы съедать хоть самолично, если бы меня не тошнило от одного запаха. Впрочем, лишние тарелки эти, опровергая закон Ломоносова — Лавуазье, бесследно исчезали и без моей помощи.

Так я вступил на стезю порока. Как и подобает стезе порока, она бы не сулила мне ничего, кроме барской жизни и уважения окружающих, если бы не упомянутый начальник столовой прапорщик Кротович. До моего появления в хлебрезке он уже откормился солдатскими харчами на метр девяносто росту, и я посчитал, что поощрять его в этом занятии дальше опасно для его же здоровья. Прапорщик так не считал, и как раз к тому времени, как подполковник Гусев замучился искать по моей хлебрезке ворованное масло, в Кротовиче прорезалась забота о рядовом составе: он начал приходить по ночам и проверять чуть не каждую тарелку, ища недовесы. Своих чувств ко мне он не скрывал, а желание посадить — афишировал.

Несколько слов о прапорщике Кротовиче. Прапорщик был гнусен. Его перевод в начальники столовой я могу объяснить только тем, что имущество нашей роты, где он старшинствовал прежде, было им разворовано уже полностью. Интеллект и манеры прапорщика частично подтверждали дарвиновскую теорию происхождения видов. Частично — потому что дальними предками Кротовича были никак не обезьяны; мой выбор колеблется между стегоцефалом и диплодоком. Единственное, что исключительно совершенно, — это божественное происхождение. Я не

поручусь за все человечество, но в данном случае господь абсолютно ни при чем. В день создания Кротовича всевышний отдыхал.

Да, так вот: прапорщик начал искать недовесы. Делал он это ретиво, но безрезультатно. Штука в том, что вскоре после назначения, поняв, с кем придется иметь дело, я отобрал из полутора тысяч тарелок десятков наиболее легких и, пометив их, в артистическом беспорядке разбросал по хлеборезке. Взвешивая масло, Кротович ставил первую попавшуюся такую тарелку на противовес — и стрелка зашкаливала граммов на двадцать лишних. Кротович презрительно кривился, давая понять, что видит все мои фокусы насквозь.

— А ну-ка, сержант, — брезгливо сипел он, — дайте мне во-он ту тарелку!

Я давал «во-он ту», и стрелку зашкаливало еще больше.

Прапорщик умел считать только на один ход вперед. При встрече с двухходовкой он переставал соображать вообще. Иметь с ним дело для свободного художника вроде меня было тихой радостью.

Впрочем, чего требовать от прапорщика? Однажды в полк прилетел с проверкой из Москвы некий генерал-лейтенант, фамилию которого я знаю, но не скажу, потому что он сейчас бог знает кто, а я человек трусоватый. Генерал прилетел проверять работу тыловой службы, и к его прилету на наших столах расстелились скатерти-самобранки. Солдаты, выпучив глаза, глядели на плотный наваристый борщ и инжирины, плававшие в компоте среди щедрых горстей изюма. Это был день еды по Уставу.

Все вышеописанное исчезло в час генеральского отлета в Москву — как сон, как утренний туман.

Но в тот исторический день генерал размашистым шагом шел к моей хлеборезке, держа на вытянутых руках чашку с горсткой мяса («чашкой» в армии зовется миска). За ним по проходу бежали: комдив, получивший в родной дивизии прозвище Кирпич (каковое заслужил цветом лица, телосложением и интеллектом), несколько «полканов», пара майоров неизвестного происхождения — и прапорщик Кротович.

Кинематографически этот проход выглядел чрезвычайно эффектно, потому что московский генерал имел

рост кавалергардский и бежавшие за ним офицеры едва доходили высокому начальству до погона, не говоря уж о Кирпиче. Единственным, кто мог бы тягаться с генералом статью, был прапорщик Кротович, но в присутствии старших по званию он съеживался автоматически.

И вот вся эта депутация вошла ко мне в хлеборезку, и я, приставив ладонь к пилотке, прокричал подобающие случаю слова. Генерал среагировал на это не сильнее, чем тяжелый танк на марше на стрекот кузнечика. Он прошагал к весам и, водрузив на них чашку с мясом, устоял на стрелку. Стрелка улетела к килограммовой отметке. «Пустую чашку!» — приказал генерал, и я шагнул к дверям, чтобы выполнить приказ, но перед моим носом в дверь, стукнувшись боками, проскочили два майора. Через несколько секунд они вернулись, держа искомое чепуху руками. В четырех майорских глазах светился нечеловеческий энтузиазм. Чашка была поставлена на противовес, но стрелка все равно зашкаливала на двести лишних граммов.

— А-а, — понял наконец генерал. — Это ж с бульоном... Ну-ка, посмотрим, — сказал он, — сколько там чистого мяса!

И перелил бульон из правой чашки в левую — в противовес! Теперь вместо лишних двухсот граммов — двухсот же не хватало. Генеральский затылок начал принимать цвет знамени полка. Не веря своим глазам, я глянул на шеренгу стоявших сзади офицеров. Все они смотрели на багровеющий генеральский затылок, а видели сквозь него каждый свое: снятие, лишение звания, отправку в войска... В хлеборезке царил полный ступор, и я понял, что настал звездный час моей службы. Я шагнул вперед и сказал:

— Разрешите, товарищ генерал?

Не рискуя ничего объяснять, я вылил за окошко коричневатый мясной навар и поставил чашку на место. И весы показали наконец то, чего от них и требовалось с самого начала. Офицеры выдохнули. Особенно шумно выдохнул Кирпич.

Внимательно рассмотрев местонахождение стрелки, генерал-лейтенант посмотрел на меня со своей генерал-лейтенантской высоты и задал вопрос, выдавший в нем сильную стратегическую жилку.

— Армянин? — спросил меня будущий замминистра обороны страны.

— Никак нет, еврей, — ответил я.

— А-а, — сказал он и, не имея больше вопросов, нагнулся и вышел из хлебобрезки. Следом пулями вылетели Кирпич, несколько «полканов», парочка майоров и прапорщик Кротович. Последним выходил новый замполит полка майор Найдин. Внезапно остановившись в дверях, замполит похлопал меня по плечу и, сказавши: «Молодец, сержант!» — подмигнул совершенно воровским образом. В присутствии проверяющего из Москвы разница между хлебобрезом и замполитом полка стиралась до несущественной. Надувая столичное начальство, мы делали одно большое общее дело.

Но что генерал-лейтенант! Осенью того же восьмидесят первого над округом пронеслось: скоро в Забайкалье нагрянет непосредственно товарищ Устинов. Для совсем молодых читателей, а также для тех, кому за прошедшее десятилетие отшибло память, сообщу, что Устинов этот был министр обороны. С его просторных погон к той осени уже третий год лилась кровь Афганистана, но летел маршал почему-то не в Афганистан, где самое ему было место, а на учения в Монголию. Монголия же в те ясные времена была частью Забайкальского военного округа. Как говорила мужу леди Макбет, «о вещах подобных не размышляй, не то сойдешь с ума». В общем, Устинов летел на учения — с промежуточной посадкой в Чите. А так как именно в Чите находилась образцовая «брежневская» дивизия, а в ней — наш образцовый мотострелковый полк, то вероятность увидеть члена Политбюро своими выпученными глазами была достаточно велика.

Немедленно по получении страшной информации из Москвы полк прекратил свое существование как боевая единица и полностью переквалифицировался в ремонтное управление. На плацу целыми днями подновляли разметку и красили бордюры, в казармах отдраивались такие медвежьи углы, в которые ни до, ни после того не ступала нога человека. Я прекратил выдачу хлеба и неделю напролет белил потолок. В последний день перед прилетом министра всё в полку посходило с ума — майоры собственноручно отдраивали двери, а командир полка носился по

нему, как муха по каптерке. Рядового, замеченного в перекуре, могли запросто пристрелить на месте.

Но главное было — борьба с осенью. Плац подметали дважды в день, причем уже через час после очередной расчистки он был снова завален палой листвой. Так продолжалось до последнего дня, а наутро, выйдя из казармы после очередного крутого недосыпа, я увидел вот что. На осине сидел якут и обрывал с осины листву. На якуте была шинель, красная звезда на шапке. На соседних осинах сидели другие якуты. Крыша моя накренилась и поехала. Только через несколько секунд я вспомнил, где нахожусь и прочие обстоятельства места и времени, включая то, что наша четвертая рота полностью укомплектована в Якутии.

Но эти несколько секунд я прожил в вязком тумане личного сумасшествия.

А с другой стороны — ведь министру обороны не объяснишь, почему плац в листве. Маршал увидит расхождение между долженствующим и существующим — и огорчится. А когда маршалы огорчаются, полковники летят в теплые страны.

— Осень, товарищ маршал!

Это довод для гражданского ума, не вкусившего нормативной эстетики Устава. А маршал решит, что над ним издеваются. В армии не существует демисезонной формы одежды — следовательно, деревья должны либо дружно зеленеть, либо молча стоять голыми. А плац должен быть чист. А личный состав — смотреть программу «Время». Даже если телевизор, как это случилось у нас по случаю чемпионата мира по хоккею, унесли из роты в штаб.

— Рота, рассестись перед телевизором в колонну по шесть.

— Так нет же телевизора!

— Рассестись в колонну по шесть!

Сидим, смотрим на полку со штепселем. Ровно полчаса, пока в соседних казармах не кончится программа «Время».

Но это — к слову.

А Устинов в наш полк так и не приехал.

...Постепенно дембелея, я хлеботорезил до следующей весны, не избежав, впрочем, ни «губы», ни мордобоя. А весной оказалось, что все это время я был не только хлеботорез, но и подрывной элемент, о чем см. ниже.

Под колпаком

Фамилия нашего полкового особиста была Зарубенко. Капитан Зарубенко. Согласитесь, что, учитывая специфику работы, это звучит. Специфика эта была такова, что, хотя капитан несколько месяцев копался в моей судьбе, как хирург в чужих кишках, я до сих пор не представляю его в лицо. Просто однажды в спортзале повар Вовка Тимофеев сказал мне:

— Зема, ты это... следи за языком.

— А что случилось? — поинтересовался я.

— Ничего, — ответил Вовка. — Просто думай, что говоришь. И считай, что я тебя предупредил.

— Ну а все-таки? — спросил я. Потом спросил то же самое еще раз.

— Капитан Зарубенко тобой интересуется, — пробурчал наконец Вовка. — Что-чего — не знаю, но интересуется.

Не могу сказать, что я испугался. Впрочем, это скорее свидетельствует о некоторых недостатках в общем развитии, нежели о душевной стойкости. Просто я не очень представлял, с чем буду иметь дело. Мне казалось, что если я не шпионю на Китай, то с меня и взятки гладки.

Что же до Зарубенко, то я даже толком не знал, кто это, но Вовка мне разъяснил — и я вспомнил. Я вспомнил, как год назад один из наших, стоя на посту у знамени части, слышал (и в ужасе рассказывал потом в караулке), как некий загадочный капитан орал на командира полка подполковника Голубева, обкладывая его таким матом, что даже знамя краснело. Голубев же, чья крепенькая фигурка обычно наводила ужас на окрестности плаца, стоял перед капитаном навтыяжку — и молчал.

Как бы то ни было, а я уже успел позабыть о Вовкином предупреждении, когда в одно весеннее утро меня, отсыпавшегося после продуктовых баталий, разбудил нежнее родной мамы батальонный замполит капитан Хорев — и предложил прокатиться с ветерком в штаб дивизии.

— Зачем? — спросил я.

— Не знаю, — соврал он, и мы поехали.

Я понимаю, что уже успел утомить читателя примерами собственной тупости, но не могу не заметить, что по дороге начал мечтать и домечтался до следующего: скоро

Девятое мая, в Доме офицеров готовится праздничный вечер, и командование вспомнило, что у них в хлеборезке чахнет-пропадает профессиональный режиссер...

Вот чего с людьми бывает весной, да еще под дембель!

В штабе дивизии капитан Хорев скрылся за какой-то дверью и бодро доложил там какому-то полковнику, что младший сержант Шендерович по его приказанию доставлен. Но даже это не замкнуло в моей авитаминозной башке логической цепочки. Я вошел и был приглашен сесть, что и сделал в самом радужном настроении. Я чего-то ждал — и, забегаая вперед, скажу, что дождался.

Сначала полковник попросил рассказать о себе: кто я, да откуда, да кто родители. Спрашиваемо все это было настолько по-отечески, что я бы, пожалуй, рассказывал ему свой семейный эпос до самого дембеля, если бы не майор.

Майор этот с самого начала тихонечко сидел в углу комнаты, имея при себе цепкий взгляд и черные артиллерийские петлицы. Артиллеристом майор был, судя по всему, замечательным, потому что, помолчав, начал пулять в мою сторону вопросами и попадать ими со страшной силой.

И только тут до меня дошло, что это допрос. Лицо Вовки Тимофеева всплыло наконец в моей бедовой голове вместе с фамилией Зарубенко. Дивизионный майор знал обо мне все. Перед ним лежала пухленькая папочка-скоросшиватель, и в ней лежали бумажки. Впоследствии я имел возможность в ту папочку заглянуть. Как я получил эту возможность, не скажу — пускай майор, или кто он теперь есть, сам дознается, если хочет: ему за то государство деньги платит. Но, доложу вам, занятие! Если кому приходилось читать доносы на самого себя, он меня поймет!

Впрочем, все это было потом, а пока я вертелся на стуле, как плевков на сковородке, уворачиваясь от вопросиков из майорского угла и одновременно проникаясь уважением к собственной персоне. Оказалось, что за время службы я успел рассказать боевым товарищам столько правдивых страниц из советской истории, что по совокупности это могло тянуть на идеологическую диверсию.

По нынешним буйным временам следует самокритично признать, что в своем скромном антисоветизме я не дотягивал и до журнала «Коммунист», но то был восемьде-

сят второй год — и от майорской осведомленности мне стремительно похужело. Кроме того, поражал и масштаб osobистских интересов. Например, среди прочего мне инкриминировалась любовь к Мандельштаму — оказалось, что я читал кому-то его стихи. Хорошо еще, что в других показаниях оказалась зафиксирована любовь к Маяковскому. За Маяковского Мандельштама мне скостили. Так сказать, баш на баш.

А теперь о главном. Как и всякого любознательного человека на моем месте, меня чрезвычайно интриговал вопрос: кто? Кто стукнул? Моя любознательность была удовлетворена самым замечательным образом.

...Кажется, летом 1981-го в наш полк прибыл свежеспеченный лейтенант по фамилии Седов. Окончил он, как и полагается замполиту, какое-то политическое училище и выглядел, мягко говоря, простовато. Впрочем, его эта самая простоватость даже располагала. И наконец, он был москвич, чем порождал ностальгию. Все это я говорю исключительно в оправдание своей лопухости.

Кстати, о лопухости.

В ноябре того же 1981-го я сидел в Ленинской комнате и читал свежую «Литературку», в которой некто, как сейчас помню, Н.Машовец топтал ногами автора Чебурашки. Я читал, ужасаясь. Мирное ушастое существо при ближайшем рассмотрении оказалось безродным космополитом, дезориентирующим советских детей. А еще Машовец мрачновато сообщил всем заинтересованным органам, что не нашел у Э.Успенского ни одного стихотворения о Родине, о хлебе, о гербе.

Это было невиданно даже по тем пещерным временам.

— Ну, бред, — сказал я, чувствуя, что если ни с кем Машовцом не поделюсь, то взорвусь от возмущения, как маленький паровой котел.

— Что бред? — с готовностью поинтересовался лейтенант Седов, на мое еврейское счастье, зашедший в Ленинскую комнату — видимо, почитать на сон грядущий классиков.

И я рассказал ему, что именно и почему считаю бредом.

А когда через полгода полковник сообщил мне, что в придачу ко всему я неуважительно отзывался о гербе страны, у меня в голове наконец замкнуло, и я сказал:

— А вот тут лейтенант Седов все перепутал!

— Да ничего он не перепутал! — оборвал меня полковник — и осекся под артиллерийским взглядом майора. На сердце у меня стало легко. Теперь я знал, откуда дует этот вонючий ветерок.

— Перепутал, перепутал, — сказал я.

После этого допрос ни шатко ни валко тянулся еще полчаса, но майор все ошутимее терял ко мне интерес и вскоре ушел. На полновесное «дело», как это ни прискорбно для моего самолюбия, я не тянул.

Оставшись со мной с глазу на глаз, полковник помягчел. Видимо, суровой музой его бдительности был майор-артиллерист; в отсутствие одного полковник начал приобретать черты настолько человеческие, что я, осмелев, спросил его напоследок: что он думает о замполите, доносящем на солдат?

— Дерьмо он, а не замполит, — с чувством ответил полковник, — но ты, сержант, тоже хорош: ты же думай, кому что говоришь!

В точности повторив, таким образом, совет Вовки Тимофеева, полковник отпустил меня восвояси. Через несколько дней в полк вернулся из отпуска мой землячок лейтенант. Увидев меня, он радостно протянул ладошку:

— Здравствуй.

— Здравия желаю, — ответил я.

Седов удивился:

— Ты не подаешь мне руки?

Я был вынужден подтвердить его подозрение.

— Почему? — спросил он.

— А вы сами не догадываетесь, товарищ лейтенант?

И он догадался!

— А-а, — протянул как бы даже с облегчением, — это из-за докладной?

— Из-за докладной, — подтвердил я. Слово «донос» мои губы не выговорили.

— Так это же моя обязанность, — объяснил он, как если бы речь шла о выпуске боевого листка. — А вдруг ты завербован?

Я заглянул ему в глаза. В них светилась стальная замполитская правота. Он не издевался надо мной и не желал мне зла. Он даже не обижался на мое нежелание подать

ему руку, готовый терпеливо, как и подобает идеологическому работнику, преодолевать мои интеллигентские предрассудки.

— Видишь, — сказал он, — проверили, отпустили; все в порядке. Поздравляю.

В слове «проверили» был какой-то медицинский оттенок. Меня передернуло.

— Разрешите идти?

Он разочарованно пожал плечами:

— Идите.

И я пошел — по возможности подальше от него.

Но раскрученное энергичным Зарубенко из идиотской кляузы про герб и Чебурашку, «дело» мое не сгнуло с дембелем: уже в Москве, через несколько лет, одного моего приятеля вызывали, интересовались мною, моими родителями... Когда я думаю обо всем этом, меня начинает обуревать мания величия, даже хочется пошпионить чуток на кого-нибудь — чтобы хоть как-то оправдать народные деньги, потраченные на прокорм забайкальских особистов и политработников, если только это не одно и то же.

Единственным же реальным следом этой истории в моей жизни явилась внезапная отправка из образцового полка на дивизионный хлебозавод — и снятие с лейтенантских сборов, благодаря чему я был демобилизован на две недели раньше, так и не став советским офицером, за что искренне благодарен лейтенанту Седову, капитану Зарубенко, майору-артиллеристу и всем остальным бойцам невидимого фронта.

Уведомление

Я обещал, если хватит цензурных слов, рассказать о первых месяцах службы и персонально — о старшем сержанте Чувеве.

Не хватило.

История с «крысой» (вместо послесловия)

Отправка на дивизионный хлебозавод стала мне последним «прости» от Советской Армии перед скорым дембелем.

Хлебозавод считался то ли местом ссыпки, то ли перевалочным пунктом на пути в дисбат — а в общем, был он

территорией как бы вне образцовой «брежневской», куда — с глаз долой, из сердца вон — сбрасывались нечистоты личного состава. Служили там: водила, перевернувший по пьяни полковой «уазик», «дед», пославший на три буквы кого-то из начальства, дембель, учинивший сверхнормативный мордобой, эт цетера, эт цетера... Были, конечно, и служившие под началом всех этих героев бедолаги-солдатики: дембеля, даже провинившегося, не заставит трудиться в Советской Армии весь Генштаб во главе с министром обороны.

Единственным «политическим» в этой компании был я, что в полном соответствии с блатными законами, царящими в СА, и предопределило мой статус. Впрочем, жаловаться грех: счастье мое, что я попал сюда на втором году службы... Да и не про то речь.

А вот про что.

В один из апрельских дней, почти перед самым моим дембелем, личный состав хлебозавода поймал огромную крысу — и не убил ее, а, умело растягивая удовольствие, зверски замучил. В милом развлечении этом участвовал и начальник хлебозавода, лейтенант, который появлялся у нас не часто, но уж зато трезвым — никогда.

За полтора года службы я, как и все остальные, навиделся немало, но этот случай поразил меня: в вырвавшейся наружу энергии жестокости было что-то символическое.

Через неделю-другую я демобилизовался.

В Москве я целый год пытался забыть предыдущие полтора, но, видимо, не смог, потому что вскоре начал писать и написал несколько «армейских» рассказов. Один из них назывался «Крыса»: я, как кристаллик армейской жизни, вынул из забайкальского апреля тот страшный и бессмысленный день и по возможности отстраненно рассмотрел его.

Я был еще относительно молод, поэтому следует снисходительно отнестись к моему желанию увидеть рассказ напечатанным. Кстати, я хочу этого до сих пор.

В первой же редакции я получил на «Крысу» устную рецензию, которую считаю лучшей из возможных. Звучала рецензия так: «Очень хорошо, но вопрос о публикации не встает». По молодости лет я попытался получить объяснение обороту «не встает», звучавшему, на мой взгляд,

несколько двусмысленно, и получил в ответ, что если вопрос встанет, то мне же хуже, потому что я существо молодое, а ГлавПУР — злопамятное. Аналогичные приговоры я слышал и в других редакциях, а в одной мне прямо предложили спрятать рассказ и никому его не показывать. На мой детский вопрос, почему я должен уходить в подполье, мне было туманно отвечено, что среди редакторов встречаются очень разные люди...

Но все это были цветочки. А ягодки пошли совсем ядовитые.

В очередном журнале редактор, суровая женщина средних лет с вечной папиросой в пальцах, вдруг спросила меня напрямик: хочу ли я увидеть этот рассказ напечатанным? Ответ опускаю за ненадобностью. Хорошо, сказала она, только это будет ваш перевод. Как — перевод, спросил я. С какого? С испанского, без колебаний ответила редактор. Сначала я подумал, что она обкурилась. Но глаза ее излучали какую-то патологическую нормальность. Засим мне было предложено найти какого-нибудь латиноамериканца (лучше всего — чилийца) из университета Патриса Лумумбы, сговориться с ним, перевести рассказ на испанский, а оттуда — обратно на русский, но уже с испанскими именами. Редактор пообещала, что получится очень прогрессивный рассказ про то, как солдаты хунты во главе с лейтенантом, ну, скажем, Родригесом затравили опоссума.

Я бы дорого дал, чтобы посмотреть на выражение своего лица в тот момент.

Я ответил, что никогда не бывал в Чили. Я спросил, кто такой опоссум. Ну не все ли равно, ответила редактор. Я сказал, что мне не все равно. Не говоря уж об опоссуме. Я забрал рукопись и ушел.

С тех пор минуло восемь лет. Ушел Пиночет. Нет ни Стресснера, ни Дока Дювалье. Под давлением демократических сил рушатся последние военные режимы в Латинской Америке — и у меня почти не остается шансов увидеть свой рассказ напечатанным.

Рассказа, конечно, жаль, но хунтам поделом!

Еще Гашек сказал в свое время, что армия — это дерьмо, дерьмо и дерьмо. Разумеется, Гашек имел в виду империалистическую армию.

Послесловие

Прошло еще несколько лет, а эта рукопись так и не стала публикацией. Не время, говорят. Да и материал устарел.

И впрямь.

Советская Армия благополучно превратилась в Российскую, генералитет обновился и увеличился вдвое, замполиты ударились оземь и стали военными психологами. Батюшки крестят БМП... Опять же реформа идет безостановочно — словом, обновление такое, что просто хоть не живи!

Таким образом, все сказанное выше является бестактным и неуместным. Простите меня, если сможете.

1997



Куклы





Двойной портрет

*«...Прообраз — только толчок для фантазии, повод для литературной игры: реальный Нечаев — и Ставрогин («Бесы»), реальный Федор Толстой-«американец» — и безымянный герой репетиловского монолога, сосланный в Аляску и вернувшийся алеутом («Горе от ума»). Это правило работает даже в случае, когда образ носит имя прообраза: так, реальный Кутузов не тождествен Кутузову из «Войны и мира», а Сирано де Бержерак Ростана — реальному Сирано...
Примеров этому несть числа.*

У Петра Первого в скульптуре работы М.Шемякина — непропорционально маленькая голова...

*В одном из портретов Пикассо у портретируемого — вполне реального человека — вообще нарисовалось три глаза.
Миттеран во французском «Гиньоле»
оказался резиновой лягушкой.*

Ни то, ни другое, ни третье не является оскорблением хотя бы потому, что демонстративное расхождение образа и прообраза подчеркивает художественную независимость первого.

Итак, образ отталкивается от прообраза и — в зависимости от силы толчка — может отлететь от него весьма далеко и даже стать вовсе неизвестным: скажем, «Вид на Толедо во время грозы» Эль Греко многие исследователи считают скрытым автопортретом испанского художника.

Образ может нравиться или не нравиться прообразу — некоторые крупные государственные деятели эпохи Возрождения даже узнавали себя в чертах на фресках «Страшного суда»

*Микеланджело, — но в цивилизованной стране судить это нельзя — можно лишь судить об этом... »
(лист дела ...надцатый)*

Многие их путают, до того они похожи.

Однажды их перепутала даже Генеральная прокуратура, и целый год потом расследовала дело по оскорблению одного из них, хотя дурака делали из другого... Автору этих строк пришлось собрать в кучку ошметки своего неклассического образования и в целях личного самосохранения написать маленькое эссе для следователя по особо важным делам (см. эпиграф).

Чепуха совершенная делается на свете.

Ведь они, эти двое, совершенно разные люди! То есть не люди, а... То есть один из них, разумеется, человек, и большой человек... Впрочем, другой тоже большой. Хотя не человек.

Хотя, с другой стороны — некоторые и первого за человека не держат...

Довольно двусмыслицы, пора объясниться.

Первого героя этих заметок зовут Ельцин Борис Николаевич, и он — Президент Российской Федерации.

А второго зовут — Елкин. Просто Елкин, без имени-отчества. Какое может быть отчество у набитого дурака?

Президенту вышеупомянутой Федерации Ельцину Б.Н. шестьдесят шесть лет, большую часть которых он провел на руководящей работе. А Елкину — два с небольшим. Он никогда никем не руководил — напротив, им ежедневно руководят кто ни попадя, открывают ему рот, крутят туда-сюда головой. Строго говоря, он и моргнуть-то без посторонней помощи не может.

Ельцин Б.Н. состоит из сложных психологических комплексов и совершенно противоречивых (хотя абсолютно непоколебимых) убеждений. Елкин состоит из большой резиновой головы с маленьким механизмом внутри, резиновых рук и пиджака, набитого поролоном. А убеждений у него отродясь никаких не было: что напишут, то и говорит.

Президент Ельцин успешно играет самый разнообразный политический репертуар — от человека из троллейбуса до царя-батюшки, — но все-таки соблюдает в этом занятии некоторую плавность. А Елкин совершенно бесстыже меняет образы раз в неделю... Оба, впрочем, артисты от бога.

Наконец, у президента России Ельцина Б.Н. были проблемы с сердцем, но он их преодолел. А у Елкина от длительного употребления почернела голова, и ее уже несколько раз меняли.

А в остальном — ну да, похожи...

Скованные одной цепью

Про Ельцина Б.Н. в последние годы написано столько, что ничего нового и не прибавишь. Низкий поклон свобо-

де слова — в диапазоне от «иуды» до «отца русской демократии» свежих эпитетов не осталось.

И самое удивительное: что ни эпитет — чистая правда!

Приезжие говорят: в этом как раз и отразилось многообразие русской души. И то сказать — в царстве отечественной аппликации наш постарался оставить о себе голографическое изображение...

Объемный получился у России первый президент. Если бы программа «Куклы» начиналась году эдак в девяносто первом, уж и не знаю, как бы мы о нем шутили... Какие шутки с былинными героями?

Но к концу 1994 года, когда в недрах «Мосфильма» из рук художника Андрея Дроздова вышел резиновый президентский двойник, сам Борис Николаевич пребывал, как сказал бы Глоба, в неблагоприятной фазе.

Говоря определеннее, более или менее успешно в ту пору у президента обстояли дела только с теннисом.

Остальное горело синим метафорическим пламенем — не считая Чечни, горевшей уже самым что ни на есть всамделишным.

Резиновый Елкин родился под несчастливой звездой. Ему, маленькому и совершенно ни в чем не виноватому, сразу стало доставаться за двойника. Русский без малейших примесей, если не считать резины, привозимой из Парижа, он оказался в сомнительном японском положении — его начали колотить для снятия стресса.

До двойника-то никому, кроме партнеров по корту, было не добраться, а тут начали оттягиваться всей страной.

К лету 1995-го «самотечными» сценариями для программы «Куклы» были завалены все помещения производившей ее студии «Дикси», а также личная жилплощадь автора этих гадких строк. Звонили приятели-журналисты, писали частные лица и организации. Имелись сценарные заявки от одного всемирно известного театрального режиссера и двух член-корроров АН СССР, до того специализировавшихся на ядерной физике.

Всем хотелось разбежаться и с разбегу ударить ни в чем не повинного Елкина.

Но нет худа без добра: еженедельно осмеиваемый, Елкин потихоньку начал вызывать естественную симпатию добродушного российского населения.

Ибо кого в России бьют, того любят. (Некоторые до сих пор пытаются выяснить причинно-следственную связь этого парадоксального явления, но еще Тютчев предупреждал, что ум и Россия — две вещи несовместные.)

«Это он, я узнаю его...»

Писать психологический портрет президента Российской Федерации Ельцина Б.Н. — боже нас упаси, но поместить Б.Н. фоном к портрету Елкина мы, пожалуй, рискуем.

Итак, Елкин. Кто же он?

Во-первых и главных: безусловно положительный персонаж. Некорыстолюбивый, симпатичный глава резиновой исполнительной ветки, искренне желающий сделать как лучше всем россиянам.

Дедушка Мазай в политическом половодье, и радый бы спасти всех подведомственных ему зайчиков, но неспособный на это в силу совершенно объективных, понимаешь, причин. Плохо с координацией...

Обремененный своей безразмерной властью, Елкин с удовольствием бы отдал ее кому-нибудь, но, значит, сделать это нет никакой возможности, потому что-а... вокруг одни экстремисты! Хотят свергнуть нас в пучину, а он гарант и не позволит.

Потому (опять-таки) что-а... он ведь один за Россию, как Пересвет с Челубеем, а остальным — лишь бы власть!

Окружение у Елкина довольно досадное. Степаныч да Михалыч хоть и с той же исполнительной ветки, а каждый себе на уме — одного на газ тянет, другого на Севастополь... И у обоих в спальне календарь на двухтысячный год висит. Глаз да глаз!

Опять-таки рыжего не любят. Елкин и сам рыжего не любит, но тот умеет сделать так, чтобы все голосовали, как надо, — а Елкину без этого никак. Придется, конечно, вскорости рыжего думакам скормить — не по злобе (Елкин существо доброе), а в силу, значит, суровой реальности, данной ему в довольно сильных ощущениях.

Будучи большим государственным деятелем, за что Елкин в России ни берется, ничего у него не выходит. Сам он, разумеется, ни в чем не виноват: уж он бы, будь его во-

ля, и зарплаты заплатил, и компроматы искоренил, и коррупцию повывел, и культуру бы поднял по самое не могу — ему не жалко!

Но не знает как.

Да и откуда ему знать? Он же руководитель. И образование у Елкина, как у руководителя, — то есть высшее, но довольно среднее. Так и не его это дело — частности! У него харизма! Ничего больше практически нет, а харизмы — завались. Людей куда хошь увести может... Экономика, сволочь, не слушается! Уж он сколько назначенцев переназначал, а она все никак! Только вокруг власти материальное положение и улучшается.

А Елкин что? Елкин по русской своей природе человек терпеливый. Он год потерпит пройдоху, другой потерпит, а потом уж не обессудь! Кадровая-то политика у Елкина сильное место. Интуиции собственной сам, понимаешь, удивляется. Знает людей. Не всех, конечно, — но человек десять-пятнадцать знает как облупленных!

Ошибки свои Елкин признавать умеет. Сам войну, бывало, начнет, сам и закончит. Тыщ сто россиян разнообразных национальностей на поле брани положит, потом поглядит зорким взглядом государственным: нет ли в том Отечеству пользы? — и уж если увидит, что пользы нет, то сразу крикнет: шабаш!

И начнет сам с собою за мир бороться. Тут пощады не жди.

Суровый, но справедливый. Мудрый, но простой. Добрый, но скрывает. Вот такой он человек, наш Елкин.

А президент Ельцин Б.Н. тут практически ни при чем.

Они даже незнакомы. Ельцина даже спросил как-то журналист один: как вы, Борис Николаевич, относитесь к Елкину? Борис Николаевич ему честно ответил: я никакого Елкина не знаю. И продолжительно на журналиста посмотрел. Ну, вы знаете этот взгляд. Удавы в обморок падают. Журналиста как ветром унесло.

«Ребята, давайте жить дружно!»

Все-таки зря он так: «не знаю...»

Ну, не знаешь, можно и познакомиться. Подъехать, поговорить по душам. Наш Елкин — не гляди, что резино-

вый, — существо обидчивое, но, впрочем, демократичное и доступное... Со вторника по четверг, правда, сильно занят (съемки на «Мосфильме»!), а с пятницы по понедельник — милости просим!

Притом и сам Елкин к Ельцину благоволит. В рот ему заглядывает, цитирует охотно: про Чубайса, во всем виноватого, про тридцать восемь снайперов... Люди радуются. Да и вообще, уважает Елкин Бориса Николаевича. Кабы, говорит, в июне 96-го Борис Николаич по стадионам не поехал, лежать бы мне в ящике нафталином присыпанному, на фиг никому не нужному! И плачет...

С другой стороны (это уже я так думаю), если бы не Елкин, чучело резиновое, громоотводное — может, и самому Борису Николаевичу пара-другая лишних эйсов бы от избирателей перепала.

А так — все при деле. Публика, вместо того чтобы бузить, бесплатно по субботам чужому унижению радуется.

Елкин с группой таких же резиновых дураков шутки ей шуткует.

А Ельцин Борис Николаевич — в полном порядке, в Кремле. Как теперь принято говорить — в натуре!

1998

От редакции

Перед чтением каждого очередного описания раздела «Куклы» советуем заглянуть в «Примечания» (стр. 603—607), где указаны некоторые подробности событий, послуживших поводом для написания того или иного сценария.

1.

Грачев (Сосед) стучится в дверь Ельцина.

ГРАЧЕВ. Сеньор! Сеньор Дон Кихот! Доброе утро! Вы дома или опять не в себе?

ГОЛОС ЕЛЬЦИНА. Кто там?

ГРАЧЕВ. Это я, ваш сосед, Пабло Мерседес!

ГОЛОС. Кто?

ГРАЧЕВ. Пабло Мерседес, ваша светлость! Меня называл так народ за любовь ко всему, что движется!

ГОЛОС. А-а. Ну, входи, входи... Пабло!

Грачев входит. Ельцин (Дон Кихот) сидит в кресле, в ночной рубашке, с копьём в руках.

ЕЛЬЦИН. Мерседес... Раньше, понимаешь, народ звал тебя по-другому..

ГРАЧЕВ. Раньше народ и вас звал по-другому.

ЕЛЬЦИН. Как он звал меня раньше?

ГРАЧЕВ. Рыцарем, ваша светлость.

ЕЛЬЦИН. А как зовет сейчас?

ГРАЧЕВ (*подумав*). По-другому.

ЕЛЬЦИН. Да, мы оба изменились.

ГРАЧЕВ. Все изменилось в Ламанче с тех пор, как вы стали управлять провинцией.

ЕЛЬЦИН. Правда?

ГРАЧЕВ. Сушая правда, сударь. И, по-моему, изменилось к лучшему.

ЕЛЬЦИН. Ты считаешь?

ГРАЧЕВ. Да я со счета сбился! (*Загибает пальцы.*) Домик изменился к лучшему, факт! Вилла сильно к лучшему изменилась... Обслуга так изменилась, что лиц не видать! Опять же «Мерседесы»...

ЕЛЬЦИН. Что значит «сы»? Их сколько?

ГРАЧЕВ. Два!

ЕЛЬЦИН. Зачем тебе второй «Мерседес»?

ГРАЧЕВ. Для репутации. Мы с моей репутацией в одну машину уже не влазим.

ЕЛЬЦИН. Да, много воды утекло...

ГРАЧЕВ (*мечтательно*). Что вода? А сколько утекло крови!

ЕЛЬЦИН. Я крови не хотел.

ГРАЧЕВ. Кто же ее хочет? Сама течет! Бывало, нанесешь какой-нибудь точечный удар — его и не видно-то сверху, а они потом прямо всю душу вымотают!

ЕЛЬЦИН. Кто?

ГРАЧЕВ. Враги!

ЕЛЬЦИН. А много у тебя врагов, Пабло?

ГРАЧЕВ. Пол-Ламанчи.

ЕЛЬЦИН. А другая половина — друзья?

ГРАЧЕВ. Другой уже, слава богу, в живых нет.

ЕЛЬЦИН. Слава богу? Пабло, ты что, верующий?

ГРАЧЕВ. В настоящий момент — да!

ЕЛЬЦИН. Вот, понимаешь, совпадение — и я тоже верующий... в настоящий момент.

ГРАЧЕВ. Так что не сомневайтесь. Я, можно сказать, голубь мира!

ЕЛЬЦИН. А я?

ГРАЧЕВ. Вы тоже... та еще птица.

Входит Коржаков (Санчо Панса).

КОРЖАКОВ. Хозяин! Одеваться будем или поедем так?

ЕЛЬЦИН. Санчо! Я в тягостных раздумьях!

КОРЖАКОВ. Не время думать! У нас сегодня поездка по сельхозугодьям Ламанчи, потом две рабочие рыцарские встречи, а после обеда — поединок с мельницей.

ГРАЧЕВ (*заинтересовавшись*). А что на обед?

КОРЖАКОВ. Пабло, ты еще не наелся? Смотри, уже лицо в зеркало не помещается!

ГРАЧЕВ. Ты тоже не выглядишь изможденным, Санчо!

КОРЖАКОВ. Я телохранитель, Пабло! Если я не позабочусь как следует о своем теле — кто позаботится о теле сеньора?

ЕЛЬЦИН. Кто позаботится о моей душе?

КОРЖАКОВ. Рыцарь, если вы не перестанете фантазировать, это может кончиться самым печальным образом...

ЕЛЬЦИН. Да! Конечно! Так меня и называли когда-то... Рыцарь, Кончающий Печальным Образом... Нет, что-то не то; как-то по-другому меня называли... Как давно это было!

КОРЖАКОВ. Не надо печалиться.

ГРАЧЕВ. Вся жизнь впереди.

КОРЖАКОВ. А тебя не спрашивают! Хозяин, пора ехать в народ!

2.

Коржаков едет на ослике и ведет за собою под уздцы Росинанта с сидящим на нем Ельциным.

ЕЛЬЦИН (*напевает*). «Мы красные кавалеристы, и про нас былинники речистые...» Что-то я опять не то спел! Мы сейчас куда?

КОРЖАКОВ. Не беспокойтесь, хозяин. Все по регламенту. Доставим в целости, в сохранности на место.

ЕЛЬЦИН. И что там?

КОРЖАКОВ. Встреча с населением!

ЕЛЬЦИН (*с тревогой*). Беседовать надо?

КОРЖАКОВ. Зачем беседовать? Не надо с ними беседовать, на кой вам черт сдались эти голодранцы! Сделать заявление, в целом ободрить — и по коням!

ЕЛЬЦИН. Знаешь, что я заметил, Санчо? Они в целом все хуже ободряются.

КОРЖАКОВ. Не берите в голову, хозяин! В случае чего лягут вниз лицом всем трудовым коллективом.

ЕЛЬЦИН. Зачем вниз лицом?

КОРЖАКОВ. Для бодрости!

ЕЛЬЦИН. А потом?

КОРЖАКОВ. А потом — ногами их, для профилактики.

ЕЛЬЦИН. По регламенту?

КОРЖАКОВ. Можно и по регламенту.

ЕЛЬЦИН. А потом?

КОРЖАКОВ. Потом поедем ободрять дальше.

ЕЛЬЦИН. А они говорят, Санчо, что дальше ехать некуда.

КОРЖАКОВ. Кто?

ЕЛЬЦИН. Да эти, понимаешь, в газетах...

КОРЖАКОВ. А вы не читайте.

ЕЛЬЦИН (*пораженный*). Санчо! Как бы я жил без твоей народной смекалки?

КОРЖАКОВ. Я еще много примочек знаю! Хотите, расскажу, как надо нефтью торговать, чтобы и вам было хорошо, и мне не обидно? Хотите?

ЕЛЬЦИН. А у нас есть нефть?

КОРЖАКОВ. У нас пока нет! А в Ламанче есть. Я вам напишу докладную записку...

ЕЛЬЦИН. Ты умеешь писать?

КОРЖАКОВ. Еще как. Правда, читать еще не получается.

ЕЛЬЦИН. Ну, это необязательно! Вот что, Санчо, я, пожалуй, сделаю тебя губернатором острова! Ты справишься.

КОРЖАКОВ. С островом? Не сомневайтесь. Никаких поблажек, хозяин. Либо я, либо остров!

ЕЛЬЦИН. Нет, я имел в виду вообще... руководство. Сельское хозяйство там, художественная, понимаешь, самодеятельность... И права человека чтобы соблюдались на острове неукоснительно!

КОРЖАКОВ. А вот это вы зря. У нас в Ламанче так нельзя. Здесь любят, чтобы ближе к земле... лицом вниз... Тпр-ру! Приехали.

ЕЛЬЦИН. Куда?

КОРЖАКОВ. На обед.

ЕЛЬЦИН. А народ?

КОРЖАКОВ. Народ кормить не договаривались.

3.

Трактир. Дон Кихот и Санчо — за столом. Их обслуживает Ерин (Трактирщик).

ЕРИН. Кушайте, сеньор! Чем богаты...

КОРЖАКОВ. Что это?

ЕРИН. Еда.

КОРЖАКОВ. Какая еда?

ЕРИН. Наша, местная...

ЕЛЬЦИН. Ты, понимаешь, давай меню!

КОРЖАКОВ (*тыча себе в грудь пальцем*). И меню тоже!

Трактирщик подает меню.

ЕЛЬЦИН (*читает.*) «Черствый коржак, тертый жирик, зюган в красном томате...» Это что, все?

ЕРИН. Еще есть маринованный сосковец, но сильно лежалый.

ЕЛЬЦИН. И все?

ЕРИН. Все. Весь, извините за выражение, выбор Ламанчи...

ЕЛЬЦИН. Но это же несъедобно!

ЕРИН. Некоторым нравится.

ЕЛЬЦИН. А нет ли хоть, ну, я не знаю — балладюра какого-нибудь... мейджоратам... ну, что-нибудь европейского качества?

ЕРИН. Европейского не держим.

ЕЛЬЦИН. Почему?

ЕРИН. У нас в Ламанче этого не переваривают! А вот простую такую пищу, чтобы до костей пробирало... Баркашовки не желаете?

ЕЛЬЦИН. А это что такое?

ЕРИН. Местная кухня, сеньор. Рецепт немецкий, соус наш. Кишечник выпрямляет так, что будьте любезны!

КОРЖАКОВ. Надо попробовать.

ЕЛЬЦИН. Может, лучше сесть на диету?

КОРЖАКОВ. Это можно, хозяин. Святое дело. Только осторожно сесть, чтобы не раздавить...

ЕЛЬЦИН. Ну, это не страшно. Раздавлю эту, сяду на другую. С моей конституцией уж как-нибудь не пропаду!

КОРЖАКОВ. И то верно!

4.

Ельцин и Коржаков лежат на травке. Коржаков смотрит в бинокль.

ЕЛЬЦИН. Санчо!

КОРЖАКОВ. Что, хозяин?

ЕЛЬЦИН. Доложи ситуацию по охране меня.

КОРЖАКОВ. Момент! *(В переговорник.)* Первый, я Осел, доложи ситуацию!

Бурчание в переговорнике.

Отдыхайте. Все начеку. *(Смотрит в бинокль.)*

ЕЛЬЦИН. Чего там, понимаешь, видно?

КОРЖАКОВ. Ветряные мельницы, хозяин. Все по регламенту. Сейчас организуем ветер, обеспечим информационную поддержку — и в бой!

ЕЛЬЦИН. Что, опять воевать?

КОРЖАКОВ. Да упаси вас боже, хозяин! Так, поскачем немного вокруг, харизму покажем — и баиньки.

ЕЛЬЦИН. Ага! А на самом деле, понимаешь, сражаться не будем?

КОРЖАКОВ. А зачем?

ЕЛЬЦИН. Ну, я не знаю... Как тогда, помнишь, летом... Во имя этой, как ее... Дульсины Деморосской! Против сил зла...

КОРЖАКОВ. Где вы видите зло, хозяин? Вон сколько добра вокруг, и все наше!

ЕЛЬЦИН. Но ведь отнимут, Санчо! Отнимут!

КОРЖАКОВ. Кто?

ЕЛЬЦИН. Да пруд пруди желающих! Дон Жири, Дон Зюган и этот еще садовод со своим «Яблоком»... Дон Григорио. Не любят они меня, Санчо; просто, понимаешь, хлебом их не корми — дай выкинуть из седла. На турнир вызывают следующим летом!

КОРЖАКОВ. Хозяин, а перенести турнир нельзя?

ЕЛЬЦИН. Перенести — нельзя. (*Подумав.*) Отменить можно. С моей, понимаешь, конституцией, зачем мне еще турнир!

КОРЖАКОВ (*глядя в бинокль.*) Точно. (*Зевает.*) Мы уж сами как-нибудь...

Санчо засыпает. Наплыв.

5.

Сон Коржакова. Он едет на коне, за ним трусит на ослике Ельцин.

ЕЛЬЦИН. Санчо, ты так хорошо смотришься, когда ты на коне! Тебе так идет седло! С твоим лицом — только руководить. И как я раньше не догадался дать тебе узды...

КОРЖАКОВ. Чего дать?

ЕЛЬЦИН. Дать узды! Правления, понимаешь!

КОРЖАКОВ. Не болтай. Доложи ситуацию по охране меня.

ЕЛЬЦИН. Все начеку. Не то что, понимаешь, враг — кислород не пройдет!

КОРЖАКОВ. Где мы?

ЕЛЬЦИН. Сейчас узнаю. (*В переговорник.*) Первый, где мы?

Бурчание в переговорнике.

Санчо, мы в глубокой Ламанче!

КОРЖАКОВ. Я тебе не Санчо!

ЕЛЬЦИН. А кто?

КОРЖАКОВ. Я тебе теперь — хозяин!

ЕЛЬЦИН. Мне?

КОРЖАКОВ. А кому же!

ЕЛЬЦИН. А тогда я кто?

КОРЖАКОВ. А ты... (*Шепчет на ухо.*)

ЕЛЬЦИН. Не может этого, понимаешь, быть! Бурдюк ты с мясом, а не хозяин!

КОРЖАКОВ. Что?

ЕЛЬЦИН. Проснись!

КОРЖАКОВ. А?

ЕЛЬЦИН. Проснись! (*Бьет по щекам.*)

КОРЖАКОВ. Как? Это сон?

ЕЛЬЦИН. Это не сон. Это кошмар! Вставай!

КОРЖАКОВ (*продирает глаза.*) Ой, хозяин... Мне тут такое приснилось...

ЕЛЬЦИН. Знаю я, что ты там спишь и видишь!

КОРЖАКОВ. Я не нарочно, хозяин!

ЕЛЬЦИН. Ладно, понимаешь... Посмотри-ка лучше, кто это к нам скачет?

КОРЖАКОВ. Общественность.

ЕЛЬЦИН. А чего, понимаешь, улюлюкают?

КОРЖАКОВ. Вообще-то, по регламенту, это они радуются. Но я бы на всякий случай отсюда дернул.

ЕЛЬЦИН. Дернуть не дернуть, а уходить надо... Н-но!

КОРЖАКОВ. Что «но», хозяин?

ЕЛЬЦИН. Я говорю: н-но!

КОРЖАКОВ. «Но» — что?

ЕЛЬЦИН. Ничего! Просто — н-но!

КОРЖАКОВ. Это вы мне?

ЕЛЬЦИН. Это я (*тычет в коня*) ему. Н-но!

РОСИНАНТ (*вдруг.*) Что «н-но»? Что «н-но»? Я не могу больше скакать туда-сюда! Ты мне за четыре года весь хребет отсидел, рыцарь несчастный!

ОСЕЛ (*Коржакову*). А ты — мне!

ЕЛЬЦИН. Вот это да. Вот это, понимаешь... Сначала шахтеры заговорили, теперь, понимаешь, лошади... Ох, не досижу я в седле до выборов, чует мое сердце, не досижу!

РОСИНАНТ. До выборов? (*Ослу.*) Нет, брат, они с нас с живых не слезут!

ОСЕЛ. И зачем мы дали им себя взнуздать? Ну, твой-то хоть когда-то рыцарем был, а я... Одно слово — осел!

КОРЖАКОВ. Хозяин, если встреча с общественностью состоится, я ни за что не ручаюсь!

РОСИНАНТ. Ладно уж, вывезу тебя. Мы, росинанты, отходчивые!

Царь-султан



Государевы палаты. Стол с разносолами. Во главе стола —
Ельцин, вокруг — свита...

*Как уж в некоем государстве
Царь-султан сидит на царстве,
А при нем министров туча
Сидют, шапки нахлобуча;
Да дружок, его, стрелец,
Да опричный молодец.
Вот однажды с дальних стран,
Где то Коль, то Миттеран,
То саке, то кенгуру —
Воротился ко двору,
Чтобы делу дать венец,
Сам посольский удалец.
Ко султану он идет,
Шапку ломит, речь ведет
О делах практических,
Внешнеполитических...*

ЕЛЬЦИН.

Ты объездил семь морей.
Отвечай же мне скорей —
Где бывал, кого там встретил,
И какое диво в свете?

КОЗЫРЕВ.

Я бывал за окяном,
В ихнем штатстве окаянном:
Там, надежа-государь,
Жисть, комар их забодай!
Всюду стриженный газон,

Всюду польза да резон,
Адвокатов пруд пруди,
Демократия, ети!
Партий там на всю страну —
Две. Как выберут одну —
Так потом четыре года
Тишь да гладь среди народа!
Те — ослы, а те — слоны...
То-то радость для страны!
Небоскребы до звезды,
До края земли мосты,
Остров в море-ветродуе,
А на острове — Статуя!
На лужайке — Белый дом,
Билли Клинтон в доме том
Вместе с Хиллари-женой
Управляет той страной:
Утром бегают бегом,
Днем работает мозгом,
А потом секвой на фоне
Знай дудит на саксофоне!
А главней там всех — доллард,
Он зеленый, как бильярд,
Посередке — Вашингтон,
Весь цветущий, как бутон...
Нам взаймы бы тех доллардов
(Штучек десять миллиардов!)
Мы бы царствие твое
Укрепили...

ЕЛЬЦИН.

Е-мое!
Правда, славная картина?

КОРЖАКОВ.

Это диво нам не диво!

ЕРИН.

Не указ нам их резон.
Нам накласть на их газон.
На мосты, на небоскреб,
На Статую, мать их ёб!

КОРЖАКОВ.

Тоже чудо, вишь, нашел,
Что в сенате там осел —
Наш расейский депутат
Тоже, чай, не мармелад!

ГРАЧЕВ.

А заморский саксофон
Мы, надежда, разогнем!

ЕРИН.

Пусть сыграет на поляне
Ихний Билли на баяне!
Это точно будет чудо...

ЕЛЬЦИН.

Да уж, брат... Ступай отсюда.

КОЗЫРЕВ.

Ну а как же доллара?

ЕЛЬЦИН.

Чтоб добыл их до утра!

*Вот другой раз из Дубай
Приезжает краснобай...*

ЧЕРНОМЫРДИН.

Здравствуй, царь!

ЕЛЬЦИН.

Здорово, брат!
С чем вернулся ты назад?
Где бывал? Кого там встретил?
И какое диво в свете?

ЧЕРНОМЫРДИН.

Я с охраною наружной
Был на ярмарке оружной:
Там, надежда-государь,
Чудо что за инвентарь!
Самолеты без помех
С корабля взлетают вверх;
Пушки с берега палят;

Танки давят всех подряд;
А заморская пехота
В глаз дает с пол-оборота!
Кабы нам свою бы рать
Эдак реформировать,
Войско было бы у нас —
Загляденье!

ЕЛЬЦИН.

А сейчас?

ГОЛОС.

А сейчас, надежда-царь,
Извини, уж все как встарь:
Пули по полю летят,
Поле трупами мостят,
А потом опять с утра
Наше хрипкое «ура»...
Это ежели война —
А в иные времена
Только пьянка да ворье,
Дедовщина да вранье!
Извини, коли обидел...

ЕЛЬЦИН.

Чей тут голос был?

КОРЖАКОВ.

Не видел.

ЕРИН.

Сквозняком надуло в уши.

ГРАЧЕВ.

Видно, это кто снаружи...

ЕЛЬЦИН.

Продолжай про чудо сказ.

ЧЕРНОМЫРДИН.

Чудо видел я не раз,
Но что истинное диво
(Не поверил бы, вестимо,
В это я с чужих бы слов...)
Там у них не бреют лбов!

ЕЛЬЦИН.

Но они ведь служат как-то?

ЧЕРНОМЫРДИН.

Служат, только по контракту!

ЕЛЬЦИН.

По контракту? Чудеса!

Ох, я дам тебе раза!

Что же ты молчал про то?

ГРАЧЕВ.

Кто молчал-то?

ЕЛЬЦИН.

Конь в пальто!

Ну, служака мой ретивый...

ГРАЧЕВ.

Это диво нам не диво!

Что контракт? Бумажка, тьфу!

Сунул слово во графу...

Писаришек батальон

Настрочит таких мильен!

Посреди родимой бучи

Есть диковина покруче:

Генерал, царю опора,

Служит весело и споро —

Пусть попробовал бы так

Из заморских кто вояк:

Чтоб и орден заслужить,

И полвойска положить,

И вконец провороваться —

И при должности остаться...

Вот где истинное чудо!

ЕЛЬЦИН.

Точно, брат... Ступай отсюда.

День прошел, другой проходит —

Новый гость к царю приходит:

Сын юристу, черту брат —

Либеральный демократ!

ЖИРИНОВСКИЙ.

Здравствуй, царь, надежа наша,
Как живет родная Раша?

ЕЛЬЦИН.

Ничего себе живет —
Из Канады хлеб жует!

ЕРИН.

А кончается в Канаде —
Мы ложимся на полати
И зубами клацаем
Всей аграрной фракцией...

ЕЛЬЦИН.

Ты скажи-ка мне, пострел,
Где так славно загорел?
Кто тебя, мальчика, приветил —
И какое диво в свете?

ЖИРИНОВСКИЙ.

Я к тебе явился прямо
От товарища Саддама —
Вот уж диво-красота,
Разным прочим не чета!
Он нам лучшая из пар,
Вот те крест... Аллах акбар!
У него звезда во лбу,
Он ООН видал в гробу,
И подраться не дурак,
И усы на весь Ирак!
С ним на пару, государь,
Разгуляемся, как встарь;
А в придачу с Ким Чен Иром
Мы оттянемся всем миром!
То-то будет политес —
Просто чудо из чудес!
Без потехи сиротливо...

ЕЛЬЦИН.

Это диво — точно диво!

ГРАЧЕВ.

Да-а... Иметь такую власть,
Чтоб в нее, как в омут, — шась..

КОРЖАКОВ.

Если это искушение,
То в него приятно впасть!

ЕРИН.

Царь наш батюшка, ей-ей,
Жить бы стало веселей!
С добрым курдом, милый город,
Сердце Родины моей!

ЕЛЬЦИН.

Было в прежние разы,
Что росли тут и усы...
Но боюсь, сегодня это
Не для средней полосы!
Тут пришпоривать народ
Больше, Вова, не пройдет,
Так что ты ступай, болезный, —
Там тебя Каддафи ждет!
Мы уж сапой как-нибудь...
Лишь бы в троне не уснуть —
Больно много претендентов,
Понимаешь... Просто жуть!

*Тут надежда загрустил,
Буйну свиту отпустил,
Повелел в конце концов
Не пускать к себе гонцов.
Он сидит, глядит в оконце —
Много дивного под солнцем...
Но чудеснее всего —
То, что любим мы его!*

Вредные советы



(По мотивам произведений Г. Остера)

Наши симпатичные герои дают их, занимаясь на досуге
разными домашними делами.

ЖИРИНОВСКИЙ.

Если ты попал в Госдуму
По мандату от народа,
Ты сиди там сколько хочешь
И не бойся ничего:
Можешь окна бить в столовой,
Ехать запросто на красный,
Жечь дома, плевать в соседа
И печатать деньги сам.

А когда придут в фуражках
Злые милиционеры —
Покажи им смело фигу,
А другой рукой — мандат.
Пусть они откозыряют
И идут себе обратно —
Ты им кинь в окно гранатой,
Чтоб шагалось веселей!

Писай в урны, мучай кошек,
Грабь по пятницам сберкассы.
По субботам тещу смело
Шпарь горячим утюгом —
А коллеги-депутаты
Не дадут тебя в обиду:
Ведь у каждого есть теща
И сберкасса, и утюг...

ГРАЧЕВ.

Если ты имеешь доступ
К разным всяким драндулеткам,
А лежит все это плохо,
Хуже некуда лежит,
Ты не жди, когда утянут
Это прапорщики-воры,
И прими немедля меры —
Пусть хранится у тебя.
Этот правильный поступок
Вся общественность одобрит,
И тебя за это дело
Непременно наградят.
Ты начисть поярче орден
И орлом пари над миром...
Это только пуля — дура,
Генерал — не идиот!

ЗЮГАНОВ.

Если раньше было лучше
Исключительно тебе,
Убедить людей пытайся
В том, что лучше было — им.
Это сделать очень просто
С тем, кто выжил из ума.
А кому отшибло память,
Тот возглавит орготдел!

Собери толпу побольше,
Сунь ей в руки транспарант,
Дай портрет с усадым дядей
И кричи про коммунизм!
Если кто-то не согласен,
Вынь из кейса мегафон
И тому, кто не согласен,
Дай сильней по голове.

А потом кричи что хочешь
(Что — не важно никому).
Главное — маши руками
И скандируй по складам.

А чтоб людям полюбиться,
Надо правду им сказать:
В том, что нет в сельпо сметаны,
Виноват иудаизм!

ЧЕРНОМЫРДИН.

Если ты пришел ко власти
А назад идти не хочешь
(Потому что возле власти
Много всякого лежит),
Позвони по регионам,
Пусть найдут побольше денег
И движенье хоть какое
Поскорее создадут!

Ты возглавь движенье эго,
Назови его покруше —
И дави по вертикали,
В хвост и в гриву погоняй!
Пусть поддержат через прессу,
Попотеют в исполкомах —
Ты ж московское начальство,
А не просто хрен с горы!

И на выборах, конечно,
Победишь ты дилетантов,
У которых ни бюджета,
Ни вертушки, ни газет...
Был министр — стал сенатор,
И живи себе, как раньше:
У законной нашей власти
Много всяческих ветвей!

ГАЙДАР.

Если ты уже однажды
Был начальником в России
И тебя на этом месте
Заместитель подсидел,
Ты ступай сажать капусту.
Выжигай по деревяшке —

Уж не быть тебе начальством,
Можешь даже не мечтать!

Удались от дел державных,
Окружи свой дом забором
И народу в назиданье
На заборе напиши:
Вы забудьте все плохое,
Вас ограбили случайно,
Это был несчастный случай,
Тут никто не виноват!

ЯВЛИНСКИЙ.

Если ты такой красивый,
А вокруг одни уроды,
Консерваторы сплошные,
Прохиндеи и вруны —
Не пускай к себе их близко,
Отбивайся что есть мочи,
Отгоняй метлой поганой,
Не блокируйся ни с кем!

И когда они склубятся
Меж собою, как собаки,
И когда они, как змеи,
Друг на друга зашипят,
Пусть народ российский видит —
Ты стоишь от всех отдельно!
Толку, правда, никакого,
Но зато хорош собой!

ЛУЖКОВ.

Если ты дороги сделал,
Укрепил свое хозяйство,
И не выглядишь дебилом,
И физически здоров,
Тут-то всем и станет ясно —
Метишь, значит, в президенты.
А зачем народу это,
Когда есть уже один?

Лучше плюнь на все на это,
Зря не рой себе могилу
И не жди, когда положат
В Моссовете вниз лицом.
Чтоб сложились отношения,
Развали скорей хозяйство,
Выйди с кепкою на паперть —
Вот увидишь, наградят!

ЕРИН.

Если сильная преступность
Возле дома появилась,
Если честно жить не хотят
Кое-где у нас порой,
Ты найди другую банду
И сведи их ненароком —
Пусть они друг друга мочат,
Ты им, братец, не мешай!

Зря не лезь в чужое дело,
Не рискуй авторитетом —
Вдруг пристрелишь ненароком
Сослуживца своего!
Он у нас в Доске почета,
Хоть и в розыске два года...
Если станет депутатом,
Нас в помощники возьмет!

КОРЖАКОВ.

Учиться надо на пятерки,
Ну в крайнем случае — «четыре»,
А если троечником станешь
Или ваще получишь «кол» —
Не обижайся на училку,
А дай ей по балде портфелем
И уходи служить в охрану,
Там кадры позарез нужны!

Там служат brave ребята,
И генерал у них чудесный,
Тебя там только не хватает
С твоей накачанной башкой!

«Что охраняешь, то имеешь» —
А охраняешь президента...
Поэтому порви учебник
И получай скорее «кол»!

КОЗЫРЕВ.

Если ты одновременно
На восток глядишь и запад,
У тебя от косоглазья
Может сделаться бо-бо.
Ты тогда на свежий воздух
Выходи гулять под вечер:
На одной ноге — Версаче,
А онучи на другой.

Если встретится прохожий,
Не оставь его вниманием:
Молви слово по-английски
И ударь его, козла!
Пусть ползет за валидолом,
Ничего не понимая...
Сам же он и виноватый —
Пусть не ходит там, где ты!

ЕЛЬЦИН.

Если стал ты президентом
Удивительной страны.
Никогда не удивляйся,
Понимаешь, ничему!
Дважды два тут тридцать восемь,
Компас кажет на восток;
Здесь царевны — из лягушек,
А супы из топора!

Турки — в ГУМе, урки — в Думе,
Коммунисты во Христе...
Оттого тут, понимаешь,
И реформа не идет!
Так что жарь себе указы
И последствий не бойсь —
Все равно у нас, в России,
Их не выполнит никто!

А хорошего захочешь —
Станет хуже в тыщу раз!
Тут опасно править честно —
Люди могут не понять.
В общем, я в недоуменье,
Очень странная страна!
Лет на пять еще останусь —
Разобраться что к чему...



Перед съемкой передачи «Итого...»





В кругу телегароев



Одесса, апрель 1994 года.
Снимок на память о Юмине.



Со Светланой Сорокиной на дружеской ноге

Комедия о беде Государства Российского

1.

Кремлевские палаты.

ЛУЖКОВ.

Наряжен я присматривать столицу,
Но кажется, тут не за кем смотреть:
Москва пуста; чиновник устремился
В Барвиху, на госдачи. Аппарат
Чего-то сочиняет там, укрывшись,
А царь уехал в Екатеринбург...
Как думаешь, чем кончится затишье?

ЧЕРНОМЫРДИН.

Чем кончится? Узнать не мудрено:
Служивый люд поплачет да повоет.
Борис еще поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И наконец по милости своей
На выдвижение разом согласится,
А там держись!..

ЛУЖКОВ.

А может, он решил
Покинуть безвозвратно все мирское —
И затворясь на пенсии, вдвоем
С охраною, стучать в настольный теннис,
Пить «Херши» и замаливать грехи?
Уж сколь его на царство выдвигали!..

ЧЕРНОМЫРДИН.

Да выдвинуть Бориса-то не штука!
Да как потом задвинуть — вот вопрос!

ЛУЖКОВ.

Но ежели Николаич в самом деле
Державными заботами наскучил,
А умотает в Сочи — и с концом?
Что скажешь ты?

ЧЕРНОМЫРДИН.

Скажу, что понапрасну
Лилася кровь безвинного Чубайса,
Что если так, наш рыжий мог бы жить.

ЛУЖКОВ.

Зачем Чубайсу жить? Ты скажешь тоже...
Как будто больше некому и жить!
А впрочем, если так, то, может статься,
И впрямь его раскаянье тревожит?
Иль призраки ударов ювелирных
Ему ступить мешают на престол?

ЧЕРНОМЫРДИН.

Перешагнет; Борис не так-то робок!
Попомни слово: не пройдет и дня,
Как скажет он, «чта-а принял предложение» —
Да так надвинет шапку Мономаха,
Что после и с башкой не отдерешь!

2.

Пивнушка. Народ за стойкой доливает водку в пиво. Лиц не видно —
спины, руки, старая газета, сырок, колбаска... Все как положено.
И только слышен разговор.

— Чего там пишут, слышь ты?..
— Да небось
Все брешут, как обычно, про реформы.
— «Реформы»... Помолчали бы хотя б!
— Подлей пивка. Подкрась ее, заразу.
— Ты за кого пойдешь голосовать?
— За этого... ну как его... который
Нам обещал: все будет зашибись!
— Так это они все и обещали!
— Ну, значит, я их всех и подчеркну,
Пускай себе рулят, а мне не жалко!
Колбаску передай.
— Ага. Держи.
Ну, будем, что ли?
— Может быть, и будем,
А может, сами в закусь и пойдем.
— Типун те на язык!

— Долей. Нормально!
— А ну их всех! Поговорим про баб!

3.

Полный сбор: Черномырдин, Грачев, Коржаков, Лужков.

БОРИС.

Внимание, бояре! Я решил
Прислушаться к стенаниям народным
И выдвинуться сызнова на трон
И прохрипеть еще четыре года!
Но, понимаешь, сложности. Одни
Все норовят туда же, самозванцы,
Другие вроде хоть не норовят,
Все время пишут мне через газеты
(Зачем газеты? Написали б так...) —
Что не хотят, вот видите ль, молиться
Таперича за Ирода-царя.
Юродивые, правильно уволил!
Им Богородица, вишь, не велит...
Ну а кому велит? Ей-богу, странно.
Мне тоже не велит. А я молюсь!
(*Входящему Коржакову.*) Ну, как народ?

КОРЖАКОВ.

Безмолвствует.

БОРИС.

Ну вот!
А это, безусловно, знак согласия!

4.

Горбачев за письменным столом, над собственной книгой.

ГОРБАЧЕВ.

Еще одно, последнее избранье —
И деятельность свернута моя.
Окончен труд, завещанный от бога
Мне, грешному. Недаром стольких лет
Свидетелем господь меня поставил
И аппаратным штучкам вразумил. (*Пишет.*)

ЯВЛИНСКИЙ *(пробуждаясь и вскакивая)*.

Все тот же сон! Возможно ль? В третий раз!
Мне снилось, что лестница крутая
Меня ведет в Георгиевский зал,
И там я лично раздаю награды
Банкирам, ветеранам каптруда!
Мне виделась Москва, что муравейник,
В которой каждый делает свое,
И все в избытке, кроме коммунистов!
И Жирик снился, гадкий старичок.
На Брайтоне торгующий порнухой,
И, падая стремглав, я пробуждался.
Не чудно ль?

ГОРБАЧЕВ.

Чудно будет, взявши власть.
Не захлебнуться, братец, новой кровью.
Я тоже спал по молодости лет
И видел всеобъемлющий консенсус,
И вечный мир, и благосостоянье,
Крючкова с человеческим лицом...
Вот так, дружок! Как звать тебя?

ЯВЛИНСКИЙ *(вздыхая)*.

Григорий!

5.

Ночь.

ЯВЛИНСКИЙ.

Вот и фонтан.

ЗЮГАНОВ *(появляясь из кустов)*.

Чего?

ЯВЛИНСКИЙ.

Простите, кто вы?

ЗЮГАНОВ.

Аз есмь царевич от КПРФ.

ЯВЛИНСКИЙ.

С ума сойти.

ЗЮГАНОВ.

Намедни из Давоса.

ЯВЛИНСКИЙ.

Кошмарный случай.

ЗЮГАНОВ.

Сам не разберу.

Вы тоже, что ль, царевич?

ЯВЛИНСКИЙ.

Аск!

ЗЮГАНОВ.

Однако!

Нас двое, трон — один...

ЖИРИНОВСКИЙ *(входя)*.

Вот и фонтан!

ЗЮГАНОВ.

Еще один царевич?

ЯВЛИНСКИЙ.

Третьим будешь?

ЖИРИНОВСКИЙ.

Что, самозванцы? Ну-ка, не мешать!

Я эту роль исполнить сам намерен:

«Вот и фонтан...»

ЗЮГАНОВ.

Заткни-ка свой фонтан.

ЯВЛИНСКИЙ.

Да пусть он тут стоит, как в центре ГУМа!

ЖИРИНОВСКИЙ.

Дан!..

ЯВЛИНСКИЙ.

Вы — штурмбаннфюрер КГБ,

Ошибка эволюции!

ЖИРИНОВСКИЙ.

Мерзавец!

Мерзавец, однозначно!

ЗЮГАНОВ.

Незадача!
Царевичей-то трое! Перебор...

ЛЕБЕДЬ (*входя*).

Вот и фонтан. Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха!

ЖИРИНОВСКИЙ.

Четвертый подошел.

ЛЕБЕДЬ.

Упал — отжался.

6.

Царские палаты.

ЕЛЬЦИН.

Достиг я высшей власти.
Шестой уж год я царствую спокойно,
Но счастья нет. Я думал россиян
Борьбой с союзным центром успокоить,
Реформами любовь у них снискать,
Но номер не удался.

КОРЖАКОВ.

Ну и ладно!
Живая ж власть для черни ненавистна!
Они ж любить умеют только мертвых!

ГРАЧЕВ.

А мертвых мы им сделаем в момент!

ЕЛЬЦИН.

Бог насылал на землю нашу съезд,
Потом другой; народны депутаты
Импичментом грозили — разогнал.
Набрал других, но редьки хрен не слаще;
Что там Бабурин, что Бабурин тут:
Опять бранят и рвут из рук державу
На все четыре стороны — и кто
Наследовать мне станет? К ним зайдешь,
К боярам, значит, в Думу — очумеешь!
Сенаторы...

КОРЖАКОВ.

Да боже упаси
На улице их встретить без охраны!

ЕЛЬЦИН.

А впрочем, говоря начистоту,
Свои не лучше. Те же точно лица...
И в зеркале какой-то беспредел!
А тут еще Чечня, и телевизор,
И мальчишки кровавые в глазах!
И рад бежать, да некуда...
Однако ж
Не может быть, чтоб некуда. Когда
Прорвутся те, что сзади занимали,
Когда они с-под зада вынут трон,
Когда вертушку вынут из-под пальца,
Не пустят в Кремль, отнимут драндулет
И скипетром начнут гонять по свету —
Тогда уж я, как прежний государь
Михал Сергеич, наш царек союзный,
Кусок отрежу пирога родного
На пропитанье, образую фонд
И буду ездить по миру с речами...
Не хуже, чай, других — не пропаду!

Время, назад!



*Денонсации Беловежских соглашений
посвящается...*

1.

Кремль. Ельцин, сидя за рабочим столом, читает какой-то документ.

ЕЛЬЦИН (*прочитав*). Это, вообще, что?

КОРЖАКОВ. Постановление Думы.

ЕЛЬЦИН. Не понял.

КОРЖАКОВ. Этого никто не понял.

ЕЛЬЦИН (*прочитав еще раз*). Это, значит, вроде как крутим кино в обратную сторону?

КОРЖАКОВ. Ага! Назад в СССР.

ЕЛЬЦИН. А вот что мы, значит, там... среди зубров... подписывали...

КОРЖАКОВ. Признано недействительным!

ЕЛЬЦИН. То есть вроде как ничего не было?

КОРЖАКОВ. Выходит, так.

ЕЛЬЦИН. Очень хорошо. А я, стало быть, снова президент этого... РэСэФэСэРэ?

КОРЖАКОВ. Его.

ЕЛЬЦИН. А живем мы, значит, в Союзе Советских...

КОРЖАКОВ. В нем. По самые уши в нем.

ЕЛЬЦИН (*подумав*). Надо Ландсбергиса обрадовать. (*Подумав еще.*) А президентом здесь... получается...

КОРЖАКОВ. Он самый! Получается так.

ЕЛЬЦИН. Не дай бог, догадается...

Входит Горбачев.

ГОРБАЧЕВ. Добрый день!

ЕЛЬЦИН. Не уверен, понимаешь, что он добрый...

ГОРБАЧЕВ. А мне нравится. Весна! Солнышко светит... Но я вижу, вы сегодня не в духе, о весне мы с вами в другой раз, а сейчас — чемоданчик передайте, пожалуйста!

ЕЛЬЦИН. Какой чемоданчик?

ГОРБАЧЕВ. Ну, такой... с красной кнопкой. Я вам подержать давал, помните? Только не нажимайте случайно.

ЕЛЬЦИН. Чемоданчик я, значит, отдам. А кнопку оставлю себе.

ГОРБАЧЕВ. Я скажу так: мы должны оставаться в русле демократических процедур...

ЕЛЬЦИН. Вот и оставайтесь.

ГОРБАЧЕВ. Ну, знаете... Народы обновленного Союза, в котором мы с вами теперь снова живем, будут разочарованы, если придется силой... Так что давайте поищем консенсус. Мне — кнопку, вам — гарантии неприкосновенности... Пенсия, автомобиль, дача... охрана тоже... Вам одного хватит? По-моему, достаточно... Трубочку позвольте. (*Набирая номер, Ельцину.*) Завидово с Барвихой надо освободить к воскресенью...

ЕЛЬЦИН. Зачем?

ГОРБАЧЕВ. А мы будем восстанавливать историческую справедливость во всей полноте. (*В трубку.*) Алло! Геннадий Андреевич! Зайди ко мне. Генеральный секретарь говорит!.. Какой секретарь? ЦК КПСС!.. А вот так! (*Вешает трубку.*) Раз уж так повернулось... Раз история предоставляет нам такой шанс... Уж в этот раз мы Союз обновим так обновим, правда?

Входит Зюганов.

ЗЮГАНОВ. Вызывали?

ГОРБАЧЕВ. Вызывал. Спасибо за помощь в восстановлении законного порядка. Мы в Политбюро ценим республиканские кадры. Есть даже мнение, что они должны расти как можно быстрее. Поэтому мы решили отправить тебя послом.

ЗЮГАНОВ. Куда?

ГОРБАЧЕВ. Я думаю, в Израиль.

ЗЮГАНОВ. Почему в Израиль?

ГОРБАЧЕВ. Понятия не имею. Просто такое сложилось мнение, что — туда. На самый трудный для тебя участок.

ЗЮГАНОВ. Я языка не знаю.

ГОРБАЧЕВ. Язык послу нужен для того, чтобы вылизывать коллегия МИДа. Этому учатся быстро.

ЗЮГАНОВ. А...

ГОРБАЧЕВ. Удачи тебе, Геннадий Андреевич! (*Зюганов исчезает.*) До свидания. (*Ельцину.*) Ну вот, в целом, и началось.

2.

У здания Белого дома. Грачев и Черномырдин.

ЧЕРНОМЫРДИН. Чем занят, обороноспособный?

ГРАЧЕВ. Да вот... опять демократию чинить будем. Заранее готовлюсь! Чтобы не говорили потом: мол, армия долго раскачивалась... (*Меряет пальцами углы.*) Зажигательным — туда...

ЧЕРНОМЫРДИН. Что значит «зажигательным»?

ГРАЧЕВ. Зажигательным снарядом.

ЧЕРНОМЫРДИН. Что-то я не пойму...

ГРАЧЕВ. Ну, бывает простой снаряд, ну, совсем простой, как я... А бывает, знаешь, такой зажигательный!

ЧЕРНОМЫРДИН. Зачем туда — снарядом?

ГРАЧЕВ. Да этот... парламент опять плохо себя ведет! А мы — бабах! — и демократия торжествует.

ЧЕРНОМЫРДИН. Это теперь не здесь!

ГРАЧЕВ. Демократия? А где?

ЧЕРНОМЫРДИН. О демократии вообще забудь! Парламент не здесь! Здесь теперь я!

ГРАЧЕВ. Вот черт! А я чуть боеприпас не потратил. А где теперь парламент?

ЧЕРНОМЫРДИН. В Охотном Ряду.

ГРАЧЕВ. А это что такое?

ЧЕРНОМЫРДИН. Ну, по-старому будет — проспект Маркса.

ГРАЧЕВ. Так бы сразу и говорил! Маркса — это мы проходили.

3.

Кремль. У карты мира — Примаков с указкой. Его слушают Ельцин и Горбачев.

ПРИМАКОВ. Сообщение о восстановлении Советского Союза вызвало живую реакцию во всем мире. В Белоруссии — народные гулянья. В Таджикистане — джихад. Прибалтику приняли в НАТО.

ГОРБАЧЕВ. Всю?

ПРИМАКОВ. Мало сказать — всю. Вместе с Калининградской областью.

ЕЛЬЦИН. Но это же Россия!

ГОРБАЧЕВ (*поправляет*). Это — СССР!

ПРИМАКОВ. Это теперь НАТО. Трудящиеся Кенигсберга на хорошем немецком языке попросили больше их не беспокоить — и обрезали провода.

ГОРБАЧЕВ. Дальше.

ПРИМАКОВ. Дальше — больше. Инициатива российской Думы по восстановлению памятников политической старины поддержана в Европе. Австрия (*шурует по карте указкой*) потребовала обратно Венгрию, Германия — Эльзас и Лотарингию.

ГОРБАЧЕВ. У кого?

ПРИМАКОВ. У Франции.

ГОРБАЧЕВ. А французы?

ПРИМАКОВ. А французы, раз такое дело, хотят Алжир.

ГОРБАЧЕВ. А Алжир?

ПРИМАКОВ. А Алжир ничего не хочет. Там так жарко, что все желания пропадают. А Румыния и говорит: раз пошла такая пьянка, берем себе Молдавию! Тогда Турция говорит: руки прочь от Молдавии, Молдавия наша! А в Центральной Африке одно племя...

Входит Клинтон.

КЛИНТОН. Вы что тут эврибади — ехать умом?

ГОРБАЧЕВ. А в чем, собственно, дело?

КЛИНТОН. Кто придумать возвращать хистори назад?

ЕЛЬЦИН. Ну, мы.

КЛИНТОН. Вот и принимать себе беженцев! Плавать Атлантика больше не мочь.

ЕЛЬЦИН. Не понял.

ГОРБАЧЕВ. Вы объясните, пожалуйста, по-русски, в чем, собственно, ваша проблема?

КЛИНТОН. Они нас гнать три шея!

ГОРБАЧЕВ. Кто?

КЛИНТОН. Индейцы! Юнайтед Стейтс — это их земля! Выкупить обратно за тридцать баксов Манхэттен, сажать нас на корабли и толкать от берега. Янки, гоу хоум! Плывить в своя Англия!

ЕЛЬЦИН. Вы, значит, не туда попали. Здесь не Англия.

КЛИНТОН. Но в Англию нас не пускать!

ГОРБАЧЕВ. Почему?

КЛИНТОН. Там теперь Римская империя, шит!

ГОРБАЧЕВ. Не надо нам подбрасывать...

КЛИНТОН. Надо!

ГОРБАЧЕВ. Таких реалий, извините, нет...

КЛИНТОН. Есть такой реалия, май дия френд Майкл!
Суд на Гаага признать решение о распаде Римской империи юридически недействительно!

ГОРБАЧЕВ. Этого не может быть.

КЛИНТОН. Может! Документз о распад нету!

ГОРБАЧЕВ. Совсем?

КЛИНТОН. Насинг! Ни одного!

ГОРБАЧЕВ. Уай? (*Спохватывается.*) Почему?

КЛИНТОН. Потому что варвары не уметь писать!

ГОРБАЧЕВ (*хватаясь за голову*). Шит!

ГРАЧЕВ (*входя*). Все готово! Танки стоят на Охотном
Ряду имени товарища Маркса, экипажи заряжают
боекомплект и ждут письменного приказа!

ЕЛЬЦИН. От кого?

ГРАЧЕВ. Да хоть от кого!

Междугородный телефонный звонок. Примаков снимает трубку, слушает с невозмутимым видом.

ПРИМАКОВ. Секундочку. Сейчас узнаю.

ГОРБАЧЕВ (*недовольно*). Ну, что там еще?

ПРИМАКОВ (*прикрывая трубку ладонью*). Это
Казань.

ГОРБАЧЕВ. Кто?

ПРИМАКОВ. Из секретариата Золотой Орды!

ЕЛЬЦИН. Что??!

ПРИМАКОВ. Спрашивают, когда приезжать за
данью.

Гимн Советского Союза на титрах.



Свинья, насвистывая, пририсовывает к лежащим перед ней фотографиям Ельцина то попсовый кок, то ежик, то бороду, то рокерский хаер...

СВИНЬЯ. Тэ-эк-с... Так он у нас будет Элвис Пресли, так — Святослав Федоров... А так... Ой. Кто же это у нас получился? Ой, да это же вообще Солженицын, уи! *(Смеется.)* А что, было бы желание... Хозяин — барин!

1.

Студия. Белый экран, маленькая костюмерная. Всюду зеркала. Лампы с зонтами-отражателями. На стуле посередине — Ельцин, напротив, с фотокамерой, — свинья. Сбоку у столика листает модный журнальчик Коржаков.

СВИНЬЯ. Подбородочек выше! Вот так. И чуть-чуть направо. *(Укоризненно.)* Это налево...

ЕЛЬЦИН. Я, значит, право и лево иногда путаю.

СВИНЬЯ. Ну ладно, застыньте уж как-нибудь один раз — и шабаш. Смотрите сюда! Сейчас вылетит птичка.

КОРЖАКОВ *(настораживаясь)*. Что еще за птичка?

СВИНЬЯ. Отдыхайте, отдыхайте!

КОРЖАКОВ. Не надо никому вылетать!

СВИНЬЯ *(Ельцину)*. Смотрите сюда! Что вы на него смотрите?

ЕЛЬЦИН. На кого ж мне еще смотреть, он же никого, кроме себя, к линии горизонта не подпускает...

СВИНЬЯ. Сюда! В дырочку смотреть!

ЕЛЬЦИН. Куда?

СВИНЬЯ. В дырочку! Откуда птичка вылетит! Оптимизма больше!

ЕЛЬЦИН. Куда уж больше-то?

СВИНЬЯ. Много не мало. Ну? Уверенней взгляд! Вы не сомневаетесь, что победите!

КОРЖАКОВ. Еще бы.

СВИНЬЯ. Не мешайте работать! (*Ельцину.*) Ну что вы набычились?

ЕЛЬЦИН. Меня... это... оптимизм распирает.

СВИНЬЯ. А вы наружу его, наружу излучайте!

ЕЛЬЦИН. Я вам, значит, не реактор — излучать...

СВИНЬЯ. Представьте, что здесь, в дырочке, весь российский народ...

ЕЛЬЦИН. В дырочке — весь?

СВИНЬЯ. Да.

ЕЛЬЦИН. Какой, понимаешь, маленький...

СВИНЬЯ. И вы через дырочку посылаете ему мощный пучок оптимизма — мол, я ваш гарант, сукины дети, держитесь все за меня...

КОРЖАКОВ. А вот этого не надо!

СВИНЬЯ. Никто не будет его трогать! В переносном смысле «держитесь»! Ага, вот так — и ручкой народу сделайте, он любит, когда ему ручкой делают! Ну, давайте! Вот — то, что надо! (*Щелкая затвором фотоаппарата.*) То, что доктор прописал! И улыбнуться! Надёжа ты наша! (*Щелк.*) Оплот государственности! Борец с коммунизмом! (*Щелк.*) На баррикады как на праздник! (*Щелк-щелк.*) Защитник прав! (*Щелк-щелк-щелк.*) Вот таким мы тебя любим, кормилец! Вот за таким — в огонь и в воду за тобой, батюшка!

КОРЖАКОВ. Свинья тебе батюшка.

СВИНЬЯ. Не мешайте работать!

В кювете проявляются фотографии Ельцина. Они же, подцепленные лопаточкой, прикрепляются к стене. Свинья в фотолаборатории уже одна, без клиентов.

СВИНЬЯ. Ага! Вот так... Хорош... (*Всматриваясь.*) А ведь действительно — хорош, а! Гарант, уи! (*Радостно смеется.*) Ведь можем, когда хотим!

Звонок.

СВИНЬЯ. Иду, иду!

За дверью стоит Зюганов.

ЗЮГАНОВ. Это я.

СВИНЬЯ. Вижу.

ЗЮГАНОВ. Мы договаривались...

СВИНЬЯ. А как же! Проходите.

ЗЮГАНОВ. Куда?

СВИНЬЯ. Во второй тур.

2.

Там же. Свет изменился — ясно, что прошло несколько часов.

СВИНЬЯ. Хорошо. Давайте еще раз.

ЗЮГАНОВ. Товарищи! Антинародный режим превратил Россию в сырьевой придаток империализма, поставив под вопрос само существование российской государственности! Подорваны основополагающие принципы...

СВИНЬЯ. Стоп, стоп!

ЗЮГАНОВ. Что?

СВИНЬЯ. Это все уже было.

ЗЮГАНОВ. Что было?

СВИНЬЯ. Про антинародный режим. Слово в слово.

ЗЮГАНОВ. Так я наизусть и учил.

СВИНЬЯ. Но ведь вы же не пономарь!

ЗЮГАНОВ. А кто?

СВИНЬЯ. Вы — геополитик. Вы что, «Советскую Россию» не читали? Вы — геополитик мирового масштаба, крупный философ, мыслитель практически... Развивайте мысль!

ЗЮГАНОВ. Какую?

СВИНЬЯ. Ну, у вас какая-нибудь мысль есть?

ЗЮГАНОВ. Есть.

СВИНЬЯ. Какая?

ЗЮГАНОВ. Да вот, хочу президентом стать.

СВИНЬЯ. Нет. Эту мысль вы как раз оставьте при себе, она вам не идет. А вот темперамент, широта эрудиции, интеллектуальный напор...

ЗЮГАНОВ. Какой напор?

СВИНЬЯ. Ну, это я потом объясню! Сейчас хоть какой-нибудь давайте, но чтобы был напор! И громче! Мы вас любим, когда вы громкий и неумолимый!

ЗЮГАНОВ. Товарищи!

СВИНЬЯ. Так, хорошо!

ЗЮГАНОВ. Антинародный режим...

СВИНЬЯ. Стоп!

ЗЮГАНОВ. Что, было?

СВИНЬЯ. Было, было!

Звонок в дверь.

Извините, я сейчас.

Открывает дверь, за дверью стоят Ельцин и Коржаков.

ЕЛЬЦИН. Готово?

СВИНЬЯ. Момент! Подождите тут! (*Уходит, возвращается.*) Вот!

ЕЛЬЦИН (*разглядывая*). Тебе какой нравится?

КОРЖАКОВ. Мне — все.

ЕЛЬЦИН. И мне все. Годится, понимаешь! (*Заглядывает в прихожую.*) А что, у тебя кто-то еще?..

СВИНЬЯ. Что вы, что вы! (*Доверительно.*) Личная жизнь!

ЕЛЬЦИН. А-а. Ну, это можно.

СВИНЬЯ. Будем размножать?

ЕЛЬЦИН. Кого?

СВИНЬЯ (*кивает на фотографии*). Их.

ЕЛЬЦИН. Круглый год!

СВИНЬЯ. Понял. Извините: весна, горячее время...

Закрывает дверь, возвращается в салон. Зюганов сидит на полу, вокруг разложены листки бумаги.

ЗЮГАНОВ (*бурчит, вспоминая и стараясь не смотреть в листки*). Держава разрушена... история оболгана... Одеялы замараны... Нет, не одеялы... (*смотрит в листок*) — идеалы замараны! В школах вместо Пушкина «сникерсы»... плюс десять процентов бесплатно... Тьфу!

СВИНЬЯ. Даю вводную: выступаете в Давосе.

ЗЮГАНОВ. Где?

СВИНЬЯ. Философ, соберитесь. В Давосе!

ЗЮГАНОВ. А-а. (*Робко.*) Преступников — к ответу?

СВИНЬЯ. Нет! Нет! Преступников к ответу — это на заводе «Коммунар»! А в Давосе — ну?..

ЗЮГАНОВ (*неуверенно*). Шведская модель?

СВИНЬЯ. Правильно!

ЗЮГАНОВ. Социал-демократия европейского типа?

СВИНЬЯ. Умница! Геополитик!

ЗЮГАНОВ (*уверенно*). Новое лицо российской государственности!

СВИНЬЯ (*в восторге*). Ну! Что я говорил! Это ж глыба! Это ж матерый!.. Давай, Андреич, вперед, не подведи, на тебя только надежда! Ну, давай еще раз, от печки, давай про державность-духовность, дуй до горы!

3.

Вечереет. Свинья и Лебедь сидят, уперевшись друг в друга лбами. Идет тренинг.

ЛЕБЕДЬ. Россия будет великой державой.

СВИНЬЯ. Увереннее.

ЛЕБЕДЬ. Россия будет великой державой!

СВИНЬЯ. Жестче.

ЛЕБЕДЬ. Россия будет великой державой!!!

СВИНЬЯ. Закрепили. Теперь по законодательству...

ЛЕБЕДЬ. Бандитов — в бараний рог!

СВИНЬЯ. Еще.

ЛЕБЕДЬ. Вор должен сидеть в тюрьме!

СВИНЬЯ. Закрепили! По культуре...

ЛЕБЕДЬ. Культура будет поднята!

СВИНЬЯ. Каким образом?

ЛЕБЕДЬ. Не твое свинячье дело.

СВИНЬЯ. Понял. Цитатку бы...

ЛЕБЕДЬ. Э-э... «Мой дядя самых честных вправил»?

СВИНЬЯ. Нет!

ЛЕБЕДЬ. «Терек воет...»?

СВИНЬЯ. Уже не воет.

ЛЕБЕДЬ. Сдаюсь.

СВИНЬЯ. Из Есенина что мы учили? Вспоминайте.

ЛЕБЕДЬ. «Стою один среди равнины, голый»?

СВИНЬЯ (*вздыхает*). Не надо цитатку, дальше.

ЛЕБЕДЬ. России нужен крутой президент!

СВИНЬЯ. Круче.

ЛЕБЕДЬ. России нужен крутой-крутой президент!

СВИНЬЯ. Еще круче.

ЛЕБЕДЬ. Упал — отжался!

СВИНЬЯ. Кто?

ЛЕБЕДЬ. Все.

СВИНЬЯ. Забудьте вы наконец эти ужасы Приднестровья!

4.

Свинья поправляет прическу Явлинскому... Свинья что-то объясняет Горбачеву... Напротив Свиньи сидит Жириновский — и что-то без умолку говорит, размахивая руками. Свинья слушает, положив башку на копыта. Жириновский заканчивает говорить.

СВИНЬЯ (*устало, без вдохновения*). Хорошо. С национальным вопросом покончили; теперь таскание за волосы женщин, венчание, охота в трусах на обезьян, потом последний раз поднимаем Россию с колен — и по домам!

5.

Поздний вечер. Свинья у себя дома, в халате. Перед ней — разложенные фотографии политиков и бутылка водки. Свинья разговаривает по телефону.

СВИНЬЯ. Мать, прости, у меня дела... Что? За кого голосовать? А ты за кого собираешься? Не надо за него голосовать. И за него не надо. Да упаси тебя бог! Мать! Ты с ума сошла! Прости, у меня дел по самый пятак...

Кладет трубку, выпивает стакан и щелкает пультом телевизора. В телевизоре — Жириновский, стоящий у прилавка в магазине.

ЖИРИНОВСКИЙ. Это обман! Вас все обманывают! Я буду защищать вас от американцев, от немцев всяких, англичан, сионистов, новозеландцев, что ты смеешься, хочешь, в рожу дам, на!

Бросает курицей в камеру. Щелчок переключателя — и на экране Зюганов.

ЗЮГАНОВ (*улыбаясь*). Спасибо! Товарищи! Антинародный режим, находящийся на службе у американского...

СВИНЬЯ (*в тоске*). Ой...

Переключает канал, и в телевизоре появляется Явлинский.

ЯВЛИНСКИЙ. ...демократического политика, ориентированного...

СВИНЬЯ. Ой-ей-ей!

Щелчок переключателя.

ГОРБАЧЕВ (*из телевизора*) ...у целом. Потому что Горбачев, знаете, не так прост! Горбачев — это...

Щелчок переключателя.

ЛЕБЕДЬ (*из телевизора*) ...веник, а у пирамиды должна быть одна вершина!

СВИНЬЯ. Ы-ы-ы!

Наливает стакан водки, выпивает, занюхивает рукавом и распахивает окно. За окном ночь.

СВИНЬЯ. Россияне! Простите меня, если сможете!.. Это я виноват! Это я их всех смастерил... Я больше не буду, ей-богу, не буду! (*Всхлип.*) Россияне! Все на выборы! И ехать отсюда, ехать! А я...

Машет рукой и, все еще с пультом в руке, залезает на табурет, набрасывает на шею петлю, затягивает... Медлит, потом щелкает пультом — и...

ЕЛЬЦИН (*из телевизора*). Мы последовательно, понимаешь, продолжаем движение курсом реформ!

СВИНЬЯ. А-а-а! (*Отталкивает ногами табуретку и повисает в петле.*)

ЕЛЬЦИН (*из телевизора*). И, значит, уже есть реальные результаты...

Единый кандидат от демократов



1.

Вечер. Подъезд. Свет фар с улицы, через стекло. Входит Горбачев. Сзади, из темноты, в надвинутой на глаза шляпе выныривает Коржаков.

КОРЖАКОВ. Стой!

ГОРБАЧЕВ. У чем дело!

КОРЖАКОВ. Не бойся.

ГОРБАЧЕВ. Не имею чести...

КОРЖАКОВ. При чем тут вообще честь? Я насчет выборов...

2.

Явлинский ужинает. В телевизоре — «Поле чудес».

ЯКУБОВИЧ (*с экрана*). Переход хода.

Вдруг по экрану начинают бежать помехи и вместо Якубовича появляется Ельцин.

ЕЛЬЦИН (*сдавленным шепотом*). Гриша! Гри-иш! Это я.

ЯВЛИНСКИЙ. Матка боска!

ЕЛЬЦИН. Приходи, значит, завтра в Кремль.

ЯВЛИНСКИЙ. Зачем?

ЕЛЬЦИН. Не задавай, понимаешь, глупых вопросов! Завтра в девять. (*Исчезает. Помехи.*)

ЯВЛИНСКИЙ. У, ё!..

ЯКУБОВИЧ (*появляясь на экране*). Есть такая буква!

3.

Вечер. Лебедь гуляет с собакой. Подъезжает мотоцикл с коляской. Собака начинает лаять и рваться.

ЛЕБЕДЬ. Фу! Сидеть.

КОРЖАКОВ. Сижу.

ЛЕБЕДЬ. Я не вам. Чего надо?

КОРЖАКОВ (*весь в коже и очках*). Телеграмма.

ЛЕБЕДЬ. От кого?

КОРЖАКОВ. Военная тайна. (*Отдает честь и уезжает.*)

4.

Утро. В большом кабинете сидят Гайдар, Горбачев, Черномырдин, Явлинский, Лебедь.

ЯВЛИНСКИЙ. Как вы думаете, чего он нас всех пригласил?

ЧЕРНОМЫРДИН. Не знаю. Мне сказал: есть дело на сто рублей.

ГОРБАЧЕВ. Какое может быть дело на сто рублей? Какие-то замшелые понятия...

Входит Ельцин; за ним, волоча какой-то портрет, Коржаков.

ЕЛЬЦИН. Здорово!

ГАЙДАР. Уж мы ждем, ждем...

ЕЛЬЦИН. Считайте, что дождались! (*Прислоняет портрет лицом к стене, запирает дверь на ключ, открывает окно и кричит кому-то вниз.*) Держи! (*Бросает ключ.*) Отопрешь, когда скажу!

ГАЙДАР. Я не понял.

ЕЛЬЦИН. Господа! Я, значит, пригласил вас для того, чтобы сообщить пренеприятнейшее, понимаешь, известие: скоро выборы!

ЯВЛИНСКИЙ. Я знал.

ГОРБАЧЕВ. И я знал.

КОРЖАКОВ. Даже я знал.

ГОРБАЧЕВ. А вот как раз вам совершенно необязательно...

ГАЙДАР (*Ельцину*). Вы зачем дверь заперли?

ЕЛЬЦИН. Знаете, как в Ватикане выбирают папу?

ЛЕБЕДЬ. Пап не выбирают.

ЕЛЬЦИН. Выбирают. Еще как! Собираются кардиналы — и не выходят из помещения до тех пор, пока не выберут папу.

ГОРБАЧЕВ. Какое-то средневековье, честное слово...

ЕЛЬЦИН. Средневековье не средневековье, а не выйдем отсюда, пока, понимаешь, не выберем...

ЛЕБЕДЬ. Папу?

ЕЛЬЦИН. При чем тут папа! Не выйдем, пока не выберем единого, значит, кандидата от демократов!

ЯВЛИНСКИЙ. От демократов у нас только один и есть!

ГОРБАЧЕВ. Знаете, это передержка... Не один!

ЕЛЬЦИН (*напоминает*). Не выйдем, пока не договоримся!

ГАЙДАР (*указывая на портрет, стоящий лицом к стене*).
А это что?

ЕЛЬЦИН. Это... секундочку! (*Вешает портрет на стену; у сидящих вытягиваются лица — это портрет Зюганова.*)
Это чтоб вам всем... лучше думалось!

5.

День.

ЧЕРНОМЫРДИН. По-моему, все ясно. (*Указывает на Ельцина.*) Надо оставлять вот его.

ЕЛЬЦИН. Наконец-то нашелся хоть один человек с государственным масштабом в голове! Правильно! Оставляем меня — и шабаш!

ЯВЛИНСКИЙ. Если вас, то точно — шабаш!

ЧЕРНОМЫРДИН. Но реальной-то альтернативы нет!

ГОРБАЧЕВ. Ну, я бы не стал так обобщать... Надо внимательнее рассмотреть весь спектр политических сил...

ЧЕРНОМЫРДИН. Уже рассмотрели... В глазах темно!

ГАЙДАР (*Черномырдину*). А сами-то, сами чего ушли в кусты?

ЧЕРНОМЫРДИН. У меня такая работа, в теньке. Все из-за денег! Всем давай, давай... А давалка кончается.

ГАЙДАР. Знаю. Я ведь тоже когда-то... Отбою от желающих не было...

ЯВЛИНСКИЙ. О чем это они?

ЛЕБЕДЬ. Срам какой-то.

ГАЙДАР. Советую предохраняться... хотя бы от ВПК.

ЕЛЬЦИН. Ну, в общем, значит, коней на переправе не меняют.

ЯВЛИНСКИЙ. Что у вас все время переправа! (*Показывая на Горбачева.*) С девяностого года переправляемся! Вы на сушу собираетесь когда-нибудь?

ЕЛЬЦИН. На сушу не время! А старый конь борозды не испортит!

ЯВЛИНСКИЙ. При чем тут борозда?.. А экономика?
А Чечня?

ЕЛЬЦИН. Мало ли... (*Подумав.*) Конь о четырех ногах, а спотыкается!

ЯВЛИНСКИЙ. Нет, это не человек. Это кентавр какой-то!

6.

Вечер. Все несколько подустали: нервно курят, пьют чай... Со стены на все это с легкой усмешкой смотрит Зюганов.

ГОРБАЧЕВ. А я, знаете, склоняюсь к тому, чтобы найти кандидатуру центристского толка, устраивающую практически всех.

ЯВЛИНСКИЙ. Это вы о ком?

ГОРБАЧЕВ. Это другой вопрос. Персонально можно решить в свой срок, я размышляю у принципе...

ЯВЛИНСКИЙ. Знаем мы ваши принципы, говорите персонально!

ГОРБАЧЕВ. Ну, если вы так настаиваете... Я готов принять вызов времени!

ЛЕБЕДЬ. Вы?

ГОРБАЧЕВ. Я.

ЛЕБЕДЬ. Зачем вы пытаетесь войти дважды в одну реку?

ГОРБАЧЕВ. Потому что в этой реке меня распрягли! В девятнадцатом, на переправе!

ЯВЛИНСКИЙ. Тьфу!

ГОРБАЧЕВ. Деточка, все мы немножко лошади...

ЯВЛИНСКИЙ. Надо наконец дать шанс людям!

ЕЛЬЦИН. Это, значит, тебе, что ли?

ЯВЛИНСКИЙ. Мне!

ЕЛЬЦИН. А рейтинг? Где у тебя рейтинг?

ЯВЛИНСКИЙ. Не скажу!

ГАЙДАР. Не будем отвлекаться, господа!

ЯВЛИНСКИЙ. В последний раз предлагаю: давайте поставим на меня!

ЕЛЬЦИН. Давайте.

Все изумленно смотрят на Ельцина.

ЯВЛИНСКИЙ (*с облегчением*). Ну, слава богу.

ЕЛЬЦИН (*Коржакову*). Поставь на него чего-нибудь...

ГАЙДАР (*нервно*). Господа! Ну, так мы никогда не договоримся!

7.

Ночь. Все уже в полураспаде. Кофе, сигаретный дым. Все давно измождены переговорами до последней степени. Томительная пауза. Зюганов с портрета смотрит уже откровенно саркастически.

ЧЕРНОМЫРДИН. Ж-шесть.

КОРЖАКОВ. Мимо.

Звонит телефон.

ЕЛЬЦИН. Алло! Кто это? ВЦИОМ? Ну, говори. Сколько процентов? Это у кого столько? ВЦИОМ, слушай меня внимательно. Больше сюда не звони! *(Вешает трубку, глядит на портрет.)* Видеть его не могу.

ГАЙДАР *(указывая на спящего Лебеда, неуверенно).* Может, этого?..

И все вдруг совершенно остервенело набрасываются на Гайдара.

ЯВЛИНСКИЙ. Ты с ума сошел?!

ГОРБАЧЕВ. При чем тут вообще он?

ЕЛЬЦИН. Да ты, значит, думай, что говоришь!

ЛЕБЕДЬ. Я буду президентом России!

ЕЛЬЦИН. Ну, вот. Сидел человек, никому, понимаешь, не мешал... нет, надо было его разбудить!

ЧЕРНОМЫРДИН *(Лебедю).* Вам послышалось.

ЛЕБЕДЬ. Я буду президентом России! *(Ложится на стол и засыпает опять.)*

КОРЖАКОВ. А-четыре.

ЧЕРНОМЫРДИН. Мимо.

ЕЛЬЦИН. Тихо вы. Опять проснется.

8.

Утро. Горбачев стоит у окна.

ГОРБАЧЕВ. Почему люди не летают, как птицы?

ЯВЛИНСКИЙ *(кидая в портрет Зюганова дартс).* Потому что они лошади.

ЧЕРНОМЫРДИН *(поискав в холодильнике, Гайдару).* А что, больше совсем ничего нет?

ГАЙДАР *(о своем, печально).* Никого!

ЧЕРНОМЫРДИН. Я про еду.

ГАЙДАР. Зачем вам еда?

ЧЕРНОМЫРДИН. Поесть.

ГАЙДАР. Вы что, есть сюда пришли?

КОРЖАКОВ (*намазывая два бутерброда — себе и Ельцину*).
С собой надо носить.

ЯВЛИНСКИЙ (*вытирая о рукав яблоко*). Это верно.

ЕЛЬЦИН. Дай ему. Он хороший.

Коржаков вынимает откуда-то третий бутерброд, протягивает Черно-
мырдину.

ЕЛЬЦИН (*указывая на Коржакова*). Может, его выдвинем?
У него еда всегда с собой. Накормит страну по самое не мо-
гу. (*Пауза.*) Не хотите — не надо.

ГАЙДАР (*вздыхая*). Жалко, что кудрявый отказался! Гово-
рит: хочу жить в Нижнем! Я ему говорю: не будет никакого
Нижнего! Будет город Горький, по Волге будет плавать
агитпароход «Михаил Суслов», а ты будешь мыть полы в
райкоме, и комсомольцы будут гадить тебе в суп! Не верит.
(*Явлинскому, после паузы.*) Может, вам с ним (*кивает на*
Лебеда) объединиться?

КОРЖАКОВ. Мало его два раза из правительства выгоняли.
Еще надо было!

ЕЛЬЦИН. Не надо им объединяться.

ГАЙДАР. Почему?

ЕЛЬЦИН. Не надо — и все!

ГОРБАЧЕВ. Да они еще и шей не хлебали! А я сорок лет в по-
литике — все хлебаю и хлебаю, и не только, знаете ли, щи...

ЯВЛИНСКИЙ. А что? Объединиться я согласен. С ним и с
офтальмологом. Пускай присоединяются.

ЛЕБЕДЬ. К кому?

ЯВЛИНСКИЙ. Ко мне, к кому же еще. (*Перехватив взгляд*
Лебеда.) Отжиматься не буду!

ГАЙДАР (*в отчаянии*). Господа, но надо же что-нибудь
предпринять!

ГОРБАЧЕВ. Да, мы же не можем сидеть тут вечно, народ без
нас соскучится!

ЛЕБЕДЬ (*поедая тушенку со штык-ножа*). Могу выломать
дверь.

ГОРБАЧЕВ. А чего ж вы молчали?

ЛЕБЕДЬ. А никто не спрашивал.

ЕЛЬЦИН. Не поможет.

ГОРБАЧЕВ. Почему, собственно говоря?

ЕЛЬЦИН (*кивая на Коржакова*). А вот этот, значит, по моей просьбе, здание заминировал. Никто не выйдет, пока не объединимся! Вокруг меня. (*Кивая на портрет.*) Они небось давно объединились.

ЯВЛИНСКИЙ. Они не объединились.

ЕЛЬЦИН. А что?

ЯВЛИНСКИЙ. Они слиплись.

Звук механизма из-за окна. Все поворачивают головы. В окне, стоя в монтажной люльке, появляется Жириновский.

ЖИРИНОВСКИЙ (*вниз*). Хорош! (*Присутствующим.*) В чем дело? Что происходит? Прихожу в Думу — никого, в Кремль — никого, поругаться не с кем... Заговор, заговор однозначно! В чем дело?

ГОРБАЧЕВ. Да вот у нас тут нонсенс... Кворум есть, а консенсуса нет.

ЖИРИНОВСКИЙ. Не надо никакого консенсуса, спросите меня, я все скажу, я не партизан, я молчать не буду, спросите!

ЕЛЬЦИН. Мы, значит, хотим найти единого, понимаешь, кандидата от демократов...

ГОРБАЧЕВ. Который устроит усеx!

ЛЕБЕДЬ. Желательно военный.

ЯВЛИНСКИЙ. Молодой и талантливый!

ЕЛЬЦИН (*поправляет*). Высокий и красивый!

ЖИРИНОВСКИЙ. Все?

ЕЛЬЦИН. Все.

ЖИРИНОВСКИЙ. Это я.

ЕЛЬЦИН. Ты, значит... из люльки давно не выпадал?

КОРЖАКОВ. Устроить?

ЛЕБЕДЬ. Я помогу.

ЯВЛИНСКИЙ (*Горбачеву*). А вы говорите: люди не летают!

ГОРБАЧЕВ. Я рад, что мы наконец нашли почву для объединения наших усилий.

Все устремляются к окну и начинают отдира́ть пальцы Жириновского от поручней люльки.

ЖИРИНОВСКИЙ. Шутка! Это я неудачно пошутил! Не надо из люльки, однозначно! Вам нужен единый кандидат?

ЕЛЬЦИН. Да!

ЖИРИНОВСКИЙ (*скороговоркой*). Молодой, талантливый, с опытом, с харизмой, в хорошей физической форме?

ЯВЛИНСКИЙ И ЛЕБЕДЬ. Да!

ЖИРИНОВСКИЙ. От демократов?

ВСЕ. Да!!!

ЖИРИНОВСКИЙ. Клинтон! (*Немая сцена.*) Клинтон, однозначно!

Портрет Зюганова перекашивается испугом и со стуком падает на пол.

Все оборачиваются.

ЛЕБЕДЬ (*задумчиво*). Упал...

В Чечню, в Чечню!



1.

Ельцин и Коржаков за утренним чаем.

ЕЛЬЦИН. Я тут, значит, чего решил...

КОРЖАКОВ. Чего?

ЕЛЬЦИН. Надо все-таки ехать!

КОРЖАКОВ. Да ну!

ЕЛЬЦИН. Ехать, пока не поздно!

КОРЖАКОВ. А как же мы?

ЕЛЬЦИН. Вы поедете со мной!

КОРЖАКОВ. Они нас не выпустят.

ЕЛЬЦИН. Кто?

Пауза.

КОРЖАКОВ. Вы куда хотите ехать-то?

ЕЛЬЦИН. В Чечню.

КОРЖАКОВ. А, это другое дело. А то я уж решил...

ЕЛЬЦИН. Куда ты решил, пускай едут другие... А мы останемся здесь!

КОРЖАКОВ. Правильно. Вдвоем.

2.

В Кремле. Те же плюс Барсуков с Грачевым.

ЕЛЬЦИН. Генералы! Я выработал окончательный план действий.

ГРАЧЕВ. Вот бы узнать.

ЕЛЬЦИН. План такой: приезжаю в Чечню — и сразу усаживаю их всех за стол переговоров!

КОРЖАКОВ. Завгаев уже сидит.

БАРСУКОВ (*поправляет*). Это Гантемиров сидит. В Лефортове.

КОРЖАКОВ. А Завгаев — за столом переговоров!

ЕЛЬЦИН. С кем?

КОРЖАКОВ. Сам с собою сидит.

ГРАЧЕВ. Зачем ему... с собою?

КОРЖАКОВ. А ему больше никто не нужен! Он с собою уже обо всем договорился — и сидит.

ГРАЧЕВ. А Басаев?

КОРЖАКОВ. Басаев не сидит.

ЕЛЬЦИН. Надо, значит, его как-нибудь поймать!

БАРСУКОВ. Как-нибудь поймаем.

ЕЛЬЦИН. Когда? Говори конкретно!

БАРСУКОВ. В четверг!

ЕЛЬЦИН. Вот то-то!

БАРСУКОВ. После дождичка...

ЕЛЬЦИН. Осадки меня не интересуют! И это... в общем, пакуйте вещички, едем!

ГРАЧЕВ. Куда?

ЕЛЬЦИН. В Чечню!

Пауза. Все переглядываются.

ГРАЧЕВ. Чего мы там забыли?

КОРЖАКОВ. Ни-ни. Вам в Чечню нельзя.

ЕЛЬЦИН. Почему?

КОРЖАКОВ. Вы же не призывник какой-нибудь, чтобы вот так взять вас — и сразу в Чечню. Ваша жизнь дорога миллионам россиян.

ЕЛЬЦИН. Я знаю. Что же делать?

КОРЖАКОВ. А ничего не делать! Много сил — в теннис поиграйте. А то давайте в Кострому какую-нибудь махнем, детей конфетами кормить — чем плохо?

ЕЛЬЦИН. Но я же обещал!

КОРЖАКОВ. Мало ли чего вы обещали! Вы еще на рельсы лягте.

ЕЛЬЦИН. Нет уж, пусть россияне знают: я свое слово держу! И на рельсы я ложился. Просто в тот день поезда не ходили, помнишь?

КОРЖАКОВ. Еще бы.

ЕЛЬЦИН. Ну, я полежал, полежал... но надо же кому-то и страной управлять!

ГРАЧЕВ. Кому-то — не надо! Только вам!

ЕЛЬЦИН. Вот именно для этого я и должен поехать в Чечню! И начать переговоры! Пускай, понимаешь, свободно выбирают: или мы, или смерть!

ГРАЧЕВ (*задумчиво*). Смерть, конечно, тоже неприятно, но мы... А зачем самому ехать-то?

ЕЛЬЦИН. Рейтинг.

ГРАЧЕВ. Не понял.

ЕЛЬЦИН. Рейтинг мне поддерживать кто будет? Папа римский?

ГРАЧЕВ. Хрен с ним, с папой, поддержим танками!

ЕЛЬЦИН. Еду в Чечню!

КОРЖАКОВ. Просто навязчивая идея какая-то. Давайте добром в Сыктывкар?

ЕЛЬЦИН. В Сыктывкар-то зачем?

КОРЖАКОВ. Подальше от Чечни!

ЕЛЬЦИН. Я сказал, в Чечню — значит, в Чечню! Все! (*Хлопает по столу ладонью, прекращая разговор.*)

3.

Барсуков у себя в кабинете, крутит диск телефона.

БАРСУКОВ. Сейчас сделаем вам Чечню. Пал Сергеич? Стройбат обеспечить мне с материалами. Чечню строить. Давай, Сергеич, давай, ему вожжа под хвост попала! Вожжа, говорю! В Чечню хочет! Не усидим! Свалимся! Давай! (*Вешает трубку, снимает снова, крутит диск.*) Алло, «Мосфильм»? Из ФСБ беспокоят... «Мосфильм», нужны горы и война! Ничего не знаю, пиротехники-херотехники, чтобы завтра было готово! Все!

4.

Самолет. На борту Ельцин и Коржаков. В пилотском кресле — Грачев.

ЕЛЬЦИН. Дай у окошка посидеть.

КОРЖАКОВ. У окошка нельзя.

ЕЛЬЦИН. Почему?

КОРЖАКОВ. Продует.

ЕЛЬЦИН. Мне тут скучно.

КОРЖАКОВ (*скорбно*). В Чечню летим! Какое тут веселье?

ГРАЧЕВ (из пилотского кресла). А мне весело!

ЕЛЬЦИН. Почему?

ГРАЧЕВ. Не скажу.

5.

Воинская часть. В клубе полковой художник сержант Свиныа, повизгивая от удовольствия, малюет на доске слово «Бамут». У свиных ног уже лежат таблички со словами «Ведено», «Шатой», «Ачхой-Мартан». На подоконнике бубнит радио.

ГОЛОС ЕЛЬЦИНА. (по радио). Вся Россия буквально встала на дыбы по поводу моего решения поехать в Чечню. Все просят меня не подвергать, значит, себя риску. Но я опасностей не боюсь. Я сам опасность...

СВИНЫА (заканчивает, малюя табличку). ...понимаешь! Уи! (Смеется.)

Из окна клуба видно, как на плацу перед строем одетых в штатское расхаживает Барсуков.

БАРСУКОВ. Товарищи вольнонаемные! Повторяю в последний китайский раз: здесь Чечня! Деревню за рекой зовут Бамут. Вы — простые чеченцы, воры, грабители и убийцы — все как один желаете быть в составе России!

ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ. Зачем?

БАРСУКОВ. Не ваше дело.

ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ. А где горы?

БАРСУКОВ. Какие на... (гудок) горы?

ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ. Кавказские. В Чечне горы должны быть.

БАРСУКОВ. Начальство не идиот. Горы будут.

СВИНЫА. Уи-и! (Смеется.)

БАРСУКОВ (в переговорник). Фейерверки где? Бегом сюда фейерверки!

6.

В самолете.

ЕЛЬЦИН. Слушай... Если мы на юг летим — солнце где должно быть?

КОРЖАКОВ. Эй, пилот, добавь свету, шефу темно!

7.

В чистом поле между деревьев солдаты натягивают полотно с нарисованным горным хребтом. Барсуков руководит процессом.

БАРСУКОВ. Левее! На меня! Хорошо! Привязывай.

ГОЛОС. Тут внизу ненакрашено еще, товарищ генерал!

БАРСУКОВ (*длинный гудок*). ...мать! Накрась себе (*гудок*).

8.

Копытце снимает со столбика название деревни «Заплатово» и прикрепляет «Бамут». Слышно довольное похрюкивание. Снимает «Разутово», прикрепляет «Шатой». Снимает «Неурожайка», прикрепляет «Ачхой-Мартан»...

9.

На трапе появляется Ельцин. Барсуков уже внизу, стоит навывтяжку.

ЕЛЬЦИН (*озираясь*). Чечня?

БАРСУКОВ. Так точно.

ЕЛЬЦИН. Узнаю. Хорошие места. Горный воздух, понимаешь...

Сзади Грачев из пульверизатора опрыскивает воздух вокруг Ельцина.

БАРСУКОВ. Так точно, свежачок!

В машине. Мимо мелькают указатели: «Бамут», «Ведено», «Ачхой-Мартан». Последний указатель с ужасом в глазах пытается прочесть пьяный мужичонка в телогрейке и треухе.

ЕЛЬЦИН. А это кто?

КОРЖАКОВ. Да вот... с утра zenки налил... чеченец!

ЕЛЬЦИН. А где эти?

КОРЖАКОВ. Которые?

ЕЛЬЦИН. Которых я буду усаживать за стол переговоров. Где они?

БАРСУКОВ. К обеду подвезут.

ЕЛЬЦИН. Стой! (*Машина тормозит.*)

ГРАЧЕВ. Чего?

ЕЛЬЦИН. Похожу-ка по деревне этой, посмотрю... (*Начинает вылезать из машины.*)

КОРЖАКОВ. Лучше по следующей... По этой нельзя! Нельзя вам ходить! Вы нужны России! Хотя бы месяц! Стойте!

ГРАЧЕВ. Да пускай идет, жалко тебе, что ли?

БАРСУКОВ. Убьет же его там!

ГРАЧЕВ. Боевики?

БАРСУКОВ (*тихо*). Какие боевики? Крыша на соплях держится. (*В переговорник.*) Разворачивайте горы!

ЕЛЬЦИН. Как называется эта деревня?

КОРЖАКОВ. Э-э... Потемкинская. Станица Потемкинская.

ЕЛЬЦИН. Покажи на карте.

КОРЖАКОВ. На картах ее еще нет.

ЕЛЬЦИН. А где же обстрелы, война? Я хочу в пекло!

КОРЖАКОВ. Это еще успеется...

ЕЛЬЦИН. Хочу в самое пекло!

БАРСУКОВ (*в переговорник*). Пекло! Давайте пекло (*гудок*)!

Взрывы, в воздухе начинают крутиться праздничные шутихи.

ЕЛЬЦИН. Ага! Вот, это уже... Что за вид вооружений?

КОРЖАКОВ. Да турки их снабжают...

ЕЛЬЦИН. Во дают турки! А что-то как-то маловато для войны...

БАРСУКОВ (*в переговорник*). Пекло давай (*длинный гудок*)!

Шутихи смолкают.

Тишина. Чириканье птиц.

ЕЛЬЦИН. Где война-то, генералы? Как вас понимать? Обман?

ГРАЧЕВ. Эх, была не была! (*Поджигает целую связку фейерверков.*) Ой, чего сейчас будет! (*Взрыв.*)

ЕЛЬЦИН. Вот. Другое дело. На войне как на войне! Россияне! Глядите сюда! Сейчас я их всех...

Жуткий взрыв, еще и еще. «Горы» шатают.

ГРАЧЕВ. Горы! Горы держи!

Волной сносит фанерную «стену» дома. С треском рвется задник, падает кусок декорации. Тишина. Коржаков, Грачев и Барсуков отползают с глаз долой, подальше от Ельцина.

ЕЛЬЦИН. Вот это я понимаю, война. Вот это... (*Замечает упавшие «горы».*) Секундочку. (*Подходит, пробует пальцем декорацию.*) Театр. Театр военных действий, понимаешь... Что такое?

Осторожно выглядывает, а потом и выходит за декорацию. Классический российский пейзаж: развороченная оврагами земля, раздолбанная техника в поле, полуразрушенные *(без всякой войны)* дома... На завалинке сидит Козел, курит.

ЕЛЬЦИН. Дед, это Чечня?

КОЗЕЛ. Тебе виднее...

ЕЛЬЦИН. Ну да. А это вот все, значит... следы боев? *(Козел молчит.)* Налет был?

КОЗЕЛ. Налеты у нас через день...

ЕЛЬЦИН. Бандиты?

КОЗЕЛ. А кто ж еще! Бандиты и есть. Налетят на мотоциклах, рокеры, блин...

ЕЛЬЦИН. На мотоциклах? Ну, турки...

КОЗЕЛ. Сельпо разнесут... всю ночь трещат под окнами. И эти еще, на рынке... черные... Спасу нет, заполонили!

ЕЛЬЦИН. Их ты, значит, не бойся, от них мы будем тебя защищать!

КОЗЕЛ. Да мне они все *(гудок)*... Только бы курево не кончилось, как намедни, в восемьдесят восьмом!

ЕЛЬЦИН. Куревом тебя, значит, обеспечим по самое не могу. Дымиться будешь, как Везувий. Ты скажи: мира-то тебе хочется?

КОЗЕЛ. На хер мне мир? А вот соток еще двадцать прирезать бы не мешало!

ЕЛЬЦИН. Но скажи, вот я с тобою советуюсь, как с простым... совсем, значит, простым народом: Чечня в составе России должна быть?

КОЗЕЛ. Кто?

ЕЛЬЦИН. Чечня.

КОЗЕЛ. Обязательно! *(После паузы.)* А кто это?

История болезней

(Фантазии на тему партийной принципиальности)

1.

Палата. Ельцин в постели, смотрит телевизор. На экране — Зюганов.

ЗЮГАНОВ. И вообще, это что же получается?

ЕЛЬЦИН. Ну-ка, ну-ка... интересно... *(Прибавляет звук.)*

ЗЮГАНОВ. Получается: он всех нас обманул!

ЕЛЬЦИН. А то!

ЗЮГАНОВ. Победил меня, будучи тяжело больным человеком!

ЕЛЬЦИН. Да здоровый я бы тебя к урне не подпустил!

ЗЮГАНОВ. Мы, коммунисты, требуем гласности в освещении состояния здоровья первого должностного лица России! Это принципиальный вопрос! Необходимо создать независимую медицинскую комиссию — и если надо, отрешить президента от должности!

ЕЛЬЦИН. Ишь ты, «отрешить»... А где ты, такой принципиальный, был при советской власти? Я бы, значит, посмотрел на тебя с твоим отрешением!..

Титр:

Фантазия первая: 1923 год.

2.

Ленин сидит в кресле. Мычит. Рядом Сталин.

СТАЛИН. Не волнуйтесь, Владимир Ильич, все хорошо. Малый Совнарком заседает, червонец растет, левоэсеровский уклон преодолен... Вы рады? *(Ленин мычит.)* Ваше «Письмо к съезду» я прочитал. *(Ленин мычит.)* Я знаю, что

письмо секретное. Но какие могут быть секреты между товарищами? (*Ленин мычит.*) Нет, я не на съезде прочел, я про себя. Зачем вы эту гадость диктовали, Владимир Ильич? Вот у вас теперь и язык отнялся... Вы рады? (*Ленин мычит.*) Если рады, моргните чем-нибудь. А теперь посмотрите вот сюда. (*Ленин мычит.*) Не пугайтесь, это фотограф. Сейчас вылетит птичка, а потом... когда вы умрете... народы СССР увидят, что я был вашим любимым учеником. (*Ленин в ужасе мычит.*) Вы рады?

Ленин протестующе мычит. Магниева вспышка, запечатлевающая обоих в известной мизансцене «встречи в Горках».

3.

Магниева вспышка. Зюганов стоит среди рабкоров и иностранных корреспондентов.

ЗЮГАНОВ. Революционный рабочий класс и бедняцкое крестьянство хотят знать правду о состоянии здоровья вождя! Правящая партийная верхушка спрятала его в Горках. Мы, фракция социал-невменяемых, требуем публичного освидетельствования больного и, если надо, досрочных перевыборов на пост предсовнаркома!

Магниева вспышка. Лицо Зюганова застывает и оказывается фотографией на полосе «Известий». Газета эта лежит на столе перед Черномырдиным. Это...

4.

...заседание Совнаркома образца 23-го года. Присутствуют — Черномырдин, Чубайс, Лужков, Лебедь, Лившиц (в кожанках, френчах и «тройках»).

ЧЕРНОМЫРДИН. Переходим к третьему пункту повестки, товарищи! «Об антипартийной линии группы Зюганова — Селезнева». Какие будут мнения?

ЛУЖКОВ. Какие тут могут быть мнения? Оппортунисты!

ЛИВШИЦ. Снять их с довольствия!

ЧУБАЙС. В то время когда все мы сплотились в единое целое... и даже не в одно, а в несколько единых целых... когда страна озабочена состоянием здоровья Ильича, лить воду... давать провокационный материал для врагов революции...

ЛИВШИЦ. Снять с довольствия!

ЛУЖКОВ. Поставить вопрос о пребывании в рядах и передать вопрос в первичку!

ЛЕБЕДЬ. Шлепнуть контру!

ЛИВШИЦ. ...и снять с довольствия!

ЧЕРНОМЫРДИН. Кто за снятие группы Зюганова — Селезнева с довольствия и со всех постов, прошу голосовать. Единогласно. И я думаю, товарищи, надо передать дело в Чрезвычайную комиссию...

5.

Соловки. Козел в шинели перед строем эков, со списком.

КОЗЕЛ. Анпилов!

ГОЛОС. Я!

КОЗЕЛ. Зюганов!

ГОЛОС. Я!

КОЗЕЛ. Лукьянов!

ГОЛОС. Я!

КОЗЕЛ. Селезнев!

ГОЛОС. Я!

КОЗЕЛ. Оппортунисты! Поздравляю с прибытием на Соловки. Шаг вправо, шаг влево — считается побег, интервью — провокация! Вопросы?

ЗЮГАНОВ. Как здоровье Ленина?

КОЗЕЛ. О своем подумай.

Титр:

Фантазия вторая: 1953 год.

6.

Т.н. «ближняя дача Сталина». Чубайс, Лужков и Лебедь сидят на веранде. Из-за дверей слышно тяжелое, хриплое дыхание. Долгая пауза. Бой часов.

ЛУЖКОВ (*разглядывая какие-то бумажки*). Вы случайно не знаете, что такое дыхание Чейн-Стокса?

ЧУБАЙС. Не знаю. И вам не советую.

Из двери выходит Черномырдин в пенсне и шляпе. Общее оживление.

ЧУБАЙС. Ну, как товарищ Сталин?

Черномырдин, не отвечая, уходит.

ЛУЖКОВ. Так-так... (*Начинает одеваться.*)

ЛЕБЕДЬ. Вы куда?

ЛУЖКОВ. На хозяйство! (*Уходит.*)

ЛЕБЕДЬ. Знаю я ваше хозяйство. (*Чубайсу.*) Что делать будем?

ЧУБАЙС. А что случилось? (*Уходит.*)

ЛЕБЕДЬ. Ага! Ну, кажется, скоро... (*Прислушивается к хрипам из-за двери, смотрит на лежащую на столе трубку и пачку «Герцеговины».*) Курить надо было меньше!

7.

Кремль. Заседание Политбюро. На стене — портрет Сталина.

ЧЕРНОМЫРДИН. Переходим к последнему пункту повестки: всякое разное. Геннадий Андреевич, говори, ты хотел разное...

ЗЮГАНОВ. Я вот что хотел сказать: мы должны создать независимую медицинскую комиссию для обследования Иосифа Виссарионовича Сталина.

Сталин на портрете поворачивается и смотрит на Зюганова. Из рук Лужкова выпадает стакан с чаем.

ЗЮГАНОВ. В таком состоянии, как сейчас, он не может управлять страной!

Глухой стук. Это упал в обморок Чубайс.

ЗЮГАНОВ. Какие все нервные.

ЛЕБЕДЬ. Ну, ты орел!

ЗЮГАНОВ. А что я такого сказал?

Все внимательно смотрят на него — и на портрет.

8.

Под песню «Эх, грянем сильнее!» чьи-то руки снимают со стены портрет Зюганова, висящий между портретами Черномырдина и Лужкова. Руки опечатывают кабинет с табличкой

«ЗЮГАНОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ».

Под ту же веселую мелодию руки перечеркивают красным карандашом крест-накрест портрет Зюганова в книге и вырывают всю страницу. Затем жестом фокусника скатывают ее в маленький комоч, открывают оба кулака — страницы нет, как и не было никогда. Открывается дверь камеры.

Входит Козел в шинели с винтовкой. На нарах — Зюганов.

КОЗЕЛ. Осужденный Зюганов, на выход!

ЗЮГАНОВ. С вещами?

КОЗЕЛ. Зачем?

Титр:

Фантазия третья: 1981 год.

9.

ГОЛОС БРЕЖНЕВА. Кхм-кхм... Дорогие товарищи!

Георгиевский зал. Брежнев и вся наша камарилья при полном параде.

БРЕЖНЕВ. Идя навстречу пожеланиям трудящихся, в связи со сто пятидесятой годовщиной со дня вступления в ВЛКСМ, позвольте мне наградить себя еще чем-нибудь. Спасибо. *(Пытается повесить себе на грудь какой-то значок, роняет его.)* Упал.

Начинает ползать по залу, вслед за ним тут же начинают ползать остальные. Все, кроме Зюганова. Наконец Брежнев появляется из-под стола с орденом в руке.

БРЕЖНЕВ. Вот! От меня не спрячешься. *(Зеркалу.)* Поздравляю вас, дорогой Леонид Ильич. Позвольте вас поцеловать! *(Общие аплодисменты.)*

ЗЮГАНОВ. Позор!

Аплодисменты прерываются, нервный шепот в зале.

БРЕЖНЕВ. Что-что?

ЗЮГАНОВ. Я говорю: позор! Сколько это может продолжаться?

БРЕЖНЕВ. Еще пару лет — может.

ЗЮГАНОВ. Товарищи! Такое положение недопустимо! В цивилизованных странах главы государств проходят регулярное и открытое медицинское освидетельствование! Чем мы хуже?

БРЕЖНЕВ. Мы не хуже. Мы — лучше. *(Окружению.)* А в чем, собственно, дело? Кто это?

ГОРБАЧЕВ. Не волнуйтесь, Леонид Ильич, это так, знаете, один сумасшедший из Орла.

БРЕЖНЕВ. Сумасшедший? А почему он здесь?

ЧЕРНОМЫРДИН. Он член ЦК.

БРЕЖНЕВ. А вы?

ЧЕРНОМЫРДИН. И мы тоже.

ГОРБАЧЕВ. У целом.

БРЕЖНЕВ. Что?

ГОРБАЧЕВ. Члены ЦК.

БРЕЖНЕВ. А-а...

ЗЮГАНОВ. Товарищи! Я требую открытого медицинско-го освидетельствования нашего дорогого Леонида...

Но его уже выводят под руки Козел и Свинья — оба в штатском. Кри-ки Зюганова стихают на лестнице.

БРЕЖНЕВ. Что это было?

ЛУЖКОВ. Художественная самодеятельность, Леонид Ильич!

БРЕЖНЕВ. Смешно.

10.

Зюганов открывает глаза. Он лежит в палате, у окна, примотан-ный к постели. Над ним стоит Ельцин.

ЕЛЬЦИН. Я первый секретарь обкома Ельцин Бо-рис Николаевич. На что жалуетесь?

Зюганов что-то мычит в ответ: во рту у него кляп. Это мычание продолжается на фоне Зюганова, что-то бойко говорящего в телевизоре — уже в наши дни.

Двойник



(По сюжетным мотивам
произведений М. Твена)

1.

Поздняя осень. Ельцин, закутанный по уши, сидит на скамейке в парке возле Москвы-реки, крошит хлеб лебедям.

ЕЛЬЦИН. То-то, что «гули-гули»... Всех, понимаешь, накорми. А вам я по Конституции не гарант! (*Стоящему рядом Чубайсу.*) Чего надо?

ЧУБАЙС. Так... пару бумажек подписать.

ЕЛЬЦИН. Погоди. У меня, значит, птицы с утра не евши.

Москва-река. На берегу стоит старик, похожий на Ельцина как две капли воды, и сачком вылавливает из воды размокшие куски хлеба.

ДВОЙНИК. Это летом, бляха-муха, за...бись, а зимой сложно будет.

2.

Ночная Москва. Чубайс едет в машине с «мигалкой», вертя ручку настройки. Рядом — машина сопровождения с «мигалкой».

РАДИО. ...Чубайса еще более осложнилось, поскольку судьба нынешней администрации напрямую зависит от исхода опера...

Чубайс вертит ручку настройки. Машина в «пробке» останавливается возле трамвая. У трамвайного окна сидит старик, как две капли воды похожий на Ельцина.

РАДИО. «Гляжусь в тебя, как в зеркало — до головокружения...»

ЧУБАЙС. Это еще что такое?

На остановке Чубайс входит в трамвай, садится рядом с двойником...

ЧУБАЙС (*пораженный*). Борис Николаевич?

ДВОЙНИК. Петр. Петр Николаич я.

ЧУБАЙС. Как — Петр?

ДВОЙНИК. Да так. Отродясь.

ЧУБАЙС. Простите... у вас брата не было?

ДВОЙНИК. Брательник? А как же!

ЧУБАЙС. О господи! (*Шепотом.*) Близнец?

ДВОЙНИК. Зачем близнец? Жену, что ли, пугать? Обычный брательник, старшой, в Самаре кукует.

ЧУБАЙС. Ага! Простите, Борис... э-э... Петр Николаевич, могу я пригласить вас на ужин?

ДВОЙНИК. Лучше на обед. Очень есть хочется...

ЧУБАЙС. Кормить вас, Петр Николаевич, теперь будут так, что слюны не хватит! У вас, кстати, как со здоровьем?

ДВОЙНИК. Это завсегда!

Под тему «Гляжусь в тебя, как в зеркало...» поочередно: Ельцин, которому меряют давление, и его двойник, которого везут в «ЗИЛе»; двойник, которому наливают суп; двойник, с которого снимают мерку...

3.

Барвиха.

ЕЛЬЦИН (*обрывая лепестки ромашки*). Отпустить — не отпустить, отпустить — не отпустить...

В комнату заглядывает Черномырдин.

ЧЕРНОМЫРДИН. Вы чего?

ЕЛЬЦИН. Так... Гадаю на Чечню.

ЧЕРНОМЫРДИН. А-а.

ЕЛЬЦИН. А ты чего?

ЧЕРНОМЫРДИН. Так вторник. Мы же встречаемся по вторникам.

ЕЛЬЦИН. Ну, встретились. Езжай себе. Отпустить — не отпустить...

4.

Лепестки летят вниз, мимо окна на первом этаже, где Двойник допивает компот. Рядом — Чубайс.

ЧУБАЙС. Поели, Петр Николаевич? (*Двойник икает в знак согласия.*) Тогда продолжим. (*Дает листок.*) Учите роль.

ДВОЙНИК (*с трудом*). «Продвижение мирного процесса в Чечне при соблюдении принципа территориальной целостности России...» Чего-то я этого не понимаю.

ЧУБАЙС. Этого никто не понимает — читайте вслух, только наизусть и с выражениями! А то перестану кормить.

ДВОЙНИК. Э-э... мирный... это... (*подглядывает в бумажку*) процесс... м-м... при соблюдении... вот бляха-муха!

ЧУБАЙС. Не «бляха-муха», а «понимаешь»!

ДВОЙНИК. При соблюдении, понимаешь...

ЧУБАЙС (*подсказывает*). Принципа...

ДВОЙНИК. Ага... территориальной... бляха-муха!

ЧУБАЙС (*строго*). Понимаешь!

ДВОЙНИК (*заканчивая фразу*). Целкости!

ЧУБАЙС. Тьфу!

5.

Барвиха. Поздний вечер. Ельцин и Двойник, каждый в своей комнате.

ЕЛЬЦИН. (*читает на бутылочной этикетке*). «Боржоми»... (*Вздыхает.*) Вот, понимаешь, до чего дошло!

ДВОЙНИК (*учит по листочку*). «Мы не можем больше позволить заниматься этой...» Вот, бляха-муха, чем же? (*Подглядывает в листок.*) Сварой!

6.

Вечер. Черномырдин выезжает за ворота Барвихи. Козел-вахтер нажатием кнопки закрывает ворота. Взгляд его случайно падает на окно больничного корпуса, за которым угадывается силуэт Ельцина. Козел переводит взгляд на другое окно — там сидит другой Ельцин.

КОЗЕЛ (*убежденно*). Завяжу. Ей-богу, завяжу!

7.

Ночь. В своем кабинете работает над бумагами Чубайс. Открывается дверь, в кабинет заглядывает Ельцин.

ЕЛЬЦИН. Слышь, Анатолий, что-то мне нехорошо.

ЧУБАЙС (*нехотя оторвавшись от бумаг*). Попей валерьянки, Николаевич...

ЕЛЬЦИН. Какой еще Николаевич? Что, понимаешь, за фамильярность!

ЧУБАЙС. Ну ладно, вошел в роль... «Понимаешь...» (*Снимает трубку.*) Пост? Тут нашему старичку чего-то нездоровится... Понял.

ЕЛЬЦИН. Какому старичку?

ЧУБАЙС (*вешая трубку*). Сейчас в нарды доиграют и сразу придут. (*Продолжает работать.*)

ЕЛЬЦИН. Какие нарды? Мне плохо!

ЧУБАЙС. А кому сейчас хорошо?

Чубайс начинает расплываться в глазах у Ельцина.

8.

Ельцин открывает глаза. Он лежит в коридоре районной больницы, напротив женского туалета. Над ним стоит санитарка (*Свинья*) с бачком и половником в руках.

СВИНЬЯ. Ну наконец-то очнулся. Больной! Попишите, а то завтрак кончается!

Вкладывает в руки Ельцину майонезную баночку, шлепает на тарелку половник каши и дает ее лежащему рядом с Ельциным Геращенко.

ЕЛЬЦИН (*после паузы*). Что это?

ГЕРАЩЕНКО. Это больница.

ЕЛЬЦИН. Врешь! В больницах, значит, все совсем по-другому. Я лежал.

ГРАЧЕВ. Где ты лежал?

ЕЛЬЦИН. В Барвихе. (*Общий смех.*) Слушайте, где я?

ГЕРАЩЕНКО. Там же, где и все.

ЕЛЬЦИН. Надо же. Сорок лет жил как человек и вдруг ни с того ни с сего — там же, где и все?

КОЗЫРЕВ. Лучше поздно, чем никогда.

ЕЛЬЦИН. Нет уж! Лучше, понимаешь, никогда! Я, значит, требую вызвать сюда профессора Акчурина!

ЕРИН. А Дебейки тебе не вызвать? (*Новый взрыв хохота.*)

9.

Барвиха. Утро. Двойник, только что позавтракав, рассуждает сам с собой.

ДВОЙНИК. Все-таки есть у нас эта... справедливость. Брательнику в Самару напишу — удавится! Кормют, поют,

одевают... Денег не просят. Коммунизм, бляха-муха! (*Подумав.*) Понимаешь!

10.

Ельцин в больнице.

ЕЛЬЦИН (*уже сильным голосом*). Сестра!

СВИНЬЯ (*появляясь*). Ну, чего надо?

ЕЛЬЦИН. Градусник заberi! Пятый, понимаешь, час температуру меряю!

СВИНЬЯ. Ну и на здоровье. Все равно из лекарств только йод и градусник.

ЕЛЬЦИН. Дай хоть чаю!

СВИНЬЯ. Буду я тебе за сто тыщ в месяц взад-вперед бегать! Раскатал губу!

ЕЛЬЦИН. Сто тыщ в месяц — чего?

СВИНЬЯ. Долларов! Большой! Будете издеваться — я вас к психическим положу!

11.

Барвиха.

ЧУБАЙС (*входя с телефонной трубкой на подносе*). Извините — горячая линия. Штаты.

ДВОЙНИК. Какие Штаты?

ЧУБАЙС. Соединенные. Большой друг Билл. Поздравить бы его надо.

ДВОЙНИК. А-а... Ладно. Сюда говорить?

ЧУБАЙС. Сюда.

ДВОЙНИК (*в трубку*). Билли! С годовщиной тебя! С седьмым ноября! (*Чубайс роняет поднос.*)

ПЕРЕВОДЧИК (*в трубке*). We congratulate you with anniversary of the Great October Socialist Revolution...

КЛИНТОН (*на том конце провода*). Уау!

ГОЛОС В ТРУБКЕ У КЛИНТОНА. И чтобы, значит (*треск и помехи на линии*), стоял, и деньги были!

ПЕРЕВОДЧИК (*подумав*). Good luck!

ЧУБАЙС (*пораженный услышанным*). Борис Николаевич!..

ДВОЙНИК. Петр я! Петр Николаич! Вот пристал со своим Борисом, как банный лист!..

ЧУБАЙС. Батюшки! А где же тогда?..

12.

С дикими сиренами к районной больнице подъезжает реанимобиль в сопровождении милицейских «Фордов». Дикий шухер на лестнице — и в больничный коридор врываются люди в масках.

ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ (*диким голосом*). Лежать!

ГЕРАЩЕНКО. Лежим.

Входят Чубайс, Черномырдин, Лужков и Рыбкин.

ЧУБАЙС. Где он?

СВИНЬЯ. Кто?

Чубайс шепчет Свинье на ухо. Свинья тонко вскрикивает и указывает в дальний конец коридора.

СВИНЬЯ. Ой, а я-то, дура, думаю: до чего ж похож!

На кровати возле женского туалета с градусником под мышкой и полной майонезной баночкой в руке лежит Ельцин. Через секунду над ним склоняются онемевшие и задыхающиеся визитеры.

ЧЕРНОМЫРДИН. Как вы тут?

ЕЛЬЦИН (*многообещающе*). Да вот... изучаю, значит, социальную сферу!

Лужков вытряхивает на ладонь упаковку валидола и отправляет в рот.

13.

Из ворот санатория «Барвиха» с авоськой и в первозданной своей одежде выходит Двойник.

ДВОЙНИК (*вахтеру Козлу*). Ну, прощевай, браток! (*Вздыхает.*) Хорошо у вас тут было... С любовью к простому человеку, душевно, понимаешь!

КОЗЕЛ. Я те дам «понимаешь»! Чеши на трамвай... бляха-муха!

Ворота закрываются.

(Маленькая бюджетная трагедия)

1.

В башне. Лившиц (*Рыцарь*) один у зеркала, с сюртуком в руках.

ЛИВШИЦ.

Ну вот, опять: сюртук, побитый молью!
Что твой бюджет — кругом сплошные дыры...
Побит насквозь, испорчен. Невозможно
Его надеть! Достать мне надо новый...
Сюртук, бюджет? Эхма, что там, что тут —
Сплошной прорыв! Кряхтят заимодавцы,
Расходов — тьма, доходов с гулькин нос,
И нитками все белыми пошито!
Так, может, плюнуть да включить станок —
Да понеслась? Чур, чур меня, нечистый!
Уж лучше в нижнем походить белье.
Хотя — уж если в Нижнем, то с Немцовым...
От бедности мутится разум мой.
(*Отражению.*) Что смотришь, брат?
Прослыл, дурашка, честным —
Вот взятки-то никто и не дает!
Ну почему я не Шамиль Тарпищев
Или, сказать конкретней, Сосковец?..
Что стоило бы развязать войну
И капельку на ней подзаработать?
Эксперты говорят: одной Чечни
Хватает на Сейшелы и Канары...
Чур, чур меня! Уж лучше все как есть!
Но кстати, о еде: опять тошиться
На хлебе и воде? Сидеть, как мышь

Церковная — голодным и бесправным?
Да чтоб еще пинали всей страной
И крыли предпоследними словами?
Беда! Одно название, что рыцарь,
И то — средневековый. Кстати, тут
У нас как раз уже средневековье:
Зарплат не платим, пенсий не даем.
Вассалы пашут, феодалы лижут...
Вот взять папашу. Сам на сундуках
Сидит, как пес, а держит в черном теле
Меня, как будто я и не родной!
В Парижском клубе кабы капуцины
По-рыцарски себя не повели,
Так все бы тут от Вязьмы и опухло
До Колымы включительно! А он,
Папаша, все сидит на сундуках,
Наследства не дает... И не болеет!
Надежды нет. Я к Герцогу пойду.
Он выздоровел вроде, слава богу!
Пускай барона вызовет. Пускай
Велит ему мне дать бюджетных денег!
А если что, так прямо и скажу:
Делиться надо! Надобно делиться!
Не даст — я выйду к людям, и рвану
Я на груди последнюю рубашу,
И закричу последнее «прости»
На языках народов эсэсэра!..
Авось, глядишь, и выпрошу аванс
За май — июнь трудящимся России...
Так решено — пойду! Сомнений нет,
Вот только бы найти сюртук без дырки!

2.

Подвал. Сундуки.

ЧЕРНОМЫРДИН.

Как молодой политик ждет свиданья
С каким-нибудь чумным подкомитетом
Иль фондом безналоговым — так я
Весь год минуты жду, когда сойду
Неспешным шагом в нижнюю палату,

Чтоб федеральный утвердить бюджет.
На этот раз, конечно, наши лорды
Для виду кочевряжились слегка,
Два дня изображали слуг народа
И требовали кадровых кровей —
Иначе, мол, запрут бюджет навеки!
Да не впервой мне знаться с этим сбродом,
Их вожак давно на поводке:
Чуть побузят — и снова тише мыши,
И счастливы обедом дармовым...
Удачный день! Могу сегодня я
Еще на год продлить свое блаженство
На кованых бывалых сундуках!
Не много, *кажется*, но *понемногу*
Сокровища растут. Читал я сам,
Насчет первоначальных капиталов,
Что-де преступным нажиты путем...
Но это странно. Где же преступление,
Когда приходит в руки все само?
Еще читал я: некий древний царь
Велел земли снести по горсти в кучу,
И гордый холм возвысился — и царь
Залез наверх и там сидел до смерти.
Вот так и я залез на самый верх
Практически. Конечно, можно выше,
Но там чуть что — засыпят с головой!
А тут — сижу при сундуках, при власти,
И не позволю в очередь себя —
Кого, за кем, кому... Не принимаю —
И не приемлю!
(Открывает сундук, перебирает золото.)
Кажется, не много,
Каких-то триллионов восемьсот,
А сколько человеческих забот,
Обманов, слез, молений и проклятий.
Лоббирования по пустыкам!
(Открывает другой сундук.)
Вот тут — пятнадцать миллиардов.
Их просили у меня вчера шахтеры,
Писали транспаранты, голодали
И касками стучали об асфальт...

Да хоть бы головой! Я не отдам
Заветные пятнадцать миллиардов.
Они нужны на конную статую
В честь битвы при Цусиме.
(Открывает следующий сундук.)
Вот другой
Кусок бюджета — бедные врачи
Стояли на коленях и вопили:
Отдайте нам его, а то помрем —
И некому лечить вас будет! То-то,
Что некому! Не надо нас лечить!
Все, кому надо, те уже здоровы,
А остальным уж поздно... Вот еще
Статья — на социально неимущих...
Зачем им жить, ума не приложу!
Да если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за все, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп — я захлебнулся б
В своем «Газпроме», верно... Но — пора
(Закрывает сундук.)
Руководить. Тем более что — вторник.
Пойду-ка встречусь с Герцогом. Теперь
Свиданья эти мне ласкают сердце...

3.

Приемная Герцога. Лившиц стоит у домофона.

ЛИВШИЦ (кричит в домофон).

Поверьте, государь, терпел я долго
Стыд горькой бедности. Когда б не крайность,
Вы б жалобы моей не услышали!

(Пауза, апарт.)

Молчит. Не слышит. Или слышит и
Молчит. Тогда уж лучше бы не слышал
И вовсе! Осерчает — отберет
Последнее. Он может. (В домофон). Государь,
Вы там? Вы где? Ответьте что-нибудь!
Вы там? (Апарт.) Его там нет. Какое счастье!

(Поворачивается, чтобы уйти.)

ГОЛОС ЕЛЬЦИНА.

Давай, входи. (*Щелчок замка.*)

ЛИВШИЦ.

О боже, дай мне сил! (*Входит.*)

У окна стоит Ельцин (Герцог).

Поверьте, государь, терпел я долго
Стыд горькой бедности. Когда б не крайность,
Вы б...

ЕЛЬЦИН.

Слышал, не глухой. Чего тебе? Короче.

ЛИВШИЦ.

Денег.

ЕЛЬЦИН.

Денег — это можно.

Вот только, понимаешь, где ж их взять?

ЛИВШИЦ.

Собрать налоги.

ЕЛЬЦИН.

Так никто ж не платит!

ЛИВШИЦ.

Заставить заплатить.

ЕЛЬЦИН.

Тогда убьют.

ЛИВШИЦ.

Кого?

ЕЛЬЦИН.

Тебя.

ЛИВШИЦ.

Меня?

ЕЛЬЦИН.

Ну не меня же!

Ты, значит, сыбражай, что говоришь.

ЛИВШИЦ.

Простите, государь, мутится ум.

Пускай барон окажет мне поддержку...

Моральную хотя бы. Ведь вассалы —
Они же без зарплаты целый год!
Когда вассалы долго без зарплаты — им голодно!

ЕЛЬЦИН.

Да ну, не может быть.
С чего бы вдруг?

ЛИВШИЦ.

Не знаю. Только чую:
Вот-вот опять я крайним окажусь!

ЕЛЬЦИН.

Окажешься. Затем и взят на службу!

ГОЛОС ЧЕРНОМЫРДИНА ИЗ ДОМОФОНА.

Откройте, Герцог. Вторник. Это я.

ЕЛЬЦИН.

Давай договоримся: он — во вторник,
А деньги — после дождичка в четверг!
(*Нажимает кнопку. Щелчок замка.*)

Входит Черномырдин.

ЧЕРНОМЫРДИН.

Ты здесь, сынок?

ЛИВШИЦ.

Я здесь.

ЧЕРНОМЫРДИН.

Ступай обратно.

ЛИВШИЦ.

Мне некуда идти. Меня съедят.

ЧЕРНОМЫРДИН.

И правильно съедят. Ведь мы не можем,
Не хотим, не допустим, наконец,
Чтобы народ совсем уже... Нельзя
И, я считаю, мы тут все... — не надо!

ЛИВШИЦ.

Чего-то я... Простите, государь...
Стоять я не могу... мои колени
Слабеют... душно...
(*Черномырдину.*) Русский подучи! (*Падает.*)

ЕЛЬЦИН.

Что он сказал?

ЧЕРНОМЫРДИН.

Не понял.

ЕЛЬЦИН.

Как успехи?

ЧЕРНОМЫРДИН.

Да все путем.

ЕЛЬЦИН.

Чего он тут лежит?

ЧЕРНОМЫРДИН.

Устал, видать.

ЕЛЬЦИН.

Ну, раз устал, то ладно —

Пускай себе... Но, значит, тут не пляж,

Чтоб, понимаешь...

(Всмотревшись). Вот что: он, я вижу,

На нашей ветке власти не жилец!

ЧЕРНОМЫРДИН.

Разрез ума, несовместимый с жизнью.

ЕЛЬЦИН.

Ужасный век — и слабые сердца!

Малыш и Карлсон



1.

Черномырдин и Березовский (Папа и Мама), одетые, в дверях.

ЧЕРНОМЫРДИН. До свиданья, Малыш!

БЕРЕЗОВСКИЙ. Мы скоро вернемся.

ЧУБАЙС. Как! Вы оставляете меня одного?

ЧЕРНОМЫРДИН. Ты уже большой мальчик. Только осторожнее с газом.

ЧУБАЙС. Как — осторожнее?

ЧЕРНОМЫРДИН. Не подходи к нему, и все!

ЧУБАЙС. А чем мне заняться?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Посмотри по телевизору наш семейный канал...

ЧУБАЙС. А он на какой кнопке?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Уже на любой. А надоест — поиграй в монополию.

ЧУБАЙС. С кем?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Какой же ты еще у меня маленький, Малыш! В монополию играют в одиночестве! *(Уходят.)*

ЧУБАЙС. Ну вот, все ушли. Никто меня не любит. И у меня даже нету собаки. Вот бы завести щенка спаниеля. А лучше — ротвейлера. Хотя меня так не любят, что лучше, конечно, взрослого ротвейлера!

2.

Чубайс (один дома) играет в «монополюшку», разговаривая сам с собой.
Кидает кубик.

ЧУБАЙС. Четыре. *(Двигает фишку.)* Бум-бум-бум-бум. Металлургический комбинат. *(Вдыхает.)* Выставляю на аук-

цион. (*Скороговоркой.*) Две кроны, кто больше? Две кроны — раз, две кроны — два, две кроны — три, бум, продано, возьмите этот металлургический комбинат себе, большое спасибо, не за что...

Слышно жужжание.

ЧУБАЙС (*кидает кубик*). Три. (*Двигает фишку.*) Бум-бум-бум...

ГОЛОС ЕЛЬЦИНА. Привет!

ЧУБАЙС. Ой.

На подоконнике сидит Ельцин в детском комбинезончике. На спине — пропеллер.

ЧУБАЙС. Ты кто?

ЕЛЬЦИН. Не узнал?

ЧУБАЙС. Если честно, нет.

ЕЛЬЦИН. (*поворачиваясь в профиль*). А вот так?

ЧУБАЙС. Нет.

ЕЛЬЦИН. Ну, я так не играю! Все узнают, а ты... Я же Карлсон! Карлсон, который живет на крыше!

ЧУБАЙС. Ой! Значит, теперь у меня есть настоящий Карлсон?

ЕЛЬЦИН. Теперь у тебя есть настоящая крыша! А на ней — симпатичный мужчина в самом, понимаешь, расцвете лет! Давай пошалим?

ЧУБАЙС. Как?

ЕЛЬЦИН. Ты что, не знаешь, как шалят?

ЧУБАЙС. Ну, вообще-то знаю, но...

ЕЛЬЦИН. Никаких «но»! И потом, ведь, кроме нас, тут никого нет!

ЧУБАЙС. Как нет? А папа, а мама, а...

ЕЛЬЦИН. Это все ерунда! Когда тут есть я, то по закону можно считать, что больше вообще никого нет!

ЧУБАЙС. По какому закону?

ЕЛЬЦИН. По Основному. Знаешь, кто лучший в мире писатель Основных законов?

ЧУБАЙС. Кто?

ЕЛЬЦИН. Я — Карлсон, который живет на крыше! Ты мою Конституцию читал?

ЧУБАЙС. Нет.

ЕЛЬЦИН. Ты что, неграмотный?

ЧУБАЙС. Нет, почему...

ЕЛЬЦИН. А что же ты тогда читаешь?

ЧУБАЙС. Вот...

ЕЛЬЦИН. Дай сюда. *(Смотрит.)* Какая гадость! *(Выбрасывает в окно.)*

ЧУБАЙС. Ой.

ЕЛЬЦИН. Ничего не «ой». Давай позвоним куда-нибудь?

ЧУБАЙС. Куда?

ЕЛЬЦИН. Это не важно. Позвоним и снимем кого-нибудь.

ЧУБАЙС. Откуда?

ЕЛЬЦИН. Отовсюду!

ЧУБАЙС. За что?

ЕЛЬЦИН. Что значит «за что»? Мы же шалим!

ЧУБАЙС. А вдруг они придут?

ЕЛЬЦИН. Кто? Папа с мамой?

ЧУБАЙС. Ага. И еще эта... думоправительница!

ЕЛЬЦИН. Подумаешь! Как придут, так и уйдут!

ЧУБАЙС. А ты?

ЕЛЬЦИН. А я — как приду, так, значит, и останусь!

ЧУБАЙС. Насовсем?

ЕЛЬЦИН. Ты что, не рад?

ЧУБАЙС. Нет, что ты! Я рад. Я только...

ЕЛЬЦИН. Спасибо, Малыш! Я знал, что я тебе понравлюсь!

Звонок в дверь.

Ой, кто это?

ЧУБАЙС. Это думоправительница.

ЕЛЬЦИН. Мы ее хотим?

ЧУБАЙС. Нет.

ЕЛЬЦИН. Тогда зачем она приходит?

ЧУБАЙС. Не знаю.

Звонок повторяется.

ЕЛЬЦИН. Не, ну я так не играю! Только мы начали веселиться, и вдруг — какая-то думоправительница... Как ты думаешь, Малыш, я ей понравлюсь?

ЧУБАЙС. Я думаю — нет.

ЕЛЬЦИН. Но я же симпатичный!

ЧУБАЙС. В том-то и дело.

3.

Палец нажимает на кнопку звонка, еще и еще. Это Зюганов, похожий на фрекен Бокк.

ЗЮГАНОВ. Малыш! Малы-ы-ыш! Открывай, это я! *(Пауза. Зюганов, пошарив на связке, начинает отпирать дверь своим ключом.)* Ну, хорошо, не хочешь, не открывай... *(Входит в квартиру.)* Чем ты там занят, безобразник? *(Входит в комнату и останавливается.)*

В комнате жуткий беспорядок, окно открыто.

ЗЮГАНОВ. Ага. *(Увидев открытое окно.)* Ага! *(С удовлетворением.)* Ну наконец-то. Доигрался, несносный. Этого следовало ожидать. Теперь я наконец наведу порядок на всей территории... *(Выходит из комнаты, мурлыча «Смело мы в бой пойдём...»)*

Слышен гул включенного пылесоса. В окне с жужжанием появляется Ельцин с Чубайсом под мышкой. Опускает Чубайса в комнату, сам садится на подоконник.

ЕЛЬЦИН. Знаешь, она мне совсем не понравилась.

ЧУБАЙС. А кто тебе вообще нравится-то?

ЕЛЬЦИН. Больше всех?

ЧУБАЙС. Да.

ЕЛЬЦИН. Какой может быть разговор!

ЧУБАЙС. Я?

ЕЛЬЦИН. Ты что, с ума сошел? Больше всех мне нравится Карлсон! Карлсон, который живет на крыше! Давай побузим?

ЧУБАЙС. Мы уже бузили.

ЕЛЬЦИН. Мы — шалили. А бузить мы еще не начинали!

ЧУБАЙС. Но здесь же думоуправительница!

ЕЛЬЦИН. Малыш! Знаешь, кто лучший в мире борец с думоуправительницами?

ЧУБАЙС. Знаю.

4.

Зюганов пылесосит коврик с изображением Ленина, мурлыча «И вновь продолжается бой...». Затем выключает пылесос и слышит громкий стук. Зюганов идет в комнату. В комнате — дым коромыслом, все шкафы вывернуты наизнанку, а посреди всего этого сидит Чубайс с молотком в руках и колотит по табуретке.

ЗЮГАНОВ. Это ты? Живой?

ЧУБАЙС. Живее всех живых! (*Колотит по табуретке.*)

ЗЮГАНОВ. Гадкий мальчик, что ты делаешь?

ЧУБАЙС. Мы играем в похороны.

ЗЮГАНОВ. Что-о?

ЧУБАЙС. Мы играем, как будто коммунизм умер, а я заколачиваю ему последний гвоздь в крышку гроба!

ЗЮГАНОВ. Кто это «мы»?

ЧУБАЙС. Я и Карлсон!

ЗЮГАНОВ. Какой еще Карлсон?

ЧУБАЙС. А вот э... (*Оборачивается. Ельцина в комнате нет.*) Тут только что был Карлсон!

ЗЮГАНОВ. Тут не было никаких Карлсонов!

ЧУБАЙС. Был! Один — был!

ЗЮГАНОВ. Все это безобразие устроил ты, гадкий мальчишка! А никаких Карлсонов нигде нет!

ЧУБАЙС (*вздыхая*). Так нигде и нет — только у нас...

5.

Зюганов закрывает комнату снаружи на ключ.

ЗЮГАНОВ (*через дверь*). Пока не сделаешь все, как было, не дам ужина!

ЧУБАЙС. Это не я, это Карлсон!

6.

Вечер. На кухне, продолжая напевать, пьет чай Зюганов. Одновременно пить и петь невозможно, поэтому часть слов пропадает. Впрочем, каждый может дофантазировать пропущенное.

ЗЮГАНОВ. Удивительный му-му.. Почему я му-му-му? Потому что му-му-му.. И не туды, и ни сюды!

Чубайс — один в своей комнате.

ЧУБАЙС. Ну вот. Опять я один, в полной изоляции. И у меня нет даже собаки!

ГОЛОС ЕЛЬЦИНА. Зачем, понимаешь, тебе собака, когда у тебя есть я?

ЧУБАЙС. Карлсон! Вернулся! Где ты был?

ЕЛЬЦИН. (*сидит на подоконнике*). Я болел. У меня, значит, временно испортился моторчик!

ЧУБАЙС. А теперь?

ЕЛЬЦИН. А теперь я опять как новенький. (*Запускает вентилятор.*) Во! Видал? Шведская модель! Уже начинаю, понимаешь, демонстрационные полеты! У тебя документы есть?

ЧУБАЙС. Какие документы?

ЕЛЬЦИН. Какие-нибудь.

ЧУБАЙС. У меня нет, а в доме — полно!

ЕЛЬЦИН. Неси их все сюда!

ЧУБАЙС. Зачем?

ЕЛЬЦИН. Как зачем? Я их сейчас все попишу... то есть, понимаешь, подпишу!

ЧУБАЙС. Все сразу?

ЕЛЬЦИН. Тебе что, жалко?

ЧУБАЙС. Мне — нет.

ЕЛЬЦИН. Тогда давай бери их — и летим ко мне на самый верх!

ЧУБАЙС. Ой. Я никогда еще не был на самом верху.

ЕЛЬЦИН. Еще бы. Ведь я тебя туда не приглашал! Полетели!

ЧУБАЙС. А если я упаду?

ЕЛЬЦИН. Подумаешь, напугал.

7.

Зюганов пьет чай. Вой сирен. Зюганов выглядывает в окно. Внизу — пожарные, «Скорая», милиция... Зюганов смотрит вверх. На крыше дома сидит Чубайс. Рядышком, у трубы, — Ельцин, весь в бумагах.

ЗЮГАНОВ (мрачно). Этот безобразник забрался еще выше! Ну, ладно...

8.

Крыша. Карлсон под вой сирен возится с бумагами, подписывает вдоль и поперек все подряд, иногда и на обороте.

ЕЛЬЦИН. Вот, понимаешь, гудят, отвлекают от работы! Малыш, ты что, боишься?

ЧУБАЙС. Да. А ты?

9.

Зюганов из окна руководит спасательными работами.

ЗЮГАНОВ. Левее! Еще левее! А я говорю, всем налево! (*Жуткий грохот внизу.*) Опять не получилось.

10.

Возле дома останавливается лимузин. В лимузине на заднем сиденье — Черномырдин и Березовский.

ЧЕРНОМЫРДИН. Что там происходит?

БЕРЕЗОВСКИЙ (*опустив стекло, смотрит вверх. Потом, обыденно*). Да вот... Нашего Малыша снимают.

ЧЕРНОМЫРДИН. Откуда?

БЕРЕЗОВСКИЙ. С самого верха.

ЧЕРНОМЫРДИН. Опасная это затея — снимать нашего Малыша с самого верха. Можно так навернуться!

11.

На крыше.

ЕЛЬЦИН. Малыш, ты все еще боишься?

ЧУБАЙС. Д-да.

ЕЛЬЦИН. Не бойся, все, значит, будет хорошо! Главное, чтобы у нашего дома не поехала крыша.

ЧУБАЙС. А она может поехать?

ЕЛЬЦИН. Еще как! Ну, я-то, в случае чего — р-раз! — и стану, понимаешь, привидением с моторчиком...

ЧУБАЙС. А я?

ЕЛЬЦИН. И ты, в случае чего, тоже станешь привидением... Но без моторчика.

Предпоследнее «прости»...



1.

Надпись над воротами — «Кадровое кладбище». Указатели на аллеях: «По собственному», «С переводом на другую работу». И, наконец, указатель «В отставку». Невдалеке от него Зюганов и Селезнев — в кладбищенских робах, на рукавах повязки, в руках лопаты. Зюганов курит, Селезнев догребает землю.

СЕЛЕЗНЕВ. Погляди там, рыжего нашего несут?

ЗЮГАНОВ. Несут. По кочкам.

СЕЛЕЗНЕВ. Что ж они медлят? Осенью еще, когда рыли братскую, — надо было его тогда же и закопать... вместе с соавторами...

ЗЮГАНОВ. Не влез!

СЕЛЕЗНЕВ. Почему?

ЗЮГАНОВ. Не знаю... Не захотел.

СЕЛЕЗНЕВ. Ну ничего. Закопаем отдельно. Ради такого дела родной земли не жалко.

2.

Звук траурного марша. По аллее идет большая процессия.

ЖИРИНОВСКИЙ. Мы все так его любили!

ЧЕРНОМЫРДИН. Еще бы. Такой умный.

ЖИРИНОВСКИЙ. Да. За это больше всего и любили. Умный такой, молодой, энергичный...

ЛУЖКОВ. И еще — грамотный.

ЧЕРНОМЫРДИН. Ужас!

ЖИРИНОВСКИЙ. Что?

ЧЕРНОМЫРДИН. Я говорю: на всю голову был грамотный. Как только жил тут с такой головой...

ЛУЖКОВ. Небось и языки знал.

КУЛИКОВ. С него станется, е-мое!

ЛЕБЕДЬ. Одно слово: рыжий!

ЧЕРНОМЫРДИН. Не жилец он был. Среди нас-то... Не жилец!

3.

У могилы. Слышны приближающиеся звуки траурного марша.

ЗЮГАНОВ. Идут.

СЕЛЕЗНЕВ. Так я уже всё.

ЗЮГАНОВ. Глубокая?

СЕЛЕЗНЕВ. Сам не вылезет.

ЗЮГАНОВ. Может, вторую выкопаем?

СЕЛЕЗНЕВ. Кому?

ЗЮГАНОВ. Ему же.

СЕЛЕЗНЕВ. Зачем?

ЗЮГАНОВ (*подумав*). На всякий случай.

4.

Из-за угла выворачивает процессия — с оркестром и венками, но без гроба.
Тележка-катафалк пуста.

ЧЕРНОМЫРДИН. У вас тут как? Готовы?

ЗЮГАНОВ И СЕЛЕЗНЕВ (*хором*). Всегда готовы!

ЧЕРНОМЫРДИН. Тпр-ру!

Процессия останавливается, музыка разваливается.

Стой! Пришли.

СЕЛЕЗНЕВ. Погодите-ка, а этот где?..

ЧЕРНОМЫРДИН. Кто?

СЕЛЕЗНЕВ. Ну, виновник мероприятия... Которого мы хороним третий год.

ЧЕРНОМЫРДИН. Сейчас должны подвезти.

ЗЮГАНОВ. Ну, слава богу! А то я уж...

ЧЕРНОМЫРДИН. Уже в пути.

СЕЛЕЗНЕВ. Не терпится посмотреть. У нас уже и венки готовы... Вот! «От группы товарищей...»

ЧЕРНОМЫРДИН. Венки не пропадут. (*Разворачивает шаргалку.*) Начнем.

РЫБКИН. А как же ушедший?

ЛЕБЕДЬ. Надо подождать.

КУЛИКОВ. Семеро одного не ждут!

ЧЕРНОМЫРДИН. Вот именно. Товарищи! Траурный митинг объявляю открытым. Сегодня мы провожаем в последний путь из органов власти Анатолия Борисовича...

ЛУЖКОВ. А точно — в последний?

ЧЕРНОМЫРДИН (*Куликову*). Вот за это я тебе ручаюсь. Долгожданная политическая смерть вырвала из наших рядов надежного работника, прекрасного организатора, убежденного монетариста...

ЖИРИНОВСКИЙ. А-а, я не переживу этого! Нет!

КУЛИКОВ. Почему?

ЖИРИНОВСКИЙ. Не переживу, и все! Не уговаривайте!

ЯВЛИНСКИЙ. Никто вас не уговаривает. Просто интересно...

ЖИРИНОВСКИЙ. Он ушел от нас, ушел, ушел совсем!.. (*Сотрясается в рыданиях.*)

ЯВЛИНСКИЙ. Ну, ушел и ушел, дело житейское.

ЖИРИНОВСКИЙ. «Наймит США, разоритель державы...»
И этот еще...

ЗЮГАНОВ (*подсказывает*). Грабитель народа... Убийца бабушек...

ЖИРИНОВСКИЙ. Да! Такой репертуар пропадает!

ЧЕРНОМЫРДИН. А, ты в этом смысле.

ЖИРИНОВСКИЙ. Кто теперь будет нашим рыжим?

ЧЕРНОМЫРДИН. Найдем. Страна большая. Я продолжаю. (*По бумажке.*) Товарищи! Все мы, знавшие Анатолия Борисовича гораздо больше лет, чем нам бы хотелось, будем помнить его образованность и принципиальность... (*Отрываясь от бумажки.*) Это, я вам скажу, фиг забудешь.

КУЛИКОВ (*сковыривая крышечку у беленькой*). Поехала!

ЧЕРНОМЫРДИН. Уже?

КУЛИКОВ. А чего телиться, е-мое! (*Наливает в стаканы, стоящие на катафалке.*) Ну, за новоотставленного!

ЧЕРНОМЫРДИН. Бумажку дочитать?

КУЛИКОВ. Ладно, все свои.

ЧЕРНОМЫРДИН. Ну и...

ЗЮГАНОВ. Погодите! А где сам-то? Закопать бы сначала...

ЧЕРНОМЫРДИН. Не волнуйтесь. Подвезут!

ЖИРИНОВСКИЙ. Кстати, когда его в прошлый раз хорони-

ли, он тоже заставлял себя ждать... Это совершенно невыносимо, у людей же нервы, они же не каменные!

ЧЕРНОМЫРДИН. Да, нехорошо. Уже и поминки, помню, справили, и девять дней — а он все живой и живой. Еле к сороковинам законали.

ЛЕБЕДЬ. Дисциплины — никакой!

КУЛИКОВ. Ну! За отставочки. Между первой и второй — перерывчик небольшой. Понеслась!

ЧЕРНОМЫРДИН (*кивая на Зюганова и Селезнева*). И ребятам налей. Они же работали, они старались, можно сказать — землю рыли!

ЗЮГАНОВ. Для хорошего человека — это мы всегда!

Наливают, пьют, закусывают — прямо на катафалке.

ЧЕРНОМЫРДИН. Кто еще хочет сказать об ушедшем?

СКУРАТОВ. Я! Я хочу особо сказать о его литературном даре. Вы понимаете...

ЖИРИНОВСКИЙ. Чего тут не понимать! Слава богу, сами все писатели!

ЯВЛИНСКИЙ (*ядовито*). Толстые практически.

ЛЕБЕДЬ. Да, есть и из военных!

ЯВЛИНСКИЙ. Боже мой! Когда же вы наконец улетите в свой Красноярск?

ЧЕРНОМЫРДИН. Не мешайте, дайте послушать.

СКУРАТОВ (*продолжая тему*). Ушедший был в некотором смысле выдающимся литератором...

ЧЕРНОМЫРДИН. Ты читал его книжку?

СКУРАТОВ. Я читал его «дело»!

ЧЕРНОМЫРДИН. Ну и как?

СКУРАТОВ. Не оторваться. Особенно гонорар. Сименон отдыхает.

ЖИРИНОВСКИЙ. Какой там гонорар! Лох он был конкретный, прости господи!

ЧЕРНОМЫРДИН. Владимир Вольфович! Ты давай это... об ушедших — либо ничего, либо вообще.

ЖИРИНОВСКИЙ. Хорошо! Скажу о себе. Если бы я был первым вице-премьером, девяносто тысяч «зеленых» у меня бы в день на булавки уходило! Пропала жизнь, пропала, однозначно!

ЧЕРНОМЫРДИН. Да уж... Ну, чтобы не в последний. (*Пьют.*) А помните Сосковца? (*Общий гул восхищения.*) Вот был

человек! Год первым вице поработал — и на всю оставшуюся жизнь материальный вопрос снял. Огурчик передай.

КУЛИКОВ. Реальный политик, е-мое...

СКУРАТОВ. Грех завидовать...

ЧЕРНОМЫРДИН. Здесь где-то по соседству лежит, отдыхает. Мир счету его.

ЛУЖКОВ. А чего не отдохнуть? Внукам до старости казенных груш хватит околачивать. Ну, будем!

ЧЕРНОМЫРДИН. Еще бы нам — и не быть! (*Пьют.*)

ЖИРИНОВСКИЙ. А рыжий — лох! Лох конкретный, светлая память его ваучеру, пусть РАО «ЕЭС» будет ему пухом, однозначно!

ЛУЖКОВ. Я скажу! Кабы не приватизация, он ведь мог бы жить. Зря он со мною поссорился. Нельзя было, что ли, договориться? Эх, Анатолий... Прощай. Предупреждал я тебя — не ссорься со мною... (*Утирает слезу кепкой.*)

ЛЕБЕДЬ. Держись, Михалыч.

ЛУЖКОВ. Я-то держусь. Меня-то двумя руками не оторвешь.

5.

На аллее в инвалидной коляске появляется Березовский.

РЫБКИН. Кто это там?

ЛЕБЕДЬ. Не узнаете?

РЫБКИН. Уже нет.

ЯВЛИНСКИЙ. Это ближайший друг ушедшего от нас. Приехал проститься.

ЛЕБЕДЬ (*поправляет*). Удостовериться.

БЕРЕЗОВСКИЙ (*подъезжая*). Такое горе, такое горе... Ай-яй-яй! Мы так надеялись... И вот наконец... (*Черномырдину*.) Мои соболезнования.

ЧЕРНОМЫРДИН. И вас — от всей души! Налей ему.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Спасибо. Господа! Я хочу сказать. Судьба — индейка, а жизнь — копейка, особенно после деноминации. Чувства, которые все мы испытывали к Анатолию Борисовичу, объединили нас в этот долгожданный час... (*Черномырдину*.) Давно хотел вам сказать: мы, группа здравомыслящих банкиров, поставили на вас еще в Давосе...

ЧЕРНОМЫРДИН. Не надо на меня ничего ставить!

ЯВЛИНСКИЙ. Правильно. Мы на вас положили...

ЧЕРНОМЫРДИН. И класть не надо! Не надо со мной вообще ничего делать! Я хозяйственник, а не тумба.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Но вы же понимаете — система должна быть устойчивой.

ЖИРИНОВСКИЙ (*выпивая еще*). Рыжий — лох, о-дно-зна... (*Падает под катафалк.*)

БЕРЕЗОВСКИЙ. Кстати, где он?

ЧЕРНОМЫРДИН. Кто?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Ушедший от нас — где? Что-то тела не видно. Уже закопали?

ЗЮГАНОВ. Да мы ждем не дождемся утрамбовать!

БЕРЕЗОВСКИЙ. Как это «не дождемся»? Погодите... Где он?

КУЛИКОВ. Да вроде, говорят, вчера уже доходил без охраны... Говорили, вроде совсем плохой... Шансы на нуле...

БЕРЕЗОВСКИЙ. Откуда информация?

КУЛИКОВ. А по телевизору один тип сказал...

БЕРЕЗОВСКИЙ. Вы что, с луны свалились?

КУЛИКОВ. Да нет, я здешний.

БЕРЕЗОВСКИЙ. По телевизору — это, считайте, я и сказал!

КУЛИКОВ. Так ведь в ящике, диктор... — значит, правда, е-мое! И в газете пропечатали... Серьезная газета, «Независимая...»

Все переглядываются.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Слушайте, кто-нибудь заключение видел? О кадровой смерти рыжего? (*Пауза.*) Подпись главного врача нашего кто-нибудь видел?

6.

Появляется Немцов.

НЕМЦОВ (*Зюганову и Селезневу*). Привет, шахтеры. Шутка. (*Набирает номер на мобильном.*) Алло! Анатолий, ты? Привет. Не поверишь — нашел! Всех нашел! Не поверишь — на кладбище. Они тут хоронят кого-то. Сейчас посмотрю. (*Смотрит венки.*) Анатолий, тут такая забавная вещь: они тебя хоронят. (*Смеется.*) Не опять, а снова! (*Присаживается на катафалк, перебирает пустые бутыл-*

ки.) Да уже практически проводили. Привет передавать? Хорошо. (*Отключает трубку.*) Всем привет от Толика! Слушайте, господа, у вас когда еще пикнички будут, вы хоть говорите — обидно же...

ЗЮГАНОВ (*Селезневу*). Может, этого положим? По размеру вроде подходит...

СЕЛЕЗНЕВ. Свято место пусто не бывает. Все войдут.

В кармане у Черномырдина требовательно звонит телефон. Черномырдин вытаскивает из-за пазухи трубку со шнуром.

ЧЕРНОМЫРДИН. Алло.

ТРУБКА. Алло!

Черномырдин отдергивает ухо, и из трубки всем собравшимся слышен до боли родной голос.

ГОЛОС ЕЛЬЦИНА. Слушайте, вы где все? Алло! Я русским языком спрашиваю: вы чем там занимаетесь?

ЧЕРНОМЫРДИН (*после паузы, осторожно*). Алло. Добрый день. Отвечаю русским языком. Мы работаем.

ЕЛЬЦИН. Над чем конкретно работаете?!

ЧЕРНОМЫРДИН (*косясь на катафалк, уставленный обедками и бутылками, на могилу*). Трудимся над вопросами агросектора. Прорабатываем вопросы топлива. Решаем земельный вопрос. Тут у нас это... большой прорыв образовался. Такая здоровая яма. Ждем ваших указаний. Да! Понял. Понял. Конечно. Все сделаем. (*Гудки в трубке.*) Все. Ну? Что сказал?

ЧЕРНОМЫРДИН (*через паузу*). Сказал: землю отдать крестьянам. В яму положить бюджет. Засыпать. И сказать: крекс, лэкс, фэкс.

Первый Белорусский



1.

Белорусский вокзал. Вечер.

ГОЛОС. Поезд Минск — Москва прибывает на второй путь. Повторяю...

Прибывает поезд. Люди проходят по перрону мимо памятника Ленину. Перрон пустеет. Памятник Ленину смотрит вдоль пустого перрона. Из последнего вагона высовывается голова Лукашенко. Потом он выходит на перрон. В руках — три красные гвоздики.

ЛУКАШЕНКО. Добрый вечер. Вам всем пришел я.

Ломает гвоздикам головы и кладет к цоколю.

2.

Лукашенко в полупустом здании вокзала. Березовский продает газеты.

ЛУКАШЕНКО. Простите, где тут у вас будет Кремль?

БЕРЕЗОВСКИЙ. У нас неподалеку. А вы, я вижу, из Белоруссии к нам?..

ЛУКАШЕНКО. Из нее.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Гастарбайтер?

ЛУКАШЕНКО. Кто?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Работу искать приехали?

ЛУКАШЕНКО. Мне работу искать не надо. Я вас сам последней работы лишу. Русским языком межнационального общения в последний раз спрашиваю: в какую тут сторону Кремль?

БЕРЕЗОВСКИЙ. А вам зачем?

ЛУКАШЕНКО. Не ваше дело.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Ну не скажите. *(Вслед.)* Вы куда пошли?

ЛУКАШЕНКО. Я всегда без колебаний иду прямо вперед!

БЕРЕЗОВСКИЙ. Скатертью дорога. Только прямо впереди — Бутырская тюрьма. А Кремль — направо, по Тверской и вниз, пока не упретесь!

ЛУКАШЕНКО. Во что?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Во что-нибудь упретесь непременно.

ЛУКАШЕНКО. Почему?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Знаете, вы производите впечатление очень упертого человека.

3.

Лукашенко идет по Тверской мимо «Палас-отеля». Перед его носом тормозит «Мерседес»; окно машины опускается, за окном — лицо Зюганова.

ЗЮГАНОВ (*показывая направление*). В Кремль — прямо и вниз!

ЛУКАШЕНКО. А откуда вы знаете, что мне надо в Кремль?

ЗЮГАНОВ. У вас лицо озабоченное. С таким лицом просто так по Москве не ходят.

ЛУКАШЕНКО. Может, подвезете, товарищ?

ЗЮГАНОВ. Подвез бы, товарищ, и денег бы почти не взял. Но меня туда самого не пускают!

ЛУКАШЕНКО. Почему?

ЗЮГАНОВ. Сам не знаю. Вроде бы такой симпатичный... и патриот, и геополитик, и философ... Клейма негде ставить. А не пускают! Но я не обижаюсь.

ЛУКАШЕНКО. Почему?

ЗЮГАНОВ. А я бы их тоже не пустил. Ближе Мордовии не пустил бы. А потом... (*понижив голос*) между нами говоря, в непримиримой оппозиции гораздо приятнее. Ни хрена не делаешь, сидишь на законодательной ветке, чирикаешь песни протеста!

ЛУКАШЕНКО. А СССР?..

ЗЮГАНОВ. А СССР — оплот мира и социализма! (*Шоферу*). Трогай. (*Уезжает.*)

4.

Лукашенко стоит перед памятником Маяковскому.

ЛУКАШЕНКО. «Отечество славию, которое есть, и трижды — которое будет!» Хороший поэт. Памятник оставим.

ЖИРИНОВСКИЙ (окликает сзади). Приезжий, девочки нужны?

ЛУКАШЕНКО. Какие девочки?

ЖИРИНОВСКИЙ. Нормальные девочки, без комплексов.

ЛУКАШЕНКО. Я сам без комплексов.

ЖИРИНОВСКИЙ. А чего тогда стоишь такой одинокий?

ЛУКАШЕНКО. Я хочу потеснее интегрироваться...

ЖИРИНОВСКИЙ. Нет проблем.

ЛУКАШЕНКО. Я хочу все делать с вами сообща...

ЖИРИНОВСКИЙ. Да хоть впятером. Я тебе сейчас их табун приведу, интегрируйся до утра. По сто с телки за час.

ЛУКАШЕНКО. По сто — чего?

ЖИРИНОВСКИЙ. «Зайчиков»! Приезжий, не морочь мне голову: нужны девочки — скажи, не нужны — проваливай в свой колхоз, однозначно! Что ты тут вообще забыл?

ЛУКАШЕНКО. Мне как можно скорее нужен Кремль!

ЖИРИНОВСКИЙ. Ты спятил, колхозник! В Кремле девочек нет ни одной. Там мужской бардак, я проверял. И расценки другие. Там тебя за сто баксов на порог не пустят, не то что интегрироваться, понял?

ЛУКАШЕНКО. При чем тут вообще деньги, мы же все славяне!

ЖИРИНОВСКИЙ. Ну, во-первых, не все, а во-вторых, тебе и так два года бесплатно давали!

ЛУКАШЕНКО. Газ не в счет, мы хотим полного слияния.

ЖИРИНОВСКИЙ. Да ты маньяк, колхозник! Маньяк, однозначно, иди отсюда!

5.

Лукашенко у памятника Пушкину, читает.

ЛУКАШЕНКО. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...» Правильно написал, хотя и черный совсем. Сначала — слух пройдет, потом сам пройдуся по всей Руси...

6.

В очереди в «Макдоналдсе». Лукашенко стоит позади Явлинского, изучая меню.

ЛУКАШЕНКО. «Чизбургер, гамбургер, пепси... Мак-фиш, биг-мак». А нашего, славянского, тут ничего нет?

ЯВЛИНСКИЙ. Нет. (*Берет поднос и отходит.*)

ЛУКАШЕНКО. Будет.

Явлинский располагается за столиком. Подходит Лукашенко.

ЛУКАШЕНКО. Вы не возражаете? (*Не дав ответить.*) Спасибо.

Расстилает на столе газетку, вынимает из сумки курицу, соль, огурец, хлеб... Начинает есть.

ЯВЛИНСКИЙ. Приятного аппетита, но тут не принято со своей едой. (*Лукашенко ест.*) Я говорю: со своим харчем здесь не сидят!

ЛУКАШЕНКО. А я сажу.

ЯВЛИНСКИЙ. Знаете, в чужой монастырь со своим уставом не лезут... (*Лукашенко продолжает есть.*) Вы, я вижу, совсем не местный...

ЛУКАШЕНКО. Буду местный. Такой местный буду, что вы из всей жизни только меня перед смертью и вспомните!

7.

Возле Центрального телеграфа.

ЛУКАШЕНКО (*любуясь фасадом*). Вот где настоящая красота! Кремль, серп и молот... Хоть снова Олимпиаду проводи, восьмидесятого года. Только проституток выслать за сто первый километр, а так — уже полный социализм!

У плеча возникает милиционер — Куликов.

КУЛИКОВ. Документики.

ЛУКАШЕНКО. А вы кто? Представьтесь, пожалуйста.

КУЛИКОВ. Я тебе сейчас представлюсь... В ушах зазвенит... Паспорт!

ЛУКАШЕНКО. Пожалуйста.

КУЛИКОВ (*листая паспорт*). Та-ак. Прописки московской нет.

ЛУКАШЕНКО. Будет. Прописка будет, в самом центре, это я вам торжественно обещаю.

КУЛИКОВ. Я не пионерская организация, не надо мне торжественно обещать. Усы на лице зачем носите?

ЛУКАШЕНКО. А где же мне их носить?

КУЛИКОВ. Это что, предмет национальной гордости?

ЛУКАШЕНКО. Моей независимой республике больше пока что гордиться нечем.

КУЛИКОВ. Ясно. Чеченец.

ЛУКАШЕНКО. Кто чеченец?

КУЛИКОВ. Пройдемте.

ЛУКАШЕНКО. Куда?

КУЛИКОВ. На выяснение.

ЛУКАШЕНКО. Не надо со мной ничего выяснять! Всем честным людям планеты со мной давно все ясно. Мне надо поскорее попасть в Кремль!

КУЛИКОВ. Попасть в Кремль? Ух ты! (*Радостно.*) Террорист!

8.

Милицейский «воронок». Лукашенко сидит, пристегнутый наручниками к решетке, за которой виден ночной Кремль. Впереди, возле шофера — Куликов.

КУЛИКОВ (*в окошко «воронка»*). Ну что, ара, будем договариваться?

ЛУКАШЕНКО. О чем?

КУЛИКОВ. О борьбе с терроризмом.

ЛУКАШЕНКО. При чем тут терроризм?

КУЛИКОВ. Может, и ни при чем. Ты меня убеди...

ЛУКАШЕНКО. Я не стану вас ни в чем убеждать!

КУЛИКОВ. Мое дело — предложить. Не хочешь по-хорошему — будем разбираться.

ЛУКАШЕНКО. Отпустите меня сейчас же! Это вопиющее нарушение прав человека!

КУЛИКОВ. Нет, это еще не нарушение. Это проверка паспортного режима. Нарушение будет, когда тебе почки отобьют.

ЛУКАШЕНКО. Прекратите это издевательство!

КУЛИКОВ. Издеваться, кацо, я еще не начинал.

ЛУКАШЕНКО. Какой я тебе кацо?

КУЛИКОВ. Посидишь сутки-другие в КПЗ, станешь кацо, еще спасибо скажешь.

ЛУКАШЕНКО. Я протестую!

КУЛИКОВ. Это на здоровье.

ЛУКАШЕНКО. Вы не имеете права!

КУЛИКОВ (*в окошко*). Бойцы! Объясните там ему насчет прав.

Включает музыку. Сквозь песенку слышен диалог Лукашенко с невидимыми «ментами» — и шмяканье по телу милицейских палок.

— Сейчас будут тебе права! (*Шмяк.*)

ЛУКАШЕНКО. Прекратите! (*Шмяк.*) Вы что, больно же!

— Еще чего-нибудь непонятно насчет прав? (*Шмяк, шмяк.*)

ЛУКАШЕНКО. Я буду жаловаться в Совет Европы!

— Ребята, он нас Европой пугает! (*Шмяк.*)

ЛУКАШЕНКО. Ай! Я требую, чтобы меня отвезли в Кремль!

— Сейчас. (*Шмяк.*) Еще отвезти?

ЛУКАШЕНКО. Не надо!

— А то ты скажи. (*Шмяк.*)

ЛУКАШЕНКО. Я понял, я все понял, не надо! (*Шмяк.*) Ой, я хочу домой! (*Шмяк.*) Возьмите все! Водку возьмите. картошки, денег...

КУЛИКОВ (*бойцам, в окошко*). Хорош! (*Лукашенко.*) Теперь вижу, что не террорист. Что ж ты раньше молчал?

9.

Дверь «воронка» открывается. Из нее пинком выбрасывают Лукашенко. «Воронок» уезжает. Лукашенко встает, чтобы идти, — и натывается на Лужкова.

ЛУЖКОВ. Куда такой красивый собрался?

ЛУКАШЕНКО. Куда глаза глядят!

ЛУЖКОВ. Я знаю, куда у тебя глаза глядят. На Кремль!

ЛУКАШЕНКО. Не у меня одного.

ЛУЖКОВ. У меня они туда глядят на благо России!

ЛУКАШЕНКО. А у меня — на благо всех славянских народов!

ЛУЖКОВ. А у меня... В общем, мы друг друга поняли. Не смотри в ту сторону.

ЛУКАШЕНКО. Счастливо оставаться.

Короткий автомобильный гудок. Из развернувшегося «воронка» выглядывает Куликов.

КУЛИКОВ. Эй, батька! Езжай по месту прописки. Еще раз здесь увижу — будешь доказывать, что не моджахед.

10.

Белорусский вокзал. Бюст Ленина с двумя (*вместо трех*) гвоздиками у цоколя.

ГОЛОС. Поезд Москва — Минск отправляется с третьего пути. Повторяю...

В вагоне в обнимку со своей торбой сидит Лукашенко. Поезд трогается.

ЛУКАШЕНКО. Объединителя славянских земель из меня не вышло. Надо возвращаться в управдомы....

Зима в Москве

*(По мотивам драматургии
начала 50-х)*

Старая пленка. Символ киностудии «Мосфильм» — Рабочий и Колхозница, крутящиеся, как положено, на фоне Спасской башни.

1.

Черно-белое кино. У окна с дивным видом на Москву-реку стоят Ельцин и Черномырдин. Раннее утро.

ЕЛЬЦИН.

Скажи, мой друг, ты любишь ли Москву?

ЧЕРНОМЫРДИН.

Как можно не любить свою столицу!
Здесь краны строек взмыли в синеву.
Какие тут сады, какие лица!..

ЕЛЬЦИН.

Ответственные! Виктор, друг, скажи,
Ты помнишь ли: чего мы на рассвете,
Который раз уж веки не смежив,
Встречаем утро в этом кабинете?

ЧЕРНОМЫРДИН.

Борис, я помню! Мы хотим стране
Зарплаты выдать, чтоб врачи, ткачи ли,
Шахтер, монтер, учитель, инженер
Сполна за труд свой денег получили!

ЕЛЬЦИН.

Труд доблестный, геройский, огневой,
Во льдах холодных и горячих дюнах...

ЧЕРНОМЫРДИН.

Во имя достижения всего,
Что партия наметила, подумав!

ЕЛЬЦИН.

Вот почему уснуть нам недосуг!

ЧЕРНОМЫРДИН.

А денег нет. Их нету и не будет.

ЕЛЬЦИН.

Зачем же мы не спим тогда, мой друг?

ЧЕРНОМЫРДИН.

Не можем спать, когда без денег люди!
Но вот уж дым опять пошел трубой...
Скажи, но не получится ли снова,
Что ты нарушишь данное тобой
Трудящимся торжественное слово?

ЕЛЬЦИН.

Нет, Виктор, слово я сдержу свое —
Ведь это слово, данное народу:
Придет зарплата в каждое жилье
До, значит, наступающего года!

ЧЕРНОМЫРДИН.

Тебе я верю!

ЕЛЬЦИН.

Дай мне руку, друг!
Смотри: идут трудящиеся массы.
Они прекрасны. Если вспомнишь вдруг,
Где им зарплату взять, скажи мне сразу!

2.

Раннее утро. Вид на Москву из Белого дома. Аскетичный кабинет, портрет
Ельцина на стене. Чубайс заканчивает рукопись.

ЧУБАЙС.

Три года я не разбираю кровать,
Нет времени сварить себе сосиску...
Но кто-то же был должен описать
Весь ход приватизации российской!
Не глупый буржуазный детектив,
Не пошлые бульварные романы —
Перо, все кривотолки прекратив,
Реформы отразило без обмана!

Не гонорар мне грезился во сне,
Но если все же деньги мне заплатят,
Я другу их отдам. А друг их — мне...
А в остальном — пяти процентов хватит.

3.

БЕРЕЗОВСКИЙ (*входя*).

Простите, можно?

ЧУБАЙС.

Проходи, садись.
Надеюсь, на меня не держишь злобы.
Принципиальной критикой, Борис,
С тобой мы делу помогаем оба.
И если кто-то хоть родную мать
Поставил выше общих интересов,
Ему помогут это осознать
Товарищи, вернув на путь прогресса!

БЕРЕЗОВСКИЙ.

Я, Анатолий, понял наконец,
Что ошибался, совмещая ложно
Госслужбу и корыстный интерес, —
Их совместить в России невозможно!
Отныне, где бы мы ни появлялись,
В Чечне или в Республике Саха,
Все скажут: мы для Родины старались,
А не для денег.

ЧУБАЙС.

Деньги — чепуха!
(*Крепко пожимают друг другу руки.*)

4.

Ельцин стоит у окна. Оглядывается. В дверях стоит Куликов.

ЕЛЬЦИН.

Что делаете вы в столь ранний час
Вдали от дома? Даже мне неловко!

КУЛИКОВ.

Полночи я мечтал увидеть вас:
Мой дом — Петровка, и постель — Петровка.

ЕЛЬЦИН.

Садитесь.

КУЛИКОВ.

Сяду, нету сил стоять.

Не сплю, не ем. Не пью. Одна работа.

ЕЛЬЦИН.

Докладывайте.

КУЛИКОВ.

Мне Петровка — мать.

А все ради чего? Ради народа!

Не гаснут окна в здании — ни-ни!

Преступность вся у нас как на ладони.

Докладываю: мы уже одни.

ЕЛЬЦИН.

А остальные?

КУЛИКОВ.

Остальные — в зоне...

Но должен вам покаяться... У нас...

Мне стыдно...

ЕЛЬЦИН.

Говори!

КУЛИКОВ.

Недоработка!

Под Тулою украден керогаз,

А вор не пойман! *(Плачет.)* На свободе!

ЕЛЬЦИН.

Вот как?! Ты огорчил меня до глубины.

Ведь воровство наказано должно быть!

КУЛИКОВ.

Сейчас поеду в Тулу!

ЕЛЬЦИН.

Вы должны сначала отдохнуть.

КУЛИКОВ.

Я еду в область!

(Падает головой на стол и засыпает.)

ЕЛЬЦИН.

Уснул. Какой отчаянный боец!
Как зла не любит, как народу предан...
С такими мы одержим наконец
Над тульским вором полную победу!

5.

День. Вид на Манежную площадь. Селезнев и Зюганов под портретом
Ленина.

СЕЛЕЗНЕВ.

Геннадий, не принять ли нам бюджет?
Ведь это крайне важно для народа.

ЗЮГАНОВ.

Ты прав, Геннадий: люди ждут побед
И коренного к свету поворота!

СЕЛЕЗНЕВ.

Насчет людей ты совершенно прав!
О них все время думаю, Геннадий:
О чаяниях их, защите прав,
Доходах, детях — раз по десять на день.
За них бюджета каждою строкой
Борюсь, не спя ночей, не видя света...
Оленевод моей ведет рукой,
Когда веду я чтение бюджета!

ЗЮГАНОВ.

Но бди, Геннадий! В этот час, когда
Вдоль всей границы затаилось НАТО,
Здесь пятая колонна без стыда
Вершит раздел страны среди разврата!

СЕЛЕЗНЕВ.

Геннадий! Коммунисты, под лучом
Рубиновой звезды, с иконой вместе,
Ведомые нетленным Ильичем,
Еще в уме, и в совести, и в чести!

ЗЮГАНОВ.

И все же я хочу тебе сказать,
Геннадий, самокритики в порядке:

Еще с тобою нам нельзя дремать —
В рядах законодательных негладко!
Такие есть, которые, когда
Колхозник пашет и пыхтит рабочий,
Жалеют депутатского труда,
В палате нижней трудятся не очень!

СЕЛЕЗНЕВ.

Геннадий, это правда. Мы должны
Все жертвовать народу для победы.
Я год уже не ужинал. А ты —
Согласен ли работать без обеда?

ЗЮГАНОВ.

Обед — полдела! Я давно уже
Практически не сплю народа ради!

СЕЛЕЗНЕВ.

Геннадий! Не принять ли нам бюджет?

ЗЮГАНОВ (*указывая на ленинский портрет, торжественно*).

Давай же спросим у него, Геннадий!

6.

Ночь. Во всех домах окна погашены, и только в Кремле несколько окон горят. В кабинете у Ельцина сидят Черномырдин, Лившиц, Чубайс.

ЕЛЬЦИН.

Я обещал отдать народу долг.
И я его отдам. Но денег нету.

ЧУБАЙС.

На Запад нам теперь ни на вершок
Надежды нет. Нам обещали в среду...

ЛИВШИЦ.

Потом сказали: транш придет в четверг,
Но только после дождичка. Простите,
Валюты нет!

ЕЛЬЦИН.

Я этот путь отверг.
Не склонится народ наш, победитель,

Пред их кредитом. Волю диктовать
Мы не позволим, ТАСС предупреждает!
(Чубайсу.) Налоги обещали вы собрать.

ЧУБАЙС.

Собрали. Еле-еле нам хватает.

ЧЕРНОМЫРДИН.

Народа много. Так велик народ,
Что прокормить его — тяжелый подвиг.

ЕЛЬЦИН.

Прокормим! Светлых дел — невпроворот,
Успехи — впереди... Вы все свободны.
(Черномырдину.) А ты останься.

Ельцин и Черномырдин остаются одни в кабинете, ровно в той же мизансцене, что и вначале. За окнами уже светает...

Виктор, друг, скажи.
Ты помнишь ли: чего мы на рассвете,
Ни на секунду веки не смежив,
Встречаем утро в этом кабинете?

ЧЕРНОМЫРДИН.

Борис, я помню! Мы хотим стране
Зарплаты выдать, чтоб врачи, ткачи ли,
Шахтер, монтер, учитель, инженер
Сполна за труд свой денег получили!

ЕЛЬЦИН.

Да, Виктор, слово я сдержу свое —
Ведь это слово, данное народу:
Придет зарплата в каждое жилье
До Нового, до следующего года!

Последние слова накрывает торжественная музыка. Титр «КОНЕЦ ФИЛЬМА». Помехи на пленке. Зажигается свет в зале. Это нетопленный сельский клуб. В полупустом зале поодиночке и парами сидят человек восемь-десять, в телогрейках и пальто, в шапках. Все молчат. Вдруг — одинокие аплодисменты. Аплодирует Козел. Все оборачиваются, и аплодисменты обрываются.

КОЗЕЛ (смущенно). А что? Мне понравилась.

1.

Утро. Ельцин пьет чай, просматривая заголовки газет.

ЕЛЬЦИН. «Повышение тарифных ставок на клиринговом рынке»... Китайская грамота. «Вурдалаки из Кремля пьют кровь рабочих». Ага, перед сном, вместо кефира. Совсем с глузду съехали. «Президенту грозит импичмент». Что-о?! *(Вчитывается в текст.)* А-а, «Президенту США грозит импичмент». Ну, это другое дело. *(Мрачнеет.)* Хотя все равно — не понял.

Продолжая читать, тянется к трубке телефона.

ЕЛЬЦИН. Алло! Степаныч? Степаныч, давай ко мне, есть разговор! И всем скажи, пускай приедут. Тут серьезное дело. *(Вешает трубку, снова берет газету, смотрит в заголовки.)* Импичмент, понимаешь! Как же я это слово не люблю, кто бы знал!

2.

В Кремле. Ельцин, Черномырдин, Немцов, Чубайс, Примаков. Куликов и Лившиц.

ЕЛЬЦИН. Читали? Про заокеанские дела-то? *(Стучит по газете.)* Секретарши какие-то... *(Примакову.)* Слушай, Максимыч, ты у нас вроде по этой части...

ПРИМАКОВ. По какой?

ЕЛЬЦИН *(строго).* По международной! Объясни, что там у них происходит? Чего они к моему другу Биллу пристали?

ПРИМАКОВ. Понимаете, он вроде как немного того... погулял.

ЕЛЬЦИН. Что ж ему, всю жизнь в помещении сидеть?

НЕМЦОВ. Он не в том смысле. Он с женщинами погулял...

ЕЛЬЦИН. Ну, с женщинами. Он же не Пенкин. Пускай себе...

ЧУБАЙС. Нельзя ему этого!

ЕЛЬЦИН. Что значит «нельзя», он же президент!

ЧУБАЙС. В том-то и дело.

ЕЛЬЦИН. Опять не понял. Всем можно, а президенту нельзя?

ЧУБАЙС. Вроде того.

ЕЛЬЦИН. Черт-те что, а не страна. *(Примакову.)* А что он там такого с нею делал-то, с секретаршей, что весь мир интересуется?

ВСЕ *(с большим интересом).* Да, да?..

ПРИМАКОВ. Ничего особенного. Так... Вольность себе позволял.

КУЛИКОВ. За вольность надо сажать. Больно много умных!

ПРИМАКОВ. Там не в этом дело.

ЕЛЬЦИН. Ты давай конкретнее, Максимыч... Что за вольность?

НЕМЦОВ. Он чисто по-мужски к ней... вроде того, как вы тогда стенографистку ушипнули, помните?

ЕЛЬЦИН. Это не вольность. Это знак внимания. А что, уже и ушипнуть никого нельзя?

ЧЕРНОМЫРДИН. Да у нас-то на здоровье! Хоть до скелета весь аппарат общипайте! А у них...

ПРИМАКОВ. У них это называется — сексуал харрастмент!

ЕЛЬЦИН. По-русски скажите кто-нибудь.

ЛИВШИЦ. По-русски, Борис Николаевич, это партком, аморалка и конец карьеры.

ЕЛЬЦИН. Господи боже мой! Из-за бабы? Просто, значит, нелюди какие-то!

ЧЕРНОМЫРДИН. Да. Станный народ.

ЕЛЬЦИН. Ну, вот что я вам скажу: долг платежом красен.

ЧЕРНОМЫРДИН. А мы все перечислили! Денег больше нет!

ЕЛЬЦИН. Ты о чем?

ЧЕРНОМЫРДИН. А вы?

ЕЛЬЦИН. Я об Америке.

ЧЕРНОМЫРДИН. Хорошо, будем помогать Америке. Как скажете.

Лившиц падает в обморок под стол.

ЕЛЬЦИН. При чем тут Америка! Хрен с ней совсем, надо

спасать друга Билла! А то, не ровен час, и вправду сгонят. Ему, значит, нужна хорошая консультация — и как можно скорее!

НЕМЦОВ. Понял. (*Снимает трубку, протягивает ее Ельцину и диктует телефон.*) Восемь. Гудок, потом десять, один, триста один...

ЕЛЬЦИН. Нет, не по телефону. Там небось тоже все насквозь прослушивают.

ЧЕРНОМЫРДИН. Серьезная страна.

ЕЛЬЦИН. Надо лично.

КУЛИКОВ. Пошлите меня.

НЕМЦОВ. Вас? С удовольствием...

ЕЛЬЦИН. Нет! К Биллу поеду я! Ему, значит, реально угрожает импичмент, а лучший специалист по борьбе с импичментом здесь сами знаете кто.

КУЛИКОВ. Готовить самолет?

ЕЛЬЦИН. Не надо, полечу так, по-простому.

КУЛИКОВ. А билеты?

ЕЛЬЦИН. А у меня в Аэрофлоте блат.

3.

Самолет летит в Америку

4.

Звездно-полосатый флажок у входа. Табличка на двери: «Belyi dom». Изнутри слышны печальные звуки саксофона.

ГОЛОС ЕЛЬЦИНА. Билли!

Музыка прерывается — и в окно выглядывает Клинтон.

КЛИНТОН (*поозиравшись*). Показалось. (*Печально.*) Элоун эт хоум. Один дома.

ЕЛЬЦИН. (*из-под окна*). Билл! Это я, твой большой друг Борис!

КЛИНТОН (*увидев*). Уау!

ЕЛЬЦИН. Держись, Билл, я с тобой!

КЛИНТОН. А я не в себе. Прости, у меня рехёсл. Репетирую.

ЕЛЬЦИН. Что-о?

КЛИНТОН. Когда меня будут гнать из этот Белый дом, я пойду работать саксофонист.

ЕЛЬЦИН. Да ладно тебе! Прорвемся.

КЛИНТОН. Ноу прорвемся. Итс финиш... Рейтинг даун на десять пункт.

ЕЛЬЦИН. Мало ли что даун. У меня рейтинг вообще за ноль зашкаливал, и ничего! Ты тут, Билл, совсем скиснешь в своей столице! Когда накрывается рейтинг, президент должен ехать в провинцию! Бери свой сексофон — и вперед. *(Озирается.)* Где тут у вас провинция?

5.

Тема в саксофоне «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Вечер. Соответствующий пейзаж. *(Может, катание на пароходике мимо статуи Свободы, может, стояние на небоскребе с видом на Манхэттен... Может, Таймс-сквер.)*

ЕЛЬЦИН. Слушай, объясни ты русским языком, как все случилось?

КЛИНТОН. Я сам донт андэрстэнд ит. Совершенно не понимать. Сначала эта крейзи вумен Пола Джонс катить на меня телегу.

ЕЛЬЦИН. Погоди, а охрана на что?

КЛИНТОН. Она катить телегу через пресса энд ти-ви...

ЕЛЬЦИН. Какое еще ти-ви?

КЛИНТОН. Через все каналы, эбсолютли!

ЕЛЬЦИН. Ты, Билли, просто как маленький, честное слово! Какое может быть ти-ви в критический момент? Перекрыть им кислород заранее, и вся любовь!

КЛИНТОН. Перекрыть кислород ти-ви? Итс импосибл!

ЕЛЬЦИН. Ничего, значит, не импосибл! Наехать на хозяев, выкрутить им отовсюду все что можно и поставить своих людей. И будет не ти-ви, а роспись по шелку. Оближут до самой харизмы... Всему тебя учить.

КЛИНТОН. Но это крайминэл!

ЕЛЬЦИН. Никакого, понимаешь, крайминэла — это кадровая политика!

6.

Возле тележки с хот-догами, которыми торгует какой-то китаец.

ЕЛЬЦИН *(прочтя надпись)*. Два черных кофе и две горячие собаки. Сдачи не надо.

КИТАЕЦ (на чистом русском). Спасибо, Борис Николаевич.

Несколько секунд с аппетитом едят.

ЕЛЬЦИН. Рассказывай дальше.

КЛИНТОН. Дальше я давать клятва на Библия, что не никогда не изменять жена...

ЕЛЬЦИН. Тут, Билли, ты прав: изменить жену невозможно. Уж какая есть, такая есть.

КЛИНТОН. Ноу! Я давать клятва, что никогда ни с кем посторонним не спать!

ЕЛЬЦИН. Совсем ни с кем?

КЛИНТОН. Эбсолютли!

ЕЛЬЦИН. Билл! Ну, ты ври, но, значит, хотя бы правдоподобно...

7.

Джаз-клуб. Ночь. Беседа продолжается под коктейли.

ЕЛЬЦИН. Ты не расстраивайся, Билл. Вумен — она вумен и есть. Черт с ними со всеми!

КЛИНТОН. Борис! Вумен — полбеда! Они ловить меня за руку на обман!

ЕЛЬЦИН. Ну и что?

КЛИНТОН. Ужасно! Президент нарушил клятва!

ЕЛЬЦИН. Насинг ужасного. Я, значит, только это и делаю. И ничего, живой. В грудь себя бил, на рельсы ложился раз пять. А уж руку на отсечение давал — у вас во всем Белом доме столько рук нет...

КЛИНТОН. А меня один раз поймать — и финиш! Импи́чмент!

ЕЛЬЦИН. Билл, ты при мне этого слова не говори. Никаких импи́чментов!

КЛИНТОН. Я тогда буду играть на саксофон... *(Достает инструмент и начинает подыгрывать музыкантам.)*

ЕЛЬЦИН. Спрячь свою дуделку! Спрячь, говорю, дуделку — и лисен сюда! Делаешь, значит, поправочку в Конституцию...

КЛИНТОН. Итс импосибл! Наша Конституция иметь всего десять поправок за двести лет!

ЕЛЬЦИН. Хорошо, убедил! Никаких поправок. Просто пи-

шесть новую Конституцию, а в ней на первой строчке, вот такими буквами — «ни-ка-кого импичмента»!

КЛИНТОН. Сенат не проголосовать такой Конституция. Невэр!

ЕЛЬЦИН. Я не понял, при чем тут сенат... У тебя танки есть? Ты, вообще, главнокомандующий — или просто так из Арканзаса приехал?

КЛИНТОН. Главнокомандующий, да.

ЕЛЬЦИН. Тогда какие проблемы? Вводишь танки, меняешь Конституцию, живешь с секретаршей.

КЛИНТОН. Итс импосибл!

ЕЛЬЦИН. Ладно, «импосибл»... Будет он мне рассказывать. У старших учись. Я себе такую Конституцию завел — не то что секретаршу, федерацию могу трахнуть, и ничего.

КЛИНТОН. Уау!

ЕЛЬЦИН. Вот тебе и «уау»! Ты, значит, давай добром скажи им — пускай закрывают расследование...

КЛИНТОН. Импосибл! Расследование ведет независимый прокурор.

ЕЛЬЦИН. Какой прокурор?

КЛИНТОН. Не-завь-и-си-мый!

ЕЛЬЦИН (после паузы). Вы тут, значит, совсем с ума сошли!

8.

Рассвет. Центральный парк. На скамейках.

ЕЛЬЦИН. А что, она симпатичная?

КЛИНТОН. Кто?

ЕЛЬЦИН. Ну, секретарша, с которой ты...

КЛИНТОН. Которая именно?

Пауза.

ЕЛЬЦИН. Все зло от женщин.

КЛИНТОН. Офкоз. Только Хиллари не говори.

Пауза. Клинтон достает саксофон и заводит печальную мелодию.

ЕЛЬЦИН. Слушай, а если чего — давай к нам. Я как раз преемника ищу... А ты вроде молодой, симпатичный, демократ... Ты демократ?

КЛИНТОН. Демократ, йес!

ЕЛЬЦИН. Ну вот и славно. Давай к нам! Вырастим тебе рейтинг, каким скажешь местом проголосуем и изберем за милую душу. Поди плохо! Женщину какую ущипнуть захочешь или чего — на здоровье, только рада будет. И никакого харрастмента... руководи себе по гроб жизни, никто тебя пальцем не тронет. Хошь на дуделке играй, хошь дирижируй... Страна у нас еще больше вашей, народ тихий, ископаемых завались, а у меня в Барвихе воздух — этот ваш Нью-Йорк кровью умоется... Ты тут на круг сколько зарабатываешь?

КЛИНТОН. Двести тысяч долларов в год.

ЕЛЬЦИН. У нас столько охрана имеет, как с куста. *(Встает.)* Пошли! Мне домой пора, у меня страна с утра не евши...

9.

Тротуар. Ельцин поднимает руку, тут же рядом притормаживает такси. Ельцин садится на переднее сиденье, Клинтон — на заднее.

ЕЛЬЦИН. Шеф! В аэропорт! *(Оборачиваясь, Клинтону.)* Значит, чуть если чего — к нам! По рукам?

Машина уезжает, и слышны последние фразы:

КЛИНТОН. Хорошо, да. Только один неприятность: я не русский. Совсем не русский, эбсолют-ли!

ЕЛЬЦИН. Напугал. Рюрик, понимаешь. Да у нас кого только не было... Шведы, поляки, немцы... Даже один грузин. Это мы как раз привыкшие!

Король Лир

(Вторая редакция)

1.

Актерский буфет. В буфете сидит Лужков и что-то ест. Звонок.

ГОЛОС РЫБКИНА В ДИНАМИКЕ. Вниманию всех занятых в спектакле. Был первый звонок!

За стол с подносом присаживается Зюганов.

ЗЮГАНОВ. Как дела?

ЛУЖКОВ. У кого?

ЗЮГАНОВ. Сам знаешь, у кого.

ЛУЖКОВ. А что?

ЗЮГАНОВ. Ну как же! После болезни — и сразу на такую роль...

ЛУЖКОВ. Короля он и без сознания сыграет!

2.

Табличка на двери: «Народный артист РФ Б. Елкин. Артист В. Черноморкин». Ельцин сидит в гримерной перед зеркалом и гримируется. Сзади расчесывает парик Черномырдин. Перед Ельциным висит афиша — «Король Лир».

ЕЛЬЦИН. (изучая афишу). Автор английский, валюта итальянская... Так запутают, хоть не играй. (*Пауза, гримируются.*) Степаныч, а что за пьеска-то?

ЧЕРНОМЫРДИН. А вы не читали?

ЕЛЬЦИН. Да, понимаешь, жизнь так сложилась, чта-а... было не до художественной литературы!

ЧЕРНОМЫРДИН. Понимаю. У самого сложилась примерно так же.

ЕЛЬЦИН. Но-о... ты пьеску-то читал? А то нам же ее играть.

ЧЕРНОМЫРДИН. Не беспокойтесь. Репертуар старый, проверенный. Все будет хорошо.

3.

За кулисами. Помреж Рыбкин дает звонок и говорит в микрофон у пульта.

РЫБКИН. Был второй звонок.

4.

В гримуборной.

ГОЛОС РЫБКИНА ИЗ ДИНАМИКА. Повторяю: был второй звонок.

ЕЛЬЦИН. Только не надо меня пугать!

5.

Табличка у окошка — «Администратор». В окошке — Чубайс.

ЗРИТЕЛЬ-КОЗЕЛ. Я старый театрал, обожаю ваш театр...

ЧУБАЙС. Вот вам — входной на третий ярус.

ЗРИТЕЛЬ-КОЗЕЛ. А оттуда сцену видно?

ЧУБАЙС. Чего вы там не видели, на сцене? И потом, у нас такой репертуар... Главное, чтобы они вас не заметили!

6.

Гримуборная.

ГОЛОС РЫБКИНА В ДИНАМИКЕ. Был третий звонок. Всех занятых в первом акте прошу на сцену! Повторяю...

ЕЛЬЦИН. Вот зануда-то. Ты готов?

ЧЕРНОМЫРДИН (*вертя в руках корону, многозначительно*). Я — давно готов...

ЕЛЬЦИН. Не трожь чужой реквизит!

ЧЕРНОМЫРДИН. Да я так только, чтобы вы не забыли...

ЕЛЬЦИН. Степаныч! У меня такая редкая форма склероза: я и чего не было — помню. Понял?

ЧЕРНОМЫРДИН. Понял.

ЕЛЬЦИН. Тогда пошли. Народ, понимаешь, заждался нашего искусства. Его хлебом не корми — дай лишний разок на меня посмотреть.

ЧЕРНОМЫРДИН. А никто и не кормит.

7.

За кулисами курит Лебедь в костюме рыцаря. Мимо проходит Куликов (пожарный).

КУЛИКОВ. Немедленно бросьте сигарету!

ЛЕБЕДЬ. Скройся, убогий!

КУЛИКОВ. Сейчас опечатаю театр — и весь Шекспир, е-мое! Брось сигарету!

8.

ЕЛЬЦИН. *(входя за кулисы).* Привет, артисты! Все собрались?

ГОЛОСА. Все, все!

ЕЛЬЦИН. А этот наш, клоун, с брызгалкой...

ЖИРИНОВСКИЙ. Я здесь, здесь!

ЕЛЬЦИН. Тогда начинаем. Ну что? Как настроение?

ЧЕРНОМЫРДИН. Премьерное.

ЕЛЬЦИН. Это пройдет. *(Рыбкину-помрежу.)* Посмотри, что там — аншлаг?

РЫБКИН *(поглядев в щелочку занавеса).* Аншлаг. Сто сорок миллионов человек.

ЕЛЬЦИН. Тогда давай.

РЫБКИН *(Ельцину).* Прошу в трон. Начинаем.

Ельцин садится в трон. Легкая суета на сцене — все пытаются занять места возле него. Слышны короткие реплики.

ЛУЖКОВ. Юноша! Вы меня перекрываете.

НЕМЦОВ. А я одаренный.

ЖИРИНОВСКИЙ. Выскочка!

ЛИВШИЦ. Опять магнитная буря началась. *(Из суфлерской ямы.)* Тише, господа! *(Зюганов встает на первом плане.)*

А вы-то куда?

ЗЮГАНОВ. Я хочу быть ближе к народу!

ЛИВШИЦ. Тогда сядьте в зал.

РЫБКИН *(из-за кулис, судорожным шепотом).* Начинаем!

ЧЕРНОМЫРДИН (*Ельцину*). Только не забудьте — пьеска в стихах!

Открывается занавес.

ЕЛЬЦИН. Действительно, аншлаг.

ЯВЛИНСКИЙ. А сколько еще успело уехать!

ЕЛЬЦИН (*Лившицу*). Давай текст.

9.

И начинается спектакль — как и предупреждал Черномырдин, в стихах.

ЛИВШИЦ. Сейчас. «Узнайте все...»

ЕЛЬЦИН.

«Узнайте все:

Мы разделили край наш на три части...»

(*Начинает импровизировать.*)

Потом еще на восемьдесят три,

Поскольку край наш, сотога размера,

Себя же, значит, шире поперек —

И чтобы тут хоть чем-то управлять,

Приходится буквально лезть из кожи:

В Москве закат, во Владике — рассвет,

В Сибири — тьма, причем и днем и ночью.

Издашь указ — покудова прочтут.

Два поколения ноги и протянут...

ЧЕРНОМЫРДИН.

Не Англия, поди.

ЛИВШИЦ.

«Ярмо забот...

Мы с наших дряхлых плеч...»

ЕЛЬЦИН.

Да ладно, помню!

«Ярмо забот мы с наших дряхлых плеч

Хотим переложить на молодые... И...»

(*Забывает текст.*)

ЛИВШИЦ.

«...доплестись до гроба налегке».

ЕЛЬЦИН.

Чего сказал?

ЛИВШИЦ.

«И доплестись до гроба...»

ЕЛЬЦИН.

Ты, значит, думай, что ты говоришь!

ЛИВШИЦ.

Так это же Шекспир!

ЕЛЬЦИН.

Возьми Шекспира

И вместе с ним иди... Сказать куда?

ЛИВШИЦ.

Не надо.

ЕЛЬЦИН.

То-то! Дальше там чего? Давай, читай.

ЛИВШИЦ.

А зрители?

ЕЛЬЦИН.

Потерпят.

ЛИВШИЦ (*читает*).

«И так как мы с себя слагаем власть,
Права на землю и правленье краем,
Скажите, дочери, мне, кто из вас
Нас любит больше, чтобы при разделе
Могли мы нашу щедрость проявить
В прямом согласье с вашею заслугой».

ЕЛЬЦИН.

Хорошенькое дело! Это я,
Выходит, в третий раз не избираюсь?

ЛИВШИЦ.

Выходит, так.

ЕЛЬЦИН.

Почарствовал, и все?

Какая-то неправильная пьеса...
Кто автор, говоришь?

ЛИВШИЦ.

Вильям Шекспир.

ЕЛЬЦИН.

А дочери?

ЛИВШИЦ.

Вот эти вот, все трое.

ЕЛЬЦИН.

И чтобы я отрекся — и шабаш?

ЛУЖКОВ.

Конечно... батя.

ЕЛЬЦИН.

Кто тебе тут батя?

ЛУЖКОВ.

Отец родной!

ЕЛЬЦИН.

Ты в зеркало взгляни!

ЧЕРНОМЫРДИН.

Да, не похож.

ЛУЖКОВ (*надевая кепку*).

А так?

ЕЛЬЦИН.

А так — тем паче!

(*Лившицу*.) Давай-ка по слогам — какой там текст?
Не спи, браток.

ЛИВШИЦ.

«Скажите, кто из вас
Нас любит больше, чтобы при разделе
Могли мы нашу щедрость проявить
В прямом согласье с вашей заслугой».

ЕЛЬЦИН.

Считайте, что-а... я все это сказал —
И дальше что?

ЧЕРНОМЫРДИН.

Преемника назначьте. Из нас троих, родимых...

ЕЛЬЦИН.

Одного?

ЧЕРНОМЫРДИН.

Покамест — да!

ЛУЖКОВ.

Теперь делите карту:

Двоим — кусок и третьему — кусок,

Страна-то, чай, не маленькая...

ЕЛЬЦИН.

Знаю.

Ну, все раздам, а дальше что?

НЕМЦОВ.

Антракт.

(Переходя на прозу.) Совершенно понятно!

10.

Антракт. Ельцин сидит в гримуборной. Из динамика — шум из зрительского фойе.

ЕЛЬЦИН. Да, забавный сюжетец вырисовывается...

ЧЕРНОМЫРДИН. Классика!

ЕЛЬЦИН *(набрав телефонный номер)*. Слушай, Саша, зайди-ка ко мне. С текстом. *(Черномырдину.)* А ты погуляй.

В глубине сцены сколачивают виселицу. В гримуборной — Ельцин и Лившиц.

ЕЛЬЦИН. Саша, ты эту пьеску читал?

ЛИВШИЦ. Читал.

ЕЛЬЦИН. Дай-ка посмотреть... Такая большая?

ЛИВШИЦ. Пять актов.

ЕЛЬЦИН. Это в моем возрасте вообще нельзя. Ну, расскажи хоть своими словами — что там дальше будет?

ЛИВШИЦ. Знаете, если честно, то ничего хорошего.

ЕЛЬЦИН. А подробнее?

ЛИВШИЦ. Подробнее надо спросить у того, кто играл эту роль раньше...

Звонок.

ГОЛОС РЫБКИНА (*из динамика*). Был первый звонок.
ЕЛЬЦИН. Позови его, Саша! Только побыстрее...

11.

В актерском буфете. Актеры едят, повторяют текст и разговаривают.
Слышны обрывки реплик.

ЖИРИНОВСКИЙ. «Их простодушием легко играть. Я вижу ясно, как их обморочить!» Шекспир, коллега!

ЯВЛИНСКИЙ. «Мне попадались лица лучше тех, которые я вижу пред собою...» Ну, это факт.

ЛЕБЕДЬ. Сам отдал власть, а хочет управлять по-прежнему... Гениально.

ЖИРИНОВСКИЙ (*жуя сосиску*). Слушай, какая интересная пьеса! Крови-то...

ЛУКАШЕНКО (*Лужкову*). Я тебе говорю: когда будешь выкалывать глаза, не торопись...

12.

В гримуборную заглядывает Горбачев.

ГОРБАЧЕВ. Специалиста по Шекспиру вызывали?

13.

Рыбкин у пульта.

РЫБКИН. Был второй звонок. Повторяю...

14.

Горбачев и Ельцин.

ЕЛЬЦИН. Вот это да! А дальше?

ГОРБАЧЕВ. Дальше — больше. Отнимут личную охрану, выселят из резиденции...

ЕЛЬЦИН. Кого? Меня?

ГОРБАЧЕВ. Ну, меня уже давно выселили. Потом, ближе к ночи, вы от всего этого немножко сойдете с ума и начнете странствовать.

ЕЛЬЦИН. Как -- странствовать?

ГОРБАЧЕВ. Ну, так... Лекции читать где попало, философствовать, рекламировать гадость всякую... Пока не поймают.

15.

РЫБКИН (*за кулисами*). Службы, все готово? Колодки, яд? Веревка, мыло? Даю третий звонок.

16.

Барабанная дробь. Занавес. Притихший зал. На сцене Ельцин и все-все-все.

ЛИВШИЦ (*из суфлерской будки*). «Седлать коней. Собрать в дорогу свиту...»

ЕЛЬЦИН. Э-э... Распрягайте, хлопцы, коней!

ЛИВШИЦ. Что?!

ЕЛЬЦИН. Ничего этого не будет. (*Общее изумление.*)

ЛИВШИЦ. А я знал. (*Закрывает книгу.*)

ЛУЖКОВ И ЧЕРНОМЫРДИН. Как это — не будет?

ЕЛЬЦИН. А так. Я передумал. Мне тут в антракте вкратце рассказали содержание... Кто вообще это все написал?

НЕМЦОВ. Шекспир.

ЕЛЬЦИН. Не морочьте мне голову! Не было никакого Шекспира! Книжки читать надо.

За кулисами уже толпятся все артисты, пожарный Куликов, администратор Чубайс...

ЧЕРНОМЫРДИН. Погодите, но мы же договаривались...

ЕЛЬЦИН. А я передумал.

ЧЕРНОМЫРДИН. Но в пьесе...

ЕЛЬЦИН. Пьеска отменяется! Никаких больше трагедий, понимаешь. И вообще... (*В зал.*) Уважаемые россияне! Я, значит, распускаю эту труппу.

БЕРЕЗОВСКИЙ (*за кулисами, Чубайсу*). Свежее решение. Мне нравится. А вам?

ЕЛЬЦИН. Тяжело расставаться с друзьями, но, значит, видеть я их больше не могу. Толик! Выйди, поклонись народу в последний раз! Тебя я, значит, пушу на электричество!

ЧЕРНОМЫРДИН. А меня?

ЕЛЬЦИН. А тебе — орден «За заслуги перед Древней Британией» второй степени и — от винта. Все пошли вон!

КУЛИКОВ. И я?

ЕЛЬЦИН. Ты — в первую очередь, е-мое!

КРИК ИЗ ЗАЛА. Верните деньги! Пять лет дурака валяли!

Свист. Ельцин жестом останавливает его.

ЕЛЬЦИН. Россияне! Денег у меня для вас нет. Честно. Слова поддержки — это всегда пожалуйста, а деньги... Я же все-таки артист, а не Рокфеллер какой-нибудь. Вот соберу другую труппу и чего-нибудь еще для вас сыграю. Вы только никуда не уходите. Спасибо за внимание!

Анна Каренина



1.

Вокзал. Ельцин ввозит в зал ожидания Кириенко, сидящего в инвалидной коляске. Нога и рука у Кириенко в гипсе, сам он в корсете.

ЕЛЬЦИН. Ну, Анюта, приехали.

КИРИЕНКО. Я не Анюта.

ЕЛЬЦИН. А кто же ты?

КИРИЕНКО. Я Сережа.

ЕЛЬЦИН. Это тебе так кажется... А на самом деле ты вылитая, понимаешь, Анюта Каренина! Правду говорю, дедуля?

На соседней лавочке молча сидит Лев Толстой.

ЕЛЬЦИН. Темный ты, дед. Книжки читать надо.

Титр: НА ПУТЯХ РЕФОРМ

2.

ЕЛЬЦИН (*у расписания*). Это я, значит, не понял... Поезд на Москву проходил?

ЧЕРНОМЫРДИН. Не было. Сам жду.

ЕЛЬЦИН. А когда будет?

ЧЕРНОМЫРДИН. Мой — в двухтысячном году.

ЕЛЬЦИН. Ну-у... Ты, значит, следи за расписанием. Может поменяться.

ЛИВШИЦ. Вы торопитесь?

ЕЛЬЦИН. Я-то уже всюду успел. (*Указывая на Кириенко.*) А вот он...

ЛИВШИЦ. А ему куда торопиться?

ЕЛЬЦИН. На рельсы.

НЕМЦОВ. Самое время ему на рельсы, совершенно понятно...

ЛИВШИЦ. Зачем же ему — на рельсы?

ЕЛЬЦИН. Ну, я там уже лежал — теперь надо дать дорогу молодым.

3.

Селезнев — дежурный по станции.

СЕЛЕЗНЕВ. Вниманию ожидающих! Фирменный поезд «Государственная Дума» прибудет на левую платформу. На левую платформу! Внесение кандидата — через товарное депо. Форма оплаты — любая. Расчленение — крупными партиями. *(Отключает микрофон, вытирает пот.)* Что-то я заговариваться начал...

4.

Зал ожидания. Ельцин кормит загипсованного Кириенко с рук.

ЛИВШИЦ. В первый раз-то, с непривычки, страшно было?

КИРИЕНКО. Очень страшно. Представляет: пятница. Стою себе на путях реформ, никого не трогаю... Вдруг из-за поворота — этот жуткий законодательный механизм. Летит, гудит, свистит... Бац! И потащило меня.

ЕЛЬЦИН. А ты чего легкий такой? Вот и потащило... Кушать надо, расти... Ну-ка, давай-ка за дедушку — ам!

КИРИЕНКО. Так ведь он здоровый!

ЕЛЬЦИН. Дедушка-то? Как никогда!

КИРИЕНКО. Я про паровоз. Этот вот механизм законодательный — он вблизи такой огромный!..

ЕЛЬЦИН. Больше меня?

КИРИЕНКО. Намного.

ЛИВШИЦ. Не может быть. Больше вас — это совершенно исключено.

БЕРЕЗОВСКИЙ *(Кириенко).* Рассказывайте дальше, интересно же.

КИРИЕНКО. Да чего рассказывать? Всего изломало. Очнулся — в голове мат, рук-ног нет, а кормилец вот этот *(на Ельцина)* сидит рядышком, изучает устройство железнодорожного узла.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Ай-яй-яй... За что же это его так, а?..

ЧЕРНОМЫРДИН. Такая работа. По себе знаю.

ЛИВШИЦ. Вы-то вроде при руках-ногах!

ЧЕРНОМЫРДИН. Отросли...

БЕРЕЗОВСКИЙ. Бедный юноша.

НЕМЦОВ. Ну, не такой уж и бедный...

БЕРЕЗОВСКИЙ. Настрадался-то как... Может, внести другого?

ЕЛЬЦИН. Куда?

БЕРЕЗОВСКИЙ. На рельсы. У меня и человек свеженький имеется... (*Рыбкину.*) Ваня, хочешь на рельсы?

РЫБКИН. Для пользы Отечества — всегда готов!

ЕЛЬЦИН. Не лезьте вы, я сам знаю, кого куда и каким местом вносить. Нашел тоже свеженького...

КИРИЕНКО. Да-да, я готов еще пострадать...

ЕЛЬЦИН. Я тебя по части рельсов ни на кого не променяю.

КИРИЕНКО. Я вам так за это благодарен!

ЕЛЬЦИН. Не стоит благодарности. Кто-то ведь должен стоять на путях реформ. Не чужой все-таки. Уж пришлили как могли...

БЕРЕЗОВСКИЙ. Кого?

ЕЛЬЦИН. Не кого, а к кому. Конечности пришлили к этому вот... юному организму — и снова на рельсы его... Ну-ка, пошевели пальчиками! (*Кириенко шевелит пальцами рук.*) Видели? Как новенький. Эх, Нюра ты моя... Что значит молодость!

5.

Красный свет семафора сменяется на зеленый. В поезде, в кабине машиниста — Зюганов, Жириновский и Явлинский.

ЯВЛИНСКИЙ. Ну что, братья-железнодорожники... Поехали?

ЗЮГАНОВ (*крестится*). С богом...

ЖИРИНОВСКИЙ. Правильно. С богом, однозначно! С богом, с богоматерью, с серпом-молотом, либерал-демократней, с Аллах-акбаром. Лишь бы не разогнали все депо.

6.

Зал ожидания.

КИРИЕНКО. А во второй раз было так: пятница.

ЧЕРНОМЫРДИН. Опять пятница?

КИРИЕНКО. Сам удивляюсь.

ЕЛЬЦИН. Традиция, понимаешь!

БЕРЕЗОВСКИЙ. И что?

НЕМЦОВ. Не томи, земляк, интересно же!

КИРИЕНКО. Значит, пятница. Стою я снова на путях реформ, никого не трогаю. Вдруг опять из-за поворота — это чудовище: гудит, свистит, пар идет... И прямо на меня!

ЧЕРНОМЫРДИН. Так ты бы помахал красным машинисту, он бы, может, и остановился!

КИРИЕНКО. У меня нет ничего красного.

ЧЕРНОМЫРДИН. Ты что, вообще не местный?

КИРИЕНКО. Так получилось. И потом: их там четыреста человек, все разные, не знаешь, каким цветом махать!

ЛИВШИЦ. Погодите. Дальше-то что?

КИРИЕНКО. Все то же. Налетело, сбило, поволокло... Очнулся — в голове дырка, шея набок, рук-ног нет, рядом сидит вот он и читает Конституцию. Вслух.

ЕЛЬЦИН. Но ведь помогло?

КИРИЕНКО. Очень. Вы не представляете, как я вам благодарен!

ЕЛЬЦИН. Не за что. Ты же у меня, в настоящий момент, один такой... на путях реформ...

ЛИВШИЦ. Бедолага.

КИРИЕНКО. Ничего, я привык.

НЕМЦОВ. Привыкаешь, совершенно понятно...

ЛИВШИЦ. И что же теперь?

ЕЛЬЦИН. Ну как тебе сказать... *(После паузы.)* У нас сегодня какой день?

ЧЕРНОМЫРДИН. Пятница.

Кириенко вдруг начинает рыдать.

ЕЛЬЦИН. Ну-ну. Ничего.

7.

Поезд едет, Зюганов напевает.

ЗЮГАНОВ. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд кровавую пищу клует под окном...» А если человек на путях — тормозить будем или как обычно?

ЯВЛИНСКИЙ. Если человек тот же, то как обычно...

ЖИРИНОВСКИЙ. Сегодня как обычно — нельзя. Отнимут паровоз.

ЯВЛИНСКИЙ. Ну и что? Пересядем на другой.

ЖИРИНОВСКИЙ. Не надо злить дедушку. Выкорчует рельсы к чертовой матери.

ЯВЛИНСКИЙ. Я бы из принципа задавил этого выскочку...

ЗЮГАНОВ. Принципы — это хорошо. Но жить тоже хочется.

ЖИРИНОВСКИЙ. Ребята, надо тормозить. Из гуманистических соображений, но за бабки. Он обещал бабки, если затормозим, все слышали!

ЯВЛИНСКИЙ. Слушайте, вы хоть что-нибудь за бесплатно делаете?

ЖИРИНОВСКИЙ. Я не шахтер. Я не врач, чтобы бесплатно... И вообще: когда за деньги — это профессия, а когда бесплатно — это разврат, разврат, однозначно!

ЗЮГАНОВ (*напевает*). «Наш паровоз, вперед лети, потом лети обратно, иного нет у нас пути, а все равно приятно...»

8.

Селезнев — дежурный по станции.

СЕЛЕЗНЕВ. Внимание! До прибытия фирменного поезда «Государственная Дума» осталось две минуты. Встречающего Кириенко — повторяю: встречающего Кириенко! — просят пройти на рельсы. (*Щелкает тумблером, надевает фуражку. От дверей.*) Бог троицу любит. (*Берет рупор и выходит.*)

9.

Ельцин везет Кириенко на рельсы. Вокруг — толпа сочувствующих.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Такой молоденький... Ай-яй-яй. Если его опять зарежут, это будет исключительно интересная комбинация...

ЕЛЬЦИН. Ничего интересного не будет, даже не надейтесь. Все будет очень скучно. Отниму паровоз, разломаю рельсы, шпалы надену на головы.

ЛИВШИЦ. Может, перевести стрелку?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Это хорошая идея, да. Плодотворная. Перевести стрелку на два часа назад и жить в Швейцарии...

НЕМЦОВ. Совершенно понятно...

БЕРЕЗОВСКИЙ. Но это крайний вариант, крайний...

ЛИВШИЦ. Я — про пути...

СЕЛЕЗНЕВ. Невозможно. Путь у нас — один. (*Пробравшись поближе к Ельцину.*) Здравия желаю!

ЕЛЬЦИН. И ты, значит, тоже будь здоров.

СЕЛЕЗНЕВ (*Кириенко*). Я буду молиться о вас.

ЕЛЬЦИН. Помолитесь о себе.

СЕЛЕЗНЕВ. Понял. (*Исчезает.*)

ЕЛЬЦИН (*Кириенко*). А ты, значит, ничего не бойся. Считай, что я мысленно с тобой. Этот раз будет последним, это я тебе обещаю...

НЕМЦОВ. Последним, совершенно понятно...

Гудок поезда.

ВСЕ. Едет, едет!

ЕЛЬЦИН. Ну, счастливо оставаться... Нюра ты моя...

Все, как зрители в театре, занимают места на перроне и у окон. Поезд приближается.

СЕЛЕЗНЕВ (*кричит в рупор*). Эй, на паровозе! Не забудьте затормозить!

ЯВЛИНСКИЙ (*высовываясь из окна*). Тормоза придумали трусы!

Поезд мчится, из него слышны голоса.

ЗЮГАНОВ. Уйди, невменяемый! Не мешай делать большую железнодорожную политику! Убери руки от кнопок!

ЯВЛИНСКИЙ. Но это же позор!

ЖИРИНОВСКИЙ. Мы не лохи: мы нажмем на тормоз тайно и никому не скажем, кто это сделал....

ЯВЛИНСКИЙ. Задавлю из принципа!

ЗЮГАНОВ. Убери руки!

Скрежет тормозов. Крики на перроне. Звон стекла. Тишина. Вокруг паровоза — разбросанные тела Зюганова, Жириновского и Явлинского. Из-под паровоза торчит кресло-каталка, в котором сидел Кириенко. Рядом стоят Ельцин и Селезнев.

ЕЛЬЦИН. С приехалом вас.

ЖИРИНОВСКИЙ. И вас тем же консенсусом по тому же месту.

ЕЛЬЦИН. Я что-то не понял... А где реформатор?

ЯВЛИНСКИЙ. Ваш реформатор, вы и ищите.

ЕЛЬЦИН. Ага! Вот он. (*Поднимает с земли голову Кириенко.*) Ну, как самочувствие?

ГОЛОВА КИРИЕНКО. Как всегда.

ЕЛЬЦИН. Какие-нибудь мысли насчет выхода из кризиса появились?

ГОЛОВА КИРИЕНКО. Штук семь-восемь.

ЕЛЬЦИН (*с гордостью*). Голова!

СЕЛЕЗНЕВ. Не то слово.

Через окно зала ожидания все это наблюдают Толстой и Черномырдин.

ТОЛСТОЙ. Кажется, выжил... Повезло.

ЧЕРНОМЫРДИН. Погоди, дед. Все впереди. Еще сто раз задавят.

ТОЛСТОЙ. Зачем такого давить? Ему пахать и пахать...

ЧЕРНОМЫРДИН. Вот что я скажу тебе, дедуля. Все счастливые правительства счастливы одинаково, каждое несчастливое несчастливо по-своему.

Титры под «Попутную песню» Глинки: «Поезд мчится в чистом поле...»

Субъекты Федерации



1.

Утро. Кириенко заглядывает в дверь к Ельцину. Тот сидит у окна с карандашом в руках.

КИРИЕНКО. Можно?

ЕЛЬЦИН. Входи, только тихо. Так... Значит, башня Спасская — одна. Ворота одноименные — одни. Звезда пятиконечная, часы механические с боем...

КИРИЕНКО. Борис Николаевич!

ЕЛЬЦИН. Не мешай! Стена кремлевская — одна. Мавзолеев — один, тело внутри — одно, тьфу-тьфу-тьфу... Часовых ни одного. *(Карканье за окном.)* Ворон — семь.

КИРИЕНКО. Борис Николаевич... Вы чего?

ЕЛЬЦИН. Никому нельзя верить!

КИРИЕНКО. Мне — можно.

ЕЛЬЦИН. Тогда, значит, помощи считать ворон.

КИРИЕНКО. Зачем?

ЕЛЬЦИН. Затем, что я хочу знать правду о родной стране! Сколько в ней чего. Статистики, оказывается, всё врал! Их всех посадили, слышал?

КИРИЕНКО. Не всех.

ЕЛЬЦИН. Которые на свободе, пускай считают на себе мурашки! А я хочу по-честному! Полная инвентаризация России! Чтоб без обману! *(Глядя за окно.)* Минин — один, Пожарский — один... Лобное место — одно. Как думаешь, второе построить?

КИРИЕНКО. Зачем?

ЕЛЬЦИН. Для статистиков. Ладно, пошли!

КИРИЕНКО. Куда?

ЕЛЬЦИН. На кудыкину гору! Обсчитывать Родину!

2.

На Манежной площади. Громко звучит песня «Москва! Звонят колокола...».

ЕЛЬЦИН. Ну что — начинаем?

КИРИЕНКО (*вздыхая*). Давайте...

ЕЛЬЦИН. Записывай. Площадь Манежная — одна. (*Косясь на репродуктор.*) Газманов — один. Георгий Победоносец — один, копьё — одно, змей — один, Иван-царевич — совсем один!

КИРИЕНКО. А лягушка?

ЕЛЬЦИН. Нету лягушки!

КИРИЕНКО. Почему?

ЕЛЬЦИН. Не знаю! Французы съели. Так... Фонтан, бассейн...

Из-за угла появляется Лужков.

ЛУЖКОВ. Добрый день.

ЕЛЬЦИН. О! Лужков.

КИРИЕНКО (*записывая*). Лужков — один?

ЕЛЬЦИН. Один.

КИРИЕНКО. Записал.

ЛУЖКОВ. Я чего-то не понял...

ЕЛЬЦИН. Инвентаризация, Юрь Михалыч!

ЛУЖКОВ. А-а... Хорошая мысль! А то разворовали все.

ЕЛЬЦИН. Кто разворовал?

ЛУЖКОВ. Да уж не я! Я-то, наоборот, приумножаю богатство.

КИРИЕНКО. Простите, а вы чье богатство приумножаете?

ЛУЖКОВ. А вот это не ваше дело!

ЕЛЬЦИН. Владиленыч, пошли отсюда. Тут считай, не считай... все схвачено! Двинем лучше в глубинку...

3.

Берег Волги, памятник Чкалову на набережной. Музыкальная тема «Издалека долго...».

ЕЛЬЦИН. Приплыли.

КИРИЕНКО. Что?

ЕЛЬЦИН. Я говорю: продолжаем инвентаризацию. Ты готов?

КИРИЕНКО. Всегда готов!

ЕЛЬЦИН. Пиши. Город Нижний Новгород — один. Великая русская река — одна. Берегов — два. По реке плывет топор из села Чугуева. Записал? Шутка! Пиши: народу уйма, мэра ни одного. Обл, значит, избирком, тюрьма, Климентьев, Чкалов — всего по одному... (*Через паузу.*) Как ты думаешь, почему люди не летают, как птицы?

КИРИЕНКО. Дел по горло.

ЕЛЬЦИН. Правильно.

4.

Едут на телеге по раздолбанной дороге. В транзисторе — тема «Ехали на тройке с бубенцами...». Телсга завалена бумагами. Кириенко не переставая пишет под диктовку. Ельцин, тыча пальцем, инвентаризирует...

ЕЛЬЦИН. Дорога проселочная — одна, лес лиственный — один, птичка божия — одна, муравейник — один. Муравьев считать будем?

КИРИЕНКО. Как скажете.

ЕЛЬЦИН. Хорошо! Пиши — три тысячи четыреста семьдесят, значит, два муравья.

КИРИЕНКО. Точно?

ЕЛЬЦИН. Не веришь — пересчитай.

КИРИЕНКО. Верю.

ЕЛЬЦИН. Деревня Угребино. Домов — девятнадцать, из них с крышами — семь, пруд — один, рыбаков с удочками — девять, рыбы — ни одной, стоков канализационных — два, бабушка на велосипеде пьяная — одна. Что-то мы с тобой совсем в глубинку заехали, Владиленыч!

КИРИЕНКО. Это у нас еще только третий субъект Федерации.

ЕЛЬЦИН. А всего их сколько?

КИРИЕНКО. Восемьдесят девять.

ЕЛЬЦИН. Замучаемся считать! Эх... Ладно! Столбов телеграфных — пять, проводов — два, поле — одно, в нем мужик с сохой и лошастью — один. Эй! Колхозник!

«Колхозник» оборачивается. Это Лев Толстой.

ЕЛЬЦИН. Крестьянин! Ты чего, один пашешь? А где, значит, остальные пейзажи?

ТОЛСТОЙ. В аграрной партии, барин!

ЕЛЬЦИН (*Кириенко*). Записывай: аграрная партия — одна. Ты Родиной гордишься?

КИРИЕНКО. Все больше и больше.

5.

В степи, верхом на лошадях, в калмыцких шапках.

ЕЛЬЦИН. Куда это мы заехали?

КИРИЕНКО. В Калмыкию...

ЕЛЬЦИН. Где это?

КИРИЕНКО. По карте: от Москвы полметра вправо и вниз.

ЕЛЬЦИН. Вспомнил. Пиши: степь — одна, юрты — четыре, лошадей — восемь... Солнце считать будем?

КИРИЕНКО. Скажете — посчитаем.

ЕЛЬЦИН. Солнце — одно, «Линкольн» белый — тоже один. Слушай, откуда здесь «Линкольн»?

6.

Посреди степи действительно стоит «Линкольн». Опускается стекло, и оттуда появляется лицо Илюмжинова.

ИЛЮМЖИНОВ. Добро пожаловать в буддийскую республику!

ЕЛЬЦИН. Куда?

КИРИЕНКО. Я же вас предупредил — мы в Калмыкии.

ЕЛЬЦИН. Погоди, но... Это Россия?

КИРИЕНКО. Как считать. С одной стороны — да. А с другой...

ЕЛЬЦИН. Давай считать с той стороны, с которой Россия.

КИРИЕНКО. Тогда — четырнадцать миллиардов.

ЕЛЬЦИН. Чего четырнадцать миллиардов?

КИРИЕНКО. Рублей, из федерального кредита. Где-то тут пропало, в районе этого «Линкольна».

ЕЛЬЦИН. Он правду говорит?

ИЛЮМЖИНОВ. Уже не помню. Миллиардом больше, миллиардом меньше... Большая страна, зачем мелочиться? Махнем в шахматшки?

ЕЛЬЦИН. Я, значит, не по этой части. Ракеткой теннисной по голове — могу, только попроси. (*Кириенко*.) Чего тут дальше со статистикой?..

КИРИЕНКО. Дальше сплошные прочерки. Суд — прочерк, парламент — прочерк, свободная пресса — прочерк... Ничего нет, только вот этот друг степей на своем «Линкольне».

ЕЛЬЦИН. А люди? Люди тут, вообще, как живут?

ИЛЮМЖИНОВ. Как в сказке. По «Степному уложению»...

ЕЛЬЦИН. Что?

КИРИЕНКО. Это тут Основной Закон такой, вместо Конституции, — «Степное уложение»!

ЕЛЬЦИН. Вместо моей Конституции?

КИРИЕНКО. Ага.

ЕЛЬЦИН. Я все-таки не понял: это Россия или не Россия? Субъект Федерации — или не субъект?

КИРИЕНКО. Это субъект. Еще какой...

ИЛЮМЖИНОВ. Ну, я поехал. Будут трудности с деньгами — звоните. *(Стартует и исчезает.)*

ЕЛЬЦИН. Он, конечно, своеобразный человек, но зато меня иногда поддерживает. Я же такой, понимаешь, поддерживаемый президент...

7.

Север. Едут на оленях.

ЕЛЬЦИН. Простор! *(Поет.)* «Мы поедем, мы помчимся...» Эх, велика Россия, а в морду дать некому! Пиши! Оленей — пятьсот копыт, собак — пятнадцать штук, ненцев — семь человек, водки — четыре ящика. Северное сияние — одно. Записал?

КИРИЕНКО. Записал.

ЕЛЬЦИН. Теперь сложи. Сколько всего получилось?

КИРИЕНКО. Много.

ЕЛЬЦИН. Быстро складываешь... Будешь у меня главным статистом!

КИРИЕНКО. Статистиком.

ЕЛЬЦИН. Это как получится... Не отвлекайся. Тундра, значит, одна, юрт — семь... Слушай, а кто у нас представляет малые народы в парламенте?

КИРИЕНКО. Малые народы и представляют.

ЕЛЬЦИН. Ну, например?

КИРИЕНКО. Агинцев и бурят, например, Кобзон представляет.

ЕЛЬЦИН. А-а... А вот этих вот... собаководов?

КИРИЕНКО. Сейчас не знаю, а скоро от них будет Виктор Степаныч.

ЕЛЬЦИН. Забавно, однако. Вот, понимаешь, страна неограниченных возможностей!.. Ты ею гордишься?

КИРИЕНКО *(со вздохом)*. Горжусь.

ЕЛЬЦИН. То-то!

8.

В тайге. Стоят на круче у Енисея.

ЕЛЬЦИН. Вот она, настоящая Сибирь-матушка! Ею Россия прирастать будет, это я тебе говорю! Записывай: на север — тайга на четыре Франции, потом тундра на сто восемнадцать Голландий. АО «Норильский никель» — одно, река Енисей — одна, город Красноярск — один...

ЛЕБЕДЬ *(возникая за спиной)*. Здорово, мужики!

ЕЛЬЦИН. Привет.

КИРИЕНКО. Добрый день.

ЛЕБЕДЬ. Не уверен. Туристы?

ЕЛЬЦИН. Инвентаризация.

ЛЕБЕДЬ. Не советую. Любоваться природой — на здоровье, край наш красивый. А записывать ничего не надо. Здесь вам не тут. Это все теперь мое.

ЕЛЬЦИН. Как это — ваше? Вы, значит, объясните!..

ЛЕБЕДЬ. Туристы! Я вам все объясню. Но позже. Года через два. А пока — наслаждайтесь видами, дышите воздухом. С огнем осторожнее. Понятно? Записывать — не надо. *(Обращаясь к Кириенко.)* Как фамилия?

КИРИЕНКО. Кириенко.

ЛЕБЕДЬ. Хохол?

КИРИЕНКО. Примерно.

ЛЕБЕДЬ. Тогда договоримся.

ЕЛЬЦИН. Слушай, мы в России или где?

КИРИЕНКО. Или где.

9.

Вечер. Стоят на берегу Тихого океана.

ЕЛЬЦИН. Ну вот, дошли. Край земли русской. Самый что ни на есть край, дальше некуда! Записывай: океан Тихий.

соленый — один, сопок крутых — двести шесть, шахтеров голодных — сто тысяч, денег — ноль, воды — ноль, света — ноль... Чтобы, значит, ничего не отвлекало от мыслей.

КИРИЕНКО. Японию считать будем?

ЕЛЬЦИН. А где она?

КИРИЕНКО. Вон, на горизонте.

ЕЛЬЦИН. Какая маленькая! Эх, повезло другу Рю! Из резиденции скомандуешь чего-нибудь — полстраны оглохло. Ногой топнешь — землетрясение. Управлять небось одно удовольствие! А у нас под Барнаулом одна деревня напилась в стельку в честь победы над Бонапартом — только сейчас узнали, понимаешь...

10.

У костра. Ночь.

ЕЛЬЦИН. Ну, Владиленыч, вроде бы все сосчитали. Красота! Сколько, говоришь, у нас субъектов этих Федерации?

КИРИЕНКО. С Чечней — восемьдесят девять!

ЕЛЬЦИН. Ты еще Эфиопию посчитай... А таких, нормальных?..

КИРИЕНКО. Это смотря у кого какая норма.

ЕЛЬЦИН. Понимаю. А все вместе — Россия! Правильно?

КИРИЕНКО. Пока да.

ЕЛЬЦИН. Ты — гордишься?

КИРИЕНКО. Из последних сил!

Елкин и Сальери



1.

Кабак. За отдельными столиками сидят разные Сальери. Их монологи к концу сплетаются в один страстный монолог...

ЗЮГАНОВ.

Все говорят: нет правды на земле.
Но на земле хоть есть печатный орган
С подпискою! А выше — точно: нет!
Родился я с любовью к народу.
Ребенком будучи, когда высоко
Звучал наш гимн в убогом клубе сельском,
Я слушал и заслушивался — слезы
Невольные, но сладкие текли.
Отверг я рано праздные забавы.
Науки, чуждые обкома, были
Постылы мне. Я счастье населенью
Пайком законным выдать захотел.
Я сделался инструктором. Пальцам
Придал послушную сухую беглость —
И докторскую высидел. Я басом
Лет двадцать о народе говорил.
Бывало, что язык от долгой речи
Распухнет так, что мамочки мои!
Но я терпел. Потом великий глюк
Явился и открыл мне, что пора мне —
На самый верх пора, на Мавзолей.

ГОРБАЧЕВ.

Я бросил тотчас все, что прежде знал,
Чему служил, во что, у целом, верил,
Забил на Карла Маркса с Ильичем —
Безропотно, как тот, кто заблуждался,
Кто Тэтчер послан в сторону иную...

ЛЕБЕДЬ.

Усильным, напряженным отжиманьем
Я наконец, упавши с командармов,
Достигнул степени высокой. Слава
Мне улыбнулась. Я в сердцах людей
Нашел созвучия своим командам...

ЯВЛИНСКИЙ.

Я счастлив был.
Я наслаждался мирно
Своим умом... но, правда, в одиночку
Поскольку тут — кому тут оценить?

ЖИРИНОВСКИЙ.

Нет, никогда я зависти не знал!
Ни когда Горби гадкий, однозначно,
Пленить умел слух диких парижан,
Ни в день, когда услышал в первый раз
Я звуки генеральской контроктавы...

ЗЮГАНОВ.

Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным?
Никто не скажет. Струсит. Сам скажу:
Мучительно завидую! О небо,
Где ж правота, когда кремлевский полк...

ГОРБАЧЕВ.

Когда спецсвязь, Барвиха...

ЖИРИНОВСКИЙ.

Стол с харчами!..

ЛЕБЕДЬ.

Орел двуглавый, с кнопкой чемодан...

ЗЮГАНОВ.

Все падает на голову безумца,
Гуляки праздного... О Елкин, Елкин!

ЕЛЬЦИН (входя с куском динамита в руке).

Увидели. А мне хотелось
Вас всех внезапной шуткой угостить.

ЖИРИНОВСКИЙ.

Не надо ваших шуток!

ЕЛЬЦИН.

Почему?

ЖИРИНОВСКИЙ.

Оглохнуть можно.

ЕЛЬЦИН.

Тоже мне Бетховен... *(Тушит шнур.)*

Вы что, без чувства юмора совсем?

Но все равно! Я давеча услышал

В пресс-службе, как убогий мой толмач

Мои слова пытается народу

Переводить... Ну, это чистый цирк! *(Хлопает в ладоши.)*

Входит Ястржембский со скрипкой.

ЕЛЬЦИН.

Из Елкина нам что-нибудь. Давай!

Ястржембский играет фальшивое попури, в котором слышатся темы из гимнов России и СССР — и «Мурка»... Ельцин смеется.

ЗЮГАНОВ

И ты смеяться можешь?

ЕЛЬЦИН.

Ах, Сальери! Ужели сам ты не смеешься?

ЗЮГАНОВ.

Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный

Мне пачкает картину Глазунова!

Мне ~~не~~ смешно, когда фигляр презренный

Пародией бесчестит Михалкова!

(Ястржембскому.) Уйди совсем.

ЕЛЬЦИН.

Постой же. Вот тебе.

Пей за мое здоровье... *(Вот ведь дожил —*

Другие за мое здоровье пьют!)

Иди домой.

Ястржембский уходит.

ЗЮГАНОВ.

Что ты еще принес?

ЕЛЬЦИН.

Нет, так... Безделицу. Намедни ночью

Моя бессонница меня томила
И в голову пришли мне две-три мысли...

ЯВЛИНСКИЙ.

Гони их в шею!

ЕЛЬЦИН *(стуча по голове).*

Музыка, братки,
Такая там играет — нот не хватит,
Чтоб этот вальс собачий передать!
Смесь фуги, понимаешь, с «Варшавянской»,
Газманов с Мурадели пополам.
То Хренников, то группа «Квин», а на ночь
Кобзон — и все вот в этой голове!

ЗЮГАНОВ.

Ты, Елкин, бог — и сам того не знаешь.

ЕЛЬЦИН.

Я знаю это. Уж чего-чего,
А это знаю крепко!

ЖИРИНОВСКИЙ.

Он бессмертный.

ГОРБАЧЕВ.

Посмотрим.

ЛЕБЕДЬ.

Глазки слипнутся смотреть...

ЗЮГАНОВ.

Да, кстати! Не поужинать ли вместе
С тобою нам, бессмертный Амудей?

ЕЛЬЦИН.

Я на диете...

ЯВЛИНСКИЙ.

Дьявол с ней, с диетой!

ГОРБАЧЕВ.

С тобой хочу поужинать!

ЛЕБЕДЬ.

И я!

ЖИРИНОВСКИЙ

Мы все хотим поужинать с тобою!

ЕЛЬЦИН.

Уговорили, милые. Приду.

ЖИРИНОВСКИЙ

Халява, братцы! Елкин угощает.

Ельцин уходит.

ЗЮГАНОВ.

Я избран, чтоб его остановить.

ЛЕБЕДЬ.

Нет, избран я!

ЯВЛИНСКИЙ.

И я.

ГОРБАЧЕВ.

И я был избран!

ЯВЛИНСКИЙ.

Не то мы все погибли...

ЖИРИНОВСКИЙ.

Ну, не все...

ЗЮГАНОВ.

Вот яд, последний дар моей гэбухи...
С ГКЧП ношу его с собою,
И часто всыпать я его хотел
Товарищам по партии, и часто
Товарищи хотели всыпать мне,
Но никогда ничё не получалось...
Теперь — пора. Заветный дар ГБ,
Переходи сегодня в рюмку водки!

2.

Ресторан. Таблички на столе: «Сальери», «Сальери», «Сальери» — и табличка во главе стола: «Елкин».

ЗЮГАНОВ.

Что ты сегодня пасмурен?

ЕЛЬЦИН.

Я? Нет.

ЗЮГАНОВ.

Я не слепой.

Чем ты, мой друг, расстроен?

Обед хороший, славный коллектив,

А ты молчишь и хмуришься.

ЕЛЬЦИН.

Признаться,

Мой реквием меня тревожит.

ВСЕ.

А?!

ЗЮГАНОВ.

Ты сочиняешь реквием?

ЕЛЬЦИН.

Не то чтоб

Я сам... Но восемь лет кропаю гимн,

А все, однако ж, реквием выходит...

Такой вот музыкальный, блин, момент!

Но то я сам, а тут кошмарный случай...

Не слышали? Играл я на полу

С моим премьером. Знаете, такой

Смышленный...

ЯВЛИНСКИЙ.

Знаем, знаем...

ЕЛЬЦИН.

Вдруг позвали.

Я вышел. Человек какой-то черный

(Шахтер, наверно) громко заказал

Мне реквием — и скрылся.

ЛЕБЕДЬ.

Так спасибо

Скажи, что заказали не тебя,

А реквием!

ЯВЛИНСКИЙ.

И что?

ЕЛЬЦИН.

Назавтра тот же
Пришел и под окном всю ночь шумел
И требовал зарплаты прошлогодней.
Как будто, понимаешь, я кассир!
Потом еще пятнадцать тыщ шахтеров,
Голодные, под окна подошли —
Все черные! — и касками стучали,
И проклинали весь наш Госконцерт!
Вот музыка пошла какая...

ЗЮГАНОВ.

Полно,
Рассей пустую думу! Полозков
Говаривал мне: слушай, брат Андреич,
Как толпы черные к тебе придут.
Откупори шампанское с ОМОНОм
Иль перечти «Архипелаг ГУЛАГ».

ЕЛЬЦИН.

Да! Полозков ведь был тебе приятель...
Он часть партийной кассы отчинил —
Тебе, мой друг... Тут есть один мотив,
Довольно интересный прокурору...
Статья иль срок... Да! правда ли, Сальери,
Что наш Кирсан кого-то отравил?

ЯВЛИНСКИЙ.

Не думаю, чтоб сам.

ЕЛЬЦИН.

Ведь он же гений!

ЖИРИНОВСКИЙ *(уточняет)*.

Как ты да я.

ЕЛЬЦИН.

...А гений и злодейство —
Две вещи несовместные.

ЗЮГАНОВ.

Ага.

Сыплет яд в бокал Ельцину. Все остальные тоже сыплут яд Ельцину.

Ну, пей же.

ЛЕБЕДЬ.

Пей скорее!

ЕЛЬЦИН.

Вы чего?

Я ж завязал! Ни-ни. Теперь ни грамма.

Ну, максимум боржом.

ЖИРИНОВСКИЙ.

Приплыли. Он

Тут будет сочинять еще лет двадцать!

ЛЕБЕДЬ.

Не доживу.

ЕЛЬЦИН (*Зюганову*).

Ты плачешь?

ЗЮГАНОВ (*падая на колени*).

Выпей, друг!

ЕЛЬЦИН.

И не проси! Наина не велела.

ЯВЛИНСКИЙ.

Додирожировался...

ЖИРИНОВСКИЙ.

Стопаря прими и не греши! А мы не скажем.

Разок-то можно... Слушай, люди ждут!

ЕЛЬЦИН.

Эх, ладно! Уломали! Ну, по первой —

За весь наш композиторский союз.

Связующий Моцартов и Сальерей

На радость местной публики.

Пьет.

ЖИРИНОВСКИЙ (*шепотом*).

Кранты.

Он это выпил!

ЯВЛИНСКИЙ.

Засекайте время.

ЕЛЬЦИН (*нюхая стакан*).

Что это, братцы, за лесоповал?
А впрочем, черт с ним! Раз такое дело —
Сейчас сыграю!.. (*Сидящему рядом.*) Уши заложил.

Достает из-под стола гармонь и рвет мехи. Дикая какофония на тему «Ах вы сени мои, сени!». Явлинский рыдает.

ЕЛЬЦИН.

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии... Но нет, тогда б не смог
И мир существовать — с ума бы спятил!
Что значит — композиторский талант!
Нас мало избранных, счастливых праздных,
Притом — законно избранных... (*Зевает.*) Ну, все.
Пойду просплюсь! (*Кивая на бокал.*)
Завязывайте с этим. (*Уходит.*)

ГОРБАЧЕВ.

Спокойной ночи, в целом, и бай-бай.

ЗЮГАНОВ (*мрачно*).

«Пойду просплюсь...» Ну что же, ты заснешь
Надолго, Елкин... Это обещаю —
Надолго, очень...

ЛЕБЕДЬ.

Да! Три дня проспит
Как минимум. Потом опять начнется.

ЖИРИНОВСКИЙ (*нюхая стакан, из которого пил Ельцин*).

Эх, черт возьми! Какой коктейль пропал!



1.

Утро. Разнорабочие — Козел и Свинья — снимают указатель «Горки-9» и переговариваются в процессе работы.

КОЗЕЛ. Не, ну я не понимаю... Такая хорошая была названия. И цифра при ней...

СВИНЬЯ. Ты что, арифметикой увлекаешься?

КОЗЕЛ. Да боже упаси!

СВИНЬЯ. А зачем тебе цифра?

КОЗЕЛ. Для порядку! Горки-девять, «Союз-один», Арзамас-шестнадцать...

СВИНЬЯ. При чем тут Арзамас? Доллар — шестнадцать! А Арзамаса скоро вообще никакого не будет!

КОЗЕЛ. Не, но почему вдруг новая названия-то? И без цифры?

СВИНЬЯ. Не твое свинячье дело, козел! Давай прибивай.

И, сняв табличку «Горки-9», они привинчивают к столбу новую:
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА».

2.

Перед зеркалом стоит Ельцин. У него огромные кустистые седые брови и седая же борода. В общем, вылитый Лев Толстой.

ЕЛЬЦИН. Батюшки мои! Вот это да!

ОТРАЖЕНИЕ. Да, да, нет, да!

ЕЛЬЦИН. Что-то я это... дописался... И то сказать: помоложе был — писчую бумагу пачками шаршил! Что ни указ, то роман. А теперь — одна устная речь осталась. *(Жалуясь.)* Не могу молчать. Все говорят: помолчи уже! А я не могу.

ПРИМАКОВ (входя). Доброе утро, Лев Николаевич!

ЕЛЬЦИН. Кто Лев?

ПРИМАКОВ. Вы Лев.

ЕЛЬЦИН. Я — Борис Николаевич!

ПРИМАКОВ (*уклончиво*). Хозяин — барин.

ЕЛЬЦИН. А вы кто?

ПРИМАКОВ. Я — новый управляющий вашего имения.

ЕЛЬЦИН. Моего имения? Ах, ну да... И как дела в имении?

ПРИМАКОВ. Полный дефолт.

ЕЛЬЦИН. Вы, значит, не ругайтесь, а скажите по-русски.

ПРИМАКОВ. Имение в долгах. Но — не беспокойтесь. Я привел с собой таких профессионалов...

ЕЛЬЦИН. А раньше кто управлял? Любители?

ПРИМАКОВ. Еще какие любители. (*Кричит в сторону двери.*) Входи!

ГЕРАЩЕНКО (*входя*). Добрый день, граф!

ЕЛЬЦИН. Кто граф?

ГЕРАЩЕНКО. Ну не я же.

ПРИМАКОВ. Это наш главный специалист по наличности. Сейчас он вам все покажет.

ГЕРАЩЕНКО (*бухает на стол амбарные книги*). Следите за руками, граф: вот дебет, вот кредит... Видите эту цифру — вот эту, видите?

ЕЛЬЦИН. Погоди ты, от ноликов в глазах рябит. Что это?

ГЕРАЩЕНКО. Это долг.

ЕЛЬЦИН. Мой долг?

ГЕРАЩЕНКО. Он самый.

ЕЛЬЦИН. Зачем ты меня расстраиваешь с утра? Я великий человек, совесть нации, а ты, значит, со своими ноликами... И что же делать?

ГЕРАЩЕНКО. Что делать, это вы у Чернышевского спросите, но, если сейчас срочно кого-нибудь потолще не придушить, мы на одних процентах удавимся.

ЕЛЬЦИН. Вообще-то я против насилия...

ГЕРАЩЕНКО. Вообще-то я тоже против. Но сейчас обязательно надо кого-нибудь придушить.

ЕЛЬЦИН. Кого?

ГЕРАЩЕНКО. Да хоть кого! Вот список здешних банкиров — все милейшие люди...

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Барин! Врач пришел.

ЕЛЬЦИН. К кому?

3.

СЕЛЕЗНЕВ (*входя*). Я к вам, голубчик, к вам!

ЕЛЬЦИН. Но я не болен!

СЕЛЕЗНЕВ. Ну откуда вам знать заранее?

ЕЛЬЦИН. Я отлично себя чувствую!

СЕЛЕЗНЕВ. Это галлюцинация. А вот мы сейчас созовем независимую экспертизу — послушаем вас, посмотрим, пощупаем...

ЕЛЬЦИН. Я, значит, никому не позволю себя щупать! Я вам не курица!

СЕЛЕЗНЕВ. Надо, батенька. Ну что вы как маленький. Вы же у нас один.

ЕЛЬЦИН. Вам одного мало?

СЕЛЕЗНЕВ. Вы не наличность, вас мало не бывает. Просто вам уже нельзя управлять именем! Это вредно!

ЕЛЬЦИН. Кому вредно?

СЕЛЕЗНЕВ. Имению.

ЕЛЬЦИН. А кто же им, по-вашему, должен управлять?

СЕЛЕЗНЕВ. Эту проблему наша экспертиза решит. Имеются законные наследники...

ЕЛЬЦИН. Нет у меня наследников!

ПРИМАКОВ. Погодите, вы же вроде сами назначали...

ЕЛЬЦИН. Сам назначил, сам и снял. Один я. Великий писатель земли русской! Пока всех, понимаешь, тут не попишу, буду управлять!

СЕЛЕЗНЕВ. Не спорьте, больной. Наш консилиум дает вам гарантии безопасного путешествия пешком до станции Астапово.

ЕЛЬЦИН. Какое еще Астапово?

ПРИМАКОВ (*доставая карту*). А, это здесь, недалеко. Тульская железная дорога...

ЕЛЬЦИН. На рельсы я больше не лягу, и не просите. Я вам, понимаешь, не Анна Каренина!

СЕЛЕЗНЕВ. Вы, конечно, местный классик, но медицинскую комиссию мы все-таки соберем. Только не волнуйтесь. Там у нас такие светила — что ни доктор, то диагноз!

ЕЛЬЦИН. Вон отсюда!

СЕЛЕЗНЕВ. Ухожу за медперсоналом.

В дверях сталкивается с урядником — Степашиным.

СЕЛЕЗНЕВ. Добрый день, коллега. Как здоровье?

СТЕПАШИН. Спасибо.

СЕЛЕЗНЕВ. Руки не чешутся? (*Уходит.*)

4.

ЕЛЬЦИН. Слушай, хорошо, что ты пришел. А то просто спасу нет!

СТЕПАШИН. Добрый день, барин! В чем проблема?

ЕЛЬЦИН. Да вот — медицина эта! На железнодорожную станцию пешком выгоняют.

СТЕПАШИН. Уже?

ЕЛЬЦИН. Да! Хотят отрешить от имения. Говорят: несостоятельный я.

ГЕРАЩЕНКО (*заинтересовавшись*). А вы состоятельный?

СТЕПАШИН (*кивая на Геращенко*). Который медицина? Этот?

ЕЛЬЦИН. Не этот. А вон тот, с саквояжем!

СТЕПАШИН. Догнать?

ЕЛЬЦИН. Не надо.

СТЕПАШИН. А то вы только свистните.

ЕЛЬЦИН. Куда еще свистеть? И так денег нет!

СТЕПАШИН. Я как раз насчет этого и зашел, барин...

ЕЛЬЦИН. У тебя есть деньги? Слушай, дай займы, а то у меня тут дефолт запущенный...

СТЕПАШИН. Вам — с удовольствием. Как только появятся деньги — с удовольствием.

ЕЛЬЦИН. А ты недоимки собери!

СТЕПАШИН. Не с кого, барин. Народишко уже совсем разутый...

ЕЛЬЦИН. Ну и правильно. Опрощаться надо.

СТЕПАШИН. Они уже и так опростились дальше некуда. Вегетарианцами стали...

ЕЛЬЦИН. Вот и хорошо!

СТЕПАШИН. Еще бы не хорошо: второй год на подножном корму. (*Тихо.*) Боюсь, наследнички ваши народишко-то взбунтуют.

ЕЛЬЦИН. Ты что? Серьезно, что ли?

СТЕПАШИН. Ага. Осеннее наступление крепостных. С лозунгами.

ЕЛЬЦИН. И — какие лозунги?

СТЕПАШИН. Знаете, я лучше в письменном виде...

ЕЛЬЦИН. Говори!

СТЕПАШИН (*достает блокнот, мнется*). Ну, тут... В общем, разные есть... Вот, например... вот хотя бы...

ЕЛЬЦИН. Ну!

СТЕПАШИН. «Барина — на рельсы».

ЕЛЬЦИН. Не пойду. Дальше.

СТЕПАШИН. Дальше: «Лев Толстой — Иуда!». Четыре штуки. Потом еще вот... «Сам пахай бесплатно!» и «Где наши деньги?».

ЕЛЬЦИН (*оживляясь*). Да! А где их деньги?

ПРИМАКОВ. Я не знаю.

ЕЛЬЦИН. И я не знаю. (*Степашину.*) Когда, говоришь, оно будет? Осеннее наступление это?

СТЕПАШИН. Да вот-вот уже.

ЕЛЬЦИН. Будь другом, найди какого-нибудь урядника из профсоюзов, пускай возглавит эту гадость...

Голоса за дверями.

ЕЛЬЦИН (*выглядывая за дверь*). Слушай, ты уж защити меня в случае чего!

СТЕПАШИН (*апарт*). В случае чего — кто бы меня защитил...

ЕЛЬЦИН. Сколько их...

ПРИМАКОВ. Да уж чего-чего, а наследников вы наплодили — никаких полян не напасешься!

ЕЛЬЦИН. Ну, так само получилось. (*Извиняясь.*) Темперамент, понимаешь...

5.

ЛЕБЕДЬ (*появляясь в двери*). Здорово, папаша! Это мы.

ЕЛЬЦИН. Рязанский полк тебе папаша.

ЛЕБЕДЬ (*удовлетворенно*). Ага. Конфронтация.

Входят Лужков, Жириновский, Селезнев с Зюгановым и Черномырдин.

ЖИРИНОВСКИЙ. Николаич, уходить будем?

СТЕПАШИН. Простите, мне пора. У меня дел... (*Исчезает в буквальном смысле слова — растворяется прямо в кадре.*)

ЕЛЬЦИН. Куда это он?

ПРИМАКОВ. Пойду посмотрю. (*Растворяется следом.*)

СЕЛЕЗНЕВ. Начинаем консилиум.

ЗЮГАНОВ (*выступая вперед*). Вы, глубоко больной классик, отдайте имение законным наследникам — и уходите!

ГЕРАЩЕНКО (*пришедшим*). Должен официально предупредить: в настоящее время он в очень плохом состоянии.

ЕЛЬЦИН. Что?! И вы, значит, туда же?

ГЕРАЩЕНКО. Я про бюджет! Имение заложено-перезаложено. Дебет малюсенький, дефицит огромный. Я бы на вашем месте не связывался.

ЗЮГАНОВ. Мы возьмем всю ответственность за имение на себя!

СЕЛЕЗНЕВ. И все имение тоже возьмем на себя!

ЖИРИНОВСКИЙ. Всё перепишем на себя, вообще всё, лохов нет!

ГЕРАЩЕНКО. Проценты по долгам дикие...

ЖИРИНОВСКИЙ. Я сам дикий, однозначно, не надо меня пугать!

ЗЮГАНОВ. А долги спишем на папашу.

ГЕРАЩЕНКО. Как скажете. Мое дело — посчитать.

СЕЛЕЗНЕВ. В общем, вот вам, барин, заключение консилиума: вы гений, но очень тяжелый. Пишите отвальную — и идите пешком на станцию Астапово. Все прогрессивное человечество уже там. Би-би-си, Си-эн-эн, Сергей Доренко. Идемте. И лучше добровольно, это я вам как врач говорю...

Подступают к Ельцину.

ЕЛЬЦИН. Я, значит, сразу вам честно хочу сказать: ничего этого не будет, зачем вы пришли. Силой меня не сдвинуть, потому что я — глыба. Я такой матерый человечище, что даже сам удивляюсь!

Пауза. Все переглядываются.

6.

По проселочной дороге едет телега. На ней сидит связанный по рукам и ногам Ельцин. Рядом с ним доктор Селезнев. Телегой управляет Зюганов, в телеге и вокруг нее — Черномырдин, Лебедь, Жириновский и Лужков.

ЕЛЬЦИН (*продолжает говорить*). Это, значит, совершенно невозможно! Я русский классик! Это мое имение! Я тут пишу краеугольные сочинения для средней школы!

ЗЮГАНОВ. Знаем мы ваши сочинения! Богохульство одно. Правильно вас анафеме-то предавали. Надо же додумать-

ся — писать про смерть этого... не помню, как звали... Ильича! Ильич бессмертен!

СЕЛЕЗНЕВ. Медицинский факт.

ЕЛЬЦИН. Я глыба!

ЖИРИНОВСКИЙ. Да-да, конечно. А я Наполеон.

ЕЛЬЦИН. Я писатель! Записки этого... не маркера... Президента! (*Кивая на Лужкова.*) Этот, в кепке, вам, что ли, лучше напишет?

ЛУЖКОВ. А что? И напишу!

ЖИРИНОВСКИЙ. Севастопольские рассказы, однозначно! Круглый год.

ЛЕБЕДЬ. Молчи, придурок. (*Ельцину.*) За русскую литературу не волнуйтесь. Мы тут все писатели.

ЧЕРНОМЫРДИН. Весной померяемся тиражами...

ЕЛЬЦИН. Вы всю типографию в клочья разнесете!

ЗЮГАНОВ. Зачем всю? Мы же все приличные люди. Договоримся. (*Лебедю.*) Правда?

ЛЕБЕДЬ. Никаких сомнений.

ЛУЖКОВ. Чего-то не понял я. Вы же оба договаривались со мной!

ЗЮГАНОВ. Это были предварительные договоренности.

Телега постепенно въезжает в туман; из тумана слышны голоса. Все говорят уже одновременно, точнее, собачатся в голос.

ЧЕРНОМЫРДИН. Погоди! Ты — с ними? А мы?

ЛУЖКОВ. Это тема для отдельных консультаций!

ЖИРИНОВСКИЙ. Чур, без меня никому не договариваться!

ЧЕРНОМЫРДИН. Давайте без интриг. А просто по-честному поделим имение.

ЛУЖКОВ. Хорошо, по-честному. Мне — одна половина, вам всем — вторая.

ЛЕБЕДЬ. Отставить! Имение — мое!

ЖИРИНОВСКИЙ. Это ты Абрамычу скажи!

ЧЕРНОМЫРДИН. При чем тут Абрамыч?

ЛУЖКОВ. Слушайте, давайте договоримся, как будто мы люди!

ЗЮГАНОВ. Товарищи! Чур, я буду зеркало революции!..

1.

Поздний вагон метро. В нем едут Черномырдин, Зюганов и Селезнев. Лужков, Кобзон, Березовский, Горбачев, Жириновский и Лебедь. Двери закрываются, вагон трогается и въезжает в туннель.

ЛЕБЕДЬ. Мы какую станцию проехали? Как называлась?

ЗЮГАНОВ. Не помню.

СЕЛЕЗНЕВ. Кажется, «Лубянка». Или «Комсомольская». В общем, что-то такое, с красной ветки.

ЛЕБЕДЬ. Это понятно, что с красной... А следующая — какая будет?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Знаете, тут ничего нельзя сказать заранее... Доедем — посмотрим.

ГОРБАЧЕВ. А вы что, не местный?

ЛЕБЕДЬ. Я просто под землей плохо ориентируюсь.

ГОРБАЧЕВ. Ну, я тоже, знаете ли, не Вергилий... Но Москву на всякий случай знать надо. Мало ли как сложится. Тут могут достать и из-под земли...

Едут. Зюганов заглядывает через плечо Березовского, читающего газету.

ЗЮГАНОВ. Что пишут?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Про вас — всякую гадость в основном. Хотите почитать?

ЗЮГАНОВ. Давайте сюда. Спасибо.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Уже прочли? (*Зюганов кивает.*) Так быстро? Да у вас способности!

СЕЛЕЗНЕВ. Нет у него никаких способностей.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Но он же прочел...

СЕЛЕЗНЕВ. Он прочел фамилию автора.

ЗЮГАНОВ. И запомнил!

2.

Двери открываются. В вагон вваливается Свинья
в генеральской шинели.

СВИНЬЯ. Смирна! Вольна! Ур-ра! Я дошел. *(Бухается на сиденье между Зюгановым и Селезневым.)*

СЕЛЕЗНЕВ. Поосторожнее, пожалуйста.

СВИНЬЯ. Я устал! *(Икает.)* Я тут посижу.

ЗЮГАНОВ. Да-да, конечно. Отдыхайте.

СВИНЬЯ *(оглядывая вагон).* Ой, а людей-то! Не продохнуть.
(Через паузу.) Мне плохо.

СЕЛЕЗНЕВ. Мы вас очень, очень понимаем.

СВИНЬЯ. Еще бы. Подержи место, мордатый, я сейчас.

ЗЮГАНОВ. Вы это кому?

СВИНЬЯ. Без разницы.

Отходит два шага и, повернувшись к двери, начинает расстегивать штаны.
Обернувшись, бросает Зюганову:

Не поверишь. Еле дотерпел.

Пускает струю. Струя ползет между копыт с лампасами и течет по проходу, мимо пассажиров.

ЗЮГАНОВ. Гена! Ноги подними.

СЕЛЕЗНЕВ. А-а, спасибо.

Поднимают ноги. Пауза. Струя течет по вагону. Все смотрят.

ЛУЖКОВ. Ф-фу.. Ну и запах.

ЛЕБЕДЬ. Здравствуй, Родина!

ЧЕРНОМЫРДИН. Слушайте, я что-то не пойму: мы в метро или где?

ЗЮГАНОВ. Ладно, чего там. Все свои.

ЧЕРНОМЫРДИН. Но — этот запах... Как-то даже непонятно...

СЕЛЕЗНЕВ. Привыкайте.

Струя течет по вагону, разливаясь ручейками.

ГОРБАЧЕВ. Я предупреждал: нельзя перескакивать через этапы. *(Вздыхает.)* Значит, сейчас в России вот такой этап. У целом...

ЛУЖКОВ. Вы что, ничего не чувствуете?

ЗЮГАНОВ. Я чувствую боль за народ!

ЛУЖКОВ. Я про запах!

ЗЮГАНОВ. Запах в пределах нормы.

СЕЛЕЗНЕВ. Не нравится — езжайте в такси.

КОБЗОН. Это свинство!

Все поворачиваются к нему.

ЗЮГАНОВ. Вы преувеличиваете.

КОБЗОН. Свинство самое натуральное!

СЕЛЕЗНЕВ. Ну, зачем же так? Ну, не сдержался человек, излил себя, зачем же раздувать...

ЗЮГАНОВ. Довели народ, а теперь нос воротят! А ему, может, больше терпеть было неважно!

СВИНЬЯ (*садясь на место*). Да! Я, может, всю жизнь держал все это в себе... Мучился! Думаете, легко было сдерживаться?

ЗЮГАНОВ. Знаю, что нелегко. Сам еле сдерживаюсь.

СВИНЬЯ. Не сдерживайся, товарищ! У нас теперь — свобода! Ссы где хочешь! (*Икает и засыпает на плече у Зюганова.*)

КОБЗОН. Он должен немедленно извиниться!

ЗЮГАНОВ. Ну, это уже, знаете, какая-то травля началась. Должны же быть какие-то пределы, правда?

Свинья согласно икает, не открывая глаз.

СЕЛЕЗНЕВ (*шепотом*). Правда, должны быть пределы. Он нас чуть не утопил, Гена. И этих. Хотя их как раз не жалко.

ЗЮГАНОВ. Все свои.

КОБЗОН. Нет уж, не все! Пускай извиняется, пока я от Тайванчика Япончику не позвонил.

ЗЮГАНОВ (*Кобзону*). Я не пойму: вы-то здесь при чем? Он, когда тут все поливал, он вовсе не вас имел в виду. Он просто так, вообще...

СЕЛЕЗНЕВ (*подхватывая*). На кого бог пошлет. От полноты души.

КОБЗОН. Пускай извинится! А то я сейчас запою.

ВСЕ. Нет, нет!

ЗЮГАНОВ. Только не это! (*Встает.*) За ваш большой вклад в духовную жизнь этого вагона персонально у вас прошу прощения за эту неловкую случайную струю в наших отношениях. (*Садится.*) А все остальные пускай запасаются противогазами, потому что этот страдалец еще не все сделал!

СВИНЬЯ (*икая*). Да, у меня еще внутри много всего...

СЕЛЕЗНЕВ. Небось не за один год накопилось...

СВИНЬЯ. Вот погодите, твари, просплюсь — вообще «газзаген» тут устрою!..

ЯВЛИНСКИЙ. Все, хватит! Вызываю милицию!

СВИНЬЯ. Давай-давай. Я, если чего, могу и милицию обоссать. У меня — неприкосновенность!

СЕЛЕЗНЕВ. Зачем нам милиция? Давайте решим дело по-любовно, по-нашему, по-охотнорядски...

Явлинский нажимает кнопку вызова милиции.

Ну вот! Что за беспокойный народ, а? А потом еще обижаются, что их не любят...

3.

Зуммер в отделении милиции на станции метро, где ужинают сержант Степашин и лейтенант Скуратов.

СТЕПАШИН. Опять принесло кого-то.

СКУРАТОВ. Подождет. Ну, будем!

Пьют, закусывают. Зуммер продолжается.

СТЕПАШИН. Не, не даст посидеть по-человечески, не даст. И чего я с юстиции ушел? Там надо мной вообще не капало. Хоть совсем не просыпайся. (*Зуммер звонит без перерыва.*) Упрямый какой-то прорезается. Сильно, видать, его достало. Послушаем?

СКУРАТОВ. Чего ж не послушать человека, раз звонит. Это же наша работа.

СТЕПАШИН. Правильно. Давай так: если решка — я его к тебе отфутболю, если орел — ты ко мне.

СКУРАТОВ. А если монетка встанет на ребро — рассмотрим по существу.

Все это время зуммер продолжает надрываться. Кидают монетку.

СТЕПАШИН. Везучий ты все-таки.

СКУРАТОВ. Давай, незримый бой, вперед!

СТЕПАШИН (*снимает трубку*). Первый слушает.

ГОЛОС ЯВЛИНСКОГО. Милиция! Милиция!

СТЕПАШИН. Кричать только не надо, тут не глухие. Что случилось?

ЯВЛИНСКИЙ. У нас в вагоне какая-то свинья нагадила!

СТЕПАШИН. Что значит «нагадила»? Выбирайте выражения, вы живете в цивилизованном обществе!

А в вагоне у динамика уже столпились несколько человек.

ГОРБАЧЕВ (*в вагоне*). Какая цивилизация! Тут не продохнуть уже! Давайте скорее сюда!

СТЕПАШИН. Зачем?

ЛУЖКОВ. Тут ужасно воняет!

СТЕПАШИН. Так зачем вам, чтобы еще и я приходил?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Надо запретить испражняться публично! Пускай они держат свое содержимое при себе!

ГОРБАЧЕВ. И вообще — не пускать свиней в метро!

ЛУЖКОВ. Примите меры!

СТЕПАШИН. Хорошо. Пожалуйста, подготовьте копию заявления по месту испражнения, анализ урины, заверенный в психдиспансере, показания машиниста, утку для следственного эксперимента со свиньей и две фотокарточки три на четыре.

ГОРБАЧЕВ. Чьи?

СТЕПАШИН. Это уже все равно. А мы всё это рассмотрим в порядке, предусмотренном законом.

ГОРБАЧЕВ. Да, но желательно, чтобы кто-нибудь тут все-таки убрал...

СТЕПАШИН. Записывайте адрес: Королевство Нидерланды, Гаага, Международный трибунал...

Скуратов хихикает.

ЛУЖКОВ. Вы что, издеваетесь?

СТЕПАШИН (*закрыв трубку, Скуратову*). Слушай, они только сейчас заметили.

ЗЮГАНОВ (*пробившись к динамiku*). Товарищ дежурный, не обращайтесь внимания, никакого хулиганства в вагоне нет, хулиганства в вагоне мы не допустим. Тут сушая ерунда: одно простое существо, совсем простое, высказалось, как могло, — и уже отдыхает. А эти буянят, требуют крови, просто моральный террор какой-то...

СТЕПАШИН. То есть у вас ко мне вопросов нет?

ЗЮГАНОВ. Почему нет? Журналистов бы надо посадить нескольких.

СТЕПАШИН. Посадить журналистов? Это можно. Записывайте адрес: Африка, Гвинея-Бисау..

Скуратов, давно хихикающий, сползает от смеха под стол. Степашин, не выдержав, тоже начинает смеяться и вешает трубку.

СТЕПАШИН (*сквозь смех*). Слушай, нет — все-таки правильно я с юстиции сюда перешел. Здесь веселее. Наливай!

4.

В вагоне.

ЗЮГАНОВ. Безобразие. Повесил трубку.

ЛЕБЕДЬ. Так! Я чего-то не понял: убирать тут, после всех вот этих излияний... кто будет?

СЕЛЕЗНЕВ. Это частный вопрос. Главное, я считаю, надо все-таки осудить...

ВСЕ. Конечно! Давно пора!

СЕЛЕЗНЕВ. Осудить тех, которые накинудись на этого вот уставшего пассажира — и требуют крови! Надо быть терпимее к запаху родной мочи. Кто за осуждение экстремизма в целом, нажмите на какую-нибудь кнопку!

ЯВЛИНСКИЙ. Экстремист у вас на плече дрыхнет!

ЗЮГАНОВ. У меня на плече отдыхает патриот. Он пописал в своем родном вагоне — и отдыхает. Руки прочь!

ЯВЛИНСКИЙ. Свинья это, а не патриот!

СЕЛЕЗНЕВ. Не надо бросаться обвинениями. Так ведь недалеко и до розни, а это уголовное дело... Нажимайте кнопки, товарищи, нажимайте: кто против экстремизма?

ЛУЖКОВ. Я сейчас вот какую кнопку нажму!

Нажимает кнопку связи с машинистом.

5.

Ельцин и Примаков в кабине машиниста. Ельцин спит, Примаков у руля.

ГОЛОС ЛУЖКОВА. Алло!

ПРИМАКОВ. Помощник машиниста слушает.

ЛУЖКОВ. Помощник! Наведите тут наконец порядок.

ПРИМАКОВ. А что случилось?

ЯВЛИНСКИЙ. Да все тут уже случилось, и давно!

БЕРЕЗОВСКИЙ. Надо запретить пьяному жлобью находиться в одном вагоне с цивилизованными людьми!

ЯВЛИНСКИЙ. А что же вы им денег давали на всякое безобразие, жлобью этому?

БЕРЕЗОВСКИЙ. На всякий случай давал. Вдруг они совсем к власти придут!

ЛУЖКОВ. Эй! В кабине! Пьяных удалять из нашего метро будем или нет? Не слышу!

ПРИМАКОВ. Видите ли, дело в том, что пьяные... я бы даже сказал — пьяные свиньи... составляют основное содержание пассажиропотока. Это же экономика. В конце концов, если вам не нравится запах, есть другие виды транспорта. Но, конечно, мы осуждаем.

ЛУЖКОВ. Это не ответ! Разбудите старшего машиниста.

ЕЛЬЦИН. Я не сплю. Я все слышу.

ЛУЖКОВ. Тогда скажите чего-нибудь!

ЕЛЬЦИН. Пожалуйста. Поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны. Шутка-малютка! (*Засыпает. Пауза.*)

ЧЕРНОМЫРДИН. Кстати, насчет шуток-малюток. Вы заметили, что мы едем совсем без остановок?

ЛЕБЕДЬ. Вот я и смотрю. Один туннель, другой, а двери не открываются.

ЯВЛИНСКИЙ. Еще бы они и открывались! С таким запахом наш вагон будет в полной изоляции, это будьте уверены!

ЗЮГАНОВ. А нам никого и не надо. В родном вагоне, с родным запахом — тыщу лет жили и еще тыщу проживем! Правда?

СЕЛЕЗНЕВ. Святая правда, Гена!

СВИНЬЯ (*просытаясь*). Где я?

ЗЮГАНОВ. На родине, товарищ! Не беспокойтесь, все в порядке. На родине!

СВИНЬЯ. А, ну тогда... Мордатый, поддержи место, я сейчас...

Отходит к дверям и начинает расстегивать штаны. И под журчание начинают идти титры.

В одной европейской стране,
в двадцатом веке...

1.

Нечто вроде партиячки (районное отделение НСДАП). Под транспарантом «Национал-социализм — наше будущее!» сидит Зюганов, одетый в классическую коричневую форму. На рукаве — стилизованная свастика из серпа и молота.

ЗЮГАНОВ (*разговаривает по телефону*). Записывайте текст лозунгов. «Реформы, хальт!» Записали? Три штуки. «Чубайс, хенде хох!» — три штуки. «Время, цурюк!» — три штуки. «Нихт антинародному телевидению!» — пять штук. Что значит «уже было»? Лозунг не капуста — им можно кормить до смерти. Что? (*Селезневу.*) Они говорят: многих уже пучит.

СЕЛЕЗНЕВ. Напомни про партийную дисциплину.

ЗЮГАНОВ. Так их от нее и пучит.

СЕЛЕЗНЕВ. Тогда напомни про партийную кассу. И портреты пускай возьмут.

ЗЮГАНОВ. Чьи портреты? Наши?

СЕЛЕЗНЕВ. Наши пока не надо. Пускай возьмут покойников.

ЗЮГАНОВ. Понял. (*В трубку.*) Берите покойников. Что?! Не надо никого выкапывать. Портреты берите! (*Селезневу.*) Они спрашивают: всех покойников брать с собой?

СЕЛЕЗНЕВ. Только вечно живых!

ЗЮГАНОВ (*в трубку*). Только вечно живых! Что? Усатого фюрера — в первую очередь! (*Вешает трубку.*) Слушай, я забыл: в честь чего у нас сегодня демонстрация?

СЕЛЕЗНЕВ. Весеннее наступление на фатерлянд.

ЗЮГАНОВ. А-а. (*Хмыкает.*) Слушай, а ловко мы их все-та-

ки сделали. Рейхстаг — наш, правительство — наше, а отвечают за все — они. Повезло со страной!

СЕЛЕЗНЕВ. Места знать надо.

2.

Примаков сидит за массивным столом в огромном кабинете имперского стиля. Напротив — Геращенко.

ПРИМАКОВ. Какие новости, центробанкфюрер?

ГЕРАЩЕНКО. С утра было двадцать три марки за доллар.

ПРИМАКОВ. Двадцать три марки?

ГЕРАЩЕНКО. И сорок пфеннигов.

ПРИМАКОВ. Это хорошо или плохо?

ГЕРАЩЕНКО. Кому как. Марка падает.

ПРИМАКОВ. Куда?

ГЕРАЩЕНКО. Что?

ПРИМАКОВ. Ну, вот куда она все время падает?

ГЕРАЩЕНКО. Мимо доллара.

ПРИМАКОВ. И что вы в связи с этим предпринимаете?

ГЕРАЩЕНКО. Коплю доллары.

ПРИМАКОВ. Получается?

ГЕРАЩЕНКО. У меня — да.

ПРИМАКОВ. Как дела с налогами?

ГЕРАЩЕНКО. У меня — хорошо.

ПРИМАКОВ. А в стране?

ГЕРАЩЕНКО. Писателям дано поручение создать светлый образ налогового оберштурмбаннфюрера.

ПРИМАКОВ. Справятся?

ГЕРАЩЕНКО. Должны.

ПРИМАКОВ. Как обстоят дела с траншем?

ГЕРАЩЕНКО. Товарищ по партии, отвечающий за переговоры с загнивающим международным банкирством, полон оптимизма.

ПРИМАКОВ. Тоже копит доллары?

ГЕРАЩЕНКО. А как же!

ПРИМАКОВ. А как идут переговоры?

ГЕРАЩЕНКО. Он считает — успешно.

ПРИМАКОВ. А как считают они?

ГЕРАЩЕНКО. Какая нам разница?

ПРИМАКОВ. Правильно. Но — фатерлянду нужны деньги.

ГЕРАЩЕНКО. Нужны — нарисуем.

ПРИМАКОВ. Погодите, это же будет эта... как ее... инфляция!

ГЕРАЩЕНКО. Я знаю.

ПРИМАКОВ. Тогда надо заранее назначить виноватых.

ГЕРАЩЕНКО. Я думаю, партайгеноссе, этим уже занимаются.

3.

Пивная. Разговор.

— Довели страну.

— Кто?

— Демократы! Веймарцы эти.

— Кто-кто?!

— Ну, помнишь, был у нас этот... Веймар.

— Во-во. Веймар, шмеймар... Тоже небось из этих...

— Так они во всем и виноваты.

— Ясное дело, не мы же!

— Раньше хорошо было! При кайзере.

— При каком кайзере?

— Ну, такой, с бровями. Ты молодой, не застал. При нем зарплату платили.

— За что?

— Ни за что. Просто так. Придешь на работу — платят. И не придешь — платят.

— Хорошее было время!

— Кайзер, шмайзер... Я бы их всех...

— Кого?

— Ну, этих всех.

— Всех не надо. Оставь на развод.

— Зачем?

— А потом когда-нибудь опять все накроется, а они — тут как тут!

4.

Чубайс и Кириенко — в рабочих тужурках, печатают вручную антифашистскую листовку «Новая сила» и вычитывают текст.

КИРИЕНКО. Слушай, давно хотел у тебя спросить: как это получилось, что фашисты у нас слева, а антифашисты — справа?

ЧУБАЙС. Земля круглая.

КИРИЕНКО. И что?

ЧУБАЙС. Ну, вот мы и вошли в то же самое, но с другой стороны.

ГОЛОС АНПИЛОВА (*в мегафон*). Смерть буржуазии!

Звон стекла. Через высаженное окно виден Анпилов с микрофоном. Сзади маячит Козел с мегафоном в руках.

АНПИЛОВ (*через мегафон*). Да здравствует Объединенный фронт трудящихся!

КИРИЕНКО. В рот ваш фронт!

Распыляет на Анпилова средство от тараканов. Анпилов и Козел исчезают. Кириенко начинает крутить диск телефона.

ЧУБАЙС. Ты куда звонишь?

КИРИЕНКО. В полицию.

ЧУБАЙС. Не смей меня. Они даже не приедут.

КИРИЕНКО. Почему?

ЧУБАЙС. Они сейчас борются с лицами неарийской национальности.

КИРИЕНКО. Все?

ЧУБАЙС. Остальные ловят Собчака.

КИРИЕНКО. А куда же тогда звонить?

ЧУБАЙС. Не знаю. Но похоже, что в Принстонский университет.

КИРИЕНКО. Зачем?

ЧУБАЙС. Трудоустраиваться.

КИРИЕНКО (*вешает трубку*). Все-таки странно. Эти громят евреев под знаменем Маркса — а у нас ни серпа, ни молота... Один Тельман, и тот — Гдлян.

5.

Собрание во фракции НСДАП в рейхстаге.

СЕЛЕЗНЕВ. Сегодня в повестке дня первый вопрос — о преодолении экстремизма. Это важный вопрос, геноссе. С экстремизмом надо бороться. Например, некоторые — некоторые! — хотят запретить нашу организацию, хотя сами, между нами говоря, евреи.

ГОЛОС. Совсем обнаглели!

СЕЛЕЗНЕВ. Да, это чистый экстремизм! И мы, конечно, будем с этим бороться. Второй вопрос повестки: новый лозунг дня. По этому вопросу доложит партайгеноссе Зю.

ЗЮГАНОВ. Я думаю, геноссен, лозунг дня у нас должен быть такой: «Народному правительству — фройндшафт, антинародному режиму — капут!»

ГОЛОС. Правильно!

ДРУГОЙ ГОЛОС. А президент?

ЗЮГАНОВ. Что — президент?

СЕЛЕЗНЕВ. Да, у нас в стране есть президент. Он старенький, но может убить.

ЗЮГАНОВ. За что?

СЕЛЕЗНЕВ. И за что, и просто так может убить. Давайте его не раздражать.

ЗЮГАНОВ. Президент — прошедший этап! Давно пора передать его полномочия в правительство, канцлеру!

СЕЛЕЗНЕВ. Тогда он убьет канцлера.

ЗЮГАНОВ. Значит, лозунг дня должен быть такой: «Руки прочь от правительства общественного согласия!» А кто не согласен, тех мочить.

СЕЛЕЗНЕВ. Насчет «мочить» в протокол не пиши, арестуют.

ЗЮГАНОВ. А мы — именем народа!

СЕЛЕЗНЕВ. А-а. Тогда другое дело.

ЗЮГАНОВ. А в случае чего выведем на улицы трудящиеся массы, то есть мирные штурмовые отряды. Но разрушить общественное согласие не позволим. Либо наше правительство, либо вообще никакого!

6.

Апартаменты президента. Он завтракает, беседуя с кем-то, кто за кадром.

ЕЛЬЦИН. Так и сказали?

ГОЛОС. Так точно. Выведут массы!

ЕЛЬЦИН. Ну, массы мы совместными усилиями уже практически вывели... Но надо же, какая интересная вещь получается... Значит, поменять правительство мне нельзя?

ГОЛОС. В настоящее время — очень опасно.

ЕЛЬЦИН. А не менять?

ГОЛОС. А не менять — вообще кранты.

ЕЛЬЦИН. Понял. А что делать?

ГОЛОС. Врачи говорят — что угодно, только не волноваться.

ЕЛЬЦИН. Мне-то чего волноваться? Я законно избранный президент этого фатер... матер... лянда! У нас сейчас какой год? Не тридцать третий часом?

ГОЛОС. Девяносто девятый.

ЕЛЬЦИН. Ну, все равно. Главное, чтобы делилось на троих...

7.

Зюганов и Селезнев в кафе. Ужин.

СЕЛЕЗНЕВ. А интересно: какое звание у нашего канцлера?

ЗЮГАНОВ. Этого никто не знает. Ходит он всегда в штатском. Тихий приличный человек. Называть пока что можно просто — товарищ по партии. А там посмотрим...

СЕЛЕЗНЕВ. До этого еще надо дожить. А зимой-то — перевыборы в рейхстаг...

ЗЮГАНОВ. Ужасная неприятность. Сколько можно ставить галочки? Народ должен работать! Я считаю: выбрали один раз — и хорош, дальше уже мы сами справимся! Самое время...

СЕЛЕЗНЕВ. Кстати, кажется, где-то рядом зреет заговор против демократии.

ЗЮГАНОВ. В смысле?

СЕЛЕЗНЕВ. Коварство какое-то затевается против нашей рейхсканцелярии. Неужели не чувствуете?

ЗЮГАНОВ. Как же, как же... Уже чувствую.

СЕЛЕЗНЕВ. Что бы это, например, могло быть, как вы думаете?

ЗЮГАНОВ. Я думаю — поджог. Какой-нибудь враг народа может поджечь рейхстаг.

СЕЛЕЗНЕВ. А это практически возможно?

ЗЮГАНОВ. Почему нет? Спички, солярка... Новодворская.

СЕЛЕЗНЕВ. Новодворская?

ЗЮГАНОВ. Ну а кто же еще может поджечь рейхстаг?

СЕЛЕЗНЕВ. Действительно!

8.

Ночь. Рейхстаг. Зюганов, Селезнев и два каких-то мужика. К батарее прикована Новодворская, к ее пальцам примотана обгорелая спичка.

НОВОДВОРСКАЯ. У вас ничего не получится.

ЗЮГАНОВ. А вот сейчас увидим. Ну как, мужики? Готовы?

ПЕРВЫЙ МУЖИК. Да мы-то давно готовы...

ЗЮГАНОВ. Зажигайте!

ПЕРВЫЙ МУЖИК (*заканчивает фразу*). ...только спичек нет.

ЗЮГАНОВ. Как — нет спичек?

ВТОРОЙ МУЖИК. А так. Нет, и все! Вот к ней последнюю примотали.

ПЕРВЫЙ МУЖИК. Кончились в фатерлянде спички!

СЕЛЕЗНЕВ. Как могут кончиться спички? У нас вице-канцлер — председатель Госплана!

ВТОРОЙ МУЖИК. В том-то и дело. Да вы не переживайте так из-за спичек-то. Все равно соларки нет.

СЕЛЕЗНЕВ. Почему нет?

ПЕРВЫЙ МУЖИК. Черт его знает! Накладная вроде была, но там одной подписи не хватало. Бухгалтерия вроде выходная — ну, кладовщик и забил на это дело.

СЕЛЕЗНЕВ. Какой кладовщик?

ПЕРВЫЙ МУЖИК. Обычный кладовщик.

ЗЮГАНОВ. Да вы бы объяснили ему, что это на поджог рейхстага!

ВТОРОЙ МУЖИК. А кладовщику по барабану — рейхстаг, не рейхстаг. У него рабочий день кончился, он и ушел.

НОВОДВОРСКАЯ. Я же говорила: у вас никогда ничего не получится!

ЗЮГАНОВ. Почему?

НОВОДВОРСКАЯ. Потому что совок! А вы — двоечники. Даже не можете толком организовать провокацию.

СЕЛЕЗНЕВ. А вы сами? Разве вы сами не хотите поджечь рейхстаг?

НОВОДВОРСКАЯ. Ваш рейхстаг? Конечно, хочу.

ЗЮГАНОВ. Так, может, у вас есть с собою спички?

НОВОДВОРСКАЯ. Зачем мне спички? Я бы могла поджечь это все одним взглядом... Но я не буду этого делать.

ЗЮГАНОВ. Почему?

НОВОДВОРСКАЯ. Из вредности!

9.

Ельцин в своих апартаментах.

ЕЛЬЦИН. Слушай, мне кажется — или у нас в фатерлянде пахнет паленым?

ГОЛОС. Пока вроде бы нет.

ЕЛЬЦИН. Ну и слава богу. А то у меня такой нюх... Значит, они хотят, чтобы я отдал все свои полномочия канцлеру?

ГОЛОС. Хотят.

ЕЛЬЦИН. Ага. А год. говоришь, не тридцать третий?

Гуманитарная катастрофа



1.

Вашингтон. У зеркала стоит Клинтон в военной форме.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (*интимно*). Билл, ты сегодня в форме?

2.

Москва. У зеркала стоит Зюганов, завязывает галстук.

ДРУГОЙ ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Гена, скажи, слово «натофашизм» — это ты сам придумал?

ЗЮГАНОВ. Сам.

ГОЛОС. Гена, какой же ты все-таки умный!

3.

Клинтон-главнокомандующий стоит перед неким летчиком, лица которого мы не видим.

КЛИНТОН. Ставлю задачу — предотвратить гуманитарную катастрофу!

ЛЕТЧИК. Есть, сэр!

КЛИНТОН. Для этого надо разбомбить Югославию.

ЛЕТЧИК. Есть, сэр!

КЛИНТОН. Вопросы есть?

ЛЕТЧИК. Есть, сэр!

КЛИНТОН. Задавайте.

Камера обьезжает летчика и показывает его лицо. Это тоже Клинтон.

ЛЕТЧИК. Югославия — это где?

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ. Это мы уточним, пока вы будете туда лететь. Еще вопросы?

4.

Призывной пункт. У входа курит КОЗЕЛ.

ЖИРИНОВСКИЙ. Здесь собирают патриотов?
КОЗЕЛ. Сбирать их будут с поля боя. Пока что собираются сами. Проходите.

Внутри. За столом сидит Селезнев, входит Жириновский.

ЖИРИНОВСКИЙ. У меня чешутся руки...

СЕЛЕЗНЕВ. Ага. Это либо к врачу, либо ко мне.

ЖИРИНОВСКИЙ. К вам, к вам! Врачи уже бессильны.

СЕЛЕЗНЕВ. Владимир, вы за свободу Сербии?

ЖИРИНОВСКИЙ. Еще бы!

СЕЛЕЗНЕВ. И вы хотели лично возглавить отряд добровольцев?

ЖИРИНОВСКИЙ. А то нет!

СЕЛЕЗНЕВ. Тогда я вас записываю.

ЖИРИНОВСКИЙ. Это я вас записываю.

СЕЛЕЗНЕВ. Почему?

ЖИРИНОВСКИЙ. Потому что кто возглавляет, тот и записывает, однозначно! А остальные — воюют!

ЗЮГАНОВ (входя). Простите, **озабоченных** здесь принимают?

СЕЛЕЗНЕВ. Смотря чем **озабочены**.

ЗЮГАНОВ. Да вот, хочу лично побороться с этим... как же его? С натофашизмом.

СЕЛЕЗНЕВ. А-а. Тогда здесь.

5.

Клинтон летит в бомбардировщике.

КЛИНТОН. Слушайте, там внизу такая, в форме сапога... Бомбить, мать его?

ГОЛОС. Не надо, мать твою.

КЛИНТОН. Почему, мать вашу?

ГОЛОС. Это Италия, мать ее.

КЛИНТОН. Понял. А почему не бомбить-то, мать вашу?

ГОЛОС. Союзники, мать их.

6.

В самолете.

ЗЮГАНОВ. Что там внизу?

СЕЛЕЗНЕВ. Да какая разница.

ЗЮГАНОВ. Сербия-то скоро?

ЖИРИНОВСКИЙ. Будем подлетать — услышишь.

7.

В бомбардировщике.

КЛИНТОН. Подлетаю к цели, мать ее.

ГОЛОС. Откуда ты знаешь, что это она, мать твою?

КЛИНТОН. Кишками чувствую, мать их!

ГОЛОС. Тогда фигачь, мать ее.

Бомбометание.

КЛИНТОН. Уау! Красота!

Ответный огонь.

Шит!

ГОЛОС. Что случилось, мать твою?

КЛИНТОН. Они стреляют, мать их.

ГОЛОС. Куда?

КЛИНТОН. В меня, мать мою! *(Вниз.)* Эй, мы так не договаривались!

Вспышка. Катапультирование.

8.

Наши едут на грузовичке.

ЗЮГАНОВ. Это и есть Сербия?

ЖИРИНОВСКИЙ. Вроде бы она.

ЗЮГАНОВ. Здравствуй, Сербия!

СЕРБ *(появляясь из-за кустов).* Руки вверх!

ЗЮГАНОВ. Не понял.

Человек даст очередь поверх голов.

Понял. *(Поднимает руку.)*

9.

КЛИНТОН *(закапывая парашют).* Шит! Я так и знал, что это кончится наземной операцией...

10.

В сербском штабе.

ЖИРИНОВСКИЙ. Да я вам русским языком говорю: мы добровольцы!

СЕЛЕЗНЕВ. И еще это... Комсомольцы...

СЕРБ. Слушай, как ты думаешь: они сумасшедшие — или притворяются?

ЗЮГАНОВ. Братья!..

СЕРБ. Если б ты был мой брат, моя мама бы повесилась.

ЗЮГАНОВ. Да свои мы, свои! Хотим воевать за свободу Сербии!

СЕРБ. Не врете?

ВСЕ. Нет!

СЕРБ. Хорошо. Видите городок на холме?

СЕЛЕЗНЕВ. Мы там будем жить?

СЕРБ. Будете. Когда выйдете оттуда албанский спецназ. Спасибо заранее, братья! *(Раздает ружья.)*

СЕЛЕЗНЕВ. Видите ли, мы больше по идеологической части...

СЕРБ. Отлично! Как возьмете городок, можете сразу начинать перевоспитывать албанский спецназ.

11.

Клинтон в фуфайке и кепке стоит на окраине какого-то местечка возле телефона-автомата. Звук сирены — воздушная тревога.

КЛИНТОН. Налет. Главное — держаться подальше от военных объектов... *(Начинает тыкать в кнопки телефона.)*

Америка — единица, Вашингтон — триста один... Пентагон... *(Тычет в кнопки — и наконец сдавленным шепотом.)*

Алло, Пентагон? Это я, летчик Билли. Помогите мне выбраться из этой задницы. Где нахожусь? Записывайте...

Взрыв. Дым рассеивается. Клинтон стоит с оборванной телефонной трубкой в руке.

КЛИНТОН *(в трубку).* Пентагон, мать вашу... Вернусь — все пять углов поотшибаю!

12.

Наша тронца — на окраине городка, в окне.

ЖИРИНОВСКИЙ. Скажи, ты о чем в детстве мечтал?

ЗЮГАНОВ. О коммунизме.

ЖИРИНОВСКИЙ. А воевать с албанским спецназом не мечтал?

ЗЮГАНОВ. Нет.

ЖИРИНОВСКИЙ. Надо же, и я не мечтал. *(Селезневу.)* Слышь, замполит, надо делать отсюда ноги. Пока нам их не оторвали.

13

Клинтон с югославским флагом в руке и бумажной мишенью на кепке сидит в разбитом взрывной волной кафе. С помехами, но работает телевизор, на стойке — телевизионная тарелка.

ПОСЕТИТЕЛЬ КАФЕ. Приятель, тебя как зовут?

КЛИНТОН. Э-э... Сло-бо-дан.

ПОСЕТИТЕЛЬ. Слободан, друг, ну-ка, поддержи. *(Дает Клинтону край американского флага.)* Три, четыре! *(Рывком разрывает флаг пополам.)*

КЛИНТОН. Уау!

ПОСЕТИТЕЛЬ. Что ты сказал?

КЛИНТОН. Э-э...

ПОСЕТИТЕЛЬ. Контуженный, что ли?

КЛИНТОН. Йес!

В телевизоре возникает Диктор.

ДИКТОР. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе сообщили, что американские рейнджеры провели операцию по спасению пилота сбитого накануне бомбардировщика. Теперь он в безопасности. *(В кадре — Клинтон, машущий рукой.)*

КЛИНТОН. Шит. Вернусь — полечу бомбить Брюссель!

14.

В развалины дома вбегают и прячутся наши российские герои. Стрельба и гортанные крики снаружи.

СЕЛЕЗНЕВ. Слушайте, я очень уважаю пан-славянскую идею, но мне пора домой...

ЖИРИНОВСКИЙ. Да, надо бы вернуться хотя бы до пятнадцатого числа.

ЗЮГАНОВ. А что пятнадцатого — получка?

СЕЛЕЗНЕВ. Импичмент!

ЖИРИНОВСКИЙ. Какой импичмент! Импичмент... Просто маньяки какие-то. У Пугачихи день рождения... Такая халва обламывается!

Пуля, просвистев, выбивает пыль над головой Жирика.

ЖИРИНОВСКИЙ. Знаете, что я вам скажу? Я уже охладел к Сербии. Я думаю, все, что могли, мы для них сделали. Пускай теперь сами...

Дверь на одной петле распахивается, в проеме стоят два солдата.

ПЕРВЫЙ СОЛДАТ. Ну-ка, иди сюда. *(Жириновский поднимается. Солдат — второму солдату.)* Похож.

ВТОРОЙ. Очень!

ЖИРИНОВСКИЙ. Так это я и есть!

ПЕРВЫЙ. На албанца похож.

ВТОРОЙ. Вылитый албанский диверсант.

ЖИРИНОВСКИЙ. Да вы что, братки! Какой я албанец? Вот они — да, они албанские...

ПЕРВЫЙ. Ах, тут еще двое!

ЗЮГАНОВ *(поднимаясь)*. Я не албанский, я орловский!

СЕЛЕЗНЕВ. У нас тут заседание.

ЗЮГАНОВ. Вот вам святой крест обкомовский! Чтoб мне не быть президентом!

ВТОРОЙ. В общем, так. Видите дорогу? Вот по этой дороге до Македонии два часа бега. Остановитесь — можете считать себя албанцами...

15.

Лагерь беженцев. Столпотворение. Клинтон бродит вдоль палаток с пустой миской и табличкой.

КЛИНТОН. Косовары! Здесь мои банковские реквизиты. Оплату гарантирую. Дайте чего-нибудь поесть защитнику вашей независимости! *(Всхлипывает.)* Шит! Кто придумал эту войну, мать его! Еды нет, воды нет, сортира нет. *(И снова.)* Косовары! Здесь мои банковские реквизиты...

Уходит вдоль палаток. Появляется тройка россиян.

СЕЛЕЗНЕВ *(задыхаясь)*. Македония. *(Смотрит на часы.)* Час пятьдесят две. Уложились.

ЖИРИНОВСКИЙ. Мы убежали от этих долбанных сербов. Видид ит, йес, йес! *(Осматривается.)* Теперь мы косовские албанцы. *(Зюганову.)* Ты рад?

ЗЮГАНОВ. Мне бы попить.

СЕЛЕЗНЕВ. А потом — поесть.

ЖИРИНОВСКИЙ. Где тут завхоз?

КЛИНТОН (*мелькает за палаткой*). Косовары! Здесь мои банковские реквизиты...

ЖИРИНОВСКИЙ. Ребята, я допутешествовался. У меня глюки.

КЛИНТОН (*возвращается с пустой миской*). Дайте чего-нибудь поесть защитнику вашей независимости!

ЖИРИНОВСКИЙ. Билл!

КЛИНТОН. Был Билл. Теперь — Слободан. Нет, косовар. А ты?

ЖИРИНОВСКИЙ. Я — гуманитарная катастрофа, однозначно! А это мои коллеги.

ЗЮГАНОВ. Привет, натофашист. Попить не найдется?

КЛИНТОН. На. А мне дай еды! Вот мои банковские реквизиты...

ЖИРИНОВСКИЙ. Решено! Воду — ему, еду — тебе, реквизиты — мне.

Появляется Березовский.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Мужики, полетим? Недорого возьму.

СЕЛЕЗНЕВ. Вы здесь что делаете?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Как всегда, деньги. Воздушный извозчик.

ЗЮГАНОВ. Шеф, гони в Россию! Сейчас же!

БЕРЕЗОВСКИЙ. В Россию — не могу. При всем желании, извините. Очень большой крюк. Могут не дать коридора обратно. Стенку дадут, а коридора... Могу в Иран отвезти. Хотите в Иран? Там албанских беженцев принимают, а вы, я вижу, теперь албанцы...

ЖИРИНОВСКИЙ. Мы вообще кто угодно. Аллах акбар, Христос воскрес, выше знамя социалистического соревнования! Лишь бы не было войны. Натофашист, а натофашист, целоваться будем?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Поцелуетесь в Иране. Время — деньги!

Иран. Под портретом Хомейни под пенне муэдзина сидят четверо нищих — Клинтон и трое наших патриотов.

Ночной дозор

1.

Отделение милиции. Паспортный стол. Куликов ведет перерегистрацию приезжих.

КУЛИКОВ. Следующий!

Входит Церетели.

ЦЕРЕТЕЛИ. Здравствуйте.

КУЛИКОВ. Документы. *(Церетели кладет бумаги на стол. Куликов их смотрит.)* Ну что, Зураб, хочешь пройти перерегистрацию?

ЦЕРЕТЕЛИ. Хочу. Очень.

КУЛИКОВ. Что будем делать с национальностью? Кавказ, ё-мое, сам понимаешь...

ЦЕРЕТЕЛИ. Я не террорист, честное слово.

КУЛИКОВ. А что у нас с целью приезда?

ЦЕРЕТЕЛИ. Работаю в Москве.

КУЛИКОВ. Чем докажешь?

ЦЕРЕТЕЛИ. А вон, видите, стоит.

КУЛИКОВ. У всех стоит, это не доказательство.

ЦЕРЕТЕЛИ *(показывает за окно)*. Нет, вон там, на реке.

Куликов смотрит в окно — там стоит памятник Петру Первому.

КУЛИКОВ. Это ты сделал?

ЦЕРЕТЕЛИ. Я.

КУЛИКОВ. Зураб, за такое вообще депортируют в двадцать четыре часа.

ЦЕРЕТЕЛИ. Не надо!

КУЛИКОВ. Может, и не надо. Вопрос решаемый. Ты гоно-
рар за него получил?

ЦЕРЕТЕЛИ. Получил, да.

КУЛИКОВ. Ну вот. Я же говорил: вопрос решаемый. Посмотри, там много еще приезжих?

Церетели выглядывает в коридор. Там сидят Явлинский, Немцов, Примаков, Шаймиев, Черномырдин, Кирпиченко, Жириновский.

ЦЕРЕТЕЛИ. Полный коридор.

КУЛИКОВ. Ё-мое! Вы что, все приезжие?

ВСЕ (с готовностью). Да! Да!

КУЛИКОВ. Откуда?

НЕМЦОВ И КИРИЕНКО (наперебой, засовываясь в дверь). Из Нижнего! Свои мы, российские!

ШАЙМИЕВ (подхватывая.) Из Татарстана!

ЯВЛИНСКИЙ. Вообще-то я с Западной Украины, но...

ПРИМАКОВ. Тбилиси!

ЧЕРНОМЫРДИН (отодвигая Примакова). Подожди, кацо. Оренбургская область я, Ямало-Ненецкий округ!

ЖИРИНОВСКИЙ. А я из Казахстана приехал, но давно, очень давно...

КУЛИКОВ. Террористы! Приходите завтра.

ВСЕ. Почему завтра? Почему не сегодня?

КУЛИКОВ. Хотите сегодня?

ВСЕ. Да!

КУЛИКОВ. Решаемый вопрос...

2.

Ельцин у себя дома. Звонок телефона.

ЕЛЬЦИН. Алло!

ЛУЖКОВ (сидит в помещении, напоминающем красный уголок. Рядом Ястржембский, вокруг какие-то еще люди). Борис Николаевич! Вам звонят с общего собрания жильцов. Мы составляем график дежурства в подъезде.

ЕЛЬЦИН. Какого дежурства? Когда?

ЛУЖКОВ. По ночам.

ЕЛЬЦИН. Я по ночам сплю.

ЛУЖКОВ. Но мы составили график!..

ЕЛЬЦИН. А я по ночам сплю! (Вешает трубку.)

ЛУЖКОВ (стоит с трубкой в руке. Оттуда — частые гудки). Саботажник.

ЯСТРЖЕМБСКИЙ. А он вообще прописан?

ЛУЖКОВ. К сожалению, он прописан в Конституции!

ЯСТРЖЕМБСКИЙ. Жалко. Хотя... бывает, что прописан, а не жилец.

3.

ЕЛЬЦИН (*у себя*). Дежурить... Я до лета двухтысячного года наружу не выйду. Размечтались, понимаешь...

4.

Ночь. Лужков и Ястржембский дежурят у подъезда.

ЛУЖКОВ. Главное, Сережа, это бдительность, вот что я тебе скажу!

ЯСТРЖЕМБСКИЙ. Да. Ваххабиты — это серьезно.

ЛУЖКОВ. При чем тут ваххабиты, Сережа! Я тебе про этого говорю... который в Конституции прописан, а из дома не выходит. Он нам до зимы еще какую-нибудь шойгу придумает!

ЯСТРЖЕМБСКИЙ. А мы — ему.

ЛУЖКОВ. Ну, это уж будьте любезны... (*Достает термос.*) Чайку попьем?

ЯСТРЖЕМБСКИЙ. Можно.

Звук мотора. К подъезду подъезжает грузовик. Из кабины высовывается худой мужик в темных очках.

МУЖИК (*с акцентом*). Мужики!

ЛУЖКОВ. Чего тебе?

МУЖИК. Сахар в мешках не нужен? Недорого.

ЛУЖКОВ (*Ястржембскому*). Ты чай пьешь — с сахаром?

ЯСТРЖЕМБСКИЙ. Да.

ЛУЖКОВ (*мужику в кабине*). Берем!

МУЖИК. У меня целый грузовик, оптом.

ЛУЖКОВ. Ты сахару сколько ложек на стакан кладешь?

ЯСТРЖЕМБСКИЙ. Три.

ЛУЖКОВ (*мужику*). Берем вместе с грузовиком.

5.

Ельцин у себя в квартире, смотрит телевизор.

ГОЛОС ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА. ...К тому же, как известно, у чеченских боевиков нет проблем с финансированием.

ЕЛЬЦИН. Надо же! А у меня есть.

ГОЛОС. Кроме доходов от нефтяного бизнеса, к чеченским полевым командирам текут денежные потоки со стороны сил, заинтересованных в дестабилизации положения в регионе...

ЕЛЬЦИН. Вот как! Ну, хорошо. *(Набирает телефонный номер, одновременно убавляя звук в телевизоре.)* Сейчас вам будет финансирование. Алло, Рушайло? Слушайте, Рушайло, вы небось до сих пор бомбите нефтехранилища?

Рушайло у себя в кабинете, стоя по стойке «смирно», слушает голос Ельцина из трубки.

ГОЛОС ЕЛЬЦИНА ИЗ ТРУБКИ. А вы знаете, что, кроме доходов от нефтяного бизнеса, к боевикам текут денежные потоки со стороны сил, заинтересованных в дестабилизации положения в регионе?

РУШАЙЛО. Так точно, текут.

ГОЛОС ЕЛЬЦИНА ИЗ ТРУБКИ. Так надо найти их, Рушайло! Найти эти силы — и немедленно уничтожить как источник финансирования бандитов! Выполняйте. *(Гудки.)*

РУШАЙЛО *(гудящей трубке).* Это мы мигом, Борис Николаевич! *(Нажимает кнопку на селекторе.)*

ГОЛОС ИЗ СЕЛЕКТОРА. Слушаю.

РУШАЙЛО. Только что получил клизму от главнокомандующего.

ГОЛОС. Поздравляю.

РУШАЙЛО. Почему до сих пор не уничтожены источники финансирования бандитов?

ГОЛОС. Не знаю.

РУШАЙЛО. Найти эти источники и уничтожить их! Доложить сегодня же!

6.

У подъезда. Лужков и Ястржембский сидят в кабине грузовика. Мужик уже снаружи.

МУЖИК. Мужики, у вас хорошие лица, я вам почему-то верю. Пускай грузовик здесь ночь постоит. Посторожите, только греться никуда не ходите, ладно?

ЛУЖКОВ. Хорошо.

МУЖИК. А за деньгами я утром приду. Да! Чуть не забыл. Nate.

ЛУЖКОВ. Что это?

МУЖИК. Это волшебный таймер. Игра на выбывание. Один проводок сюда, другой сюда — и ждете половины шестого утра. Привет. *(Исчезает.)*

ЯСТРЖЕМБСКИЙ *(кладя сахар)*. Вы чего-нибудь поняли?

ЛУЖКОВ. Чего тут не понять. Один проводок сюда, другой сюда...

ЯСТРЖЕМБСКИЙ. Ой.

ЛУЖКОВ. Что такое?

ЯСТРЖЕМБСКИЙ. Сахар какой-то несладкий.

Переглядываются, смотрят на таймер и одновременно оба понимают...

ЛУЖКОВ. Ой. Мама!

7.

Звонки и дикий стук в дверь квартиры Ельцина.

ЛУЖКОВ. Борис Николаевич!

ГОЛОС ЕЛЬЦИНА *(из-за двери)*. Я сплю.

ЯСТРЖЕМБСКИЙ. Борис Николаевич! Эвакуация!

ЕЛЬЦИН. Плевал я на эвакуацию.

ЛУЖКОВ. Скорее! Таймер работает!

ЕЛЬЦИН. Плевал я и на таймер. До лета двухтысячного года наружу не выйду!

ЛУЖКОВ *(вздыхая, Ястржембскому)*. Ломаем дверь!

8.

Грохот на лестнице и приближающиеся крики Ельцина.

КРИКИ ЕЛЬЦИНА. Прекратить! Куда вы меня несете? Верните меня назад! Назад!

Дверь парадного распахивается, оттуда вылетают Лужков и Ястржембский, несущие на носилках Ельцина в пижаме. У подъезда стоит тот самый мужик в черных очках — с секундомером в руках.

МУЖИК. Пять минут сорок пять секунд. Уложились в норматив. Молодцы!

ЛУЖКОВ. Что это?

Мужик снимает черные очки. Это Путин. Лужков и Ястржембский роняют носилки. Пауза.

ЕЛЬЦИН (*сидя на земле на носилках*). Давление у меня в норме, голова только болит. Что-то я вообще ничего не понимаю.

ПУТИН. Это была учебная тревога, друзья. Операция «Вихрь-антитеррор». Проверка на вшивость.

ЛУЖКОВ. Значит, там был сахар?

ПУТИН. Обижаете. Там — гексаген. Но таймер на первый раз не подключили.

ЛУЖКОВ. Здорово. Одолжите до утра грузовичок с секундомером!

ПУТИН. А вам зачем?

ЛУЖКОВ. Поеду потренирую Шойгу.

9.

Детская песочница во дворе. Ельцин и Путин выпивают под грибком.

ЕЛЬЦИН. Будь здоров. А вообще ты молодец! Тренироваться в условиях, максимально приближенных к боевым! Только почему на мне? Я понимаю, например, устроить эдакое где-нибудь в Рязани, на беременных женщинах... Это по-нашему, по-мужски. Зачем же беспокоить гаранта?

ПУТИН. Простите. Это не повторится.

ЕЛЬЦИН. Ладно. Кто старое помянет...

Выпивают. Путин встает.

ЕЛЬЦИН. Ты куда?

ПУТИН. Простите. Маленькая государственная нужда.

Входит в сортир. Отъезд камеры — и мы видим в кустах Грачева и Ерина с гранатометом.

ГРАЧЕВ. Кто-то зашел в туалет.

ЕРИН. Кто?

ГРАЧЕВ. Я думаю, что это бандит.

ЕРИН. Как ты догадался?

ГРАЧЕВ. Тебе же русским языком было сказано: бандиты — в туалете! Раз в туалете — значит, бандит.

ЕРИН. Тогда надо его мочить!

ГРАЧЕВ. Нельзя. Мочить приказано — в сортире.

ЕРИН. Так это ж одно и то же!

ГРАЧЕВ. Да? Так бы и сказал. (*Прицеливаясь.*) Ох, запаху будет...

Выстрел. Сортир вдребезги. Когда дым развевается, посреди всего этого натюрморта стоит Путин.

ЕРИН. Слушай, какие страшные эти моджахеды! Будем брать живьем или побежим?

10.

Ночной звонок в квартире Рушайло. Тот со сна нашаривает трубку.

РУШАЙЛО. Алло!

ГОЛОС. Товарищ генерал! Вы телевизор смотрите?

РУШАЙЛО. Какой телевизор?

ГОЛОС. Включайте скорее телевизор, товарищ генерал!

Рушайло щелкает пультом, продолжая разговор.

Нашли!

РУШАЙЛО. Кого?

ГОЛОС. Источник финансирования бандитов нашли! Только что! Приступаем к выполнению вашего приказа об уничтожении!

РУШАЙЛО. Доложите конкретно: кто давал деньги Чечне?

ГОЛОС В ТРУБКЕ. Докладываю: в соответствии с Конституцией Российской Федерации, финансирование всех территорий Российской Федерации осуществляется из федерального бюджета Российской Федерации.

В телевизоре — Кремль в перекрестие прицела. И — бесстрастный женский голос.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Цель обнаружена. Цель взята в перекрестие прицела...

РУШАЙЛО. Погоди, женщина... Женщина, погоди...

1.

По океану плывет корабль. Титр: трехсотлетию путешествия Гулливера посвящается... Рука, скребущая пером по корабельной книге, и — голос.

ГОЛОС. «Четвертого мая 1699 года мы снялись с якоря, и наше путешествие было сначала удачно... но при переходе в Ост-Индию мы были отнесены страшной бурей к западу от Вандименовой земли...» Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера».

2.

Гроза. ураган, шторм. Крушение. Обломки в воде. Ельцин открывает глаза. Он лежит на траве, выброшенный прибоем на берег. Наверху небо, а сбоку, возле самой руки, стоят маленькие человечки: Зюганов, Селезнев, Жириновский. Лужков, Явлинский, Лебедь, Черномырдин, Кириенко, Гайдар, Примаков...

ЕЛЬЦИН. Мама!

СЕЛЕЗНЕВ. Он очнулся.

КИРИЕНКО. Ура! Он жив.

ПРИМАКОВ. Нашел чему радоваться. Хорошо, что мы успели его привязать.

ЕЛЬЦИН. Кого привязать? *(Пытается пошевелиться, но выясняется, что он привязан сотнями нитей к земле, в том числе за волосы.)* Ай!

Дружный липипутский смех.

ЕЛЬЦИН. Вот, понимаешь. Это называется: приплыл... Ой!

На его тело по приставленной лесенке всходит делегация липипутов.

ЛУЖКОВ. Здравствуй, человек-гора!

КИРИЕНКО (добавляет). ...нт.

ЛУЖКОВ. Что?

КИРИЕНКО. Человек-гора...нт!

ЛУЖКОВ. А ты не лезь.

КИРИЕНКО. А вот и буду!

ЛУЖКОВ. Все равно я тут главное всех.

КИРИЕНКО. Жулик. Где наши денежки? Куда ты их девал, жулик?

ЕЛЬЦИН. Ребята, чего тут у вас происходит?

ЯВЛИНСКИЙ. Не обращайтесь внимания, это они о своем.

СЕЛЕЗНЕВ. Поздравляем вас с Днем независимости!

ЕЛЬЦИН. Независимости — от чего?

СЕЛЕЗНЕВ. Да от всего!

ЛЕБЕДЬ. Включая мозги.

ЖИРИНОВСКИЙ. У нас сегодня девять лет как свобода, гори все огнем!

ЛУЖКОВ. Сейчас, если только вот этот мелкий не будет мешаться у меня под ногами, тут будет праздник. Народные гулянья, танцы и фейерверк!

ЕЛЬЦИН. Как? Прямо на мне?

ЛУЖКОВ. Когда я устраиваю праздник, мне пейзаж без разницы! *(Начинает прыгать на животе у Ельцина и дудеть в «уйди-уйди».)*

ЕЛЬЦИН. Развяжите меня!

СЕЛЕЗНЕВ. Нельзя. Вы же наш гарант.

ЕЛЬЦИН. Не понял.

СЕЛЕЗНЕВ. Чего тут не понимать? Пока вы тут лежите связанный, у нас полная гарантия свободы!

ЕЛЬЦИН. Слушайте, куда я попал?

ЯВЛИНСКИЙ. Вам сильно повезло. Вы на острове демократии. На других бы вас сразу казнили.

ЕЛЬЦИН. За что?

ЯВЛИНСКИЙ. В назидание потомству.

ЕЛЬЦИН. Где этот ваш остров находится? Сколько градусов? Какой широты?

ЧЕРНОМЫРДИН. Широты мы необыкновенной, а градус у нас известен какой. Хотя иногда разбавляем.

ЕЛЬЦИН. А вы сами кто?

ГАЙДАР. Мы — местные демократы!

ЗЮГАНОВ. Мы — местные патриоты!

ЛУЖКОВ. А мы — просто местные.

КИРИЕНКО. Жулики!

ЛУЖКОВ. Не лезь, не лезь, не лезь! (*Бьет Кириенко пищальной по голове.*)

КИРИЕНКО. Ай!

ЕЛЬЦИН. А почему — извините, конечно... — вы все такие маленькие?

КИРИЕНКО (*вздыхая*). Такая конституция...

ЕЛЬЦИН. Я хочу встать.

ВСЕ (*в ужасе*). Нет! Нет!

ЕЛЬЦИН. Но я хочу есть!

ЛЕБЕДЬ. Это на здоровье.

СЕЛЕЗНЕВ. Мы будем вас кормить еще целый год, только не делайте резких движений!

ЯВЛИНСКИЙ. Мы? Кормить его? Целый год?

СЕЛЕЗНЕВ. Конечно.

ЯВЛИНСКИЙ. Не прокормим. Он очень большой.

ГАЙДАР. Но у нас выбора нет. Если уж его выбросило исторической волной на нашу землю, надо кормить.

ЛЕБЕДЬ (*вдруг*). Только пить ему не давать!

СЕЛЕЗНЕВ. Почему?

Пауза.

ЧЕРНОМЫРДИН. Ничего, успеем отскочить.

ЕЛЬЦИН. Я, значит, не понял: когда обед?

3.

Ельцин-Гулливвер спит. Вокруг него — лилипутский военный совет.

ЯВЛИНСКИЙ. Наконец-то наелся.

ЧЕРНОМЫРДИН. Какой вместительный гарант.

ПРИМАКОВ. Хорошо, что его выбросило сюда без семьи.

Все поворачиваются к Примакову.

ГАЙДАР. У него есть семья? Большая?

ПРИМАКОВ. Большая и прожорливая.

ЗЮГАНОВ. Давайте съедем его сами.

ЧЕРНОМЫРДИН. А если проснется?

ЗЮГАНОВ. Тогда убежим.

ЧЕРНОМЫРДИН. Куда ты убежишь от такого большого?

СЕЛЕЗНЕВ. Да. Хорошо, что он так привязан к родной земле.

ЛЕБЕДЬ. Да, если он поднимется, всем хана.

ЯВЛИНСКИЙ. Но если он будет лежать тут вечно, это тоже не жизнь.

ПРИМАКОВ. А еще, не дай бог, с ним что-нибудь случится...

ЯВЛИНСКИЙ. Ну и пускай случится, вам что, жалко?

ПРИМАКОВ. Мне жалко себя! Если с ним что-нибудь случится, тут пойдет такой запах...

КИРИЕНКО. Может, его куда-нибудь оттащить?

ПРИМАКОВ. Куда?

КИРИЕНКО. На другие земли.

ПРИМАКОВ. Не получится. Он очень большой.

ЖИРИНОВСКИЙ. Соседние земли слишком малы для нашего гаранта!

ЕЛЬЦИН (*открывая глаза*). Уважаемые лапутяне!

ЗЮГАНОВ. Кто?

ЕЛЬЦИН. Лапутяне.

ЖИРИНОВСКИЙ. Заговаривается.

ЛУЖКОВ. Слишком долго спал.

ЕЛЬЦИН. Что-то я хотел сказать. Поднимите мне веки... Не то. Развяжите мне руки!

СЕЛЕЗНЕВ. А вы не испортите нам праздник?

ЕЛЬЦИН. Я сам праздник. Главное, чтобы никто не испортил меня! Вот это не дай вам бог!

СЕЛЕЗНЕВ. Может, действительно, а? Развяжем ему руки, братцы? (*Шепотом.*) Если он отвяжется самостоятельно — это вообще кранты!

Лилипуты переглядываются.

4.

Все стоят с топориками возле веревочек.

СЕЛЕЗНЕВ. Уважаемый человек-гарант! Только давайте договоримся так: мы развязываем вам руки, но вы будете уважать наши законы и традиции...

ЕЛЬЦИН. Какие традиции?

СЕЛЕЗНЕВ. Народные лилипутские традиции. Весной — наступление трудящихся, осенью — битва за урожай, зимой — спячка, летом — запой. С этим у нас строго.

ЗЮГАНОВ. И круглый год — война тупоголовых и этих... яйцеголовых!

ЯВЛИНСКИЙ. Кроме того, когда мы вас развяжем, вы должны завязать сами.

ЛУЖКОВ. Да, надо соблюдать баланс... В смысле, держаться на ногах!

ЛЕБЕДЬ. Потому что, если вы упадете, многих не станет.

ЕЛЬЦИН. Не бойтесь. Я динамичный, неустойчивый. Рубите!

Лилипуты замахиваются гопориками.

СЕЛЕЗНЕВ. Погодите! (*Ельцину.*) И еще. Пообещайте, что через год вы от нас уплывете.

ЕЛЬЦИН. Куда?

СЕЛЕЗНЕВ. На все четыре стороны.

ЕЛЬЦИН. На все четыре — не обещаю, но, значит, куда-нибудь уплыву.

ВСЕ. Ура-а!

Топорики один за другим тюкают по веревкам, опутывающим Ельцина.

ЕЛЬЦИН. Ну, теперь расступись...

Начинает подниматься. Дикие крики лилипутов. Они отбегают подальше.

ЕЛЬЦИН (*уже стоя, озирается*). Какой симпатичный островок, понимаешь... Я, пожалуй, тут поживу.

СЕЛЕЗНЕВ (*стоя у огромной ноги, кричит куда-то наверх*). Но помните! Вы обещали, что через год от нас уплывете!

ЕЛЬЦИН (*вниз*). Что?

СЕЛЕЗНЕВ. Я говорю: уплывете через год!

ЕЛЬЦИН. Кто?

СЕЛЕЗНЕВ. Вы!

ЕЛЬЦИН. Не слышу!

ВСЕ. Вы! Нам! Обещали!

ЕЛЬЦИН. Ничего! Не слышу! Осторожно, я пошел!

Нога поднимается.

ГАЙДАР. Надо уберечь его от неверных шагов!

Общий крик. Все бросаются врассыпную, уворачиваясь от огромных подошв. Ельцин с треском и хрустом уходит, наступая на дома.

ЖИРИНОВСКИЙ (*высовываясь из-под раскоряченного дома, вслед*). А мне нравится.

ЛЕБЕДЬ. Что именно?

ЖИРИНОВСКИЙ. Уже все. Все, что он делает, уже нравится. Настоящий гарант.

5.

Ночь. В доме лилипутских собраний.

ЯВЛИНСКИЙ. Это совершенно невозможно терпеть дальше! Он тут все сожрал и вытоптал!

ЛЕБЕДЬ. Ну и не терпи.

ЗЮГАНОВ. Надо было его съесть, пока он лежал! Съесть, а скелет отдать в Музей революции.

ЯВЛИНСКИЙ. А кто его кормил? Не вы?

ЗЮГАНОВ. Ну, мы.

ЯВЛИНСКИЙ. Так что же вы теперь вопите?

ЗЮГАНОВ. Чтобы все слышали. (*В окно.*) Антинародное чудовище!

ЯВЛИНСКИЙ. Все и так знают, что он чудовище.

ЖИРИНОВСКИЙ. А мне он нравится. У него все такое большое...

ЗЮГАНОВ. Какая гадость! Тьфу! (*Плюет на пол, в месте плевка пол начинает гореть.*)

ЧЕРНОМЫРДИН. Ну ты, темпераментный. Следи за собой.

ЗЮГАНОВ. Тьфу еще раз! (*Плюет — гореть начинает и в другом месте.*)

6.

Закат. Ельцин сидит на берегу океана, отхлебывая из фляжки. Кто-то внизу дергает его.

ЖИРИНОВСКИЙ (*теребя Ельцина за палец*). Здравствуйте, дорогой человек-гарант!

ЕЛЬЦИН. А, это ты, маленький? Что случилось?

ЖИРИНОВСКИЙ. Извините, что потревожил, но у нас там горит.

ЕЛЬЦИН. У меня у самого там горит.

ЖИРИНОВСКИЙ. Вы не поняли. Горит Дом собраний. При чем, что интересно, никто его вроде не поджигал.

ЕЛЬЦИН. А чего ж он загорелся?

ЖИРИНОВСКИЙ. От сильных тренировок между тупоголовыми.

ЕЛЬЦИН. Чем тушите?

ЖИРИНОВСКИЙ. Как всегда. Бензином.

ЕЛЬЦИН. Ладно. Пойдем посмотрим.

7.

Попеременно — то еле волочащиеся ноги Ельцин, то бегущий стремглав Жириновский. К месту пожара ноги Ельцина приходят первыми, следом влетает запыхавшийся Жириновский.

ЕЛЬЦИН. Действительно, пожар.

ЖИРИНОВСКИЙ. Вам помочь?

ЕЛЬЦИН. Не надо. Эй, там, внизу! Начинаю восстанавливать общественное согласие. (*Рассупониваясь.*) Кто не спрятался, я не виноват.

Характерная струя, льющаяся сверху на горящий дом.

8.

Утро. Виден слабый дымок над остовам дома, который тушил Ельцин. Сам он сидит на берегу океана.

ЕЛЬЦИН (*отхлебывая из фляги*). Вот, значит. Океан. Паруса, мачты, муссоны, понимаешь... Романтично, но — сколько можно? Нет уж, я теперь свое место в жизни нашел. И хранитель традиций, и пожарный. Только здесь я наконец понял, как огромен. Человек-горант! Не хухры-мухры, понимаешь! Хорошее местечко. Надо будет перевезти сюда семью — и передать все это по наследству вместе с пейзажем и карлика...

Слышен тяжелый стук, земля начинает дрожать.

ЕЛЬЦИН. Не понял. Это у нас что, сейсмоопасный остров? Предупреждать надо!

Рядом с Ельциным, вышагнув из-за леса, останавливается огромный ботинок.

ЕЛЬЦИН (*глядя вверх*). Ой, мамочки! Ой! Кто это к нам пришел?

ГОЛОС. Добрый день!

Сверху опускается рука и, взяв Ельцина поперек туловища, поднимает его в воздух.

ЕЛЬЦИН. Пусти! Пусти! Ты кто?

ГОЛОС. Не узнаешь?

ЕЛЬЦИН. Кто ты, понимаешь, такой, чтобы я тебя узнавал?

ГОЛОС. Я — двухтысячный год.

1.

Ельцин в халате дремлет в огромном кабинете с видом на ночной Лас-Вегас. На стенах висят боксерские перчатки и чемпионские пояса с датами: 1990, 1992, 1996... Работает телевизор. В телевизоре — Евгений Киселев.

КИСЕЛЕВ. Как известно, накануне Нового года объявил о завершении боксерской карьеры абсолютный чемпион по версии Центризбиркома, тяжеловес Борис Ельцион. Напомню: за девять лет в большом спорте Ельцион провел сто боев и двести боев выиграл, из них триста — нокаутом...

2.

Перед другим телевизором, в огромном офисе, сидят Чубайс, Немцов и Кириенко.

КИРИЕНКО. Не понимаю. Как могло получиться, что нокаутов у него больше, чем боев?

НЕМЦОВ. Темперамент, совершенно понятно!

КИРИЕНКО. При чем тут темперамент?

НЕМЦОВ. Некоторых он нокаутировал несколько раз подряд. Никак не мог остановиться. Неужели не помнишь?

КИРИЕНКО. Нет. Меня он только один раз... Правда, очень сильно.

НЕМЦОВ. Тебе хорошо, ты маленький. *(На Чубайса.)* А его... Ты помнишь?

ЧУБАЙС. Ты еще спрашиваешь!

КИРИЕНКО. А не надо было подниматься.

ЧУБАЙС. Я не в обиде. Дед — великий спортсмен!

КИРИЕНКО. Сегодня главный вопрос: кто возьмет новый чемпионский пояс?

ЧУБАЙС. Какие тут вопросы...

Открывает портьеру. В соседнем небоскребе, в офисе напротив них, Путин бьет по груше.

КИРИЕНКО (*подходя к портьеру и тоже глядя на Путина*).

И что, мы поставим на него?

ЧУБАЙС. А какие варианты?

НЕМЦОВ. Либо сейчас мы поставим на него, либо потом он положит на нас, совершенно понятно!

3.

В офисе — боксер Путин, его тренер Волошин и продюсер Березовский.

ВОЛОШИН. Злее глаз! Желваками работай!

ПУТИН. Ну, это понятно. А вообще?

ВОЛОШИН. Что?

ПУТИН. Я про концепцию поединка. Она у меня есть?

ВОЛОШИН. Не отвлекайся. В современном боксе главное — выражение лица.

ПУТИН. А мастерство?

ВОЛОШИН. А это и есть мастерство.

ПУТИН. А меня не побьют?

ВОЛОШИН. Исключено. А потом, этого все равно никто не увидит. Все права на телетрансляцию у нас. Правда, Боб?

БЕРЕЗОВСКИЙ (*сидя неподалеку в кресле*). Да-да. Все в наших руках. Крупный план, решительное заявление накануне боя, несколько страшных выкриков в сторону противника...

ПУТИН. А концепция?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Не переоценивайте публику, Влад. Ей нужно побольше крови. И хороший промойушн!

ПУТИН. Промой — что?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Промойушн. Это по-английски.

ПУТИН. Что слышно из тотализатора? Какие ставки?

ВОЛОШИН. Вообще-то все ставят на тебя, но сейчас казино закрыто на спецобслуживание: выбирают крупные!

4.

Казино с табличкой «Закрыто на спецобслуживание». Кто-то вылетает в дверь вперед головой. Внутри гвалт и пугачевщина. Все пытаются завладеть лопаточкой и местом крупье.

ЯВЛИНСКИЙ. Господа! Может, как-нибудь договоримся цивилизованно?

ШАЙМИЕВ. Это невозможно! У каждого свой интерес.

ЗЮГАНОВ. Да! Кто-то ставит на красное...

НЕМЦОВ. Кто-то — на рыжее, совершенно понятно!

ЛУЖКОВ. И кто-то должен всем этим рулить!

СЕЛЕЗНЕВ. И лопаточкой загребать выигрыш.

ЗЮГАНОВ. И делиться со своими!

ШОЙГУ (*Кириенко*). Видал я катастрофы, но чтоб такой ужас...

АЯЦКОВ. Хорошо! У меня в Саратове есть одна женщина...

ЯВЛИНСКИЙ. Конечно, хорошо, но при чем тут это?

АЯЦКОВ. Давайте, чтобы никому не было обидно, выберем женщину!

ПРИМАКОВ. Правильно! Я всегда выбираю женщин.

КИРИЕНКО. Ну, не всегда...

ПРИМАКОВ. Ну, не всегда! Но если есть женщины, то я выбираю женщин.

ШАЙМИЕВ. Погодите, пожалуйста. Разве крупье может быть женщиной?

ЗЮГАНОВ. Может.

СЕЛЕЗНЕВ. Но женщина не может быть крупье...

ШОЙГУ (*в телефонную трубку*). Алло! Влад? Влад, заберите меня отсюда, тут все сошли с ума. И я тоже.

5.

В офисе. Путин продолжает боксировать с грушей. Волошин держит трубку у его уха.

ПУТИН (*Волошину*). Кужугетыч спекся. (*Передает трубку Волошину.*)

ГОЛОС (*из трубки*). Я хочу обратно в МЧС!

ВОЛОШИН (*в трубку*). Считайте, что МЧС сегодня — там. Работайте! (*Отключает трубку и обращается к Путину, продолжая разговор.*) Так вот: насчет раскрутки не беспокойся. Раскрутка будет такая, что двадцать шестого никто против тебя на ринг не выйдет!

БЕРЕЗОВСКИЙ. Нет-нет, если совсем никто не выйдет, это нехорошо.

ПУТИН. Да! Лучше, чтобы был как бы поединок.

ВОЛОШИН. Не волнуйся, все будет натурально. Полный аншлаг! Мировая пресса! Страшный противник!

ПУТИН. Кто именно?

ВОЛОШИН. Предполагается мистер Зю. (*Раскрывает фотоальбом.*) Вот этот. Такой здоровый, всегда сидит в красном углу.

БЕРЕЗОВСКИЙ. И в таких же трусах.

ПУТИН (*вглядываясь в фотографию*). Он белый?

ВОЛОШИН. Он красный.

БЕРЕЗОВСКИЙ. В каком-то смысле — просто индеец. Чистая экзотика.

ПУТИН. Надежный человек?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Совершенно надежный. Мы его держим на подставе уже шесть лет... Хороший артист. Перед поединком много выступает, создает у публики напряжение. Полная иллюзия борьбы. Ложится строго по договоренности.

ПУТИН. А вдруг не ляжет?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Ляжет во втором раунде.

ПУТИН. Лучше бы в первом.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Во втором, во втором... Иначе публике станет совсем скучно, потребуют назад деньги. Зачем нам скандал?

ПУТИН. Рефери?

ВОЛОШИН. Проверенный человек: считает до десяти за три секунды, но, если надо, может забыть устный счет в принципе.

ПУТИН. Судьи?

ВОЛОШИН. В полном порядке: четыре сбоку, ваших нет...

ПУТИН. А мы все это потянем?

ВОЛОШИН. Казино обещало помочь.

ПУТИН. Кстати, что у них слышно с крупье?

БЕРЕЗОВСКИЙ. С крупье все будет хорошо. Вопрос под контролем.

6.

Лифт слет вниз. Из него выходят Березовский и Волошин. Осторожно заглядывают в казино. Внутри продолжается потасовка.

ЯВЛИНСКИЙ. Господа! Предлагаю прекратить эту бессмысленную трату времени. Среди нас есть тот, кто устроит всех.

ВСЕ. Кто это? Кто?

СТЕПАШИН (*появляясь*). Это я. Добрый день.

Степашина тут же утаскивает назад чья-то рука, и потасовка продолжается.

ПРИМАКОВ. Господа! Нужен компромиссный вариант.
СТЕПАШИН. Так это я и есть!

Степашина снова утаскивают, и потасовка продолжается.

ПРИМАКОВ (*перекрикивая звуки*). Если сложилось безвыходное положение, то я готов пойти навстречу пожеланиям играющих и стать крупье лично!

7.

Под дверями казино.

ВОЛОШИН. Отличный вариант!

БЕРЕЗОВСКИЙ. Ты с ума сошел.

ВОЛОШИН. Если сделать его крупье, он, по крайней мере, не полезет весной на ринг!

БЕРЕЗОВСКИЙ. А он и так не полезет. Или не долезет. (*Интимно.*) Мы его осенью здорово покалечили.

8.

В казино.

ЗЮГАНОВ. Я не понимаю — о чем вообще речь? Нас тут больше всех играет слева, и крупье должен быть с левого края стола!

ЯВЛИНСКИЙ. Хватит, хватит ваших левых крупье!

ПРИМАКОВ. И потом: кого вы имеете в виду персонально?

ЗЮГАНОВ. Как кого? Его! (*Выдвигает к столу Селезнева. У того под глазом фингал.*)

9.

Под дверями.

БЕРЕЗОВСКИЙ. А вот это интересный вариант! (*Кивая на Селезнева.*) Вы с ним знакомы?

ВОЛОШИН. Что значит «знакомы»? Мы с ним были близки четыре года!

БЕРЕЗОВСКИЙ. И что скажете?

ВОЛОШИН. Тихий человек. Левачит охотно. Сам — полное зеро, но любую цифру на рулетке обеспечивает. Цена ему нам известна. С остальными еще торговаться, а этот всегда готов...

БЕРЕЗОВСКИЙ. Цена приемлемая?

ВОЛОШИН. Вполне.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Он у нас на зарплате или на проценте?

ВОЛОШИН. И то и другое помаленьку.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Так пускай он и будет крупье.

ВОЛОШИН. Правильно. А их мордovorоту в красном скажем, чтобы ложился во втором раунде.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Поїдем обрадуем нашего Тайсона.

10.

В казино. В центре внимания — Селезнев с фингалом под глазом. Шум.

ЯВЛИНСКИЙ. Как? Опять ставить во главе стола — это?

СЕЛЕЗНЕВ (*скромно*). От добра добра не ищут.

КИРИЕНКО. А что это у вас с лицом?

СЕЛЕЗНЕВ. Так... Интриги...

ЛУЖКОВ. Его на прошлой неделе побил один генерал.

ЯВЛИНСКИЙ. Господа! Этот человек не может быть крупье!

У него повреждена голова.

СЕЛЕЗНЕВ. Синяк пройдет!

ЯВЛИНСКИЙ. Но голова-то останется!

11.

В офисе. Волошин набирает номер на трубке и прикладывает ее к уху боксирующего Путина. Звонок мобильного телефона в казино у Шойгу.

ШОЙГУ. Алло!

ПУТИН (*в трубку, продолжая боксировать*). Сережа, слушай меня внимательно.

ШОЙГУ (*несколько секунд слушает. Потом*). Как «за»? (*Слушает.*) Хорошо, мы будем «за». (*Складывая мобильник.*) Господа! Интересное сообщение! Вся правая сторона стола будет голосовать за левого крупье.

КИРИЕНКО. Этого не может быть!

ШОЙГУ. Честное слово. Только сейчас выяснилось.

КИРИЕНКО. Позвольте! Но вы же говорили, что будете играть на нашей стороне?

ШОЙГУ. Извините, у нас дисциплина. Где скажут, там и играем.

ЯВЛИНСКИЙ. Мы категорически против этого замшелого крупье!

ПРИМАКОВ. И мы против!

КИРИЕНКО. И мы!

ШОЙГУ. Это теперь на здоровье. Еще четыре года вы можете быть против чего угодно. Главное — чтобы мы с ним (*указывает на Зюганова*) были «за».

ЗЮГАНОВ. Поздравляю с избранием, дорогой ты наш старенький крупье! На какой цвет шарик кидать, не забыл?

СЕЛЕЗНЕВ. Обижаешь... Господа, внимание! Начинаем наши игры!

Аккуратно кладет шарик на красное. Кириенко и Явлинский стоят с открытым ртом.

12.

Волошин в офисе отключает трубку.

ВОЛОШИН. Этот вопрос решили. (*Ставит галочку в органайзере.*)

БЕРЕЗОВСКИЙ. М-да. По-настоящему лучшим крупье в этом заведении был бы, конечно, я. Но очень занят по жизни, очень. Жаль. Я бы смог... Вообще бы ничего никому не досталось!

Путин колотит по груше.

ВОЛОШИН (*открывая другую страничку в органайзере*). Так, теперь главное — двадцать шестое марта.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Это скоро.

ВОЛОШИН. Чем быстрее, тем лучше. Чтобы никто, кроме нашего, не успел набрать вес.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Да. Он маленький, но очень тяжелый.

Путин спиной к ним тренируется, тяжело, с оттягом и выдохом, молотя грушу. Березовский вдруг начинает немного подергиваться от этих ударов. Они переглядываются с Волошиным.

13.

За тренировкой через окно наблюдают Кириенко, Немцов и Чубайс.

КИРИЕНКО. Ничего я не понимаю в его позиции. (*Чубайсу.*) Так он правосторонний или левосторонний?

Чубайс молчит. Путин молотит грушу.

НЕМЦОВ. Он кошмарный, совершенно понятно!

14.

Березовский и Волошин едут вниз в лифте.

ВОЛОШИН. Слушай, давно хотел у тебя спросить... Потом... когда мы его сделаем чемпионом... он нас не замочит?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Может, и замочит.

ВОЛОШИН. Что же делать?

БЕРЕЗОВСКИЙ. А ты как думаешь? *(Переглядываются.)*

Я тоже так думаю. Чисто как вариант.

ВОЛОШИН. Кинуть?

БЕРЕЗОВСКИЙ. Ага. На произвол судьбы. С чеченами, с девальвацией — и без информационной поддержки.

ВОЛОШИН. А как же чемпион по версии Центризбиркома? Бой уже назначен на двадцать шестое марта... Билеты, аренда... Не прогореть бы. Кого-то надо сделать чемпионом.

БЕРЕЗОВСКИЙ. У нас бабки есть?

ВОЛОШИН. О чем ты спрашиваешь! Слава богу, не первый год в этом Лас-Вегасе!

БЕРЕЗОВСКИЙ. Так вот — в принципе при наших бабках за два месяца можно сделать чемпионом любого козла.

Двери лифта открываются в подвал с тренажерным залом, где в десять боксерских групп ожесточенно молотят десять тренирующихся козлов. На панораме ночного города появляются слова: ПОКИДАЯ ЛАС-ВЕГАС... Первые две буквы отваливаются, и остается окончательное название программы: КИ-ДАЯ ЛАС-ВЕГАС...

*Леониду Генриховичу Зорину,
взявшему с меня слово об этом написать.*

Дело было так.

Однажды, на исходе лета 1994-го, мне позвонил Григорий Горин и сказал: «Витя! Вам, конечно, нужны деньги».

Горин, надо сказать, вообще очень мудрый человек, что видно хотя бы из вышесказанного. На сердце у меня растаяла медовая лепешечка. Я понял, что этот замечательный драматург заработал где-то денег и хочет их мне предложить.

— Нужны, — ответил я, хотя никто меня не спрашивал.

— Тут мне позвонили, есть одна идея... — сказал автор того самого Мюнхгаузена.

Через час я был у него, а еще через минуту услышал слово «куклы».

Их уже было сделано пять: парочка политиков, банкир, президентский пресс-секретарь и телеведущий. Почему слепили именно их, а не кого-нибудь еще, Горин не знал; не знал он, и что с ними делать. Не знал этого, впрочем, никто — и меньше всего те, кто заказал во Франции опытную партию резиновых монстров, действуя, очевидно, по наполеоновскому принципу «ввязаться в бой, а там посмотрим».

Мы с Гориным выпили по три чашки чая и съели по порции мороженого, но прояснению мыслей это не помогло. С имевшимся раскладом кукол делать было совершенно нечего, они не сплетались ни в какую драматургию...

— Нужна концепция, — напутствовал меня у дверей классик. — У вас молодые мозги, думайте!

Мы встретились через несколько дней.

— Ну? — строго спросил меня Григорий Израилевич. — Придумали концепцию?

Я виновато развел руками.

— А я придумал, — нравоучительно сказал Горин. Он неторопливо закурил трубку и с минуту задумчиво посасывал ее, бесстыже увеличивая драматургический эффект. Затем посоветовал учиться у него, пока он жив. Наконец значительно поднял палец и изрек:

— Надо взять у них аванс — и скрыться.

Эту концепцию я знал и без него.

Жена Горина позвала нас к столу. Мы плотно, очень вкусно пообедали и выпили по чашечке кофе с пирожными. Идей не появилось, но я поймал себя на том, что процесс поиска начинает мне нравиться. Я спросил, не прийти ли мне завтра.

— Придумывайте концепцию. — строго ответил Горин.

Через пару дней углеводы, потребленные мной в квартире хорошего драматурга, добрались, видимо, до головы, потому что там, в голове, сложилось нечто похожее на замысел.

Придумал я некий провинциальный город — Глупов не Глупов, а, ну скажем, Верхнефедератск, где почти все как в натуре, только резиновое: резиновый мэр, резиновые же депутаты всяческих фракций: от твердокаменных коммунистов до умалишенных либералов, просто обыватели... И писать себе сериал, эдакую бесконечную российскую «Санта-Барбару», где все происходящее в России будет уменьшено до городского масштаба и опрокинуто в парадокс. Идея, естественно, требовала большого количества кукол — по количеству игроков в высшей политической лиге...

Горин с видимым облегчением благословил меня («Вы придумали — вы и пишите!»), дал телефон режиссера Василия Пичула и самоустранился.

Пичул оказался малоразговорчивым, неулыбчивым брюнетом. Он с полчаса глядел, как я размахиваю руками, изображая в лицах собственную концепцию, после чего сообщил, что ничего этого не будет, потому что не будет никогда. Нету денег. Каждая кукла стоит чертову уйму долларов США, продюсер, хотя и откликается на имя Ва-

сильий Григорьев, — практически француз, декораций никаких, и вообще...

В завершение встречи Пичул взял почитать мою книжку — на чем все и закончилось; по крайней мере, я думал, что закончилось. Никто не звонил, и, признаться, я воспринял это как должное: количество издохших в зародыше телепрограмм вообще значительно превышает количество выживших.

Но, видимо, «Куклы» появились под счастливой звездой.

Дело завертелось.

Не буду утомлять читателя подробным описанием первых внутриутробных мук. Были привезены — и тут же украдены с «Мосфильма» — куклы, приходили и уходили авторы; по телестудии «Дикси», взявшей снять программу, целыми днями бродили неприкаянные сатирики, артисты-пародисты, журналисты, художники и кукловоды...

В целях промывки наших аполитичных мозгов непосредственно из Кремля был выписан консультант-политэконом; в минуту умственного затмения по его образу и подобию была сделана кукла с усами-пиками и бородой-лопатой.

Когда консультант перестал сотрудничать с программой, кукле была проведена операция по изменению пола, и она стала женщиной. Эта чудовищная трансвеститка играла в первых выпусках программы, наводя ужас на аудиторию.

От моей концепции к тому времени не осталось ровным счетом ничего; к образу будущих «Кукол» мы шли ощупью. Дата эфира маячила все ближе, а стилия у будущей программы не существовало. Одна злоба дня, на которой долго не протянешь. Но, как говорится, не было бы счастья...

Справедливо сказано у Шварца: человека легче всего съесть, когда он болен или в отъезде. В ноябре 94-го я уехал на несколько дней в Петербург, а вернувшись, обнаружил, что «Куклы» в моих услугах не нуждаются. Мой напарник, известный эстрадный драматург, оставшийся на хозяйстве,

взялся писать все один. Что и делал в течение нескольких недель, пока не разругался решительно со всеми.

Причиной конфликта стали разночтения в оценке написанного им, а именно: драматургу написанное им нравилось, а остальным — нет. И он ушел, оставив в истории жанра великую фразу. Я повторяю ее всякий раз, когда написанное теперь уже мною не нравится режиссерам.

— Это очень смешно, — говорю я нравоучительно. — Очень! Вы просто не понимаете. Я тридцать лет в юморе!

Оставшись вообще без сценаристов, Пичул, человек без комплексов, достал с полки томик Лермонтова и экранизировал «Героя нашего времени». Он смонтировал лермонтовский текст, распределил роли среди наших резиновых «артистов» — и это вдруг оказалось точным, злободневным и очень смешным!

Программа, до этого, по европейскому образцу, состоявшая из набора более или менее смешных сценок и реприз, вдруг обрела цельность и глубину.

Да и мне антракт пошел на пользу. Когда, не слишком убедительно извинившись за произошедшее, меня вторично пригласили поиграть в «Куклы», я уже знал, что с этим со всем делать.

...В январе 1995-го я написал «Гамлета». Вы скажете, что «Гамлета» в 1603 году написал Шекспир, — но его авторство, как выясняется, еще надо доказать! А вот насчет моего — никаких сомнений быть не может.

Впоследствии я написал также «Дон Кихота», «Фауста», «Отелло», «Винни-Пуха» и «Собаку Баскервилей»... В столе лежат наброски «Дон Жуана». Сумасшедший дом, если вдуматься. Впрочем, мне давно нравилось играть в стилизацию — лет за двадцать до «Кукол» я занимался этим с большим удовольствием, но, так сказать, для внутреннего пользования, на театральных капустниках... А тут — пригодилось.

Спасибо Пичулу. Ему хватило «чистого» классического текста, а уж при переделке открывались просторы совершенно немереные.

Так вот, о «Гамлете». Не знаю, как принимали в «Глобусе» драматурга В. Шекспира, принесшего рукопись одноименной трагедии (не застал), — но, возможно, его принимали хуже. Я был с почетом отведен в «курилку» и

посажен пред ясные очи художественного руководителя программы...

Художественным руководителем программы (и вообще начальником всей этой авантюры) был тот самый «француз» Василий Григорьев, о котором мне рассказывал когда-то Пичул. Многолетнее проживание в городе Париже придало григорьевскому языку мягкий, едва заметный акцент, а мыслям — свободу, плавно перетекающую в полную, как принято говорить нынче, отвязанность. Не исключено, впрочем, что последовательность была иной — может быть, именно возникшая среди родных осин отвязанность и привела Васю на постоянное место жительства в город Париж...

(Вы уже поняли, что в процессе создания программы меня окружали Васи. Для пресечения недоразумений продюсер отныне будет зваться, на французский манер, Базиль, а уж Пичул пускай остается как есть...)

Продюсер, художественный руководитель и, как впоследствии выяснилось из титров, автор концепции, Базиль задал мне вопрос, который не забуду по гроб жизни.

— Ты каждый раз можешь так смешно писать, — спросил Базиль, — или это получилось случайно?

— Случайно, — ответил я и тут же был зафрахтован до конца года на четыре программы в месяц.

Свое согласие на это могу объяснить только вредным воздействием чужого никотина на собственный мозг. До того времени я отродясь не работал «в режиме»: писалось — писал, не писалось — делал что-нибудь другое или просто плевал в потолок... Но выдавать по сценарию в неделю!.. Тем не менее, назвавшись груздем, я с энтузиазмом полез в кузов.

Кузов, как выяснилось впоследствии, мог запросто оказаться кузовком.

В общих чертах мой «творческий процесс» выглядит так.

В воскресенье, ближе к полуночи, приезжает за сценарием Пичул. Он погружается в кресло, я вкладываю ему в руки несколько листочков с текстом и с холодеющим сердцем сажусь напротив. После чего в тягостной тишине

Вася минут пять задумчиво смотрит в листки, и каждый раз черт подмывает меня заглянуть ему через плечо и удостовериться, что читает он именно то, что я написал, а не подборку некрологов.

По прошествии пяти минут Вася поднимает голову и произносит приговор. «По-моему, ерунда», — говорит он. Или: «Фантастически смешно». И то и другое произносится ровным печальным голосом.

После чего Вася выдает несколько фундаментальных соображений относительно того, как довести сценарий до кондиции, — и уезжает в ночь. А я завариваю чайник — и сажусь за переделку.

Утром приезжает Вася. Он печально просматривает переделанный сценарий, пожимает мою обессиленную руку — и укатывает в студию, где уже стоят на низком старте артисты. Теперь программа покатится по привычному пути — озвучание, съемки, монтаж... — а моя часть пути пройдена, и я могу с чистой совестью ложиться спать.

Сплю я вместе с моей чистой совестью минут пять, потому что через пять минут звонит телефон.

— Это Левин, — говорит трубка жизнерадостным голосом. — Какие идеи?

Левин — это директор студии «Дикси» и сменщик Пичула. Если бы и он был Васей, я бы застрелился, но он, слава богу, Саша.

В первые два года существования программы режим у нас был простой: Левин и Пичул делают программы по очереди, а потом каждый отмокает от производственного ада неделю, пока парится напарник. Отдохнув же, они первым делом звонят мне и интересуются, что я думаю насчет следующего сценария.

Думаю я в это время об убийстве каждого, кто произнесет при мне слово «куклы», о чем я и сообщаю.

— Ну хорошо, — говорит Левин, — я ж не зверь, отдыхай, позвоню через час...

И жизнерадостно смеется.

Откуда подпитывается энергией этот плотный человек, я не знаю, но выделяет он ее круглосуточно. Если, придя в студию «Дикси», вы не застали Левина колотящим по клавиатуре компьютера, значит, он где-то снимает, или монтирует снятое, или только что уехал, или вот-

вот будет. Ближе к ночи легче всего накрыть Левина в хорошей компании (со мной) в каком-нибудь проверенном ресторане: Саша — гурман и чем попало тревожить организм не будет.

(Кстати, Лев Толстой угадал с фамилией для своего положительного героя: наш Левин — вегетарианец. «Убойные» он не ест; официант скорее умрет сам — или будет убит Левиным, — чем директор «Дикси» притронется к салату с кусочком яйца.)

На меня его вегетарианство не распространяется. В процессе совместной работы я был убит и съеден неоднократно. Перед ритуальным убийством Шендеровича Левин, как правило, кричит. Текст крика несложен, и за два года я успел выучить его наизусть.

— Это полная херня! Полная херня! Аб-со-лютная! Я не буду этого ставить! У меня одна жизнь, и я не хочу тратить ее на пол-ную хер-ню!

— Вполне кондиционный сценарий, — хладнокровно отвечаю я, ища, чем бы ударить Левина по голове.

— Полная херня!

Минут за десять мне удастся залить это пламя, и от крика Левин переходит к анализу, из которого следует: сюжет не простроен, характеры не развиты, парадокс отсутствует, шутки старые, все предельно банально, сценария нет, а за слово «кондиционный» я еще буду мучиться в сере и дыму.

Поскольку все тяжелые предметы из левинского кабинета предусмотрительно убраны, мне не остается ничего, кроме как забрать сценарий и увезти его на переделку.

Переделав текст до полной неузнаваемости, я снова привожу его в «Дикси».

Это гораздо лучше, говорит Левин, но все равно херня. И смеется.

Ободренный похвалой, я приступаю к шлифовке, а именно: переставляю местами две-три реплики и меняю шрифт. Левин берет листки и начинает трястись от хохота. Он утирает слезы, созывает в кабинет сотрудников, читает им вслух мои среднего качества репризы и предлагает всем прикоснуться ко мне, пока я живой, потому что перед ними — классик и гений, а Гоголь — это так, детский лепет...

Путь от полной херни до гениальности я прохожу в среднем дня за полтора. Гоголь не Гоголь, но так быстро в русской литературе не прогрессировал еще никто...

Потом Левин везет меня ужинать.

Не знаю, что чувствовал Гоголь. Я чувствую себя цирковой обезьяной, честно заработавшей свой банан.

За три года существования программа обросла некоторым количеством легенд, причем самые поразительные из них — чистая правда.

Например, история о том, как после очередного выпуска «Кукол» (снятого по мотивам «Белого солнца пустыни») мне позвонил один парламентский корреспондент и, радостно хихикая, сообщил, что только что в Совете Федерации из-за меня произошел небольшой скандал, а именно: президент одной северокавказской республики публично объявил об оскорблении, нанесенном нашей программой его народу.

Как выяснилось, оскорбление состояло в том, что республика была изображена в виде женщины-мусульманки.

Я был ошарашен; разумеется, я ожидал негативной реакции на программу, но совершенно с других директорий. Мне в голову не приходило, что мусульманка — это оскорбление. И потом, речь шла о стилизации на темы «Белого солнца...».

Я спросил, нельзя ли объяснить господину президенту республики содержание слова «метафора». Мой собеседник помолчал несколько секунд и ответил:

— Не советую.

Кстати. Как говорят в Одессе, вы будете смеяться, но цензуры у нас не было. Ну, почти не было. Писал я что в голову взбредет, сюжет обсуждал только с режиссером будущей программы и, время от времени, с Базилем Григорьевым. (Иногда на Базиля накатывали волны болезненного интереса к своему любимому детищу — тогда он мог позвонить из Парижа и битый час выяснять мельчайшие подробности сюжета очередного выпуска, после чего снова уехать на остров Мартиник и пропасть на месяц. Тогда мы писали и снимали «Куклы» без художественного руководства вообще.)

Перед самым озвучанием очередной программы готовый сценарий отправлялся по факсу руководству НТВ, оттуда приходило «добро», и артисты шли в студию. Первое пожелание относительно переделки текста мы услышали перед записью программы «Царь-султан». Была там сцена, посвященная визиту одного российского реформатора в Арабские Эмираты, и начиналась сцена так:

Вот другой раз из Дубай
Приезжает краснобай.

Вот как раз «краснобая» нас и попросили на что-нибудь заменить. Принципиального протеста это у меня не вызвало: русский язык, как известно, велик, свободен и могуч, синонимов в нем — ешь не хочу, но специфика случая состояла в том, что программа была написана стихами...

Рифму к слову «Дубай» личный состав «Кукол» искал минут двадцать и весь взмок. Не верите — попробуйте сами:

Вот другой раз из Дубай
Приезжает....

Вот то-то. И поскольку этот тупиковый путь я прошел еще при написании программы, то, пока все мучились, попробовал исхитриться и убрать «Дубай» из рифмы совсем:

Из Дубая как-то раз
Приезжает...

М-да...

Кончилось тем, что своими лексическими проблемами мы честно поделились с начальством, поклявшись, что готовы оставить любую предложенную сверху рифму. Минут десять там, наверху, по всей видимости, рифмовали, а потом позвонили и сухо разрешили: «Оставляйте «краснобая».

Что и было исполнено. И никто не умер.

В общем, серьезных проблем у нас с НТВ не возникало — и, забегая вперед, скажу, что почти за три года совместной работы (сто с лишним сценариев!) лишь один лежал пару месяцев на полке да два других не были реализованы совсем.

Все три случая, впрочем, стоят того, чтобы о них рассказать.

На полку лег «Дон Кихот». В этой программе дебютировала кукла, сильно похожая лицом на Александра Васильевича Коржакова. Телохранитель, да еще по имени Санчо, да еще, если помните, бравшийся управлять островом, — мимо такого количества совпадений пройти было невозможно.

Не знаю, на что отвлеклось руководство, когда читало сценарий, но спохватилось оно, когда программа уже была готова к эфиру.

Любопытно, что регулярное появление в резиновом виде президента России к тому времени уже перестало вызывать у руководства особые опасения — нас только иногда просили соразмерять удар, — но при мысли о появлении на экране президентского телохранителя всех охватила крупная дрожь. Потребовалось два месяца для того, чтобы ее унять и выпустить программу в эфир, причем этот подвиг руководство НТВ приурочило к визиту в Москву президента США Клинтона — решив, по всей видимости, погибнуть на глазах мировой общественности.

Будущим историкам демократической России это соотношение страхов должно быть небезынтересно.

...Обращение к пушкинскому «Пиру во время чумы» произошло в ночь на третье марта 1995 года. За день до этого был убит Влад Листьев, и пускать в субботний эфир уже готовый веселый выпуск было совершенно невозможно: так сошлось, что именно в ту неделю, вдобавок к убийству Листьева, России было впервые показано наглое от безнаказанности лицо фашиста Веденкина. И все это — на фоне раскручивавшейся бойни в Чечне.

Надо было успеть написать и снять что-то соответствующее температуре общественного гнева тех дней — или совсем убирать «Куклы» из эфира.

Стилизация «Пира...» была написана за ночь, утром в студии озвучания собрались актеры — но производство сценария было категорически остановлено руководством телекомпаний. Никакие резоны приняты не были.

Я никогда не руководил никем, кроме самого себя, и, наверно, не представляю тяжести этого ремесла. Понимаю, что охотников придушить НТВ было в ту пору хоть отбавляй, и охотники эти были, как бы это мягче сказать,

не последними людьми в стране, и они ждали повода... И все-таки смерть той программы переживал тяжело.

«Куклы» в эфир не вышли.

Недавно я перечитал тот, двухлетний давности, сценарий — и, кажется, понял, что в нем так напугало наших партнеров. Разумеется, не конкретная сатира — были у меня (и благополучно проходили в эфир) куда более злые шутки. Напугало, я думаю, полное соответствие духа пушкинской трагедии и пушкинского текста (которого в моем «Пире...» оставлено было больше половины) происходящему в России весной 95-го года.

Меня это напугало тоже — но именно поэтому я так хотел, чтобы программу увидели миллионы россиян.

История второго запрета — история, напротив, довольно смешная. Утомленное нервной реакцией прототипов, руководство НТВ напомнило мне, что «Куклы» в общем передача-то юмористическая, — и предложило написать что-нибудь легкое, а именно: после «Пира во время чумы», «Дон Кихота» и «Фауста» стилизовать какую-нибудь детскую сказку.

И чуть ли не само, на нашу общую голову, предложило «Винни-Пуха». Через неделю я «Винни-Пуха» принес. Руководство обрадовалось мне как родному, угостило чаем с печеньем — и минут пятнадцать мы беседовали на общегуманитарные темы. Руководство легко цитировало Розанова, Достоевского и Ницше, время от времени переходя на английский. Мы только что в гольф не играли в кабинете... Я разомлел от интеллигентного общества.

Наконец руководство взяло сценарий и начало его читать. Прочитав же первую строчку, вдруг тоскливо и протяжно прокричало несколько раз одно и то же довольно демократическое отечественное слово. Я забеспокоился и спросил, в чем дело. Оказалось, дело как раз в первой строчке — известной всей стране строчке из одноименного мультфильма: «В голове моей опилки — не беда!» И конечно, в «Куках» ее должен был спеть Самый-Самый Главный Персонаж — но скажите: разве можно было, фантазируя на темы «Винни-Пуха», обойтись без опилок в голове?

Я доел печенье и ретировался, проклиная Алана Милна, Бориса Заходера и всех, всех, всех....

Конечно, теперь оба непошедших сценария можно опубликовать, но, как говаривал один персонаж у О'Генри, «песок — неважная замена овсу»...

Впрочем, случалось, что в невоплощении написанного были виноваты и первые лица страны. Так и не увидела экрана песенка про маркизу, у которой все хорошо, все хорошо... Написана песенка была зимой 96-го, когда рейтинг Ельцина ушел глубоко за ноль — и казалось, никогда не вернется обратно. Но места ей в текущих программах не нашлось, а пока мы думали, что с этим шансоном делать, Борис Николаевич вышел из ступора — и произведение стало совершенно неактуальным.

Пропал сценарий — но, как говорится, других бы бед не было!

...К лету 95-го программа набирала ход, и все складывалось для нее неплохо — хорошая пресса, высокий рейтинг, — однако же для настоящей славы народной не хватало самой малости. Не хватало преследования со стороны властей.

Этот путь к славе — самый короткий и, пожалуй, самый российский. Не будем тревожить тени Полежаева и Герцена, есть примеры и ближе.

Злые языки утверждают, что в начале шестидесятых молодой, но уже хорошо известный в интеллигентских кругах Андрей Вознесенский поил в цэдээловском буфете молодогвардейского критика Елкина, подталкивая последнего к написанию рецензии на себя. А критик Елкин певца Гойи и треугольных груш не переносил и в трезвом состоянии. Долго уговаривать его не пришлось: Елкин все, что про Вознесенского думал, написал и отнес в «Правду». И «Правда» это, разумеется, опубликовала. И Вознесенский проснулся знаменитым уже на всю страну, потому что ежели у нас кого метелят в центральном органе — тот, считай, на пути к Нобелевской премии...

Я готов присягнуть, что не поил бывшего и.о. генпрокурора России Алексея Ильющенко — хотя бы на том основании, что к телу последнего меня бы близко не подпустили. Уголовное дело против программы возбудилось само.

А впрочем, конечно, не само. Знали бы бывшего и.о. генпрокурора, утверждают, что тот моргнуть не смел без высочайшего одобрения... Конечно же, был ему звонок, да чего там! — мы знаем, из чьего кабинета звонок, и знаем достоверно.

От кого знаем — не скажем. Как писал Сталин Рузвельту, «наши информаторы — скромные люди».

...Непосредственным раздражителем для уголовного преследования стала программа «На дне». Горьковская пьеса пришлось как нельзя более кстати после повышения минимального размера пенсий — до 52 тысяч рублей в месяц.

Причем, что интересно, среагировала власть не на саму программу, а на появившуюся через несколько дней после нее рецензию в «Советской России», где наши шутки со вкусом пересказывал заместитель главного редактора этого органа, некто Евгений Попов.

(К слову сказать, этой милой забавой — пересказом чужих шуток — этот Попов пробаивался целый год. Понять «совраскиного» зама можно: классовой ненависти у «патриотов» навалом, а вот шуток своих бог не дал... Целый год шутили мои.)

Так вот, тринадцатого июня было возбуждено уголовное дело, а четырнадцатого я узнал, что такое проснуться знаменитым. Встречи со мной вдруг возжелали все — от воркутинской многотиражки до новозеландского телевидения. Вскоре я научился произносить фразу из кино про ненашу жизнь: «У меня есть для вас двадцать минут» — но разговаривал все равно до тех пор, пока не кончалась слюна. Я давал по пять-шесть интервью в день. Месяца полтора в буквальном смысле не отходил от телефона.

Даже странно, что в эти недели мы умудрились еще и выпускать программу.

Признаться, происходящее мне нравилось. Человек я скромный и долгое время считал успехом, когда меня узнавала собственная теща, а тут... После интервью для Би-би-си я начал с уважением разглядывать отражение в зеркале. После череды презентаций купил жилетку. Когда моим мнением относительно перестановок в правительст-

ве начали интересоваться политологи, завел специальный батистовый платочек под цвет галстука и начал подумывать о политической карьере...

Когда позвонили из газеты «Балтимор сан» и спросили, что я думаю о деле Симпсона, зарезавшего свою жену, я почувствовал, что выхожу на мировую арену.

Вылечила меня распространенным в России путем шоковой терапии корреспондентка родной молодежи. Позвонив, она с ходу начала умолять об интервью, хотя я и не думал отказываться. Мы договорились о встрече, и я уже собирался повесить трубку, когда она сказала:

— Ой, простите, только еще один вопрос.

— Да-да, — разрешил я, давно готовый беседовать по любому вопросу мироздания.

— А вы вообще кто? — спросил корреспондентка.

— То есть? — не понял я.

— Ну, кто вы? Артист?

— А вы кому звоните? — поинтересовался я.

— Да мне редактор сказал: вот телефон Шендеровича, поезжай, срочно сделай интервью в номер, — а кто вы, не сказал... А я тут, в Москве, недавно...

Сейчас я думаю: этот звонок был организован моим ангелом-хранителем — в профилактических целях...

Впрочем, мне в те поры не только звонили, но и писали.

Вообще обратная связь — вещь полезная. В этом смысле я очень уважаю демократические жанры типа цирка или мюзикла. Писатель может позволить себе «взгляд и нечто», живописец — сесть голым под пустой рамой и называть это инсталляцией... Актер имеет либо немедленный успех — либо немедленный же провал. На сцене и манеже нет простора для шарлатанства: там не увернуться от реакции публики. Эти условия жестче, но честнее.

Оценки своему телевизионному труду мы получаем в письменном виде. В период уголовного преследования программы почта, разумеется, многократно увеличилась. В основном это были слова поддержки, но иногда попадались и совсем другие слова... Перед тем как их процитировать, оставив в неприкосновенности стиль и орфографию корреспондента, замечу, что бывают не просто письма, а письма-диагнозы. Причем главное заблуждение пишущего состоит в том, что диагноз ставит он...

«Господа — создатели программы «Куклы»! Вы, безусловно, и сами знаете, что далеки от совершенства. Все согласны, что у вас первоклассные куклы и озвучание... Что же касается текста и сценария, они — ужасны!

Я видела подобную программу в Англии, там она сделана умно, со вкусом, просто элегантно. Ваши же сначала были просто глупы, потом стали отвратительно злы.

Будучи связаны с заграницей, вы не можете не знать о существовании в журналистике закона о диффамации — опубликование материала, вызывающего ненависть, враждебные чувства, презрение к человеку и мешающего выполнению им своих обязанностей, карается, является наказуемым. Порядочные журналисты уважают этот закон, даже зная, что в суд на них не обратятся. Ведь демократия, уничтожая принуждение сверху, предполагает, что человек настолько развит, что контролирует свои действия...

Демократия же неразвитыми людьми понимается как анархия — со всеми негативными последствиями.

В России в рекордные сроки происходит переворот, который в других странах занял столетие. Естественно, мало кто готов к новому и знает, что как делать. Проблема кадров — одна из основных. Президент наш демократичнее многих западных демократов и терпит и прощает то, что они бы не простили. В его характере благожелательность, доверчивость и преданность друзьям — главные черты. Но он ищет, как сделать лучше. Кадровые смещения вынужденны и трудны для него... Поэтому представлять его убийцей, ищущим, кого бы убить еще, гадки и не умны. Также изображение его беспросыпным пьяницей.

Вам нужен хороший, умный сценарист.

Большинство людей, все, с кем я говорила, считают, что судебный иск к вам справедлив.

Киселева, от имени большинства телезрителей».

Госпожа Киселева, надо отдать ей должное, отправила свое письмо на НТВ — некоторые другие граждане, подерживавшие уголовное преследование телепрограммы «от имени большинства телезрителей», направляли свои цидулы непосредственно в Генпрокуратуру, и уже оттуда корреспонденции, содержавшие «народный гнев», в одно касание переправлялись в телекомпанию.

На письмо госпожи Киселевой я откликнулся — и поскольку наша переписка не носила интимного характера, позволю себе процитировать и ответ.

«Госпожа Киселева!

Получил Ваше письмо от 23.07.95. Являясь автором текстов программы «Куклы», вызвавшей у вас столь острые чувства, считаю себя вправе на него ответить. Итак, по порядку.

«Вы, безусловно, знаете, что далеки от совершенства», — пишете Вы.

Безусловно, знаем. Вот только допускаете ли Вы несовершенство собственное? Судя по тону письма, вряд ли.

Ибо в противном случае не позволили бы себе презрительных, сверху вниз, нотаций, не излагали бы с такой менторской важностью прописные истины, не рассуждали бы о «дефамации», которая, кстати, пишется через «и», с двумя «ф» и означает совсем не то, что вы думаете. Но проверить себя Вам недосуг — вы поучаете!

Не знаю, кто Вы по специальности, госпожа Киселева, но сильно похоже, что привыкли руководить.

Не буду вступать с Вами в спор о человеческих и профессиональных качествах президента — каждый выбирает объект любви по своему вкусу. Отмечу лишь, что резкость нашей критики в его адрес никогда и близко не подходила к резкости столь полюбившегося Вам английского аналога. И если бы мы показали Вам, госпожа Киселева, резинового Б.Н. Ельцина, сидящего без штанов на унитазе, как сидел на нем резиновый Дж. Мейджор, Вы бы вряд ли посчитали это сделанным «умно, со вкусом, просто элегантно». Не правда ли?

Далее. Ни в одной из программ «Куклы» (а их вышло более тридцати) президент не был изображен «беспросыпным пьяницей». Наверное, Вам почудилось. Или Вы действительно видели нечто подобное, но не в «Куках»...

Далее. Рад сообщить вам, что, рассуждая об интеллигентности и призывая к терпимости в отношении гражданина Ельцина Б.Н. (президента России), вы употребляете в отношении граждан Шендеровича В.А, Пичула В.В. и Левина А.В. (создателей программы «Куклы») следующие

выражения: «ужасны», «глупы», «отвратительно злы», «неразвиты», «гадки и не умны». Такова цена Вашей терпимости и Вашей интеллигентности.

И последнее. Вам не нравится программа «Куклы» и Вы считаете, что судебный иск к ней — справедлив. Это Ваше право. Но, не указав на конверте своего имени-отчества, Вы не поленились объявить, что пишете «от большинства зрителей». Очень характерная приписка для господ вроде Вас (те, что хвалят программу — а в таких откликах, уверяю Вас, недостатка нет, — хвалят только от своего имени; те, что ругают, — ругают непременно от имени «большинства»: что поделать, партийная привычка, как, впрочем, и желание первым делом засадить оппонента за решетку).

Но прежде чем говорить от имени человечества, добросовестный человек обязан поинтересоваться статистикой. Я — поинтересовался и вот что узнал: по данным ВЦИОМ, возбуждение уголовного дела против программы «Куклы» поддержало 13 процентов опрошенных. Так что насчет «большинства» — это Вы, госпожа Киселева, попросту соврали.

В своем письме Вы дали нам много советов относительно программы, позвольте же дать Вам в ответ всего один: если захотите еще что-нибудь сказать — говорите от своего имени...

Тем временем оказалось, что уголовное дело против «Кукол» — сугубая реальность, и эту реальность нам дадут в ощущении. В один прекрасный день мне позвонили и попросили зайти в Следственное управление Генеральной прокуратуры.

Когда меня просят, отказать я не могу.

В кабинете сидел молодой человек вполне интеллигентного вида. Я подумал, что сегодня иголок под ногти не будет, и не ошибся. Впоследствии в беседах с ним мы провели около десяти часов, и могу утверждать, что единственным явным пороком моего визави была излишняя любознательность.

Он хотел знать буквально все: кто придумал сделать куклу первого должностного лица, и зачем он это придумал

мал, и не имелось ли в виду оскорбить этим первое должностное лицо, и сколько стоит изготовление одной куклы, и сколько получаем мы, и от кого, и...

Будучи внуком врага народа, я сразу встал на путь помощи следствию. Показания мои носили глубоко признательный характер, но никак не могли помочь молодому любознательному человеку перетащить трактуемые события в сферу действия статьи 131, часть вторая, УК РФ — «Умышленное оскорбление, нанесенное в неприличной форме», — ибо для этого Генеральной прокуратуре надо было доказать сразу три вещи: сам факт оскорбления, умышленность этого оскорбления и неприличность формы — а это было совершенно невозможно.

Судите сами. Во-первых, не было заявления со стороны как бы потерпевшего (человека, по моим наблюдениям, совершеннолетнего и довольно вменяемого), и, по совести говоря, первым делом молодому человеку из Генпрокуратуры надо было бы допросить г-на Ельцина на предмет уточнения: а был ли г-н Ельцин оскорблен нашей программой?

За следователя это сделал некий тележурналист, и я своими ушами слышал, как президент ответил: «Я этой программы не видал». После чего, впрочем, посмотрел на журналиста в точности по Ильфу — как русский царь на еврея, что, в общем, имело под собой некоторые основания с обеих сторон.

Во-вторых (возвращаясь к статье 131, ч. 2) — если я говорю, что никого оскорбить не хотел, то доказать умышленность оскорбления можно только путем чтения мыслей, что перестало считаться доказательством со времен разгона святой инквизиции.

Что же касается «неприличности формы», то способы определения оной УК РФ вообще оставляет без комментариев — и тут начинается праздник духа. В джемпере на королевском приеме — прилично? А во фраке в бане? Но это теория. А следователь прямо спросил меня, отдаю ли я себе отчет в том, что президент России, одетый в обноски и с трухом на голове, — это оскорбительно и неприлично. Я, разумеется, согласился — президент России в обносках — какой ужас!..

Таким образом, по первому вопросу был достигнут

стремительный консенсус, но он же оказался и последним, ибо следователь почему-то полагал, что в нашей программе таким кошмарным образом был одет именно президент России, а мне всегда казалось, что мы имеем дело с пятью килограммами крашеной резины и кубометром поролон.

Недоразумение заходило так далеко, что следователь, упоминая в протоколе допроса персонажей программы, регулярно забывал ставить кавычки вокруг имен собственных и просто писал: Ельцин, Черномырдин... Кавычки, перед тем как протокол подписать, аккуратно ставил я.

Весь этот совковый театр миниатюр происходил в Следственном управлении Генпрокуратуры в Благовещенском переулке, аккуратно напротив дома, где многие годы жил Аркадий Райкин. — что меня, безусловно, вдохновляло. «Думать надо... Сыбражать!»

Убедить друг друга в личной беседе нам со следователем не удалось, и однажды, в просветительских целях, я принес специально для него написанное эссе «Образ и прообраз» — и оно было приобщено к делу!

Через полгода стало ясно, что дело это — насчет «оскорбления величества» — издыхало на глазах.

И тогда какой-то умник в прокуратуре придумал покопаться насчет финансовых нарушений.

Как говорится: так бы сразу и сказали! За финансовые нарушения у нас можно пересажать вообще всех. Обрадованный прорезавшейся принципиальностью, я тут же предложил следователю не мелочиться с четвертым каналом, а сразу закрыть первый, на котором со мною расплачивались «наличманом» году еще эдак в девяностом.

Я выказал недюжинное гражданское мужество в готовности, во имя торжества закона, заложить всех, начиная с себя самого, но на мой гражданский порыв следователь отреагировал подозрительно уныло. Его интересовала только деятельность телекомпании «Дикси», производившей программу «Куклы», — зато интересовала настолько сильно, что допросы в течение года дошли аж до наших шоферов и уборщиц.

Следствию не удалось допросить только художественного руководителя программы Базиля Григорьева. С первыми лучами взошедшего над нами уголовного дела он

улетел «в Париж по делу срочно» — и художественно руководил нами оттуда.

Тут следует заметить, что следователь наш, несмотря на молодость, был следователем по особо важным делам и на борьбу с резиновыми изделиями был переброшен с дела об убийстве Листьева. Квалификации он был нешуточной, и сомневаться в том, что повод для закрытия телесомпании подчиненными и.о. Генпрокурора России рано или поздно будет найден, не приходилось...

Но тут взяли на цугундер самого и.о.

Такое мольеровское развитие сюжета показалось мне несколько нарочитым, хотя принадлежность г-на Ильюшенко к ломброзианскому типу бросалась в глаза.

Прокуратуру произошедшее застало врасплох. Сначала сменился следователь. Потом о нас попросту «забыли», но дело, однако ж, закрывать не стали — глядишь, пригодится... Сменилось два генпрокурора, прежде чем обнаружилось, что мы чисты перед законом: не то что состава преступления — события преступления, оказывается, отродясь не было.

Окажись на нашем месте какие-нибудь иностранные граждане, они бы тут плотоядно воскликнули, подали бы в суд на возмещение всяческих ущербов и хорошенько подразорили родимую прокуратуру. Но мы, внуки врагов народа, только прослезились от прижизненной реабилитации.

Нам, безусловно, повезло. Ни о каком торжестве закона, разумеется, речи быть не могло — просто конъюнктура повернулась к нам передом, а к г-ну Ильюшенко — задом. Такое иногда случается в переходные периоды...

Впрочем, не могу сказать, чтобы я опасался за свою судьбу слишком сильно, и вот почему. Кроме довольно прекраснодушной веры в справедливость, было у меня еще одно тайное подкрепление...

В самый разгар уголовного преследования «Кукол» я получил письмо из-под Пензы от одной женщины. Судя по почерку, моя корреспондентка была уже немолода и писать ей в жизни приходилось нечасто. Содержание письма поначалу поставило меня в тупик.

Женщина писала, как хорошо жить под Пензой. Она поведала, какой у нее просторный дом, какой рядом гриб-

ной лес и чистая речка. Потом подробно остановилась на хозяйстве: огород, куры, буренка... Дойдя до буренки, я отложил листок и перечитал адрес на конверте; я подумал — может, мне по ошибке передали письмо, адресованное в «Сельский час»... Но на конверте было написано: «В программу «Куклы».

Простой и чудесный смысл послания разъяснился в последнем предложении. обстоятельно описав все преимущества сельской жизни под Пензой, закончила женщина так: «Милый Виктор! Если что, приезжайте ко мне, здесь вас никто не найдет!»

Свою помощь после возбуждения уголовного дела предлагали нам лучшие адвокаты страны; я слышал слова симпатии и поддержки от частных лиц и организаций... Дипломаты нескольких стран передавали о своей готовности предоставить мне, если потребуется, статус политического беженца...

Но, ей-богу, письмо из-под Пензы от незнакомой женщины с предложением крова и пищи и тайного убежища от властей — это то, ради чего стоит жить в России...

Снова наступили трудовые будни. Собственно, они и не кончались — параллельно с визитами в Следственное управление мы продолжали выпускать по программе в неделю, — но, конечно, уголовное преследование добавляло нам в кровь адреналина, и в каком-то смысле работать было даже легче. Эффект, впрочем, давно исследованный...

Теперь, публично оправданные властью, мы остались наедине с творческими проблемами, и это оказалось серьезным испытанием; зрительский шок, обеспечивший нашу популярность в первые месяцы, прошел — теперь надо было удерживать симпатии собственно качеством программ.

К тому же братья-журналисты, дружно встававшие на защиту программы от Генпрокуратуры в первые месяцы преследования, потом, когда фарсовость этого преследования проявилась вполне, принялись нас покусывать, причем иногда довольно ощутимо. Психологически это понятно — вначале, по вполне благородным причинам, нас перехвалили и теперь (может быть, и подсознательно) возвращали разницу.

Я не кокетничаю, когда говорю, что мне самому далеко не все в наших программах нравится, — кое-что в них меня откровенно раздражает. Но на еженедельном конвейере штучная вещь не производится; сбои в таком деле неизбежны. Мы лучше других знаем, сколько там внутри всего недодумано и недоделано. Знаем и то, что на нет суда нет (*на театре по этому поводу говорится: «Ты зритель — я дурак, я зритель — ты дурак!»*).

И все-таки одно наиболее часто встречавшееся обвинение в наш адрес хотелось бы прокомментировать. Во многих рецензиях, и практически одновременно, прозвучало слово «пошлость». Слово для меня страшное, но, боюсь, понимаемое мною несколько иначе, чем понимали его писавшие.

Началось это после программы «Кровь, пот и выборы» — с моей точки зрения, одной из самых удачных стилизаций Василия Пичула под жесткое американское кино 90-х, а говоря точнее — под Квентина Тарантино.

До нее герои нашего кукольного театра целый год «косили» под персонажей Шекспира, Гёте и Бабеля... говорили то в рифму, то белым стихом, то с одесским акцентом... — и критики были довольны. А тут услышали с экрана слова «мать твою», «говно» и «вешать дерьмо на уши» — и немедленно завопили о пошлости.

А как должны были изъясняться герои Тарантино? Или понятие языкового стиля распространяется только на пятистопный ямб? При чем тут пошлость? Забавно, что некоторым докторам искусствоведения приходится объяснять примерно то же, что следователю Генпрокуратуры, пытавшемуся вменить мне в вину трех на голове резинового «Ельцина».

Но если уж уточнять термины...

Пошлость — это, например, когда член политбюро позирует в храме со свечкой. Когда малообразованный дядька говорит от имени народа. Когда за дармовым балыком болтают о духовности. Когда у стен Кремля лепят мишек и рыбок а-ля рюс. Вот что — пошлость! А Лука Мудищев, наряду с непристойной вологодской частушкой и «гариками» Губермана — национальное достояние. Ибо талантливо. А талантливое не может быть пошлым — по определению (см. Словарь Даля, где в синонимах пошлости

числятся «тривиальность, избитость, надокучливость». См. также у Пастернака: «Ломиться в двери пошлых аксиом...»)

И вообще, путаница в понятиях кажется мне причиной многих, иногда довольно крупных, недоразумений в современной России. Свободу здесь до сих пор понимают как пугачевщину, жулики величают себя либералами, националисты числятся коммунистами, а администрация претендует на роль носителя идеалов. Впрочем, это уже другая тема...

В борьбе за существование «Куклы» победили. Глуповатый «наезд» прокуратуры вылился в огромную и бесплатную рекламную кампанию. Марк Рудинштейн, по привычке ворочать в своей большой голове цифрами, как-то прикинул и сообщил мне приблизительную цену подобной акции по раскрутке телепрограммы. Вышло — около восьмисот тысяч долларов.

А нам все это паблисити организовал Алексей Ильюшенко — бесплатно, от чистого сердца. Чудны дела твои, господи!

«Куклы» стали частью общественной жизни — и фактором жизни политической. Журналисты быстро растолковали власть имущим, что шарж для политика — не оскорбление, а признак популярности. Уголовное дело еще не было закрыто, а попадание в программу уже стало престижным.

Нам стали звонить и предлагать деньги на изготовление кукол — гораздо большие, к слову, деньги, чем требовалось собственно для изготовления, — оговаривая при этом полную нашу свободу по части шуток. Помнится, единственным требованием одного думского оплота нравственности было — чтобы его лысый резиновый двойник появлялся в «Куклах» не реже двух раз в месяц.

Согласитесь: человек, готовый заплатить за предстоящую пощечину, — это даже не из Салтыкова-Щедрина, это — Достоевский, если вообще не Захер-Мазох!

Упоминались суммы в десятки тысяч долларов, и неоднократно, и мы даже привыкли... Это — присказка. А вот сказка, хотя — какая сказка? Чистой воды быть.

Как-то зимой 96-го стою я у себя на кухне, мою посуду, рядом — ведро мусорное с горкой, по мне тараканы гуляют... В общем, идет нормальная жизнь. Звонок. Приятный баритон сообщает мне, что представляет интересы... — и называет фамилию, буквально ничего мне не говорящую. Ну, скажем, Сидора Матрасыча Пупкина. Так вот, этот Сидор Матрасыч хочет быть президентом России.

Тараканы на мне насторожились. Я спросил: чем, собственно, могу быть полезен Сидору Матрасычу в его благих устремлениях? Баритон ответил просто: он хочет увидеть свою куклу в вашей программе. Принес господь сумасшедшего, подумал я — и терпеливо повторил баритону то, что неоднократно говорил другим гражданам раньше: что для попадания в «Куклы» надо быть известным всей стране, иметь узнаваемый голос, манеры, лексику — в противном случае... и т. д.

Баритон выслушал мою продолжительную лекцию и сказал: я очень уважаю ваши доводы — могу ли я теперь сообщить вам свои? Да, пожалуйста, ответил я, проклиная бездарно пропадающее время (ведь я мог уже домыть посуду и вынести ведро!).

— Миллион долларов США, — сказал баритон. И помолчав, добавил: — Вам.

Тараканы на мне остолбенели. Я стоял как ударенный пыльным мешком, причем очень пыльным и набитым толстыми зелеными пачками. Миллион долларов! США! Мне! В голове, как у Ипполита Матвеевича, поочередно пронеслись лакейская преданность, оранжевые, уповательно дорогие кальсоны и возможная поездка в Канны...

Но пустить Сидора Матрасыча на экран? Никому не известную физиономию, без повадок и голоса, с табличкой «Хочу быть президентом России»?

Я стряхнул тараканов и вежливо перевел стрелку, дав баритону телефон продюсера. Предупредив, что, по моему мнению и к огромному моему сожалению, размеры которого я могу даже назвать в долларах, появление Сидора Матрасыча в «Куклах» очень маловероятно...

Я повесил трубку и вернулся к раковине с посудой.

А мог бы швыряться сейчас той посудой в венецианские зеркала, потому что фамилия некогда неизвестного Сидора Матрасыча была — Брынцалов! И лицо у него бы-

ло, и голос, и повадки — и какие повадки! Пахан-фармацевт был рожден для нашей программы, но это выяснилось только через месяц после звонка. Поезд ушел.

Человек я жадноватый, и воспоминание об ушедшем миллионе еще долго дразнило меня. Утешался только одним: мыслями о грядущих выборах двухтысячного года...

Телефон я не отключаю.

Да, многие из тех, кого в программе не было, мечтали в нее попасть, однако некоторые из попавших «затаили в душе некоторое хамство». Незадолго до того, как я почти что стал миллионером с фармацевтическим уклоном, случилось мне быть на одной тусовке...

(Исторический экскурс. Само понятие «тусовка» возникло в моем поколении и быстро прижилось в разных группах советского народа. Но тогда тусовки не пересекались. Была партийная тусовка, была тусовка художественная; отдельно тусовался андеграунд... Перестройка и последовавшие за ней каникулы логики перелопатили этот слоеный пирог. На званом вечере в начале девяностых можно было встретить одновременно правозащитника, генерала КГБ, поэта-концептуалиста, кутюрье с мальчиками и панка с серьгой.)

Так вот, на одной тусовке зимой 95-го я буквально уткнулся в вице-премьера Сосковца. Я немедленно слинял в сторону — но Сосковец был послан судьбой в предупреждение: рядом прогуливался с охраной генерал Коржаков.

Разумеется, я попытался сделать так, чтобы наши маршруты не пересекались — не из антипатии даже, а из соображений чистоты жанра: личное знакомство мешает в работе над общественно значимым образом, а резиновый двойник генерала активно фигурировал в программе «Куклы».

При этом, разумеется, каждый второй гость на этом приеме ехидно предлагал мне: «Хочешь, познакомлю?»

Кончилось это тем, что хозяин вечера попросту подвел меня к генералу, представил нас — и тут же испарился. Как потом выяснилось, сделал он это по просьбе самого Александра Васильевича.

Так что, выходит, аудиенцию г-ну Коржакову дал я. Ха-ха.

Взявши под руку, генерал начал выгуливать меня по периметру банкетного зала, объясняя, что президента России Ельцина Б.Н. надо любить. Я, говорил, у вас из паровоза кукую, как полный дурак... ладно, говорил, я не обижаюсь — но президента трогать не надо! Генерал пытался играть простоватого, но преданного слугу, и в этом амплуа был бы очень хорош, если бы не хитрющие глаза, с которыми он ничего сделать не мог. На альтруиста генерал не тянул совершенно — и все-таки предположить, что через год этот лепорелло подаст на хозяина в суд, выволочет на свет грязное белье и перейдет в оппозицию, я не мог. С фантазией у меня плоховато.

Но дело было, повторяю, в декабре 1995-го, после парламентских выборов, когда рейтинг у Бориса Николаевича искала с микроскопом вся демократическая общественность, а перед Коржаковым и К^о уже маячил июнь 96-го.

В редкие мгновения, когда монолог удавалось перевести в диалог, я, как мог, пытался восстановить в мозгу генерала причинно-следственные связи и, стараясь не переходить на личности, объяснял падение президентской популярности Чечней, воровством и бездарностью, но умудренный в высокой политике г-н Коржаков мягко разъяснил мне: Чечня и все остальное тут ни при чем, вся беда в канале НТВ, в журналистах и лично в Елене Масюк.

Если бы не они, все у президента было бы хорошо.

Так мы гуляли под ручку битый час. Все это время мою жену, одиноко сидевшую за ресторанным столиком, странным образом пытались успокаивать окружающие: мол, не беспокойтесь, все будет хорошо... Как будто увел меня на разговор не генерал безопасности, а урка какой-нибудь.

Наконец мой визави налил два стакана водки, и мы выпили за здоровье президента России Ельцина Б.Н., после чего генерал дал мне свою визитную карточку. Я выразил сожаление, что не могу ответить тем же (своей визитки у меня с собой не было), но Коржаков успокоил, объяснив, что в этом нет необходимости: надо будет — найдем. Признаться, успокоил он меня этим не сильно, но времени расстраиваться у меня не было: разговор стремительно выходил на коду. Александр Васильевич не стал

тянуть кота за хвост и тут же предложил мне всякий раз, когда я соберусь пошутить что-либо о президенте России Ельцине Б.Н., звонить и консультироваться по прямому телефону, указанному в визитке.

Я живо представил себе проплывающий по телеэкрану титр: «Главный консультант программы — генерал-лейтенант Коржаков А.В.» — и выпитая водка пошла у меня ноздрями.

Когда галлюцинации кончились, я по мере сил тактично объяснил генералу, что писать сценарии «Кукол», одновременно звоня в Кремль за консультациями, невозможно. Объясняя это, я бережно держал на весу генеральскую карточку, которую, по счастью, не успел убрать.

Что сделали бы вы на месте моего визави? Генерал молча забрал свою визитку и вернул ее в карман пиджака. Ибо в 1995 году квадратик бумаги с золотого тиснения двуглавым орлом и фамилией «Коржаков» — это была не визитка. Это была «окончательная бумага», как сказал бы булгаковский профессор Преображенский; если не индульгенция, то уж точно — средство решения всех бытовых проблем. Это была доверенность на безнаказанное совершение безобразий средней степени тяжести, и генерал знал ей цену.

...При расставании Коржаков сказал нечто настолько туманное, что прояснять смысл сказанного я боюсь до сих пор.

— Нам всем жить в одной стране, — напомнил он.

— Я надеюсь, — столь же туманно ответил я, на что стоявший неподалеку управляющий ХОЗУ администрации президента писаный красавец Павел Павлович Бородин среагировал со всей искренностью главного завхоза страны.

— А нам отсюда уезжать некуда, — сказал он, — некуда!

Помолчал и добавил:

— А здесь у нас все есть!

До президентских выборов оставалось полгода.

Полгода для предвыборной кампании — срок большой даже в европах. А в России за это время может произойти вообще все что угодно.

В один прекрасный день выяснилось, что предвыборный штаб Ельцина возглавляют те, кого еще недавно ох-

рана на глаза к нему не пускала. Борис Николаевич вообще мастер переворачивать часы, хотя поверхностным наблюдателям иногда казалось, что песок сыплется из него самого.

Первые на моей памяти политические похороны Б.Н. Ельцина состоялись в восемьдесят седьмом году — гулявших на этих «похоронах» он впоследствии сожрал не поперхнувшись. И уж сколько раз с тех пор аналитики объявляли начало постельцинской эпохи, но скоро двухтысячный год, и не исключено, что аккурат к этому времени выяснится: демократия в опасности, а достойной смены нет...

Впрочем, я опять отвлекся.

С появлением у руля предвыборной кампании президента телекомпании НТВ Игоря Малашенко положение «Кукол» стало довольно двусмысленным. Вышло так, что мы находимся как бы в прямом подчинении у собственного персонажа. Кажется, это понимал и Игорь Евгеньевич. По крайней мере, за все время его командировки во власть ни одного руководящего указания в адрес программы произведено не было.

Впрочем, мы все понимали сами.

Понимали, что начиная с весны 96-го каждое очко, отнятое у Ельцина, по закону российской механики переходит к Зюганову, а своими руками приводить к власти Геннадия Андреевича со товарищи в наши планы не входило. Цену их социал-демократическому маскараду мы знали хорошо, благо живем не в Давосе.

Несколько слов о коммунистах — точнее, о тех, кто фигурирует под этим именем в России (а это большая разница).

К людям, исповедующим коммунистические идеалы, я отношусь с уважением и симпатией, замешанной на ностальгии. Коммунистом был мой дед, добровольцем пошедший на фронт и погибший под Ленинградом в ноябре сорок первого; коммунисткой была бабушка, нищенствовавшая с тремя детьми после ареста мужа.

Они верили, что мир можно в короткий срок изменить к лучшему, они были чувствительны к несправедливости. Они в жизни не взяли чужой копейки, да и своих им за жизнь перепало не особенно...

А сытые обкомовские дяди с националистическим уклоном, в процессе раздела имущества условно разделившиеся на «коммунистов» и «демократов», ничего, кроме безразличия, у нормального человека вызвать не могут.

Но если «демократы» историей своего прихода к власти оказались связанными с демократическими идеалами (связанными, разумеется, на словах — но теперь на каждом слове их можно ловить, заставляя эволюционировать), то у «коммунистов» за душой не было и нет ничего, кроме обиды за отобранные кормушки и замшелого патриотизма лучших квасных сортов.

Впрочем, перейдем, вопреки диалектике, от общего к частному. На частном лучше видно.

Ельцинская власть, пытаясь прикрыть программу «Куклы», этого все же стеснялась и при первом удобном случае публично отмежевывалась от уголовного преследования.

Так называемая оппозиционная пресса задолго до г-на Илюшенко открыто сулила нам сроки за оскорбление своих святынь (Ленина и Зюганова) — и в лучших талибских традициях прямо угрожала в случае своего прихода к власти разобраться с неверными.

А уж что я в этой прессе читал про себя самого — это просто уму непостижимо.

Самым мягким было обвинение в продажности: само собой подразумевалось, что если какая-нибудь реприза в программе «Куклы» перепала резиновому Геннадию Андреевичу, то сделал я это, разумеется, по заданию властей. При этом в соседнем абзаце радостно цитировались шуточки в адрес Ельцина и Черномырдина — и кому я продался на сей раз, не уточнялось.

Впрочем, продажность оказалась наименьшим из моих недостатков. И осквернением святынь, как выяснилось, я занимался в свободное от основной работы время. А главное задание было у меня от международных сионистских организаций. Глаза на это открыл мне журнал «Молодая гвардия», из которого я узнал, что «шендеровичи правят Россией». Правят, разумеется, тайно.

Я обрадовался: теперь я знал, где и с кого смогу слупить за Россию настоящие деньги. Ибо править ею тайно — это еще куда ни шло, но — на общественных началах?..

На радостях я занялся разжиганием межнациональной розни.

За этим занятием меня застукала газета «Завтра», опубликовав фотографию из «Кукол». Это был наш персонаж Свинья с огромным крестом на груди и с подписью для тупых: «Куклы» Шендеровича разжигают межнациональную рознь».

...История появления в «Куклах» животных — забавная история. Делались они вообще для другой программы — некоего «Скотного двора», вроде оруэлловского... Но программа не вышла, а куклы остались. Две из них — Козел и Свинья — пригодились в качестве, скажем так, соплательных образов.

В нашей программе много политиков — должны же были появиться среди них представители электората!

Некоторых телезрителей появление Козла и Свины обидело. Нас спрашивали: уж не русский ли народ мы имеем в виду? Мы честно отвечали: не весь. Но многие унавали себя и все-таки обижались. Это их право. А наше дело — точный социальный портрет, и тут все было предельно ясно: Козел у нас по преимуществу люмпен, а Свинья — «новый русский» (в бандитском варианте этого понятия).

Так вот, относительно разжигания межнациональной розни, г. Проханов! Золотой крест на «новом русском» имеет такое же отношение к православию, как перстень и «шестисотый» «Мерседес», то есть — не имеет никакого отношения. Это предмет украшения, и только.

Крест этот не имеет никакого отношения и к национальной принадлежности владельца, ибо «новым русским» могут быть и татарин, и немец, и еврей, и вообще кто угодно, а самым «новым русским» в России, согласно налоговой декларации за 1996 год, стал калмык.

Само же обвинение в разжигании межнациональной розни в связи с тем или иным использованием православной атрибутики — это, в мягком варианте русской пословицы, называется «пришей кобыле хвост»: в христианстве, как Вы, может быть, слышали, несть ни эллина, ни иудея, да и сам Христос был не из славян.

В общем, Вы со своим органом духовной оппозиции опять опозорились. Впрочем, в Вашем положении есть свои преимущества: после всего, что вы там понаписали, никакой позор уже не страшен...

Конечно, перегретые патриотическим квасом граждане живут в мире собственного абсурда, но сами они, увы, — сугубая реальность. И хотя читать про «Куклы» Шендеровича даже в таком контексте мне было приятно (честолюбие, знаете ли!), а подельников своих я на всякий случай патриотам заложу. Мало ли как сложится — что же, одному за всех отвечать? Нет уж, фигушки.

Итак. Первую портретную резину сделал для нас во Франции тамошний кукольник Ален Дюверн (ясное дело: без западного влияния у нас ни одна гадость не начинается). Всякий раз ввозить отечественные физиономии из Парижа было слишком накладно, и туда поехал на обучение наш Левша — Андрей Дроздов. Все куклы, работающие в программе сегодня, — его рук дело...

От безбожной эксплуатации в совершенно нефранцузских условиях у кукол отваливаются щеки и носы, портятся внутренние механизмы, и Андрей, как папа Карло, все время строгает новых «буратин».

При этом терминология у Дроздова абсолютно киллерская.

— Мне, — говорит, — вчера Лукашенко заказали.

— Ну и что? — спрашиваю.

— Заказали — сделаю.

-- Когда?

— С первого раза, — говорит, — может не получится, но ты не беспокойся — через неделю будет готов...

Да я и не беспокоюсь. Моя-то совесть чиста. Я пишу очередной, совершенно невинный, сценарий, и он попадает на озвучание. Там в дело вступают четыре лицедея, по всей видимости, давно продавшиеся международному сионизму: Борис Шувалов, Александр Груздев, Василий Стоноженко и Сергей Безруков.

Этот последний (давно пора выдать его со всеми потрохами) озвучивает две трети наших персонажей! Рези-

новые Ельцин, Жириновский, Горбачев, Рыбкин, Явлинский, Зюганов, Клинтон... — это все он, он!

Притворяется русским и блондином, для отвода глаз играет Есенина, но при этом — натуральный сатана! Когда, стоя рядом со мной, он без предупреждения заговорил однажды голосом Владимира Вольфовича, я отшатнулся: у Безрукова изменились глаза. Голубые и веселые в жизни, они вдруг стали тяжелыми, оловянными, и в них маячила та самая «неизреченная бесстыжесть», о которой за век до явления Жириновского России писал Салтыков-Щедрин. Клянусь, стоять рядом в этот момент было страшновато.

Не говоря уж о том, что на озвучании они все время импровизируют, а я отвечаю за них перед патриотическими силами! Давно бы убил, наверное, за такие подставы, если бы восторженные почитатели программы все время не благодарили меня за шутки, которых я не писал. Приходится терпеть.

А «упал — отжался», рожденное во время такого актерского баловства перед микрофоном, из программы сразу ушло в народный фольклор — и впоследствии стало одним из слоганов президентской кампании генерала Лебеда. Кстати, Александр Иванович! За такие вещи принято платить. Актеры — люди не богатые...

После озвучания начинаются съемки. Двенадцать минут эфира снимаются три полных съемочных дня, по десять часов.

Дело в том, что движутся куклы с огромным трудом, причем трудом нескольких человек. На каждого из этих резиновых монстров работают трое: один актер-кукольник обеспечивает движение глаз, другой — артикуляцию, третий — жестикуляцию (предварительно всунув свои руки в рукава костюма и надев резиновые «руки» персонажа на свои).

Вот где начинается настоящее кощунство! Я, господа, просто паинька по сравнению с этими паяцами. Уважения к орудиям своего труда они не испытывают никакого. «Ты моего уroda не видел?» — «Да вон он, твой дебил, в коробе»...

Поскольку три человека должны исчезнуть за одной куклой, а кукол в кадре бывает сразу по нескольку, то трудовой коллектив по десять часов в день валяется в пыльном павильоне под нашими резиновыми изделиями в позах, рядом с которыми блекнет любая камасутра. И хорошо еще, если валяются артисты в павильоне...

А то, бывало, включишь компьютер и эдак влегкую пишешь: «Зима. Поле. Вьюга...» А потом десять несчастных кукольников лежат по твоей милости трое суток в реальном зимнем пейзаже, на полу разбитого, продуваемого насквозь автобуса. Все, включая девушку с потрясающим именем Лилия Чекстер.

После съемок программы «Заложники», где все именно так и было, бригадир кукольников Игорь Зотов начал регулярно звонить мне в конце недели и вежливо интересоваться: где происходит действие моего нового сценария? Не принесла ли мне моя муза в подоле чего-нибудь происходящего на льдине или в Каракумах? Узнав, что в этот раз все будет сниматься в сухом и теплом месте, Зотов долго благодарит меня от имени трудящихся.

Когда-нибудь они просто меня прирежут в подворотне, на радость трудовому коллективу газеты «Завтра».

Одна надежда: может быть, у кукольников просто не останется на это сил. По крайней мере, я с моими коллегами третий год стараюсь не давать им времени для вдоха. Мы гоняем их — каждую неделю, по трое на куклу, по восемь дублей, пока артикуляция не совпадет с фонограммой, жест — с поворотом головы, взгляд — с жестом... И при этом, повторяю, желательно, чтобы из-за куклы не мелькнуло чье-нибудь плечо или голова.

Пичул рассказывает, что за три года настолько настропалился, глядя в монитор, «ловить» эти моменты, что уже не в силах перестроиться и, когда видит на экране живых политиков, все время пытается рассмотреть: кто же там стоит за их спинами?

Тяжелое в моральном отношении «кукольное» время кончилось в ночь на четвертое июля 96-го года. Власть, за год до этого устроившая рекламную кампанию «Куклам»,

шикарно отрекламировала просторные коробки фирмы «Хегох» — и пошла на второй срок.

Вместо самого опасного произошло самое противное, и демократия победила. Та самая демократия, про которую Бернард Шоу сказал, что это лучшая гарантия того, что вами не будут управлять лучше, чем вы того заслуживаете.

Теперь мы снова могли шутить, не опасаясь ничего, кроме неприятностей для самих себя.

...Как-то раз, зимой, Черномырдин захотел поохотиться на медведей. Охота была немедленно организована в заповеднике на Ярославщине; премьер-реформатор прилетел к берлогу непосредственно на вертолете. Обо всем этом стало известно журналистам; в «Огоньке», а потом в других изданиях появились сообщения о премьерской охоте; программа «Времечко» даже устроила сороковины невинно убиенных медвежат...

В общем, Черномырдина, что называется, достали.

Накласть в карман любезному премьеру сподобилась и программа «Куклы». В программе «Витя и Медведь» резиновые собеседники резинового ЧВС не давали ему покоя медвежьими ассоциациями: то бюджетники сосут лапу, то у левых сил зимняя спячка, то Большая и Малая Медведицы плохо расположены...

Программа Виктору Степановичу не понравилась настолько, что он позволили себе передать свои чувства руководству телекомпании. Мы, разумеется, были довольны, ибо уже два года считаем высочайший гнев лучшей похвалой программе. Но это все оказалось только завязкой. Жизнь продлила придуманный нами сюжет.

Рассказывают вот что: через несколько дней на заседании правительства, проходившем, как положено, под председательством многострадального ЧВС, выступал главный таможенник страны г-н Круглов. И вот, рассказывая о трудностях таможенной службы, он позволил себе на голову метафору: мол, есть еще у нас медвежьи углы...

Тут Виктор Степанович рывкнул на таможенника так, что тот чуть язык не проглотил:

— Сядь! Все! Хватит!

Тот попытался объясниться: мол, про медвежьи углы — это он в порядке самокритики...

— Сядь на место! — крикнул реформатор.

И еще, говорят, минуту в страшной тишине перекладывал ЧВС с места на место бумаги, не мог продолжать заседание.

Бедный главный таможенник так и не понял, чем же провинился перед руководством. Будем надеяться, что, заглаживая инцидент, он не стал дарить Виктору Степановичу конфеты «Мишка».

Закончу, однако, также на самокритике: ведь, готовясь писать ту программу, я выписал в столбец все, что смог вспомнить в русском языке на косолапую тему. Мне казалось, я ничего не забыл...

Но судьба приберегла «медвежьи углы» — для отдельной репризы в зале заседаний правительства.

Реакция прототипов на себя, любимых, — вообще очень показательная вещь. И очень забавная. Почти никому из них не нравится свой портрет — все, от Гайдара до Зюганова, совершенно искренне считают себя симпатичнее, мужественнее, умнее, обаятельнее одноименного персонажа... При этом все остальные куклы (кроме своей) их устраивают вполне!

Пожалуй, только генералу Лебедю наше зеркало пришлось по вкусу — причем настолько, что он, по-моему, начал корректировать свой образ в сторону черного абсурда, дабы окончательно соответствовать страшноватому обаянию нашего Терминатора Ивановича.

Хотя, надо признать, что при личной встрече с собственной куклой (а такое случалось) прототипы оттаивали — волшебная сила искусства!.. Особенно впечатляюще повел себя все тот же Виктор Степанович.

Многие, как и я, видели это на экране телевизора. Премьер, судя по всему, действительно не знал о привезенном в его резиденцию двойнике — по крайней мере, когда увидел того рядом с собой за столом, реакция была поразительной. Мы с Пичулом сошлись на том, что сыграть это невозможно, таких актеров нет. Отхохотавшись, Виктор Степанович несколько раз принимался говорить что-то судьбоносное, но не выдерживал и начинал хохотать снова. Как ребенок, он теребил своего двойника за рукав,

спрашивал у него «ты чего мордатый такой?»... Потом, впрочем, признался: похож.

Многие обижались на меня за те или иные шутки — но одна обида стоит особняком.

...Одна из самых качественных наших программ вышла в начале января 1996-го, вскоре после безоговорочной победы коммунистов на парламентских выборах. (Вообще, я заметил, к «Куклам» вполне применимо маоцзедунское «чем хуже, тем лучше» — самые хорошие передачи появлялись в самые плохие для страны дни: после Бухарина, после победы коммунистов на парламентских выборах, между первым и вторым турами президентских; в дни, когда начались теракты на улицах Москвы. И наоборот — в периоды политического затишья мы порою сбивались на общие места, начинали играть на интонациях... Что поделать, в каком-то смысле мы — политические стервятники, питаемся политической падалью; как бы мы работали в какой-нибудь цивилизованной стране — вообще страшно подумать...)

Так вот, в начале 96-го призрак Зюганова, въезжающего в Кремль, начал приобретать реальные очертания. Ситуация казалась довольно безнадежной, и не из-за Зюганова даже (как подтвердила практика, он и его команда — люди, к счастью, малоталантливые), — безнадежной она казалась из-за чудовищной практики действующей власти.

Народу так осточертели правящие воры и циники, что он, как показала зима 95-го, готов был променять их хоть на черта — и отморозить палец назло батьке, снова посадив себе на шею коммунистов.

Хорошая память не относится к числу достоинств российского народа, и нам показалось «чрезвычайно своевременным» напомнить электорату, что это такое — житье под коммунистами...

Программа называлась «Воспоминание о будущем». Действие происходило в России в двухтысячном году, через четыре года после победы Зюганова. Прибалтика, разумеется, снова была оккупирована, в продуктовом магазине сплоченными рядами стояли пачки соли и банки томатов, из всех репродукторов пел Кобзон... А резиновый Егор с резиновым же Григорием трудились, разумеется, на лесоповале. И пиля бревно, вспоминали коллег-демо-

кратов — кто где. И была там у меня такая опасная шутка, что, мол, Боровой с Новодворской бежали, переодевшись в женское платье...

После эфира программы прошло не больше недели, когда у меня в квартире раздался звонок.

— Алло! — сказал неподражаемый голос. — Господин Шендерович? Это Новодворская.

Я похолодел, потому что сразу понял, о чем пойдет речь.

— Виктор, — торжественно произнесла Валерия Ильинична. — В своей программе вы нанесли мне страшное оскорбление...

Возразить было нечего. Самое ужасное заключалось в том, что Новодворская была права. Шутка написалась сама, в последний момент, и я даже не удосужился проанализировать ее: просто хмыкнул — и запулил в текст. Внутренний контролер, обязанный проверять всякую остроту на этичность, видимо, отлучился из моих мозгов в ту несчастную минуту...

Я начал извиняться; наизвинявшись, сказал, что готов немедленно сделать это публично, письменно, там, где она скажет... Новодворская терпеливо выслушала весь этот мой щенячий лепет и закончила свою мысль.

— Виктор, — сказала она, — неужели вы не знаете, что в уставе нашей партии записан категорический отказ от эмиграции?

Валерия Ильинична Новодворская — святая. И сдохнуть мне на этом месте, если я сейчас шучу.

— А что это, — спрашивают меня, — там в титрах не ваша фамилия?

— Это потому, — честно отвечаю я, — что не мой сценарий.

За три года резиновые уродцы так приросли к моей фамилии, что теперь мне приходится регулярно выслушивать слова благодарности или критики за работу моих нынешних коллег.

Сегодняшние «Куклы» делаются новой командой авторов и режиссеров — под тем же, впрочем, художественным руководством. (Василий Григорьев в настоящее вре-

мя живет в Москве, запуская новые телепроекты, — и я бы посоветовал Международному валютному фонду обратить на это внимание. Смелее, господа, не стоит быть осторожнее Базиля!)

Кадровые перемены в «Куклах» произошли не вдруг, и им есть вполне материальные объяснения: Василий Пичул нашел деньги на новый фильм и снял его. Александр Левин ныне работает генеральным продюсером НТВ. Я работаю на том же канале и все в том же еженедельном режиме — моя новая авторская программа называется «Итого».

...Я не писал сценарии для «Кукол» целых три месяца, прежде чем ностальгия и цеховые соображения взяли свое. Трехлетие программы я снова встретил в рядах ее трудового коллектива. И все же...

Некоторое время назад всех нас начало посещать ощущение истощенности сюжета — не сюжетных возможностей программы, а нашей собственной, внутренней драматургии.

Когда летом 94-го мы собирались в «Дикси» и придумывали первые, довольно примитивные сюжеты для нескольких случайно изготовленных кукол, нами двигало любопытство и, не в последнюю очередь, материальный интерес.

Когда своей коллективной волей мы преодолели вышестоящую опаску и в программе появились первые резиновые лица страны, когда зимой 95-го началась война в Чечне, проведя кровавую черту между всеми нами и властью, — в нашей профессиональной работе появился нравственный смысл.

В месяцы уголовного преследования наша работа была одновременно долгом и счастьем. Волей случая мы оказались на острие общественной жизни; может быть, я покажусь высокопарным, но мы знали, что говорим нечто, чего не имеют возможности высказать миллионы людей; что выполняем какую-то очень важную терапевтическую работу, помогая хотя бы немного сбрасывать через смех огромное социальное напряжение тех дней. Это было лучшее время программы «Куклы» — и одно из самых счастливых в моей жизни. Я знал, зачем живу.

Потом, как-то незаметно, мы стали признанной и демонстративно ласкаемой программой; привычным субботним блюдом; частью пейзажа... К этому оказалось трудно привыкнуть. Мы снимали программу за программой и могли бы благополучно состариться за этим занятием.

Но это уже вопрос заработка, а не судьбы.

Мне и моим товарищам повезло: мы приложили руку к новому и веселому делу. Было приятно слышать от знакомых и незнакомых людей, что у нас получается смешно; лестно попадать в рейтинги и получать престижные премии; но дороже всего этого для меня слова, приватно сказанные мне одним известным шестидесятником. Он сказал: кажется, вы несколько расширили российские представления о свободе.

Дай-то бог.

А что до известности, которую принесли нам «Куклы», — что ж, известность вещь приятная... до известной степени. Недавно при выходе из московской пирожковой меня настиг и крепко схватил за рукав неизвестный мне молодой человек. Он радостно ткнул меня в плечо узловатым пальцем и прокричал:

— Вы — Шендерович!

Я кивнул, обреченно улыбнулся и приготовился слушать комплименты. Все это, как выяснилось, я сделал совершенно напрасно: немедленно по опознанию молодой человек потерял ко мне всякий интерес и, повернувшись, крикнул приятелю, сидевшему тут же, за столом:

— Это он, я выиграл! Гони червонец!



Мой кот

Он красив. Черный, элегантный,

с белой манишкой и белым же чулочком на правой лапке. Когда, насмотревшись на фигуры и лица соотечественников, возвращаешься в квартиру, его совершенство становится особенно очевидным.

Вот он сидит на подоконнике и не мигая смотрит на жизнь с высоты пятого этажа. Эта жизнь — в принципе — его устраивает. Он понимает в ней толк и не предлагает коренным образом в кратчайшие сроки ее изменить. Мой кот — эволюционист.

При этом он знает свои права и умеет, если надо, громко потребовать своей доли в семейном куске колбасы. После же и полакав молочка, сворачивается клубком на диване и, закрыв глаза, думает о своем, потайном, кошачьем, никого и ни за что не агитируя.

Мой кот не монархист и не сокол Жириновского. Он не выписывает «Коммерсантъ» и не пишет эссе в «Независимой». С одинаковым равнодушием, равнодушием сфинкса, смотрит он со своего дивана на президента, претендента, сенаторов, комментаторов... — и на меня, вперившегося в них своим остекленелым от тоски взглядом. Он ухом не ведет на их судьбоносные речи, ибо ценит лишь конкретную ласку, на которую неизменно отвечает мурлыканьем, похожим на работу маленького, хорошо прогретого моторчика.

Мой кот никогда не суетится, потому что понял в свои пять месяцев от роду: все, что надо для жизни, уже при нем, в крайнем случае — неподалеку. Поэтому его никогда не застать за бессмысленной работой — и если иногда он начинает вдруг ловить собственный хвост, то это всего

лишь игра, за которую мой кот, по крайней мере, не получает депутатского жалованья.

Мой кот не занимает чужого места — а если займет ненароком, то сходит со стула по первому требованию. Будучи от природы беспристрастен, я признаю, что он не лишен недостатков. Например, еженощно будит нас дикими криками. Но делает он это не потому, что напился в стельку с полочки, а потому, что мы оставляем его ночевать в коридоре — ему же хочется тепла и нежности.

Еще он гадит не на место. Иногда (неловко даже говорить) поворачивает оставленное без присмотра. Однако ж, ткнутый носом в лужу, мой кот не делает вид, что он тут ни при чем, а лужу напустил кто-то из ближайшего окружения, и, стащив со стола кусок пожирнее, не рассуждает с ним в зубах о благе народа, а быстрее ест, сильно стыдясь. Мой кот еще не вовсе потерял совесть.

Хотя, если быть честным до конца, именно он оборвал все обои, разбил любимую вазу жены и регулярно точит когти об обивку моего нового кресла. Тут мне нечего сказать в его оправдание — кроме разве того, что мой кот еще очень юн, а я знаю нескольких выпускников МГУ, сморкающихся на тротуар. Так что не будем мелочны: мой кот прекрасен! Он никому не завидует. Он почти не обременяет близких своими заботами. Он расположен к людям и выпускает когти только в ответ на агрессию. Он заходит на мой письменный стол и осторожно нюхает рукописи, но я еще ни разу не слышал, чтобы он дурно о них отзывался. Мой кот — умница.

Наконец, он совершенно не различает национальностей. Утерянным в народе способом мой кот определяет свое отношение к людям исключительно по исходящему от них теплу, тембру голоса и общей культуре.

Мой кот — совершенство! Он сидит на подоконнике и подмигивает мне двумя глазами сразу, и я подмигиваю в ответ.

Примечания



Алла Боссарт. «Театр — вот его тайна»

Автор предисловия — публицист, обозреватель «Новой газеты».

Проза

Я и Сименон

Рассказ печатается по публикации в серии «Б-ка «Крокодила», 1991, № 4.

Арс лонга, вита бревис...

Печатается по книге «...В деревне Гадюкино дожди». М., «Прометей», 1993.

Посвящение Дм. Быкову — журналисту и литератору.

Человек с плаката

Впервые — в сб. «Музей человека». М., «Вс. центр кино и телевидения», 1990.

Цветы для профессора Плейшнера

Впервые — в серии «Б-ка «Крокодила», 1991, № 4.

Ничего, кроме правды

Впервые — под заголовком «Проблемы Паши Пенкина» в «Б-ке «Крокодила», 1991, № 4.

Педагогическая поэма

Первая книжная публикация.

Лондон, Даунинг-стрит, 10 (Из почты 80-х)

Первая книжная публикация.

Выбранные места из переписки с соседом

Печатается по книге «208 избранных страниц». М., «Вагриус», 1999.

Музыка в эфире

Впервые — «Лит. газ.», 22 января, 1992.

Печатается с авторскими исправлениями.

Посвящение Сэму Хейфицу — джазовому музыканту, другу автора.

Ветер над плацем

Впервые — «...В деревне Гадюкино дожди». М., «Прометей», 1993.

Посвящение Забайкальскому ВО — связано с местом воинской службы автора.

Святочный рассказ

Впервые рассказ опубликован в «Лит. газ.», 29 декабря, 1993, под заголовком «Святочная сказка».

Жизнь масона Циперовича

Впервые — «Огонек», 1990, № 46. Публикуется с авторскими исправлениями.

Статус

Первая книжная публикация.

Стена

Печатается по книге «208 избранных страниц». М., «Вагриус», 1999.

История любви

Первая публикация в книге «...В деревне Гадюкино дожди». М., «Прометей», 1993.

Самоопределяшки

Печатается по книге «208 избранных страниц». М., «Вагриус», 1999.

Весна!..

Первая публикация.

Ты кто?

Печатается по книге «Московский пейзаж». М., «Апарт» и «Б.С.Г.-Пресс», 1999.

Информация к размышлению

Печатается по книге «Московский пейзаж». М., «Апарт» и «Б.С.Г.-Пресс», 1999.

Посвящение Михаилу Шевелеву — журналисту, зам. главного редактора еженедельника «Московские новости».

Злоба дня

Первая публикация — журнал «Magazine», 1996, № 4.

Подлинные записки Фомы Обойного

Впервые — под заголовком «Из последней щели» в сб. «Музей Человека». М., «Вс. центр кино и телевидения», 1990.

Тяжкое бремя

Впервые — журнал «Magazine», 1996, № 3.

Проект Конституции страны

Первая книжная публикация.

Пластилиновое время

Печатается по книге «Московский пейзаж». М., «Апарт» и «Б.С.Г.-Пресс», 1999.

Владимир Вениаминович Виндревич, чьей памяти посвящен рассказ, — скрипач, дед жены автора.

Культурные люди

Печатается по книге «Московский пейзаж». М., «Апарт» и «Б.С.Г.-Пресс», 1999.

Предрассудок

Впервые — журнал «Magazine», 1995, № 4.

Сила воображения

Печатается по книге «208 избранных страниц». М., «Вагриус», 1999.

Евроремонт

Печатается по книге «208 избранных страниц». М., «Вагриус», 1999.

Семечки

Первая публикация — «Лит. газ.», 9 января, 1991, под заголовком «Семечки. Рассказик».

Стереоскоп

Печатается по книге «208 избранных страниц». М., «Вагриус», 1999.

Посвящение И. Иртеньеву и М. Кочеткову: Игорь Иртеньев — известный поэт, постоянный участник телепередачи В. Шендеровича «Итого». Михаил Кочетков — поэт, бард.

Вечное движение (Этюд)

Впервые — журнал «Magazine», 1995, № 4.

Петля

Впервые рассказ напечатан в книге «Московский пейзаж». М., «Апарт» и «Б.С.Г.-Пресс», 1999, под заголовком «Без смысла».

Лужа

Первая публикация рассказа — «Лит. газ.», 1992, № 29 (напечатан под заголовком «В луже»).

Посвящение Геннадию Хазанову — известному артисту.

И коротко о погоде

Первая книжная публикация рассказа — в книге «...В деревне Гадюкино дожди». М., «Прометей», 1993.

Стишки

Сатирик

Печатается по книге «208 избранных страниц». М., «Вагриус», 1999.

О некоторых странностях судьбы

Впервые — в «Б-ке «Крокодила», 1991, № 4.

«В стране, где древние ацтеки...»

Впервые — журнал «Magazine», 2000, № 1.

Хуту и тутси

Печатается по книге «Московский пейзаж». М., «Апарт» и «Б.С.Г.-Пресс», 1999.

«Я живу в измученной стране...»

Впервые — в книге «...В деревне Гадюкино дожди». М., «Прометей», 1993.

Гомерическое

Первая книжная публикация.

Московский пейзаж

Печатается по книге «...В деревне Гадюкино дожди». М., «Прометей», 1993.

«Какое счастье: сперли кошелек!...»

Печатается по книге «...В деревне Гадюкино дожди». М., «Прометей», 1993.

«Ты мне нравишься, девчонка...»

Впервые — в «Б-ке «Крокодила», 1991, № 4.

Баллада об авокадо

Печатается по книге «Московский пейзаж». М., «Апарт» и «Б.С.Г.-Пресс», 1999.

Япона жизнь (Хокку)

Печатается по книге «208 избранных страниц». М., «Вагриус», 1999.

«Любой пройдоха корчит тут пророка...»

Печатается по книге «Московский пейзаж». М., «Апарт» и «Б.С.Г.-Пресс», 1999.

P.S.

Впервые в «Б-ке «Крокодила», 1991, № 4.

«Взошло светило над домами...»

Печатается по книге «Московский пейзаж». М., «Апарт» и «Б.С.Г.-Пресс», 1999.

Ямбы

Печатается по книге «Московский пейзаж». М., «Апарт» и «Б.С.Г.-Пресс», 1999.

«Когда Москва, сдыхая от жары...»

Печатается по книге «...В деревне Гадюкино дожди». М., «Прометей», 1993.

Хромой стих

Печатается по книге «Московский пейзаж». М., «Апарт» и «Б.С.Г.-Пресс», 1999.

Театр «Черные ходики». Пьески маленькие и пьески большие

В этот раздел входят монологи, литературные миниатюры, небольшие пьесы, диалоги, афористика, которые печатались во многих периодических изданиях начиная с 1985 года.

Первые афоризмы В. Шендеровича были опубликованы в «Московском комсомольце» 9 июля 1985 г. Можно указать на ранние значительные публикации произведений этого жанра: «Огонек», 1989, № 10, 1990, № 10; «Лит. газ.», 1992, № 16, № 48.

«Театральные» миниатюры появились в печати в 1985 г. Впервые собраны в цикл в книге серии «Б-ка «Крокодила», № 4, 1991 г. под рубрикой «Диалоги театра абсурда».

«Акт приемки трагедии «Отелло» впервые появился в «Московском комсомольце» 31 декабря 1989 г. Монолог «Священная обязанность» был напечатан в той же газете 29 апреля 1990 г. под заголовком «Молодое пополнение».

«Диалоги театра абсурда», кроме того, печатались: «Лит. газ.», 1991, № 27; «Неделя», 1991, № 13.

Под названием «Театр «Черные ходики» цикл «театральных» миниатюр впервые напечатан в книге «...В деревне Гадюкино дожди». М., «Прометей», 1993. Под этим же названием некоторые произведения впервые появились на стра-

ницах «Лит. газ.» 11 мая 1994 г. под рубрикой «Бенефис «Клуба ДС».

Публицистика

Все произведения этого цикла, кроме публицистической повести «Ты помнишь наши встречи?», публиковались в газете «Московские новости» с 1989 г. под рубрикой «Разбор полетов». Первая книжная публикация.

Ты помнишь наши встречи? (Мемуары сержанта запаса)

Первая книжная публикация.

Посвящение С.А. — Советской Армии.

Куклы

Дон Кихот

Министр обороны Павел Грачев получает в прессе прозвище «Паша-Мерседес».

Непомерно усиливается влияние на президента Ельцина начальника его охраны генерала Александра Коржакова.

Царь-султан

Вспышка международной активности российской власти. Премьер Черномырдин посещает оружейную выставку в Арабских Эмиратах, Жириновский гостит у Хусейна, министр иностранных дел Козырев проводит очередные переговоры в США...

Вредные советы

Повод написания этих «Кукол» не требует комментария.

Стихотворная форма — имитация «Вредных советов» Григория Остера.

Борис Годунов

Во время поездки в Екатеринбург президент Ельцин объявляет о своем решении баллотироваться на второй срок.

Время, назад!

Нижняя палата Государственной Думы принимает решение о денонсации Беловежских соглашений.

Имиджмейкер

Перед выборами 1996 года в России разворачивается невиданная доселе рекламная кампания кандидатов в президенты...

Единый кандидат от демократов

- Перед президентскими выборами 1996 года демократы тщетно пытаются найти единого кандидата. Ельцин внушает, что такой кандидат — он сам, и пугает общество коммунистической реставрацией...

В Чечню, в Чечню!

В целях поддержания рейтинга президент Ельцин дает обещание до президентских выборов лично прилететь в Чечню. Визит президента в воюющую республику продолжается два часа и ограничивается территорией грозненского аэропорта...

История болезней

Фракция КПРФ и ее лидер Геннадий Зюганов требуют создания независимой медицинской комиссии для обследования президента Ельцина и отстранения его от власти.

Двойник

Объявлено о предстоящей операции на сердце у президента Ельцина. Усиливаются слухи о существовании у президента двойника на случай каких-либо ЧП.

Клинтон второй раз побеждает на выборах президента США.

Скупой рыцарь

Утверждение бюджета на 1997 год превращается в откровенный торг нижней палаты с Кремлем. При этом реальным ответчиком перед страной за все невыплаты остается вице-премьер по экономическим вопросам Александр Лившиц.

Малыш и Карлсон

Коммунистическое большинство Думы продолжает требовать отставки вице-премьера правительства Анатолия Чубайса. Ельцин заявляет, что «Чубайса он не отдаст», но все понимают, что это — вопрос времени и стратегии...

Предпоследнее «прости»...

Очередной слух о подписанной отставке Чубайса опять оказывается слухом. Его политические враги явно принимают желаемое за действительное...

Первый Белорусский

Президент Белоруссии Лукашенко активизирует усилия по интеграции с Россией — с явными планами возглавить объединенную страну.

Зима в Москве

Продолжаются ритуальные обещания Кремля в самое ближайшее время отдать трудящимся долги по зарплатам.

Неофициальный визит

В Америке набирает силу процесс импичмента, затеянный республиканцами против президента Клинтона. Симметричный вопрос назревает и в России...

Король Лир (вторая редакция)

2 марта 1998 года президент Ельцин внезапно отправляет в отставку правительство Черномырдина.

Анна Каренина

После двух отрицательных голосований в Думе президент и в третий раз вносит кандидатуру Сергея Кириенко.

В обществе растет напряжение: все помнят, что в случае третьего отрицательного голосования, согласно Конституции, президент имеет право распустить Думу.

Все три голосования происходят по пятницам...

Субъекты Федерации

В России новый премьер — Сергей Кириенко.

В Москве скандал — так называемое «дело статистиков»: арестованы глава Госкомстата Юрков и его заместитель.

Елкин и Сальери

Почти все политические силы страны, от «ЯБЛОКА» до КПРФ, объединились в организации импичмента президенту Ельцину, но реальные перспективы этого процесса при действующей Конституции более чем сомнительны...

Ясная подлуня

После событий 17 августа — объявленного дефолта России, смены правительства и девальвации рубля — народные протесты кое-где принимают характер бунтов; в обществе усиливаются антиельцинские настроения.

Инцидент

Генерал Макашов неоднократно позволяет себе публичные антисемитские высказывания. Депутатская неприкосновенность, обеспеченная его родной фракцией КПРФ, надежно защищает его от суда. Власть демонстрирует совершенную беспомощность перед фашизмом...

Их борьба

Премьер-министр Примаков фактически создаст в России коммунистическое правительство — при этом коммунисты в Государственной Думе продолжают клеймить исполнительную власть. Планы КПРФ привести в Кремль «своего» человека взамен дряхлеющего Ельцина — очевидны.

Гуманитарная катастрофа

Балканский кризис поднимает в России волну ура-патриотических настроений. Коммунисты подталкивают Кремль к большой войне против Америки. Жириновский объявляет о том, что собирает добровольцев для войны в Сербии.

Тем временем прокуратура выписывает ордер на арест Березовского, которому перед этим предусмотрительно дают возможность выехать за границу...

Ночной дозор

После взрывов домов в Москве проводится перерегистрация приезжих, что открывает новые возможности для коррупции. В Рязани ФСБ проводит учения, в процессе которых ночью поднимают с постелей и эвакуируют жителей. Премьер Путин произносит крылатую фразу о своей готовности «мочить бандитов в сортире»... Власть, вскормившая терроризм, пытается играть роль народной защитницы.

Гулливвер

После провала в Государственной Думе голосования по вопросу об импичменте у Ельцина развязаны руки. Всем ясно, что у его власти уже нет никаких противовесов в политической системе страны — и он может делать все, что ему заблагорассудится...

Лас-Вегас

После отставки Ельцина и назначения досрочных выборов становится ясно: у исполняющего обязанности президента России Путина нет и не будет реальных конкурентов в борьбе за Кремль.

Прокремлевская партия «Единство», фактически стоворившись с КПРФ, избирает в спикеры Госдумы коммуниста Селезнева.

Куклиада

Первая книжная публикация. Впервые — «Знамя», 1998. № 1. Посвящение Леониду Зорину — известному драматургу, писателю, публицисту.

Вместо послесловия

Мой кот

Первая книжная публикация.

Литературно-художественное издание

Шендерович Виктор Анатольевич

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Том второй

Редактор *М. Тарловский*
Корректор *Е. Остроумова*
Компьютерная верстка *Д. Мозоль, И. Батов*
Шарж на обложке *В. Мочалов*

В оформлении использованы рисунки
М. Златковского, Е. Поликашина
Фотографии — *В. Крохина, В. Плотникова,*
А. Шендеровича, снимки из семейного
альбома автора

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1. Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16,
многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.
www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

**Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве
в сети магазинов «Новый книжный»:**

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12
(м. «Сухаревская», ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.
Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:

«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Подписано в печать с готовых монтажей 24.02.2005.

Формат 84x108^{1/32}. Гарнитура «Таймс».

Печать офсет. Усл. печ. л. 31,92. Уч.-изд. л. 30,1.

Доп. тираж 4000 экз. Заказ 3067.

ISBN 5-04-004659-6



9 785040 046591 >

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (0822) 44-42-15
Интернет/Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru



Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Виктор Шендерович

Антология Сатиры и Юмора России XX века

ШЕНДЕВРЫ

Считать ли изнасилованием,
когда идея овладевает массами?

В чем сила москитов?
В подавляющем большинстве!

Умом Россию не понять,
а другими местами —
очень больно!

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века